This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4345.8

THE SLAVIC COLLECTION

Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner.

May 17, 1897.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

СОЧИНЕНІЯ

НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

РОМАНЫ:

II

Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Печатано въ типографіи И. Фишона.
1852.

SCav 4345.8

MAY 17 1897
LIBRARY.
Gift of
W. A. Gardner.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 17-го Января 1852 года.

Цензоръ *Ал. Крыловъ*.

ДВА ИВАНА, ДВА СТЕПАНЫЧА, ДВА КОСТЫЛЬКОВА.

—

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПРОВИНЦІЯ.

—

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ВСТУПЛЕНІЕ ВЪ РОМАНЪ И ВЪ ПРОВИНЦІЮ.

Я вамъ не скажу, высокопочтенный читатель, ни имени губерніи, ни прозванія провинціи, въ которыхъ начался мой романъ: зачѣмъ обременять память вашу географическими свѣдѣніями, которыя теперь уже не свѣдѣнія? Довольно вамъ вѣдать, что романъ мой родился ни въ Москвѣ, ни въ новомъ Питербурхѣ, а въ глубинѣ Россіи, въ густомъ лѣсу, раскинутомъ на пространствѣ многихъ квадратныхъ верстъ. Опушка лѣса примыкала съ сѣверной стороны къ городскому выгону; большая дорога желтой змѣей вилась по всему выгону и подымалась на небольшую и плоскую возвышенность, на которой простирался городъ. Множество лужъ, пятнами разбросанныхъ по дорогѣ, увеличивало сходство нашего сравненія. На небѣ стояло позднее лѣто; на землѣ — грибная

пора. Въ лѣсу, по обѣ стороны дороги, раздавались разноголосныя *ау!* Черезъ дорогу то и дѣло переходили грибные охотники, то миловидная дѣвушка, то молодой парень, то дворскій челядинецъ. Почти каждый останавливался по серединѣ большой дороги, оборачивался къ городу; снявъ шапку крестился, кланялся на деревянный соборъ, и уходилъ въ лѣсъ съ поспѣшностью, затягивая свое ау! Громче другихъ раздавался звонкій, мужественный голосъ молодаго человѣка, котораго по одеждѣ нельзя было тотчасъ не признать бариномъ, хозяиномъ и лѣса и людей, собиравшихъ грибы; на немъ былъ охотничій охабень, съ откидными рукавами, перетянутый кожанымъ лакированнымъ поясомъ; у пояса съ одной стороны висѣлъ широкій ножъ, съ другой фляга, заплетенная въ мелкіе прутья; мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, красиво одѣтый, тащилъ за нимъ порядочную корзину, нагруженную грибами разнаго рода.

— «Трошка!» сказалъ баринъ: «подыми-ка! Вонъ какое грибище сидитъ. Ни дать, ни взять няня Ильинишна.»

Пока Трошка снималъ грибъ, очищалъ его отъ моха и наноса, молодой баринъ во все горло кричалъ: ау, да ау!

Никто не откликался. Или лучше сказать откликалось много голосовъ, да не слышно было того, котораго ему хотѣлось.

— «Ахъ ты, озорница!» сказалъ баринъ: «а я еще говорилъ ей: на двадцать шаговъ не моги отходить! а она, чай, притворомъ заплуталась; того

и глядь обѣжитъ; а окажутъ волкъ съѣлъ. — И уже не обинуясь онъ сталъ кричать: Маланья, Маланья!

По всему лѣсу раздалось имя Маланьи, только съ прибавкой: Ивановна. Другіе, видно, не смѣли кликать ее иначе... Въ то же время по дорогѣ тащился не малый обозъ. Разнородныя повозки обнаруживали, что это поѣздъ не маловажной персоны; первая повозка была колымага; шесть дюжихъ лошадей тащили ее шажкомъ; возлѣ шелъ пѣшкомъ въ польскомъ платьѣ высокій парень съ арапникомъ и повелительно наказывалъ молчаніе. Всѣ проводники, то есть: кучера и челядинцы съ трепетомъ посматривали на арапникъ, и хранили глубокое безмолвіе. Только и слышанъ былъ стукъ колесъ да копытъ, при медленномъ движеніи поѣзда, весьма незначительный; за поѣздомъ, также шестерка тащила большую бричку, затянутую полотномъ; за нею на четырехъ тройкахъ ѣхала челядь, везли чемоданы, сундуки и прочая. Крики со всѣхъ сторонъ: Маланья Ивановна, Маланья Ивановна! раздались въ лѣсу именно въ то время, когда колымага бережно спускалась въ огромную лужу, разлитую поперегъ всей дороги, такъ, что парень съ арапникомъ, долженъ былъ проходить въ бродъ, что онъ и началъ исполнять вмѣстѣ съ лошадьми весьма совѣстливо и осторожно. Но едва раздались крики, какъ изъ колымаги послышался женскій голосъ;

— «Что тамъ такое? Городъ, что ли? А я тебѣ, болванъ, говорила: ѣхать шагомъ. И поспать не дали!..»

Крики въ лѣсу продолжались... Занавѣска въ колымагѣ отдернулась; и оттуда выглянула голова повязанная платкомъ, и грознаго вида.

— «Что́ тамъ такое? Ну, я здѣсь; что́ надо?»

Но грозное и румяное лицо въ минуту побѣднѣло, когда путешественница замѣтила, что голоса неслись изъ лѣса.

— «Лѣшіе!» вскрикнула она — и спряталась, и задернула занавѣску, и окутала голову въ подушки и перины, которыми колымага была преисполнена. Въ бричкѣ произошла та же сцена, съ небольшими перемѣнами; полотно на́-скоро отпахнулось; въ отверзтіе выглянула голова такого же объема и вида; по голосу только можно было узнать, что въ бричкѣ пребывалъ мужчина.

— «Что́ за шумъ!» воскликнулъ путешественникъ. «Дамъ я вамъ воеводскій сонъ тревожить!»

Но въ то же мгновеніе, замѣтивъ откуда голоса, воевода побѣднѣлъ и затрясся всѣмъ тѣломъ...

— «Семенъ, Вуколъ, Евлампій, Андрей, Марфа, «Палашка, творите молитвы, то лѣшіе.»

И воевода сталъ креститься обѣими руками... Лѣшіе! закричало множество голосовъ; посыпались нещадные и неисчетные удары кучерскихъ плетей; лошади понеслись во всю мочь; парень съ арапникомъ, видя, что его оставляютъ на жертву всему сборищу лѣшихъ, съ отчаянья вскочилъ на желѣзную ножку брички и ухватился обѣими руками за полотно; оно рвалось въ рукахъ его; онъ хватался за обручи; и тѣ не выдержали;

въ ужасѣ онъ уцѣпился за воеводу; а тотъ зажмурясь кричалъ во все горло:

— «Отпусти душу на покаянье! Со всей провинціи ни алтына не возьму, ни ложки патоки; ужъ тогда меня кушай, какъ взятку возьму... Ой, душитъ, душитъ! Помогите!»

Напрасно! Каждый думалъ о себѣ, даже лошади неслись, или лучше сказать несли воеводскій поѣздъ, съ курьерскою быстротою. Три или четыре версты, остававшіяся до города, проскакали во весь опоръ и какъ вкопанныя остановились передъ постоялымъ дворомъ, саня и поматывая ушами. Не успѣли путешественники очнуться, какъ уже цѣлая провинція, то есть, весь городъ окружилъ поѣздъ. Осмѣлясь открыть глаза, воевода съ ужасомъ увидѣлъ, что за ноги его всё-еще держался гайдукъ Семенъ.

— «Плетей!» закричалъ воевода: «Такъ это ты вздумалъ лѣнаго показывать... Это что! Мы въ провинціи! Въѣхали безъ трезвона, безъ церемоніи! Вотъ я тебя! Вставай!»

И воевода давай тузить Семена, къ общему удовольствію всей провинціальной публики. Громкій смѣхъ стлался по всей площади и привелъ воеводу въ неистовство; онъ успѣлъ какъ-то освободить ноги изъ окоченѣлыхъ рукъ Семена, всталъ, но какъ всю бричку наполнили перины, то воевода, качаясь на пуховой кафедрѣ, возгласилъ такo:

— «Смирно! Дамъ я вамъ смѣяться надъ вашимъ воеводой!»

Горожане оробѣли; смолкли; одни пустились

бѣжать; другіе, ближайшіе къ сценѣ, повалились въ грязь на колѣни, и низменно кланяясь, жалобно вопили: — Прощенья просимъ, государь воевода; опознались, батюшка, отецъ нашъ родимый!

— «То-тоже!» сказалъ воевода, ободрясь и подбоченясь. «По домамъ! А кто въ четверть часа не будетъ сидѣть дома, или будетъ сидѣть дома, да учнетъ глазѣть въ окошко — весьма будетъ оштрафованъ. По рублю съ рыла! По домамъ!...»

И площадь опустѣла. Провожая бѣгущихъ взорами и довольною усмѣшкой, воевода выползъ изъ брички и подошелъ къ колымагѣ.

— «Меланья Ивановна!» сказалъ онъ тихо.

— «Пришла моя бѣда!» шептала воеводиха: «подбирается.»

— «Меланья Ивановна, да не бойтесь ничего, это я, вашъ супругъ и сожитель, Максимъ Ивановичъ...»

— «Да ужъ если бы ты былъ Максимъ, такъ не я, а ты бы меня боялся; а ты не Максимъ, ты извѣстно кто...»

— «А кто же я, Меланья Ивановна?...»

— «Да я никогда богомерзкихъ словъ не говорю и не говорила; а если и случалось какъ ни есть сказать непутное слово, такъ безъ умысла, видитъ Богъ, безъ всякаго намѣренія.»

— «Кто объ этомъ говоритъ; вы такіе благодушные...»

— «Видишь, видишь, какъ подмасливается! Благодушная не благодушная, а такая, какъ и всѣ грѣшныя Еввины внучки.»

— «Такъ подымайтесь, Меланья Ивановна, пока никого на площади нѣтъ.»

— «А ты меня и скушаешь...»

— «Гдѣ мнѣ! И лѣшій подавится. Да перестаньте же бояться; надо приниматься за воеводство; а скоро и солнце зайдетъ.» Съ этими словами воевода собственноручно — отдернулъ занавѣску и Меланья Ивановна, всплеснувъ руками, приподнялась на перинахъ:

— «Батюшки свѣты! Точно! Ты! Максимъ Ивановичъ! Ты, Буруновъ, воевода!... а это наша провинція, что ли? Это наши улицы?»

— «Наши, матушка Меланья Ивановна! Только подымайся проворнѣе. Любопытство заперъ я на замки, окна имъ замазалъ воеводскимъ словомъ, да этотъ порокъ, матушка, пожалуй въ трубу вылѣзетъ... Такъ поторопись, пока никого нѣтъ!»

— «Да какъ же я потороплюсь? Вѣдь ты знаешь, что я ноги разула; жару боялась, а чулки и башмаки Палашка еще на томъ постояломъ дворѣ, гдѣ ночевали, съ собой унесла. Поди-ка, кликни Палашку...»

Пока Меланья Ивановна обувалась, и оправляла остальной свой дорожный нарядъ, Максимъ Ивановичъ пошелъ на постоялый дворъ языка добыть: справился гдѣ земская контора, гдѣ воеводскій домъ. По счастью хоромы, предназначенныя для жительства воеводы, были близко и стояли впустѣ, нѣсколько шаговъ, и поѣздъ сталъ разгружаться. Всѣ сундуки, узлы, кострюли, котлы, перины, подушки, хомуты, словомъ всѣ вещи, включитель-

но съ Меланьей Ивановной и челядинцами, размѣстились въ осьми такъ называемыхъ *чистыхъ* покояхъ и въ полномъ смыслѣ нечистыхъ кухнѣ, людскихъ, сѣняхъ, каморкахъ, и другихъ разнаго рода и званія шкафикахъ. Чистые покои отъ нечистыхъ отличались тѣмъ, что въ чистыхъ были окна по-шире, но безъ стеколъ; печи на деревянныхъ ножкахъ, и стѣны нѣкогда обиты бумагой съ узорами; но эти провинціальныя обои повсемѣстно были проточены домашними насѣкомыми; отклеились и при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра, имѣвшаго свободный входъ въ воеводскія хоромы со всѣхъ сторонъ, производили гармоническій шумъ, подобно тому, когда глубокая осень изъ сухихъ листьевъ стелетъ зимѣ постельку и ворчитъ неумолчно. Замковъ у дверей, петель у оконъ, дверецъ и заслонокъ у печекъ, не было. Глядя на эти хоромы, можно было подумать, что тутъ давнымъ-давно не живали люди. Но это не поражало пріѣзжихъ; одинъ только Максимъ Ивановичъ поглядывалъ на раны въ дверяхъ и окнахъ, и лукаво улыбался. Меланья Ивановна суетилась; ходила взадъ и впередъ по всѣмъ комнатамъ и съ важностью рѣшала: гдѣ быть спальнѣ, гдѣ столовой, гдѣ дѣтской...

— «Да зачѣмъ же дѣтская?» спросилъ Максимъ Ивановичъ.

— «Какъ зачѣмъ?»

— «Да вѣдь у насъ пятъ дѣтей!»

— «Все одно. А дѣтская пускай будетъ. Такъ и у нашего воеводы было: я ужъ все высмотрѣла. Точь-въ-точь такой же порядокъ будетъ и у меня.»

— «Да зачѣмъ же матушка, когда дѣтей...»

— «Перестанешь ли ты умничать! Вотъ только разсерди меня, дюжину дѣтей заведу, надъ ухомъ тебѣ усажу; писку да крику будетъ на три дома. Каждый сверчокъ знай свой шестокъ; ты управляйся съ провинціей, радѣй о доходцѣ, а хозяйство — мое дѣло. Для бумажныхъ дѣлъ вотъ тебѣ канурка; окно есть, чего больше; а въ хоромы не вступайся! Вотъ ты бы лучше послалъ за коммиссаромъ; помнишь, какъ Анна Екимовна за тобой посылала; наказалъ бы ему какой ни есть рухляди поднести; на первый случай хоть бы кровать для меня: а ты ночь проспишь и на лежанкѣ; да велѣлъ бы перекуску какую сладить. Не тратиться же въ своей провинціи на харчевню.

— «Знаешь, и водочки...»

— «Ну ужъ, на первыхъ порахъ тебѣ бы остеречься. Подмѣтятъ, что лакомка, вмѣсто денегъ, станутъ харчами отдѣлываться. За водкой-то можно бы и Семена послать; пусть возьметъ на алтынъ, будто для себя...»

— «Дѣло, жена! Люблю разумную рѣчь. Эй Семенъ! Подика, возьми косулю; да прежде въ земскую контору зайди, да въ сѣняхъ такъ и гаркни: — Его высокоблагородіе осьмаго класса воевода Максимъ Ивановичъ спрашивать изволитъ къ себѣ земскаго коммиссара здѣшняго уѣзда!»

Не прошло и десяти минутъ, какъ на дворѣ послышался споръ между голосами, все басоваго разряда...

— «Помилуйте, Иванъ Петровичъ, его высокоблагородіе изволили меня кликать...»

— «Поди ты, Ѳомка! пусти, я старше, мнѣ и идти прежде. Чинъ чина почитай...»

— «Но вы можете погубить меня; могутъ принять за непослушаніе...»

— «То-то же, Ѳомка! Слушаться! Посторонись!»

И по тесовому крыльцу заскрипѣли тяжкіе шаги тучной персоны. Какъ черная туча своей громовой музыкой наводитъ страхъ и трепетъ, такъ голосъ и походка тучной персоны заставила Максима Ивановича невольно застегнуться и поправить рѣдкіе волоса на головѣ, которая къ досадѣ воеводы блистала наготою, а оба парика были подъ спудомъ, въ неизвѣстныхъ ему сундукахъ. Никакихъ дальнѣйшихъ распоряженій нельзя уже было сдѣлать, потому что персона въ зеленомъ кафтанѣ и преогромномъ парикѣ, пригнувшись въ дверяхъ, бережно вступила въ комнату и остановилась у порога.

— «Что тебѣ, батюшка, надо?» спросила Меланья Ивановна.

Но Максимъ Ивановичъ перебилъ:

— «Не путайся, жена, не въ свое дѣло; это уже мое хозяйство; подлежитъ моему начальству. Ну-ка, батюшка, кто ты и что тебѣ надобно?»

— «Такой-то провинціи, такой-то губерніи, земскій камериръ, то есть надзиратель за сборами, пришелъ по силѣ Генеральнаго Регламента главы XXIV «о комплиментахъ,» господину воеводѣ, яко президенту моему, честь отдать и респектъ учинить...

— «Апробую!» съ важностью отвѣчалъ воевода и съ самодовольствіемъ посмотрѣлъ на Меланью Ивановну...

— «Да что, батюшка надзиратель! И я рада твоему знакомству; да видишь, посадить-то не на чемъ; развѣ на сундукъ; да боюсь, чтобы тучности твоей не приключилось какого ущерба...»

— «Ха, ха, ха, ха!» раздался густой басъ камерира: «Изволите шутить! Мы и постоимъ; ноги не отымутся. Да и совѣстно безпокойство вамъ наносить въ такое время. Не прикажутъ ли чего ваши высокоблагородія, а что до другаго чего, можно отложить и на завтра...»

— «Противу порядка, батюшка, противу порядка! Порядокъ душа всякой дирекціи и долженъ быть вездѣ, даже въ вещахъ самыхъ ординарныхъ. Откладывать нельзя и не указано. Наставь, гдѣ бы мнѣ тутъ у васъ въ провинціи на скорую руку кровать искупить...»

— «Двуспальную или простую?»

— «Простую, батюшка,» закричала Меланья Ивановна: «Не до прихотей теперь.. »

— «Фигурную или ординарную?»

— «Простую, говорятъ тебѣ...»

— «Деревянную или желѣзную? Я видѣлъ въ госпиталѣ...»

— «Деревянную!» закричала Меланья Ивановна пуще прежняго; но неустрашимый камериръ продолжалъ:

— «На веревкахъ или на доскахъ?»

— «На веревкахъ!»

— «Такой нѣтъ!»

— «Ну, такъ на дскахъ.»

— «И такой нѣтъ въ продажѣ; военные комиссары всѣ искупили, а я вамъ пришлю мою запасную... У меня двѣ, тучности ради: одна ломается; впрочемъ я имѣю подозрѣніе на Егорку. Большой мошенникъ! Есть толстяки и пе мнѣ чета, а всё подъ ними кровати цѣлы... Впрочемъ я и сѣку Егорку, какъ слѣдуетъ. По два раза въ недѣлю; коли незачто́, такъ въ запасъ; да онъ свое наверстаетъ; всегда счеты очиститъ, да еще въ долгъ наплутуетъ. Вотъ онъ кровать принесетъ. Извольте только на рожу взглянуть. Сами увѣритесь, что я еще съ нимъ обращаюсь милостиво, балую...»

— «Хорошо, батюшка, хорошо...» прервала Меланья Ивановна: «Съ своимъ добромъ, какъ знаешь, управляйся, только кровать пришли. Почитай смерклось.»

— «Жду указа!»

— «Апробую! Ступай, батюшка, а завтра по регламенту прошу въ присутствіе ровно въ шесть часовъ...»

— «Слушаю-съ! счастливо оставаться.»

И ретируясь, въ законной позиціи изъ комнаты, камериръ наступилъ на тощую и длинную фигуру, стоявшую за дверьми...

— «Извини, Лукичъ!» пробурчалъ камериръ, и крыльцо опять заскрипѣло... На его мѣсто вступила въ комнату тощая фигура и не разгибаясь остановилась у порога.

— «Ну, а ты что́?»

— «Земскій секретарь, ваше высокородіе!» хотя и басомъ, но мягкимъ и сладкимъ, произнесла тощая фигура...

— «А такъ это ты упекъ воеводу? А?»

— «Ваше высокородіе, вѣроятно, въ губерніи слухъ такой забрали, а въ губерніяхъ во всѣхъ, отъ потопа, насчетъ провинцій имѣютъ неблаговидное мнѣніе, а отъ тѣхъ же провинцій питаются. А дѣло простое, то есть, не то чтобы простое, весьма сложное, и запутанное, но резолюція была бы аккуратная и благосклонная, когда бы воевода Семенъ Семеновичъ учинилъ по изустному меморіалу моему и послалъ бы въ губернію надлежащія акциденціи: штукъ десять осетровъ, да другой рыбы съ полдюжины подводъ, да изъ денежнаго малую-толику. Не послушался, на правоту понадѣялся, и, съ позволенія сказать, сломалъ шею...»

— «Конечно, акциденція не взятка; акциденція— это отъ дѣлъ позволенные доходы. Иначе не чѣмъ прокормиться.»

— «Совершенно не чѣмъ, — ваше высокородіе! Хотя бы на прикладъ и вашъ домъ; положимъ, что дрова и свѣчи отпускаются; для прислуги есть сторожа; для стола — двѣ вотчины; да жалованье самое мизирное. Я, право, смотрю на васъ и плачу. Какъ это вы, Максимъ Ивановичъ, проживете? Прощенія просимъ за фамильярность...»

— «Безъ чиновъ, безъ чиновъ! Какъ тебя зовутъ?...»

— «Извольте Лукичемъ кликать! По-отечески, ваше высокородіе. Радъ вамъ какъ отцу родному

служить, понеже благодушіе у васъ на лицъ четкими литерами прописано. Не взыщите...»

И Лукичъ бросился, обнялъ воеводу и, поцѣловалъ въ пуговицу, которая въ объемѣ стараго пятака, защищала самое сердце воеводы.

— «Въ сердце, въ сердце!» продолжалъ Лукичъ съ жаромъ, отступая: «Знаю, знаю, какое тяжкое испытаніе падетъ на сіе сердце — и плачу. То есть не должность, а плотинка, а по сторонамъ бездны кипящія. И губернію удовольствуй, и воинскимъ командамъ угоди, и фискала умасли, и своихъ не обидь!»

— «Братецъ, Лукичъ!» прервалъ воевода съ самодовольною улыбкою: «дѣло-то мы смыслимъ; дѣла не боимся и не бѣгаемъ. Въ губерніи, братецъ, земскимъ коммиссаромъ быть не то, что въ провинціи, а паче въ уѣздѣ. У васъ тутъ только и начальства, что воевода, а тамъ, братецъ, и губернаторъ и разные чины. Всѣ на коммиссарскихъ плечахъ и спятъ и ходятъ. Выносилъ всѣхъ; пора самому на чужой спинѣ отдохнуть...»

Лукичъ почтительно согнулся, какъ-будто изъявлялъ совершенную готовность на требованіе воеводы, а Максимъ Ивановичъ продолжалъ:

— «Такъ смотри же, Лукичъ, держать ухо востро. Послъ объяснію, а теперь и некогда, и ѣсть хочется, а я и осмотрѣться не успѣлъ. Что же ты, Меланья Ивановна, не по-хозяйничаешь? Послала бы искупить балычка, икорки, осетринки, того-другаго. Не голодному же спать идти...»

— «Достанешь теперь ночью! Какъ-разъ, ви-

динь, почитай совсѣмъ смерклось... Семенъ и дороги не найдетъ, а Марѳу послать нельзя: обворуетъ...»

—«Не извольте приходить въ безпокойство. Дѣло дорожное — и мой долгъ распоряженіе сдѣлать, поколику бѣдность моя позволяетъ... Сейчасъ все явится...»

Лукичъ въ двери, а на крыльцѣ и напалъ на него Ѳомка, о которомъ была уже рѣчь.

— «Какъ вамъ не стыдно, Степанъ Лукичъ?..» говорилъ Ѳомка: «у бѣднаго человѣка хлѣбъ отнимать! Развѣ ваше дѣло воеводу продовольствовать? За чѣмъ вы въ чужія сани садитесь?»

Но видя, что Лукичъ, не слушая его, уходитъ поспѣшно съ воеводскаго двора, и боясь, чтобы другіе не перебили у него опять очереди, Ѳомка оправился и вступилъ на аудіенцію.

— «Что тебѣ надобно?...» спросилъ воевода.

— «Ѳома, Ильинъ сынъ, Галунчиковъ, земскій его величества коммиссаръ такой-то провинціи и уѣзда, имѣю честь, счастіе и всякую радость произвести себя персонально на высоконачальническое вашего высокородія благоуомотрѣніе...»

—«Э, батюшка...» вскрикнула Меланья Ивановна: «этотъ молодецъ по моей части. А снаровку я знаю; Анна Екимовна всему научила... Ну-ка, Галунчиковъ, какой у тебя порядокъ? А? Воевода въ провинціи; фамилія безъ свѣчей сидитъ; изъ оконъ дуетъ; двери безъ замковъ...»

— «Воры, ваше высокородіе! Тати ночные и дневные! Съ ножами разбой чинятъ по большимъ

дорогамъ, по всему уѣзду; у меня мало команды; пока управлюсь въ уѣздѣ, провинцію разграбятъ; одному неусыпному моему покровительству надобно отложить тѣ обстоятельства, что донынѣ пожаромъ городу еще не учинилось гореніе. Что же принадлежитъ до свѣчъ, то тотчасъ будутъ; не доставлено того для, что нумеръ не объявленъ....»

— «Да хоть полпуда, батюшка, на первый разъ....»

— «Слушаю-съ...» И коммиссаръ хотѣлъ уже идти.

— «Погоди, погоди, батюшка!» закричала опять Меланья Ивановна: «А лошадямъ-то овса и сѣна откуда я возьму?...»

— «Отложите попеченіе! Ваше высокоблагородіе! Вы люди опытные. Ваше продовольствіе лежитъ на мнѣ, по долгу совѣсти, и я сейчасъ сбѣгаю за овсомъ и сѣномъ....»

— «Постой, постой! А челядь-то?.. На кухнѣ ни полѣна, а запасъ холодный весь съѣли; такіе прожоры...»

— «И челяди заткнемъ глотку... бѣгу...»

— «Постой, батюшка!» сказалъ воевода: «У меня есть ямщики; что ихъ кормить понапрасно; ты съ ними разсчитайся и расплатись, а деньги-то у меня подъ спудомъ. Покуда....»

— «Вполнѣ чувствую благодѣянія вашего высокородія! Мигомъ все исполнено будетъ. Только позвольте въ контору сбѣгать....»

Галунчиковъ ушелъ и мѣсто его заступила цѣ-

лая толпа чиновниковъ. Впереди стояли рентмейстеръ и мостовой надзиратель; далѣе тѣснились судьи, магистратскіе чины, земскій писарь и коммиссары. Отъ коллегіальной аудіенціи воевода не предвидѣлъ никакой пользы, почему, назначивъ въ какомъ часу гдѣ завтра будетъ, съ ласкою отпустилъ чиновниковъ. Съ одного крыльца уходили гости, съ другаго на кухню конторскіе сторожа таскали балыки, боченки и разное съѣстное на холодный ужинъ для Меланьи Ивановны. По волшебному мановенію Галунчикова появился въ гостиной столъ довольно порядочный и два кресла, обитыя кожею и мѣдными гвоздиками. Воевода, не долго думая принялся за трапезу; и не успѣлъ проглотить двухъ трехъ кусковъ рыбы, какъ вдругъ изъ-за креселъ вытянулись двѣ руки; въ одной фляга, въ другой чарка. Настойка забурчала, чарка наполнилась и тутъ только воевода успѣлъ замѣтить, что этимъ пріятнымъ сюрпризомъ онъ былъ одолженъ обязательной предупредительности своего секретаря.

— «А, Лукичъ! Спасибо!...»

— «Не пей, Максимъ! »вскрикнула Меланья Ивановна, да поздно.»

— «Въ самомъ дѣлѣ, напрасно пилъ!»—сказалъ воевода» отдавая чарку: «только кажется настойка желудочная, самая здоровая...»

— «Кто эту настойку пьетъ, никогда боленъ не былъ...» отвѣчалъ секретарь...

— «А если такъ, подай-ка еще!»

— «Не давай!» закричала Меланья Ивановна:

«Отойди ты, бражникъ этакой, съ соблазномъ! Поставь настойку на окнѣ.»

— «Въ самомъ дѣлѣ, поставь на окнѣ...» прибавилъ воевода: «а самъ подитка сюда, разскажи, что̀ ни есть про нашу провинцію. Хороши ли помѣщики?...»

— «Отмѣнный народецъ, тароватый, веселый, живетъ-себѣ, знаете, спустивши рукава; подъ руку то и дѣло попадается; охотники не на животъ, а на̀-смерть. Да указецъ-то стѣснителенъ...»

— «О звѣроловствѣ, что̀ ли?»

— «Именно!»

— «А развѣ и наша провинція подъ указомъ?»

— «Подъ указомъ! Воевода Семенъ Семеновичъ, не соблюдая казеннаго интереса, изволилъ-было господамъ сенату доношеніе сочинить, о дозволеніи охоты въ нѣкоторыхъ дачахъ...»

— «Это зачѣмъ?»

— «И я то же говорилъ ..»

— «Эхъ, Семенъ Семеновичъ! Плохъ братецъ! Золотую гору хотѣлъ изъ рукъ выпустить. Ну, и что̀ жъ доношеніе?...»

— «Какъ-то не послалось!»

— «Твои штуки, Лукичъ, твои штуки! Чай на почтѣ пролежало, пока не смѣнили воеводу... Умно, Лукичъ! Только вѣдь я не хитеръ; на-прямки скажу: меня такъ не проведешь. Будешь служить честно — моя рука за тобою; всторону не гляди, на двухъ стульяхъ не садись: ушибешься. Писну̀ въ губернію; въ кандалы закуютъ. Понялъ?»

— «Ваше высокородіе, кто же вамъ служить

честно не будетъ, когда вы такіе ласковые, откровенные, съ слугами своими по-отечески изволите обращаться; а Семенъ Семеновичъ. . Сами согласитесь, что хотѣлъ и себя и всѣхъ насъ разорить. Если есть по нашей провинціи служащей братіи доходецъ какой, такъ только изъ того указа. Здѣшній провинціальный фискалъ Митюшкинъ, человѣкъ себѣ тихій, любитъ и дѣлать и пить домашнія настойки; домосѣдъ; въ присутствія никуды не заглядываетъ: такъ доносить некому.»

— «Ну, знаешь, Лукичъ, звѣрки-то не люди. Провинція наша не степь же безлюдная. По вѣдомостямъ доберутся...»

— «А справки на что? Эхъ, ваше высокородіе, и по вѣдомостямъ-то у насъ хорошій учетъ: кто по-бѣднѣе, тотъ на службу ступай; а кто по-богаче, то всё-равно, служитъ царству: чиновныхъ людей кормитъ.»

Воевода сладостно улыбнулся и протянулъ Лукичу руку...

— «Вижу, что ты золото...» сказалъ Максимъ Ивановичъ: «Намъ съ тобой тутъ житье будетъ, просто. Ну, а много ли богачей?...»

— «Да что; кормовыхъ-то не очень много; можетъ-быть наберется десять, не больше, то есть такихъ, что за ними по пяти, по шести сотенъ дворовъ есть. Изъ нихъ только двое на службѣ, потому-де, что въ родствѣ съ питербурхскимъ генералитетомъ, а прочіе, подъ кровомъ земской конторы, на своихъ дачахъ пробавляются, кто чѣмъ похочетъ. Вотъ Анкудиновъ, тотъ дальній,

почитай на конце провинціи. Тотъ большія рыбныя ловли на откупу держитъ; вкусная рыба, коли ваше высокородіе изволили обратить вниманіе...»

— «Хороша рыба, знатная...»

— «Вотъ Семеркины. Ихъ трое братьевъ. Охотники на пушнаго звѣря, а людей бить не любятъ. По-человѣчески, жаль ихъ на войну посылать; еще застрѣлятъ, чего добраго; отъ Шведовъ добраго не жди, а имѣнье перейдетъ къ дядѣ ихъ, а дядя во всей губерніи—первый скряга. Добрые ребята! Съ нихъ много дохода; на всю провинцію придется по тысячѣ рублей съ души, кромѣ разнаго снадобья въ натурѣ.—Костыльковъ! Ну, ужъ этакого, чай, на всемъ свѣтѣ другаго нѣтъ. Молодъ, холостъ; Меланья Ивановна у него всѣмъ домомъ заправляетъ.»

— «Меланья Ивановна!» воскликнули и воевода и его жена.

— «Истинно такъ! Меланья Ивановна! Была Малашка, просто; при родителяхъ Ивана Степаныча въ дѣвичьей шила и пряла; а послѣ ихъ смерти Меланьей Ивановной стала. Бой, не баба! Отучила она Ивана Степановича отъ звѣриной и другой охоты; нынче то и дѣло грибы собираютъ. Нынче, передъ самымъ вашимъ пріѣздомъ, подпутила она надъ всѣми. Изъ насъ, чиновныхъ, также кое-кто на грибахъ были; потому что дачи костыльковскія сейчасъ за выгономъ городокимъ, на большой дорогѣ. Ходили, ходили; она и притаись, будто пропала. — Окликать! Не тутъ-то

было! Меланья Ивановна! — всѣ глотку дерутъ...»

— «Стой!» закричалъ воевода: «такъ это не лѣшіе!»

— «Кто такіе?»

— «Такъ это дрянная Малашка надъ нами изволила забавляться! Подать сюда Ивана Степаныча Костылькова! Онъ же и нѣтчикъ! Противу царскаго указа ослушникъ! По его милости я въ провинцію безъ трезвона въѣхалъ! Позоръ такой перенесъ! Дамъ я ему—грибы! Подавай его сюда!»

— «Ваше высокородіе!»

— «Молчать! А вы чего смотрите? По большимъ дорогамъ такое безчинство! Засады на проѣзжихъ! Вотъ я васъ! Ступай, пиши указъ Костылькову, чтобы завтра въ десять часовъ былъ въ контору; посылай чуть свѣтъ!..»

— «Ваше высокородіе!»

— «Ничего и слушать не хочу. Ступай! Бумагу изготовь! Пошелъ... Выведу я лѣшихъ...»

— «А какъ указать изволите послать, съ коммиссаромъ или безъ онаго съ однимъ сторожемъ?»

— «Съ коммиссаромъ. Больше за подводу заплатитъ. Ты меня хотѣлъ пугнуть, да не удалось; вотъ я тебя пугну...»

— «А какъ изволите указать: съ роспискою, или ему быть въ провинцію съ тѣмъ же коммиссаромъ...»

— Съ коммиссаромъ! Да что ты сталъ разспрашивать? Ступай! Спать хочу. Вотъ только остыну, такъ и засну. Ступай!..»

Секретарь, хотя и съ неудовольствіемъ, однако жъ повиновался; согнулся, выползъ, плюнулъ на двери и ушелъ. За нимъ и земскій комиссаръ, который занимался внутреннимъ устройствомъ спальни, кухни и конюшни, откланялся и ушелъ... Воевода и Меланья Ивановна, на покоѣ, обстоятельно, сколько душѣ угодно, отдѣлали Костылькова и уснули. Провинція стихла. Черезъ часъ послѣ того, городская тишина была нарушена стукомъ колесъ и копытъ; но быстрые кони умчались и безмолвія ночи до самой зари уже ничто не прерывало.

—

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ночной гость.

На небольномъ пригоркѣ, со всѣхъ сторонъ окруженномъ красивыми рощицами, стоялъ барскій дворъ. Длинныя, длинныя хоромы въ одно жилье занимали гребень холма и глядѣлись въ прудъ, какъ чопорный старикъ въ зеркало; кругомъ чинно стояли службы, амбары, и другія хозяйственныя строенія. Лунная ночь обливала серебромъ своимъ красивую усадьбу. Видъ ея былъ еще краше, живѣе отъ огней, которые свѣтились во всѣхъ окнахъ. На дворѣ не было замѣтно никакого движенія; тишина глубокая прерываема была, и то изрѣдка, стукомъ ночнаго сторожа въ деревянную доску; за то въ хоромахъ было и шумно и весело. За длиннымъ столомъ сидѣло человѣкъ десять разнаго вида и званія;

богатыя чаши и стопы, забытки дѣдовскихъ временъ, переходили изъ рукъ въ руки, и, само собою разумѣется, не пустыя. Президентъ или хозяинъ сидѣлъ въ глубокихъ креслахъ. Стеганый халатъ, перетянутый въ поясѣ, обнаруживалъ его стройность, а шапочка съ золотымъ кутасикомъ придавала красивому лицу видъ истинно марціальный, тѣмъ болѣе, что черные какъ смоль усы широкою полосою стлались надъ пурпурными устами и сильно оттѣняли бѣлизну лица.

— «Ну, Маланка, ступай спать!» сказалъ онъ: «мы тутъ еще покалякаемъ.»

— «Полно бражничать!» отвѣчала молодая дѣвушка, отмѣнно миловидная, разодѣтая въ парчу, янтари и бисеры: — «Добро еще окна цѣлы! Чай, завтра опять приведется посылать въ городъ за стекольщикомъ!»

— «Не огорчайтесь, Меланья Ивановна!» протяжно, почти пропѣла тощая фигура съ обритой бородой, въ длинномъ сюртукѣ нѣмецкаго покроя: «Окна — что такое? — Стекло, хрупкій матеріалъ; не мы, вѣтеръ выбьетъ, какъ онъ и учинилъ вчерашней ночи!»

— «Знаемъ мы, какой вѣтеръ! Чай у тебя отъ вѣтру всѣ пальцы порѣзаны. Шелъ бы ты въ городъ мальчишекъ своихъ учить.»

— «Выучатся! Успѣютъ! Не велика мудрость! Какъ придетъ время и охота жениться, въ недѣлю смѣкнутъ.»

— «А развѣ безъ твоей питербурхской мудрости

ужъ и жениться нельзя?» спросилъ краснощекій толстякъ съ красивой бородой.

— «Вашей купеческой братіи — можно. На что вамъ грамота; цифирь у васъ на пальцахъ. Торговый народецъ глазами считаетъ. А городовыхъ дворянъ безъ моего вѣдома и дозволенія и вѣнчать не станутъ. На то есть указъ.»

— «Да вотъ, можетъ-быть, новаго воеводу пришлютъ...» сказалъ молодой человѣкъ, съ вида ровесникъ хозяину.

Мы должны остановиться на этомъ лицѣ и заняться имъ нѣсколько подробнѣе. Хозяинъ, какъ мы замѣтили изъ собственныхъ словъ его, титуловался Иванъ Степанычъ — ровесникъ его былъ также Иванъ Степанычъ, почему въ своемъ кругу его звали, просто, Степанычемъ. Происхожденія онъ былъ неизвѣстнаго; явился Богъ знаетъ откуда: съ хозяиномъ встрѣтился на охотѣ; присталъ какъ собаченька; приласкался; и вотъ уже безъ мала годъ проживаетъ въ Костыльковкѣ, будто дома, на всемъ на готовомъ; донашиваетъ старое барское платье. Ему было лѣтъ двадцать пять, шесть, какъ и хозяину; собой хоть и небылъ онъ красавцемъ, какъ Иванъ Степанычъ, однако же былъ очень недурной мужчина, а по доброму лицу и веселому характеру отмѣнно нравился всему женскому полу во всей Костыльковкѣ, и по сосѣдству. Не ждите отъ этого лица ничего оригинальнаго. Увѣряю васъ, что онъ былъ похожъ на тысячу вашихъ знакомцевъ, про которыхъ вы вспоминаете только при свиданіи, и если бы вамъ не приве-

лось съ ними увидѣться, вы бы и забыли о ихъ существованіи. Иванъ Степанычъ также бы забывалъ о Степанычѣ, если бы тотъ не умѣлъ постоянно напоминать о себѣ. Во все время разговора, онъ преусердно ѣлъ и пилъ, и веселился только на одну минуточку, какъ-будто съ умысломъ желалъ только подлить подъ огонь масла. И мѣтко, нечего сказать: Иванъ Степанычъ призадумался и нахмурился; гости также, каждый по-своему, выражали свои тайныя внутреннія опасенія значительными минами; одинъ только Степанычъ, окинувъ ихъ всѣхъ довольнымъ взглядомъ, принялся за индѣйку.

— «Оно того, знаете!» сказалъ краснощекій купецъ: «воевода, конечно, не того, то есть, не губернаторъ, однако же и того, то есть, въ провинціи всё-таки онъ тоже, что въ губерніи губернаторъ. И то правда, купечество указано вѣдать не воеводамъ, а бурмистрамъ. Мы у царя отрѣзанный ломоть, особъ-статья, какъ изволитъ говорить Степанъ Лукичъ, да ужъ у этихъ у воеводъ такое усердіе: и о томъ радѣютъ, о чемъ имъ и радѣть не указано; кажется и особъ-статья, а гдѣ такого взять купца, который бы въ воеводской канцеляріи не побывалъ съ подарочкомъ? Нѣтъ, батюшка, нынче чудесъ не стало. И ужъ знаете, того, право лучше, когда воевода въ купечество самъ мѣшается. Меньше расхода; а то вотъ Семенъ Семенычъ и не мѣшался, такъ Степанъ Лукичъ со всею челядью насъ въ руки принялъ. Сторожамъ приходилось кланяться. И кого-

то еще приплютъ! Наша провинція больно прибыточная: выманятъ ее у губернатора люди бывалые, а доброму не попадется... Охъ, охъ!..»

И купецъ усладилъ горечь размышленій чарой добраго меда.

— «То-то вы, молодежь!» отозвался блѣдный, пожилой мужчина въ военномъ кафтанѣ: «Послужили бы съ-наше! Перевѣдались бы со Шведами да съ Турками, тогда бы на воеводу и на самаго губернатора не смотрѣли бы съ опасомъ. Сидѣли бы по своимъ усадьбамъ, да и тѣшились кто чѣмъ по желанію.»

— «Ну, ужъ ты служба!..» сказалъ хозяинъ, мрачно взглянувъ на военнаго: «Не ты бы говорилъ, не я бы слушалъ. Объ одной рукѣ плохая потѣха. Не то ружья, вожжей отъ рысака не чѣмъ взять; а не оторви у тебя Шведъ руки, не видалъ бы и ты своей усадьбы какъ ушей своихъ. Положимъ вотъ такъ, хоть на одинъ нашъ уѣздъ. Много ли помѣщиковъ въ домахъ осталось? Я, да ты, а то куда ни глянь, прикащики дѣлами заправляютъ, крестьянъ разоряютъ, а господа только и дѣло шлютъ изъ Питербурха указы: подавай денегъ. Ужъ если убыточиться, такъ лучше дома. Такъ я придумалъ и вотъ уже чай десять смотровъ дворянскихъ и въ Питербурхѣ и въ Москвѣ было: ни одного не видалъ и себя на потѣху не показывалъ. При трехъ воеводахъ усидѣлъ въ своемъ гнѣздѣ. Да вотъ Богъ дастъ и съ четвертымъ сладимъ.

— «Иванъ Степанычъ! какъ не сладить!» произнесла на распѣвъ тощая фигура: «Далъ бы только

Богъ, чтобъ воевода жилъ по-нѣмецки, да жену имѣлъ, да дѣтокъ; вы — жену, я — дѣтокъ всякому добру научимъ... Ужъ эту истину гласитъ ариѳметика, что дважды два четыре.»

— «Ну, Малашка, ступай спать!» сказалъ хозяинъ, съ улыбкой поправляя свою шапочку: «Видишь, ученый человѣкъ завирается: у него съ языка всякое соскочитъ, такъ лучше бы тебѣ не слушать...»

— «Пора и тебѣ пономаря этого согнать со двора, да спать улечься...»

— «А вотъ допьемъ и располземся! Ступай, ступай!»

— «Не жалуетъ она тебя, Вороненко!» продолжалъ хозяинъ, обращаясь къ ученому: «Видно ты ей чѣмъ ни есть насолилъ...»

— «Женщина — темный народъ. Ни счета, ни грамоты ей не надо. Что подарятъ — сосчитаетъ, а кому свиданьице обѣщать, такъ языкъ у нихъ тише мухи прожужжать съумѣетъ.»

Хозяину не понравилась философія ученаго мужа. Онъ уже собирался принять его по-своему, какъ-вдругъ раздался отдаленный звукъ телѣжки; ближе, ближе, колеса застучали на дворѣ и затихли у крыльца...

— «Кто бы это?» спросилъ хозяинъ, но отвѣтъ былъ уже на лицѣ. Ѳома Ильичъ Галунчиковъ съ необыкновенною развязностію протянулъ обѣ руки, одну къ Ивану Степанычу, другую къ Степанычу и возгласилъ:

— «Здорово, ребята, молодцы-удальцы; давайте-ка перекусить: мой ужинъ воеводиха съѣла!»

— «Воеводиха?» вскрикнули всѣ, не исключая и Степаныча.

— «Собственноустно и собственноручно. Золото, не начальство! Чуть на порогъ, руки такъ и протянули; будто податной сборъ. Ахъ, послушай, Иванъ Степанычъ, воеводиха говорила, чтобы по молочной части никакого изъяна не было, такъ потрудись, пожалуй, завтра поставить ко мнѣ масла, да сыровъ, да тамъ кое-чего, что́ придумаешь. А въ провинціи, надо сказать, катавасія! Воевода — былъ въ губерніи земскимъ, такъ продувной, стало-быть; нашъ братъ; набилъ руку. Всякаго добра съ нимъ не мало; на семи подводахъ пріѣхалъ, опричь колымажнаго снаряда. Знаешь ли, Иванъ Степанычъ, у тебя заводецъ знатный; лошади рослыя, статныя; не знаю какъ намъ завтра выѣзжать на своихъ лошадяхъ; боюсь, чтобы воевода не обидѣлся. Ты, знаешь, поздравь воеводу четверкой, право!..»

— «Было бы за что́! Не постоимъ!

— «Да ужъ есть за что́! Еще онъ и въ городъ не въѣхалъ, а ты, Иванъ Степанычъ, уже и провинился.»

— «Я!»

— «Да ужъ никто, какъ ты. Лукичъ всегда какъ начнетъ болтать, такъ до бѣды и доболтается... Поди, разскажи, что ты грибы собиралъ...

— «Я! Да ему-то до моихъ грибовъ что́ за дѣло?»

— «До грибовъ-то ему дѣла нѣтъ, да зачѣмъ парни твои по лѣсу Меланью Ивановну кликали? Воеводиха тоже Меланья Ивановна. Обидѣлась.»

— «Да развѣ одна на свѣтѣ Маланья, одна Ивановна!»

— «Не о томъ рѣчь. Много ихъ, больше чѣмъ надо; да она взяла въ голову, будто лѣшіе ее кликаютъ; а какъ узнала, что грибы собирали, что она въ дурахъ, такъ поднялась такая сумятица, что самъ Лукичъ не устоялъ... Велѣно тебя завтра поставить въ воеводскую канцелярію къ отвѣту... Вотъ, Иванъ Степанычъ, теперь говори, что хочешь, про Галунчикова, а Галунчиковъ для тебя ночи не спитъ: чуть только уложилъ господъ воевода, гей, костыльковскую тройку! Какъ друга дать въ обиду? Валяй и — вотъ я на мѣстѣ, обо всемъ тебѣ донесъ, перехвачу вотъ индюшки, того-сего, проглочу на живую нитку пивца, медку, наливочки и костыльковская тройка, унеси ты мое горе, опять въ провинцію. Не-равёнъ часъ, проснется, спроситъ; да что тутъ десять верстъ; лошади знатныя. Право, пошли ему четверку — съ поздравленіемъ, коли хочешь я тебѣ и письмецо напишу...»

— «Да помилуй, онъ меня не знаетъ!»

— «Какъ не знаетъ! Лукичъ-баба проболтался и про то знаешь, и про другое. Ужъ я же Лукичу завтра намою голову. Воевода раскричался... Нѣтъ ли, братецъ, наливочки?»

— «Степанычъ всю высуслилъ...»

— «Раскричался, братецъ: подайте сюда нѣт-

чика!.. Готовь, братецъ, мошну! Это звѣрь, не воевода. То есть, съ-разу съ меня сдулъ разнымъ товаромъ и наличными больше полсотни... Вотъ наливка, такъ наливка. Чай воевода отродясь такой не пилъ. Не мѣшало бы такъ, знаешь, на пробу дюжинку другую ему послать... Ты вотъ на насъ пеняешь. Что мы? Страхъ того не стоитъ, что мы беремъ. Право! Ну, Иванъ Степанычъ, такъ прикажешь ли письмецо черкнуть?

— «Черкни себѣ, пожалуй!»

— «Такъ вели сюда снарядъ подать... Гей! Сидоръ-грамотѣй, подай-ко перышко и лоскутокъ бумаги, я начерно, а Сидоръ къ завтраму перебѣлитъ; вотъ гляди, Сидоръ, сюда. Вотъ тутъ, знаешь, по-выше, подъ самыми облаками такъ и расмахнись!

«Ваше высокородіе.

Высокородный государь воевода!»

А потомъ чуть не на самомъ концѣ листа, дуй:

«Вся провинція имѣла честь ознакомиться о вожделѣнномъ прибытіи персоны вашего высокородія. Первымъ долгомъ каждаго благороднаго человѣка произвести себя на благоусмотрѣніе вашего высокородія и просить о исходатайствованіи для себя вашей протекціи. Въ твердомъ упованіи на милости ваши, осмѣливаюсь засвидѣтельствовать достовѣрно и не ложно, что я всегда пребуду вашимъ истиннымъ покровителемъ и покорнѣйшимъ рабомъ, до скончанія живота моего. А на первый случай, и то скорости ради, имѣю честь и совер-

шенное счастіе препроводить четверку рысистыхъ лошадей собственной мануфактуры, двухъ кабановъ также изъ костыльковскихъ фабрикъ, полдюжины телятъ...»

Что́ бы еще? Пиши:

«Прочая живость послѣдуетъ за предъидущею въ надлежащемъ порядкѣ и уваженіи, съ коимъ навсегда останусь, буду и пребуду долговѣчно и неизмѣнно вашего высокородія...»

Тутъ, братъ, Сидоръ, опять расчеркнись вотъ этакими литерами:

«Высокородный господинъ воевода
всенижайшій рабъ
Иванъ Костыльковъ.»

Важно! то есть, воевода письмомъ не начитается, на акциденціи не насмотрится; остынетъ, замерзнетъ отъ удовольствія. Три дни взятокъ брать не будетъ; все будетъ лошадокъ гладить. А нѣтъ ли заморскаго?»

— «Было!» съ грустью отвѣчалъ Костыльковъ, глядя на черновое письмо, которое засыхало на столѣ.

— «Да сплыло! Вѣрно Степанычъ высуслилъ! Экая глотка. Скажи пожалуй, зачѣмъ ты его держишь! Вѣдь отъ него, право, всей провинціальной чиновности ущербъ... Да, кстати! Подика сюда, Степанычъ, намъ надо съ тобою тайность нѣкоторую ограничить...»

И коммиссаръ увелъ за руку Степаныча въ другую комнату.

— «Послушай, Степанычъ, вѣдь ты не нашего уѣзда...»

— «Нашего, Ильичъ, нашего. Съ чего ты это взялъ? Мнѣ вчера еще говорилъ фискалъ Митюшкинъ, что ты плутоватъ. Я на дыбы. Ты знаешь, ужъ если я за кого вступлюсь, такъ только держись.»

— «Спасибо, спасибо, Степанычъ. Да видишь, нельзя мнѣ было не спросить тебя: воевода приказалъ подать ему штаты всякого чина и званія людямъ. А у тебя никакого вида...»

— «Полно, Ильичъ! Будто не ты выдаешь аттестаціи. Мнѣ Митюшкинъ вчера хотѣлъ выдать билетъ, взять къ себѣ въ помощники. Да я вѣдь знаю по-больше иного другаго. Не нужно. Ильичъ выдастъ. Оно будетъ формальнѣе...»

— «Конечно, конечно... Да какъ же я тебѣ выдамъ билетъ, когда я не знаю, кто ты и откуда?.

— «То есть бѣда, когда ты, Ильичъ, лишнее выпьешь! Гиль такую несешь, что, право, умному человѣку слушать стыдно. Вотъ мой видъ, а ты только подпиши.»

— «Давай, пожалуй; да, любезный, какъ же я подпишу? Мы тамъ перо оставили. Развѣ Сидора кликнуть? Нѣтъ, ты лучше завтра заходи въ канцелярію...»

— «Пожалуй; кстати, мнѣ завтра и въ провинцію нужно...»

— «А что?»

— «Да тамъ Митюшкинъ просилъ объ дѣльцѣ;

такъ я уже прежде къ тебѣ, а потомъ къ Митюшкину. Знаешь ли, этотъ финскалъ предобрый человѣкъ. Я къ нему имѣю большое уваженіе, а ты?..»

— «Душевное, и совершенную аттенцію, и всякое высокопочитаніе. То есть, честнѣйшій, благороднѣйшій, великосердый, однимъ словомъ, большой человѣкъ...»

— «Какъ мнѣ это пріятно! Вотъ я ему завтра слово въ слово твои рѣчи передамъ...»

— «То есть, я сказалъ только генерально. А въ глубинѣ его душевной благости, смиренномудрія, и всякой воинской и гражданской доблести — прикладный человѣкъ.»

— «Пріятно, ужасно пріятно! Онъ расплачется, какъ я ему разсказывать стану... Да, Ильичъ, у меня къ тебѣ есть просьба...»

— «Не по-пріятельски, Степанычъ, право не по-пріятельски, И ты молчишь! Вздуть ли кого, взыскать ли принадлежность, или что, — всегда готовъ услужить пріятелю. Это моя регула съ малолѣтства...»

— «Пустое дѣло, да мнѣ совѣстно просить у тёзки. И такъ я ему дорого стою. А на-дняхъ пришлютъ, тотчасъ отдамъ... Тридцать рублей...»

— «Тридцать рублей!» Ильичъ почесался, и отвѣчалъ на ухо Степанычу: — «Завтра, завтра, душа моя! завтра, чаятельно, будетъ доходецъ при ауедіенціи и при другихъ случаяхъ; а теперь, право, не при деньгахъ...»

— «Жаль! Завтра будетъ поздно...» сказалъ Степанычъ значительно.

— «Что́ ты этимъ хочешь сказать? Для кого поздно?»

— «Для меня и для тебя...»

— «Послушай, Степанычъ! Обиняки — черствый сухарь: зубы сломаешь, а не раскусишь. Нельзя ли по-фамильярнѣе?»

— «Да что́ ты мнѣ, братъ или сестра?.. Ты себѣ Ильичъ, я себѣ Степанычъ! Мы должны другъ дружки бояться; ты вотъ меня видомъ пугаешь; а я себѣ свое на умѣ. Такъ ужъ какая тутъ дружба! Какъ пришло до денегъ, ты первый на попятный дворъ...»

— «Да полно, Степанычъ! Вотъ тебѣ, на, пятнадцать рублевъ сполна! Чего ты отъ меня хочешь? Больше нѣтъ, хоть зарѣжь. Наличность воеводскимъ ямщикамъ роздалъ!»

— «Спасибо, Ильичъ! Ты мнѣ помогъ на половину, и я тебѣ помогу на половину, какъ вернусь изъ Питербурха!»

— «Изъ Питербурха!»

— «Такъ указано, Ильичъ! Завтра ты мнѣ выдашь видъ, послѣ завтра прощай; но, братъ, зато увидимся скоро и ты будешь радъ моему пріѣзду. Не бойся никого, Ильичъ! Я за тебя!»

И не дожидаясь дальнѣйшаго объясненія, Степанычъ вышелъ изъ комнаты. Ѳома Ильичъ стоялъ на мѣстѣ будто вкопаный, оторопѣвъ и разинувъ ротъ.

— «Что́ за чортъ?» наконецъ пробормоталъ онъ: «Кто онъ? Не станетъ же онъ задарма́ говорить такимъ страшнымъ манеромъ. Кто онъ? А? Ми-

тюпкинъ честитъ его; видно ему извѣстно кто эта птица. А? За что́ я ему дамъ денегъ? За что! Поди, не будь у него тайной власти... Тьфу ты къ чорту, какая притча!... Я всегда на него имѣлъ подозрѣніе.... Вотъ тебѣ, Ѳома Ильичъ, и смѣтка. Чего зѣвалъ? Надо было съ самаго начала принять молодца въ руки, а теперь — поздно! А все этотъ Иванъ Степанычъ! Не тронь, оставь, что́ тебѣ за дѣло, цыпленокъ... А онъ поди какимъ коршуномъ когти разтопырилъ!»

Размышленія Галунчикова были прерваны боемъ часовъ. Куранты фальшиво и безконечно заиграли двѣнадцать. Ѳома Ильичъ ударилъ себя по лбу и бросился въ столовую. Тамъ краснощекій купецъ и военный чинно и смирно дремали въ креслахъ, и храпѣли довольно гармонически. Хозяинъ сидѣлъ въ томъ же положеніи, но не спалъ, а думалъ крѣпкую думу. Степаныча и ученаго не было въ столовой...

— «Гдѣ моя голова?» сказалъ Галунчиковъ, шаря въ потьмахъ по окнамъ и стульямъ, потому что нагорѣвшія свѣчи очень слабо освѣщали столовую: «Вотъ засидѣлся. Пѣтухи глотку дерутъ, воевода того гляди подымается, а я-то гдѣ? А?.. Прощай, Иванъ Степанычъ: не забудь про посылочку, а тамъ все пойдетъ на ладъ... Прощай!»

— «Все будетъ по-твоему, Ѳома Ильичъ!» отвѣчалъ хозяинъ печально, провожая Галунчикова: «только мнѣ что́-то этотъ воевода не нравится...»

— «Слюбится, братецъ! У насъ, братецъ, посади хоть самого сатану на воеводство, коли не по-

нашему, шею сломаемъ... Всей чиновности на перекоръ не пойдешь! Уходится; будетъ шелковый.»

— «Да ужъ и насъ потеребитъ...»

— «Нельзя безъ этого, любезный: чинъ чина почитай; тѣмъ и свѣтъ держится. Прощай!»

И костыльковская тройка унесла коммиссара. Луна скрылась; небо заволокло тучами; стало крѣпко темно; а дорога какъ только вышла изъ плетней усадьбы, заухабилась: то яма, то колея глубокая; то лужа большая. Нельзя было ѣхать, и коммиссаръ громко сталъ проклинать и Костылькова, и Костыльковку, и воеводу, и свою услужливость, и кучера, и тройку, и такъ далѣе. По очереди добрался онъ и до Степаныча. Огромная лужа съ ямистымъ дномъ огласилась проклятіями на Степаныча. Телѣжка медленно съ боку на бокъ переваливалась, а Галунчиковъ возглашалъ:

— «Бродяга! Чортъ его знаетъ кто онъ, а что мошенникъ, Степанычъ, такъ это у него въ глазахъ написано. Ухъ! Вотъ я тебя по этой лужѣ часика два повозилъ бы!»

— «Гляди, самъ изъ нея прежде сухъ выйди!» раздался звучный голосъ человѣка, который съ товарищемъ стоялъ на другомъ краю лужи. Галунчиковъ обмеръ отъ ужаса Черныя тѣни торчали передъ его носомъ. Дуло ружья у одного изъ нихъ явственно рисовалось на горизонтѣ длинною чертою. Бѣжать не куда. А времена были именно такія, что не только въ чистомъ полѣ но въ деревняхъ и селахъ не было безопасности отъ разбойниковъ. Хотя по нѣкоторымъ поводамъ Га-

лунчиковъ былъ во всемъ уѣздѣ единственный человѣкъ, который не боялся воровъ, да съ перваго взгляда онъ не могъ угадать изъ какого уѣзда пожаловала нежданная встрѣча, и, ухвативъ ямщика за воротникъ, не зналъ на что́ рѣшиться. Оглянулся онъ на Костыльковку; далече: за лѣсомъ не видно; не услышатъ; — одно спасеніе — бѣжать. Первый кустъ въ темнотѣ представлялъ болѣе безопасности, нежели телѣжка съ лошадьми, которыя могли только выползти прямо на страшныхъ гостей. У страха глаза велики, говоритъ пословица; кусты, торчавшіе за гостями, показались Галунчикову шайкой, которая ждетъ только приказанія, чтобы броситься на него; и Галунчиковъ, не много думая, прыгъ изъ телѣжки прямо въ лужу. Ямщикъ съ облучка за нимъ. Грязь разлетѣлась брызгами и усѣяла пятнами все платье Галунчикова, но онъ не обращалъ на все на это никакого вниманія. Шагъ да шагъ, прыгъ да прыгъ, словно цапля какая, въ кусты, и давай пробираться цѣликомъ по полю въ ту сторону, гдѣ, по его мнѣнію, не было непріятеля. Лошади, какъ только спрыгнули сѣдоки, тронулись съ мѣста, а гости и захватили ихъ подъ уздцы, провожая бѣглецовъ громкимъ смѣхомъ.

— «Ну, Степанычъ!» сказалъ товарищъ ночнаго гостя: «вѣдь это Галунчиковъ.»

— «Тпиве, Вороненко! По-моему надо еще пошибче на него прикрикнуть. Пусть бѣжитъ. Его дѣло, а не наше, пѣшкомъ ходить: наѣздился на чужой счетъ; вотъ мы теперь на его коникахъ прокатимся; садись на облучокъ!»

— «А ты за барина, что́ ли?»

— «Ты, братъ, Пахомычъ, своихъ школьниковъ разспрашивай! Садись!»

Усѣлись и поѣхались шажкомъ по дорогѣ въ городъ, Степанычъ сѣлъ себѣ бариномъ, а Пахомычъ держалъ только вожжи; костыльковская тройка сама знала дорогу: гдѣ поросятье рыющей, гдѣ лужи да рытвины, шагомъ, а между-тѣмъ затѣялась бесѣда Нѣкоторыя части ея не излишни и въ нашей исторіи.

— «Если бы...» продолжалъ Пахомычъ: «не такія птицы хищныя, такъ можно бы и намъ поживиться. Указъ не то, что сказанъ, а на воротахъ приговоренъ; тако гласитъ: что если кто на кого въ томъ донесетъ его царскому величеству, такъ имѣніе того нѣтчика и всякіе пожитки отданы будутъ доносителю...»

— «Разсказывай, Пахомычъ! Гдѣ таки за то, что донесъ, сейчасъ тебѣ пять шесть сотенъ дворовъ отдадутъ.»

— «Да вотъ я же тебѣ говорю: вернулись мы съ грибовъ; я гляжу на воротахъ бумага приклеена. Кто тутъ былъ? Губернскіе комиссары, говорятъ, проѣзжали; на дворъ не зашли, указъ прибили къ воротамъ и поѣхали дальше на Будимовку. Что́ тутъ ему на воротахъ дѣлать? сказалъ Иванъ Степанычъ. Позовите-ка Сидора: Пускай его уберетъ, да припрячетъ. — Нельзя, Иванъ Степанычъ, не можно! Въ Питербурхѣ одинъ генералъ и боярин большаго рода изволилъ съ своихъ воротъ указъ снять, такъ государь ему

такъ голову взмылъ, что онъ на воротахъ кивотъ для указовъ повѣсилъ. Нѣтъ, батюшка, Иванъ Степанычъ! Пускай себѣ тутъ пребываетъ, а ты вотъ что́ учини: прикажи на столбѣ надъ самымъ указомъ жолобокъ продолбить, да и вели раза два три въ день, что цвѣтокъ садовой, поливать съ верху; литеры расползутся, пожелтѣютъ, прогнѣетъ папиръ, тогда и попы не разберутъ. — Такъ займись же ты этимъ, Пахомычъ, коли хочешь вкусно ужинать. — Всѣ и пошли на дворъ, а я и давай жолобокъ мастерить, да указъ читать. Наизустъ помню. Зовутъ на смотръ въ Москву и въ Питербурхъ всѣхъ, и царедворцевъ, и дворянъ, и офицеровъ; быть всѣмъ къ октябрю; а кто не поѣдетъ, а ты донесешь, все твое! Указъ строгій, безъ всякой поманки... Донеси! Много бы охотниковъ явилось. Чего лучше! Подалъ челобитную, да и сталъ себѣ богачомъ, да ноди, справься съ провинціальною челядью; ябедники сами отъ перваго до послѣдняго, а тебя же ябедникомъ сдѣлаютъ. Вотъ если бы государь проѣзжалъ, или какая знатная персона, дѣло иное; или поѣхать самому въ Питербурхъ, да царю челомъ бить, еще лучше, а такъ только въ омутъ залѣзешь, изъ него же не изыдешь...»

— «И, правду сказать, Пахомычъ, подлое дѣло на своего брата доносить...»

— «Какое же тутъ братство, Степанычъ: я себѣ не изъ шляхетства; меня изъ матросскихъ дѣтей взяли въ математическую школу; обстригли, грамотѣ и цыфири научили, да и послали въ провин-

цію науку держать, какъ другихъ посылаютъ держать управу. Место доходное, правда: безъ моего свидѣтельства и жениться нельзя. Выучу имя-рекъ подписывать, даютъ иной разъ полтину, а коли для свадебнаго случая, такъ и пять рублей. Все оно такъ. Да вѣдь все это сборщина, не вѣрный доходъ, а на комъ бы хотѣлось, на той жениться не мочно. Такъ не отдадутъ, выкупить нельзя... Гм...»

— «А что, Пахомычъ. Вѣдь я чай жениться тебѣ не пристойно?»

— «Это почему?..»

— «Да, видишь, рожа у тебя совсѣмъ не свадебная; носъ такой не трезвой...»

— «Носъ, какъ носъ, посинѣлъ отъ очковъ. Шутка ли по четыре часа невступно на немъ очки сидятъ, а мужчина будь маленько по-лучше лѣшаго, слюбится первой красавицѣ...»

— «Полно, такъ ли, Пахомычъ! Да мнѣ до твоей невѣсты дѣла нѣтъ, у меня своя есть.»

— «Ой-ли?»

— «Да, и знатная невѣста, да надо грамотѣ выучиться. Ты мнѣ, Пахомычъ, завтра же указку, да псалтирь. Я, видишь, для того съ тобой и въ городъ пошелъ; для того тайкомъ и Костылькову бросилъ; проклялъ бы меня Иванъ Степанычъ, если-бъ свѣдалъ зачѣмъ въ городъ иду. Ну Пахомычъ, а скоро ли меня грамотѣ научишь?»

— «А что дашь?»

— «Послушай, Пахомычъ! Если ты будешь со мною такъ говорить, право, разсержусь.»

— «За что?»

— «Какъ за что? Ученый человѣкъ, а такой алтынникъ! Меня протопопъ хотѣлъ даромъ учить, у себя на дому держать даромъ; да не захотѣлъ я огласки. А у тебя я проживу такъ тихо; невидимо...»

— «У меня?»

— «Да, у тебя! Не прихотливъ я, Пахомычъ; меду нѣтъ — я и водку пью; нѣтъ кормленной индѣйки — каплуномъ закушу; нѣтъ перины — на сѣнникѣ просплю. Тебѣ большаго прихода не будетъ, за то честь какая...»

— «Какая-жъ тутъ честь!»

— «Ахъ, ты счетчикъ поганый! Такъ ты этого не умѣешь принять за честь? А? Вотъ я тебя научу счету; не досчитаешься и до десяти кулаковъ, будешь въ лужѣ лежать! Надо вашу братью въ ежовыя рукавицы принять. Постой! я на тебя знаю кому пожаловаться. Ступай вонъ изъ телѣжки! Вонъ!»

— «Вотъ ты какой, Степанычъ! Съ тобой уже и пошутить нельзя.»

— «Отчего нельзя! Да ты самъ сказалъ, что ты не изъ шляхетства. Глупъ я, что осерчалъ на холопа этакого.»

— «Вотъ, видишь, Степанычъ, ты трогаешь меня за амбицію.»

— «Будетъ тебѣ амбиція! Дамъ я тебѣ шутки шутить! Я тебѣ не мальчикъ. Погоняй лошадей проворнѣе. Свѣтаетъ. Найду я себѣ избу по-лучше твоей школьной кануры...»

— «Степанычъ!..»

— «Не умаслишь... Погоди!»

— «Степанычъ! Изъ грона размолвка...»

— «Не я виноватъ, не я и каяться буду...»

— «Степанычъ! въ три недѣли всему научу...»

— «Въ недѣлю, такъ пожалуй, прощу тебя.»

— «Въ двѣ недѣли...»

— «Въ одну!..»

— «Степанычъ! Нельзя! Можно бы, да вѣдь ты не ученикъ, нельзя тебя за уши драть, розгами сѣчь, даже линейкой по рукамъ...»

— «Всё-равно! Я тебя буду за уши драть, пока не выучишь!»

— «Да что тебѣ за охота пришла учиться! Я знаю, что такое наука. То есть, если бы отъ нея барышей не было, вотъ-те Христосъ нарочно бы все забылъ. Тоска такая!»

— «Не умничай, Пахомычъ! Тебя не спрашиваютъ объ этомъ. Въ недѣлю поставь мнѣ все на лице; а если я въ недѣлю не буду грамотѣй, такъ ужъ я знаю, что сдѣлаю...»

— «Ужъ добраго отъ тебя не жди. Всеконечно какой-нибудь тонкостный проектъ...»

— «Что это за огни, Пахомычъ, у монастыря?»

— «Гдѣ? Въ самомъ дѣлѣ, люди съ фонарями ходятъ.»

— «Поѣзжай проворнѣй!»

И Пахомычъ пріударилъ; дорога, подымаясь на возвышенность, становилась всё глаже, да глаже; версты за двѣ до провинціи, стоялъ монастырь. Бѣлыя стѣны ограды, осѣненныя развѣсистыми де-

ревьями, закрывали внутреннія зданія монастыря; черезъ дорогу — монастырская гостинница. У воротъ ея стояла не колымага, но карета, хорошаго, новѣйшаго фасона, нѣсколько монастырскихъ служекъ хлопотали около невиданнаго экипажа и шестомъ примѣривали, взойдетъ ли онъ въ сарай или лучше сказать на крытый дворъ гостинницы.

— «Господи, Владыко живота моего!» сказалъ служка, бросивъ на земь шестъ: «Не взойдетъ!»

— «Не велика и бѣда ..» отвѣчалъ усатый парень въ шапкѣ изъ сѣрыхъ смушекъ: «и на дворѣ постоитъ. Мы долго здѣсь сидѣть не будемъ; дни два, три, да и дальше. Вотъ ужъ почитай девять мѣсяцевъ въ дорогѣ...»

Служки примѣтно обрадовались извѣстію и окружили усатаго парня. Въ это самое время Степанычъ и Пахомычъ подъѣхали къ монастырской гостинницѣ, пріостановили лошадей, и невольно сдѣлались соучастниками общаго разговора.

— «Кто это ѣдетъ?» спросилъ Степанычъ, не подымаясь съ телѣжки.

— «Протоинквизиторъ, Пафнутій...» отвѣчалъ парень, привставъ и приложивъ къ шапкѣ руку.

— «Кто такой?»

— «Протоинквизиторъ, іеромонахъ Данилова монастыря, Пафнутій...» повторилъ парень; но Степанычъ глядѣлъ съ удивленіемъ то на него, то на Пахомыча, а Пахомычъ только пожималъ плечами.

— «Что́ такое? Этакаго чина я не слыхивалъ, да и не выговорить съ разу...»

— «И не мудрено, кормилецъ! Я солдатъ, за

увѣчьемъ въ отставкѣ, всякихъ турецкихъ и шведскихъ словъ наслушался и заморемъ и въ полку, а какъ нанялся въ дорожные къ его высокопреподобію, да какъ сказанъ мнѣ титулъ, такъ, батюшка, дней десять ломалъ языкъ, пока на ладъ пошло. *Прото* еще ничего, слово простое; *протопопъ*, съ того же пошло, да потомъ *инъ*, — день училъ — *кеи*, два дня — *зиторъ* то же безъ мала день; по одиночкѣ еще туда сюда, а заразъ всѣ, бѣда, такъ и перепутаются. Ну, да Богъ помогъ; одолѣлъ-таки.»

— «Да какая же его должность?»

— «Большая! Онъ надъ всѣми архіереями по всему царству надсмотрщикъ. Во все можетъ войти и вмѣшаться. На то ему власть дана и титулъ такой выдуманъ...»

— «Право?..» сказалъ Степанычъ съ выраженіемъ особеннаго любопытства и соскочилъ съ телѣжки:— «За чѣмъ же онъ сюда пожаловалъ?»

— «Объздомъ. По всему царству теперь онъ смотръ ведетъ, да свою команду ставитъ. Такъ указано, что быть ему на́большимъ, а подъ нимъ въ каждой провинціи поменьше, а подъ тѣми еще по-меньше. То есть, онъ генералъ, а тамъ штабъ, а тамъ уже оберы идутъ.»

— «А долго пробудетъ?»

— «Про то онъ знаетъ. Въ другихъ монастыряхъ переночуетъ и уѣдетъ, а въ иныхъ по два, по три дня сидитъ. Были и такіе, что больше недѣли пробавлялись.»

— «А что не монастырь, въ то онъ не мѣшается?»

— «Нѣтъ, онъ не таковскій! Онъ и въ чужой монастырь съ своимъ указомъ лѣзетъ. Эхъ, какъ онъ, вотъ не упомню провицію, — воеводу принялъ въ руки, мылъ ему голову почитай часъ, да потомъ сѣлъ, перо ножикомъ подрѣзалъ, да къ государю чуть не книгу написалъ. Чай уже воевода теперь не на воеводствѣ. Мы, батюшка, люди строгіе, зла не терпимъ; про то и государю извѣстно, и за то и жалуютъ...»

Монастырскій колоколъ разогналъ собесѣдниковъ. Служки, какъ тараканы расползлись и попрятались. Степанычъ вскочилъ на телѣжку; Пахомычъ пріударилъ костыльковскую тройку. Было уже свѣтло; но путешественники пріѣхали въ городъ, когда еще всѣ спали. Бросили и телѣжку и лошадей у воротъ коммиссара, и отправились въ монастырскую школу, гдѣ проживалъ и владычествовалъ Пахомычъ.

— «Ну, ка!» сказалъ Степанычъ, ставя свое ружье въ уголъ обители Вороненко: «Гдѣ твой псалтирь? Подавай-ка сюда грамоту.»

— «Какъ, Степанычъ, и не поспавши?..»

— «У кого мысль въ голову зайдетъ...» отвѣчалъ Степанычъ съ примѣтнымъ одушевленіемъ: «такъ оттуда сонъ ее не выживетъ.»

— «Да у меня нѣтъ мысли, Степанычъ...»

— «Знаю. Да у меня есть. Говорятъ тебѣ, подавай сюда грамоту...»

— «Гражданскую?»

— «Да ужъ не военную! Та сама придетъ. Ну же, поворачивайся!...»

— «Отродясь не видалъ такого прилежнаго ученика! Надо, Степанычъ, тебѣ прежде азбуку...»

— «Не хочу азбуку, подавай грамоту, цѣликомъ!»

— «Что ты съ нимъ будешь дѣлать! Ну, садись, я поищу моей книжки. Куда она завалилась? Ужъ не стащила ли Орефьевна?..» И пока Пахомычъ шарилъ по всѣмъ угламъ, искусно не находя книги, которая весьма чинно лежала на столѣ передъ самымъ носомъ собесѣдниковъ, солнце поднялось; улицы оживились; раздались колокола; всѣ приѣтно спѣшили въ соборъ, куда прежде всего долженъ былъ явиться воевода, и оттуда уже, съ благословенія духовенства, приступить къ обозрѣнію провинціи.

— «Счастливъ ты!» сказалъ Степанычъ: «Нельзя пропустить церемоніи. Многое можно подмѣтить. Ложись спать, да только смотри, Пахомычъ! Послѣ обѣдни и ты и грамота будьте готовы оба, да перекусить чего-нибудь также не помѣшаетъ. Слышишь!»

— «Слышу и слушаю!» отвѣчалъ Пахомычъ, кланяясь въ слѣдъ незваному гостю.

— «Тьфу къ чорту!» сказалъ онъ, бросившись на лежанку: «Кто онъ, откуда? Какой у него, право, резонъ? Какъ онъ смѣетъ! Я, братъ, не посмотрю, что у тебя косая въ плечахъ, да прямая въ длину. Я, братъ, изъ тебя сдѣлаю треугольникъ. Видишь, съ указомъ, будто старшій! Вотъ я тебя!»

Пахомычъ зѣвнулъ.

— «Что-то ты и на Меланью Ивановну изкоса поглядываешь... А Меланья Ивановна... Голубушка...»

Пахомычъ заснулъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

КИТЮШКИНЪ И ПЕРВЫЕ ЕГО ПОДВИГИ.

Два земскіе коммиссара меньшей статьи, которые того ради и назывались просто коммиссарами, чинно стояли на паперти и пропускали въ соборъ только провинціальную чиновность. Народъ сталъ толпами на площади и зѣвалъ на ту сторону, откуда ожидали воеводу. Степанычъ легко пробрался къ паперти, но далѣе не могъ пройти. Коммиссары не знали его, и хотя по одеждѣ принимали за дворянина и даже царедворца, но всё-таки въ соборъ не пропустили.

— «Гдѣ земскій коммиссаръ, гдѣ Ѳома Ильичъ?» спросилъ онъ съ выраженіемъ нетерпѣнія и негодованія: «Позовите его сюда!»

— «Не бывалъ еще!» отвѣчалъ коммиссаръ, безпокойно поглядывая на Степаныча: «Такой страхъ, право, если опоздаетъ; тройка воротилась, да безъ сѣдоковъ. Не ушибся ли! Чай ямщикъ былъ хмѣленъ...»

— «А чай и самъ былъ на-веселѣ...»

— «Статься-можетъ. По-человѣчески...»

— «Такъ пустите же меня въ соборъ...»

— «Не указано. Вотъ пріѣдетъ Ѳома Ильичъ,

какъ ему угодно, а до него, кромѣ чиновности съ женами и домочадцами, никому сегодня нѣтъ пропуска.»

— «Посмотримъ!» съ гордостью сказалъ Степанычъ, взглянувъ на толпу, изъ которой выползалъ Митюшкинъ, въ полу-военномъ нарядѣ.

— «Иванъ Степанычъ!..» воскликнулъ Митюшкинъ еще изъ-дали: «ты ли это? А у меня до тебя есть дѣльце. Пойдемъ-ка въ соборъ. Пока служба, разсудимъ...»

Коммиссары отскочили отъ дверей и Степанычъ прошелъ въ соборъ за Митюшкинымъ, лукаво улыбаясь. Принявъ и возвративъ привѣтствія всей чиновности, Митюшкинъ удалился въ уголъ церкви и сказалъ на-ухо Степанычу:

— «Эхъ, Иванъ Степанычъ! Чувствую мудрость твою! Ты у меня золото, не совѣтчикъ. Выручи меня, батюшка, изъ бѣды.»

— «Что такое, Прохоръ Семенычъ?»

— «Отъ губернскаго — головомытіе черезъ почту получено, съ надлежащими угрозами. Умудри насъ, Господи, и помилуй! Мнѣ ли, увѣчному ратнику Божію, одолѣть полчище нечестивыхъ! Есть тутъ между нами какой-то змѣй невидимый; Губернскому на насъ наговариваетъ. Тормошитъ онъ меня, коритъ лѣностью и праздностью и тунеядцемъ называетъ...»

— «За что?»

— «Поди, спроси, за что? Пишетъ страсти такія и все по секретности, что у меня голова кругомъ пошла. Вотъ, заходи послѣ церемоніи. Ахнешь!»

— «Идетъ!»

— «Ѣдетъ!»

— «Шествуетъ!» раздалось извнѣ и внутри собора. Протоіерей съ духовенствомъ, взявъ въ руки крестъ, поспѣшилъ на встрѣчу воеводѣ. Объ половины дверей растворились и въ соборъ вступилъ высокій, статный монахъ, въ сопровожденіи игумена ближняго монастыря и еще одного незнакомаго никому монаха. Преклонясь передъ крестомъ, въ дрожащихъ рукахъ протоіерея, Пафнутій, — то былъ именно самъ протоинквизиторъ, — скромно и медленно пошелъ въ алтарь; все духовенство невольно за нимъ послѣдовало. Никто и не замѣтилъ, какъ вслѣдъ за нимъ вступилъ въ соборъ Максимъ Ивановичъ съ Меланьей Ивановной и въ сопровожденіи Лукича. Всѣ дотого оторопѣли неожиданнымъ прибытіемъ Пафнутія, что не знали что говорить, что дѣлать. Одинъ только Степанычъ не потерялъ присутствія духа; пошелъ въ алтарь, перекрестился на престолъ и съ приличнымъ благоговѣніемъ произнесъ: Воевода изволилъ пожаловать! Протоіерей поспѣшилъ на встрѣчу, все пришло въ порядокъ и началась литургія. Пафнутій все время оставался въ алтарѣ и вышелъ только къ молебствію. Увидѣвъ его, воевода измѣнился въ лицѣ и едва могъ поддержать свою важность. По окончаніи молебствія, Пафнутій подошелъ къ воеводѣ и спросилъ сухо:

— «Давно ли пріѣхалъ?»

— «Вчера лишь!»

— «Теперь у тебя больше власти и больше от-

вѣта. Ты чай не устроился и пустыми посѣщеніями стѣснять тебя не стану. Благоволи къ нашей честной братіи. Ближній здѣшній монастырь — прикладный. Будь ему защитой и покровомъ. О другихъ монастыряхъ твоей провинціи, буде нужно, напишу. Да будетъ съ тобою и со всѣми вами благословеніе Господне!»

Протоинквизиторъ благословилъ воеводу и всѣхъ предстоявшихъ — и уѣхалъ. Воевода всё еще стоялъ на томъ же мѣстѣ, будто кипяткомъ его обварило. Чиновность сложилась въ такую же позицію. Меланья Ивановна нѣсколько разъ дергала его за руку; наконецъ дернула такъ сильно, что воевода чуть не потерялъ баланса; но это и спасло его: онъ пришелъ въ себя; принужденно улыбнулся. Чиновность также улыбнулась. Онъ собирался что-то сказать, чиновность слушать... На счастье подошелъ протоіерей и просилъ зайти къ нему на завтракъ. Веселіе при этомъ слухѣ вполнѣ возстановилось. Шествіе открылъ воевода съ Меланьей Ивановной. На дорогѣ столкнулись они съ Галунчиковымъ, который только-что взбѣжалъ на лѣстницу и такъ запыхался, что едва могъ проговорить слово.

— «А!» завопилъ воевода: «Такъ-то ты исполняешь свою должность! Протоинквизиторъ въ провинціи, а воевода ничего и не знаетъ! А?»

— «Я, батюшка, по твоей милости до обѣдень проголодала со всѣми людьми и лошадьми...» сказала Меланья Ивановна хотя и тихо, но весьма выразительно и, для большей дѣйствительности сво-

ихъ словъ, показала Галунчикову сжатый кулакъ.

— «Вотъ изволите видѣть, ваши высокоблагородія...»

— «Послѣ, послѣ!» перебилъ воевода: «Стану я изъ-за этакой, какъ ты, дряни, возмущать живота моего благополучіе. Пошелъ прочь! Жди меня у канцеляріи...»

— «Ваше высокоблагородіе!» сказалъ Галунчиковъ съ чувствомъ: «Интересъ вашъ увлекъ меня въ нѣкоторое нерасположеніе ваше, чѣмъ премногое огорчительство и прискорбіе совсѣмъ меня преисполняетъ...» И не дожидаясь реплики, нагнулся и скороговоркой прошепталъ наухо воеводѣ: — «Лошади, коровы, телята, бараны, козы, курицы, индюшки, гуси, всякая живность. Цѣлый обозъ! Не пристойно чинить пріемъ казеннымъ вещамъ у канцеляріи...»

— «Ну, такъ ступай ко мнѣ на домъ и тамъ тебѣ арестъ, впредь до усмотрѣнія!...» сказалъ воевода громко, нимало не измѣняя гнѣвнаго вида. Галунчиковъ преклонился и уклонился. Шествіе прошло мимо. Вся чиновность послѣдовала за воеводой; Митюшкинъ также повернулъ-было на церковный дворъ, да Степанычъ удержалъ его.

— «Куда это вы, Прохоръ Семенычъ?»

— «Какъ куда! Богатѣйшій завтракъ! Три дни ѣсть не захочется...»

— «Охъ! Животолюбіе — тяжкій грѣхъ, Прохоръ Семенычъ. Прожора на томъ свѣтѣ за каждый день по сту лѣтъ голодать будетъ. Да еще

на глазахъ у всѣхъ, у этихъ нечестивцевъ, что и спятъ и видятъ, какъ бы ябедою й всяческою клеветою изжить изъ среды своей богобоязливаго мужа.»

Митюшкинъ со слезами поглядѣлъ на церковный дворъ и просительно сказалъ:

— «Душа, Степанычъ! Ломтикъ осетринки, кусочикъ стерляди, да балычка стружекъ пять шесть — и закаюсь; и бѣгомъ къ тебѣ прибѣгу...

— «Ну, ступайте, коли хотите потерять и душу, и мѣсто. Только ужъ и между нами все кончено. Мое дѣло сторона. Я ужъ ни слова не скажу...»

— «Да послушай, Степанычъ! Я только взгляну какъ у него столъ убранъ; такъ ли какъ на храмовомъ праздникѣ... Право, только взгляну... Ну, что жъ ты молчишь? Можно?»

— «Нельзя!»

— «Почему нельзя?»

— «Потому что воевода новый и самъ протоинквизиторъ въ провинціи.»

— «Да развѣ я монахъ, что ли? Ну, да нечего дѣлать; пойдемъ, Степанычъ!»

— «Куда?»

— «Домой!»

И Степанычъ проворно пошелъ по улицѣ, стараясь какъ-можно скорѣе отвести Митюшкина отъ соблазнительной приманки...

— «Ну, что же къ вамъ пишетъ губернскій?» спросилъ Степанычъ, будто такъ-себѣ, между прочимъ...

— «Вотъ этакая, братецъ, стерлядь! Вмѣстѣ

торговали. Я вчера съ отцемъ Иваномъ нарочно на лодкѣ къ дальнему лову ѣздилъ, будетъ ужъ такъ о полуночи. Онъ вѣдаетъ, что я на рыбу знатокъ.»

— «Попадетесь вы съ этой рыбой сами въ неводъ; не выпутаетесь.»

— «А что?...»

— «А то, что самоловами ловить не указано, а у васъ и домъ-то на рѣкѣ, и самоловы на дворѣ.»

— «А гдѣ такой указъ?...»

— «То-то и есть, что вы за рыбою, указовъ не читаете. Галунчиковъ уже объ этомъ погоговаривалъ.»

— «А что же онъ говорилъ?»

— «Да что я за пересказчикъ такой! Стану я доносить, что про васъ по всей провинціи въ трубы кричатъ...»

— «А что кричатъ?»

— «Да что вы трусъ...»

— «Я трусъ?...»

— «Вы...»

— «Да я въ семи сраженіяхъ изувѣченъ; у меня раны по всему тѣлу, что веснушки; у меня въ аттестатѣ линній листъ пошелъ на регистръ ранамъ; я двухъ Турковъ одной пушкой убилъ. Я трусъ! Подай-ка мнѣ пушку, пускай выходятъ, посмотримъ. Въ антиллеріи трусить нечего.»

— «Что вы прожора...»

— «Прожора! Развѣ моя вина, что въ мой желудокъ противъ другаго вчетверо больше входитъ?

Лошадь еще больше ѣстъ, такъ ужъ и прожора! Завидно, не бойсь... Ну, что тамъ еще?»

— «Что вы пьяница!»

— «Ну, братъ, это говоритъ аптекарь, потому что Нѣмецъ; потому что придешь къ нему, такъ жаль стаканчика, наперстькомъ поитъ. Я вѣдь не какой Нѣмецъ, я русскій человѣкъ. Крѣпкая натура требуетъ и напитковъ крѣпкихъ, а у меня же и раны... Только-то?»

— «Говорятъ, что вы своего дѣла не знаете...»

— «Ахъ, ты, Степанычъ, Степанычъ! Да кто же его и знаетъ? Подумай ты самъ, какъ его знать? Одному научишься, а ужъ другое готово. Вѣдь на старости память, что сѣтка: мелочей не удержитъ, а у меня же и раны.»

— «Ну, такъ и говорятъ, коли боленъ, такъ зачѣмъ служитъ, чужое мѣсто занимаетъ!»

— «Отъ чего же оно чужое, когда оно мое?»

— «Да не ваше, Прохоръ Семенычъ, совсѣмъ не ваше!»

— «Да что ты это, Степанычъ!»

— «Ваше мѣсто такое, чтобы за порядкомъ смотрѣть, чтобы всѣ свое дѣло дѣлали; питербургскіе указы исполняли, чтобы казнѣ не было изъяна, а вы... Погодите! Будетъ вамъ за дворянъ.»

— «Да что ты, развѣ читалъ писаніе отъ губернскаго?»

— «Да что мнѣ читать? Я самъ по себѣ знаю, что такъ, а что не такъ. Вотъ, чего дальше, хоть бы домъ вашъ, и тотъ, посмотрите, на улицу

угломъ стоитъ противъ указа. Пьяный ночью зацѣпитъ...»

— «А ты и это знаешь?...»

— «Какъ не знать?...»

— «Только право, Степанычъ, всего разъ и случилось, какъ воеводу провожали...»

— «Пускай и разъ, а этотъ разъ по городу прогулялся, такъ стало больше сотни. И бѣдность-то какая у васъ въ домѣ! Ветхость, неопрятность! Не хорошо, Прохоръ Семенычъ, право, нехорошо. Водкой по всѣмъ комнатамъ пахнетъ.»

— «Отвори окно, Степанычъ! Теперь вишня въ самой порѣ; я вишневку дѣлалъ, такъ духъ остался. Не хочешь ли отвѣдать?»

— «Пожалуй!» отвѣчалъ Степанычъ; «Да прежде покажите-ка, что тамъ губернскій пишетъ!»

— «На, читай, а я пока сбѣгаю за наливкой. Палашка съ утра на церемонію ушла; правду сказать, что за завтракъ у попа. Стерлядь-то, стерлядь! Господи, Боже мой, что за стерлядь! Не боюсь соблазна никакого, ну а что, если бы такую рыбку, да въ великой постъ показали? Не устоялъ бы, право, не устоялъ.»

— «Не разберу, Прохоръ Семенычъ, связно написано. Возьмите-ка очки, да прочтите!»

— «Запри окошко, неравно услышатъ нечестивцы: возрадуются зѣло. Слушай!

Понеже въ пунктѣ второмъ о должности фискала напечатано, что долженствуетъ онъ во всѣхъ безгласныхъ дѣлахъ и всякихъ преступленіяхъ, какого бы они имени ни были, доносить, въ

губерніи вѣдомо учинилося, что въ вашей провинціи проживаютъ многіе дворяне и царедворцы не удѣлъ, которые на службѣ и ни у какихъ дѣлъ не были, и поманкою воеводы и другихъ чиновъ по вѣдомостямъ прописаны, а въ губерніи по справкамъ оказалось, что тѣ прописные по регистрамъ нѣтчики въ провинціи проживаютъ и ты, Прохоръ Митюшкинъ, о томъ извѣстенъ; лѣности же и праздности ради о томъ не доносишь, и виноватыхъ на судъ не позываешь и не обличаешь, тунеядствуешь токмо и жалованье царское безъ пользы тратишь. Того-для имѣешь ты, Прохоръ Митюшкинъ, указъ сей получа въ повожденіи твоемъ весьма исправитися и въ нерадѣніи оправдитися черезъ отъисканіе злонамѣренныхъ по всей провинціи нѣтчиковъ и настоять, чтобы къ октябрю по указу въ Москву или въ сенатъ неотмѣнно явилися. Буде же не явятся, то быть тебѣ, Прохору Митюшкину, въ отвѣтѣ, за что̀ весьма подлежать будешь законному штрафу.»

— «Все?»

— «А развѣ мало?»

— «Вздоръ, пустяки. Не надъ чѣмъ и голову ломать.»

— «Ваня, душоночка моя, красавчикъ ты мой, растолкуй!»

— «Да въ томъ бѣды никакой, что растолкую, да послушаешься ли?»

— «Какъ отца роднаго, только вразуми!»

— «А вотъ ты теперь, какъ есть, ступай къ воеводѣ и скажи ему безъ обиняковъ послѣ титу-

ла: сказано, дворянамъ и царедворцамъ на Москвѣ и тамъ гдѣ-то еще...»

— «Въ сенатѣ.»

— «Ну, въ сенатѣ, смотръ къ октябрю. Такъ я милости твоей или какой тамъ титулъ...»

— «Вашему высокоблагородію...»

— «Ну, вашему высокоблагородію и доношу, что въ провинціи нашей проживаютъ нѣтчики, которые отъ многихъ смотровъ укрывались. Такъ по должности моей прошу и настаиваю тѣхъ нѣтчиковъ наблюсти и на смотръ выслать, о чемъ прошу мое доношеніе или что тамъ...»

— «Протестъ.»

— «Ну, протестъ, на бумагѣ принять и въ книги какія тамъ...»

— «Въ протоколы...»

— «Ну, въ книги протоколы записать того-для, чтобы начальству моему объ усердіи и радѣніи Прохора Митюшкина было извѣстно и вѣдомо...»

— «Ангелъ ты, мой! Умница! Право, ступай въ службу: будешь по малой мѣрѣ воеводой!»

— «Воеводой!» сказалъ Степанычъ, горько усмѣхнувшись: «Не знаешь ты моей тоски-кручины... Дивно это, Прохоръ Семенычъ, отъ чего у иного есть и родъ и прозвище, и хоромы и деньги, и дворы, и крестьяне, и... а у другаго—одна душа и та безъ прозвища.»

— «Что ты это городишь, мой другъ? Я отъ тебя такихъ печальныхъ рѣчей никогда не слышалъ...»

— «Да и то жалѣю, что эти сболталъ. Когда-

нибудь на покоѣ разскажу я вамъ былъ небывалую, безприкладную, а теперь ступайте къ воеводѣ...»

— «Да надо же, любезный, протестъ состряпать. Ужъ пусть лучше завтра...»

— «А завтра — опять завтра, до того дня, какъ губернскій пришлетъ за вами сторожей, да подводу...»

— «Душа ты моя, да какъ же я къ нему на тощакъ пойду!...»

— «Только на тощакъ и справитесь; а ужъ какъ всѣ наливки перепробуете, ни языкъ, ни рука не повернется...»

— «Слабенькой, Степанычъ! Вотъ коли хочешь отвѣдаемъ...»

— «Какъ вернетесь отъ воеводы, тогда пожалуй... Ну, ступайте же; теперь самое время.»

Митюшкинъ на разные лады отнѣкивался и выпрашивался; но неумолимый Степанычъ поставилъ на своемъ: со словъ его написана бумага и Митюшкинъ, бережно уложивъ ее за пазуху, выступилъ въ походъ. Степанычъ проводилъ его до большой улицы, персонально, до воеводскаго крыльца глазами и тогда уже отправился къ Пахомычу.

Воевода былъ уже дома: видно Меланья Ивановна имѣла за нимъ на завтракѣ тщательное наблюденіе, потому что Максимъ Ивановичъ былъ свѣжъ и бодръ, какъ-будто и не завтракалъ. Лукичъ и Галунчиковъ чинно стояли у дверей, а у креселъ Меланьи Ивановны на плохомъ стулѣ си-

дѣлъ Иванъ Степанычъ Костыльковъ; самая веселая, пріятная бесѣда шла какъ по бархату; Меланья Ивановна болтала безъ умолку...

— «Ужъ я тебѣ говорю, Иванъ Степанычъ: удружилъ всѣмъ, а пуще лошадками. И въ губерніи такихъ не видала А что ты про службу толкуешь, такъ ужъ Максимъ на все дуракъ, а на эти дѣла первый знахарь. Сиди себѣ у него, что за печкой. Вѣдь это легко сказать: всѣхъ дворянъ на службу сошлешь, съ кѣмъ-то самъ жить будешь? Этакъ не провинція, а степь будетъ. Ну, что, Максимъ Ивановичъ, что же ты молчишь?...»

— «Да, матушка, моимъ словамъ нѣтъ мѣста!»

— «Поди ты, грубіянъ этакой! То есть, Иванъ Степанычъ, не приведи Богъ, что отъ него терплю. Словечка не дастъ сказать; вотъ только съ гостьми и отведу душу; а то, право, монастырь, не жизнь. И скажи пожалуй, ты, этакой чудовый парень, а въ деревнѣ живешь, одинъ одинёхонекъ, какъ перстъ. Сирота ты моя круглая! Господи Боже мой, и на службу несчастнаго горемыку! Мало у нихъ служивыхъ людей, что ли? Помню я, какъ противъ Шведа шли на Украйну; право, думала что ужъ на свѣтѣ больше и людей не осталось; то есть, сто полковъ; видимо — не-видимо... Не ѣзди, Иванъ Степанычъ! Право, и безъ тебя тамъ много.»

— «И радъ бы съ такими добрыми людьми хлѣбъ соль водить, да вотъ какъ Максимъ Иванычъ укажетъ...»

— «Да что его слушать! Да и что онъ? Ну,

говори же, Максимъ, на-прямки.... Чего брови насупилъ?»

— «Вотъ мое честное, шляхетское слово, что, по моей винѣ, никто тебя не потревожитъ...» сказалъ воевода: «только гляди же, самъ не попадайся! Ну, Лукичъ, и ты, Ѳомка, ступайте себѣ домой: пока не нужно. Теперь мы одни, Иванъ Степанычъ; сегодня пересматривалъ я указы, что̀ безъ меня пришли: есть одинъ строгій, новый смотръ объявленъ. Высланъ къ Москвѣ для того смотра стольникъ Степанъ Колычевъ. Все это не бѣда; сладимъ, только не попадись ты на глаза отцу Пафнутію. И не его дѣло, конечно, да къ царскому интересу больно радѣтеленъ. Я ужъ послалъ къ ближнему монастырю коммиссара наблюсти когда онъ изъ нашего сосѣдства снимется. Какъ служилъ я въ губерніи, такъ по долгу службы провожалъ я его до рубежа провинціи, наслушался я всякихъ наставленій. Гражданскій чинъ, будто свои книги знаетъ. И то не такъ, и то противъ указа. Только и могъ оборониться, что все на губернское начальство сваливалъ. Кажется, повѣрилъ... Такъ ужъ сдѣлай дружбу, Иванъ Степанычъ, до отъѣзда отца Пафнутія, сиди въ своей усадьбѣ чинно; звѣрковъ не лови; никакого полеванья не чини, да и проѣзжихъ, Богъ тебѣ прости, не пугай на дорогѣ. Ну, а уѣдетъ, мы его благополучное отшествіе у тебя отпируемъ, а ты пока готовь пиръ-празднество... Вотъ еще я хотѣлъ сказать тебѣ, что у тебя проживаетъ какой-то...»

Но рѣчь воеводы была прервана Галунчиковымъ; онъ вбѣжалъ весьма не церемонно и не то тихо, не то громко сказалъ: — Митюшкинъ идетъ!...»

—«Меланья Ивановна...» сказалъ торопливо воевода: «потрудись, припрячь на часокъ Ивана Степаныча!»

— «Поди ко мнѣ, кормилецъ ты мой родной, поди сюда! Самъ отецъ Пафнутій у меня тебя не отъищетъ.»

Митюшкинъ, если-бъ хотѣлъ, то могъ бы еще увидать каблукъ сапога Костылькова; но ему было не до того: онъ дрожалъ какъ листъ и въ душѣ проклиналъ Степаныча, возбудившаго въ немъ неумѣстную, по его мнѣнію, энергію. Воевода въ свою очередь не могъ замѣтить замѣшательства Митюшкина, потому что ему самому было неловко отъ присутствія лица, которое находясь внѣ его власти, во всякое время могло надѣлать ему хлопотъ и непріятностей... Митюшкинъ остановился посереди комнаты и откашливался; воевода, пригнувшись, ожидалъ начала интересному разговору...

— «Ваше высокоблагородіе...»

— «Что прикажете, Прохоръ Семенычъ?»

— «Что? Ничего. Такъ-себѣ, безъ малѣйшаго повода...»

— «Не благоугодно ли присѣсть?»

— «Признательно сказать, сидѣть лучше, чѣмъ стоять...»

— «Конечно, Прохоръ Семенычъ, конечно: ноги не затекутъ...»

— «Вотъ я поэтому и на завтракахъ не бываю: глупая привычка стоя кушать...»

— «Да что же худаго-то въ завтракѣ, Прохоръ Семенычъ? Вѣдь и у архіереевъ и у митрополитовъ завтраки бываютъ: обычай...»

— «И чудесный обычай!» со вздохомъ сказалъ Митюшкинъ, прищурясь: «А какова была стерлядка, Ваше высокоблагородіе?»

— «Которая?»

— «Позвольте, ваше высокоблагородіе, ужъ признаюсь, я отъ васъ этого не ожидалъ. Кажется, я не подалъ никакого резону...»

— «Извините, Прохоръ Семенычъ, я вѣдь простъ, въ толкъ не взялъ...»

— «Полноте! Вы только дуракомъ прикидываетесь. Да впрочемъ, можетъ-быть, вы охотникъ не до стерлядей, а до баранины, телятины и дичи...»

— «Прохоръ Семенычъ, чинъ, мѣсто и званіе мое не дозволяютъ мнѣ переносить столь обидныхъ выраженій.»

— «Прекрасно, вы обидѣли меня, а сами обижаетесь!»

— «Я? васъ? Да вотъ Ѳомка Галунчиковъ свидѣтель, что я васъ ничѣмъ, ни словомъ, ни помышленіемъ не обидѣлъ.»

— «Такъ вы меня не обидѣли?.. Вы замѣтили и ростъ и другія статьи стерляди? А? замѣтили! Я говорю статьи: потому, что стерлядь величиною была чуть не съ лошадь.»

— «Да что вы ко мнѣ привязываетесь? Вѣдь не

пѣшкомъ же мнѣ ходить? Купилъ, не одну, а четырехъ, а которую изъ никъ стерлядью зовутъ, такъ не мое дѣло, знать не знаю! А деньги заплатилъ наличныя, вотъ Ѳомка видѣлъ...»

— «Самъ отсчитывалъ...»

— «Галунчиковъ лжесвидѣтель; не вѣрьте ему, ваше высокоблагородіе. Онъ плутъ и лгунъ. Сами подумайте, трусъ ли я? Вотъ мой аттестатъ, благо при мнѣ случился. Извольте читать списокъ моимъ ранамъ, такъ послѣ этого судите, трусъ ли я? Прожора? Нѣтъ, тотъ не прожора, кто могъ быть у отца протоіерея на завтракѣ, и не пошелъ по собственной охотѣ. Улика на лицо. Какой же я прожора?... Пьяница? Теперь уже за полдень, а у меня во рту ничего не было, а что я дѣло знаю и смыслю, такъ вотъ мой протестъ. Прошу принять и въ книгѣ записать.»

— «Какой протестъ?»

— «Въ силу послѣдняго указа, противъ нѣтчиковъ. Счастливо оставаться; а Галунчиковъ лжесвидѣтель; не извольте ему вѣрить; онъ и противъ вашего высокоблагородія всякую небывальщину разсказывать будетъ. Это змѣя подколодная.... Прощенья просимъ!»

И Митюшкинъ вышелъ изъ комнаты. На крыльцѣ сталъ обтирать потъ, крупными каплями унизавшій чело Прохора Семеныча.

— «Тьфу ты пропасть!» сказалъ онъ, спускаясь съ тесовой лѣстницы: «Какъ это претрудно служить по гражданской части! Противъ крѣпости легче устоять, чѣмъ противъ такого воеводы! Не-

честивцы! Отряхаю прахъ съ сапоговъ моихъ. Нога моя не будетъ на твоемъ порогѣ.»

И Митюшкинъ пошелъ довольно скоро, сколько ему позволяла тучность. Дома забылъ всѣ тягости службы, услаждая горечь трудовъ сладостію новосозданной винневки...

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Двадцатое Августа.

На прекрасномъ обширномъ дворѣ у длинныхъ хоромъ костыльковскихъ, шелъ сельскій шумный праздникъ. Баринъ справлялъ «дожинки;» *) дѣвушки красиво разубранныя, заплетаясь въ длинную вереницу, пѣли пѣсни; молодежь мужескаго пола, раздѣлялась на нѣсколько партій, играла въ городки и свайку; дезертёры, удосужась, подбѣгали къ женскимъ кругамъ, но оттуда съ визгомъ отгоняли ихъ дѣвки и молодицы; старики у водочной кладовой тянули хлѣбное и растягивались, гдѣ кому случилось; раздавалась и скрыпица, но до нея мало было и охотниковъ и охотницъ; только старухи нѣкоторое время занимались музыкой; но вино уже обращалось въ слезы и жидкіе звуки скрыпицы заглушались визгливыми голосами растроганныхъ бабъ, поминавшихъ былое и былыхъ своихъ любимцевъ. А у кого ихъ не было, плакали объ баринѣ, или объ Малашкѣ; или о сгорѣвшей недавно мель-

*) Есть русскія губерніи, въ которыхъ праздникъ окончанія жатвы называется, какъ и у Западныхъ Славянъ, дожинками.

ницѣ: черный трупъ ея еще торчалъ на пригоркѣ. Наряденъ былъ праздникъ, нечего сказать; платье на всѣхъ было праздничное; дѣвушки и молодки были увѣшаны бусами разнаго рода; разноцвѣтные платки придавали всей картинѣ азіятскую пестроту; прекрасный вечеръ благопріятствовалъ веселью. Да и какъ не веселиться, когда самъ баринъ игралъ въ городки, съ отборной дружиной молодыхъ парней, а назначенныя для барскаго угощенія три молоденькія деревенскія граціи то и дѣло подносили ему прохлажденіе — крѣпкій медъ — съ прикуской, съ свѣжимъ пламеннымъ поцѣлуемъ. Не забудьте, пировала только одна волость, а такихъ какъ эта, было у Ивана Степаныча пять или шесть. Дожинки распредѣлены были въ очередь. Сегодня въ Костыльковкѣ, черезъ три дни въ Будимовкѣ и такъ далѣе. Празднества Цереры при дворѣ Ивана Степаныча предпочитались всѣмъ другимъ торжествамъ. Онъ ожидалъ ихъ съ какимъ-то лихорадочнымъ трепетомъ. Дождался, и въ буйномъ разгулѣ купался какъ въ морѣ. На эти празднества не приглашались ни гости, ни городская чиновность: некогда тутъ было Ивану Степанычу ухаживать за ними; у него и такъ было черезъ-чуръ много дѣла. Были наслажденія, которыми Костыльковъ не любилъ ни съ кѣмъ дѣлиться; но были и такіе люди, которыхъ онъ любилъ видѣть на дожинкахъ: это — тёзка Степанычъ и Пахомычъ. Въ этотъ разъ, какъ и обыкновенно, о Степанычѣ, онъ и не вспомнилъ, но о Пахомычѣ онъ сталъ заботиться еще съ утра и первое рас-

поряженіе этого торжественнаго дня было отправленіе въ городъ подводы за Пахомычемъ. Хотя картины праздника давно уже увлекли разсчетливое вниманіе Костылькова; хотя онъ уже разрѣшилъ нѣсколько важныхъ вопросовъ; хотя наконецъ приближалась пора выбрать царицу дожинокъ, которую до будущихъ дожиннокъ всѣ величали маткой, но именно послѣдняя церемонія и затрудняла Ивана Степаныча. Тутъ Пахомычъ и его краснорѣчіе были необходимы. Вотъ почему въ самомъ разгарѣ игры и веселія, онъ часто поглядывалъ на дорогу и сквозь зубы ворчалъ что-то. Въ одинъ изъ этихъ разовъ Иванъ Степанычъ воскликнулъ: ѣдетъ! ѣдетъ! На встрѣчу Пахомычу! И вся волость шумною толпою съ дубинами, съ музыкой, пѣснями и пляской двинулась со двора на улицу, въ которой за постройками и плетнями нельзя уже было видѣть подводы Пахомыча. Желая потѣшить гостя неожиданною встрѣчею, Иванъ Степанычъ наказалъ всѣмъ замолчать и притаится у плетней. Стукъ колесъ приближался; межу плетней усадьбы показались лошади; по сигналу гурьба завопила, музыка и пѣсни загремѣли, поднялись и закружились въ воздухѣ дубины и шапки; испуганныя лошади взбѣсились и между тѣсныхъ рядовъ зрителей, къ общему изумленію, пронеслась шестерка дюжихъ коней, за нею невиданная карета. — Поселяне съ крикомъ отхлынули; самъ Костыльковъ отскочилъ, да не ловко и повалился въ грязный ровъ. Кучера потерялись, не могли управить взбѣшеныхъ лошадей; у самыхъ воротъ

карета зацѣпилась колесомъ за дряхлый столбъ; передняя часть хода свернулась; лошади уткнулись въ ограду и остановились; но при этомъ поворотѣ дышло, также проскользнувъ между переднихъ лошадей, ударилось въ столбъ и сломалось. Иванъ Степанычъ ужасно взбѣсился, какъ смѣютъ въ такой праздникъ черезъ усадьбу ѣздить посторонніе люди. Онъ даже и не подумалъ, что грязь обезобразила его нарядное платье; едва вскочилъ, выхватилъ у перваго встрѣчнаго дубину и бросился съ цѣлой гурьбой за каретой; но прибѣжалъ на мѣсто въ самое то время, когда изъ кареты выходилъ отецъ Пафнутій, поддерживаемый знакомымъ намъ усачомъ. Крѣпокъ былъ костыльковскій медъ, великъ гнѣвъ Ивана Степаныча, но встрѣча была пострашнѣе всего этого. Хмѣль будто вышибло; онъ съ ужасомъ остановился на серединѣ улицы и безсмысленно глядѣлъ на грознаго іеромонаха.

— «Что, никого не ушибло?» спросилъ Пафнутій.

— «Богъ миловалъ, всѣ цѣлы!» отвѣчало нѣсколько голосовъ.

— «Во истинну, Богъ помиловалъ! Что у васъ тутъ за сходбище?»

— «Дожинки, честной отецъ! Барскія дожинки, не то что прикащицкія!»

— «А гдѣ же баринъ?»

— «А вотъ милости твоей кланяется...»

И въ самомъ дѣлѣ Костыльковъ съ перепуга, ни съ того ни съ сего давай кланяться...

— «А это твой дворъ и твои хоромы?..»

— «Его, честной отецъ, и всѣ мы его; и другія волости, то-же его...»

— «Не откажи, господинъ помѣщикъ, въ гостепріимствѣ, пока повозку наладятъ...»

Костыльковъ только кланялся. Пафнутій, понимая его замѣшательство, медленно пошелъ къ хоромамъ.

— «Это онъ, онъ самъ!» прошепталъ Костыльковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: «Сидоръ, Сидоръ! Гдѣ ты, Сидоръ? Чистый охабень! Проворнѣй!..

Сидоръ со всѣхъ ногъ бросился въ хоромы.

— «Эй, братцы!» кликнулъ усачъ: «нѣтъ ли у васъ дышла, али нѣтъ ли плотника?»

— «Подайте дышло!» закричалъ Костыльковъ: «А вонъ отъ старыхъ колымагъ придется. Скорѣе уѣдетъ. Эй, Евдокимъ! Гони всю гурьбу въ садъ, пусть тамъ посидятъ смирно; а уѣдетъ, мы свое наверстаемъ... Что въ самомъ дѣлѣ, будто ужъ я и у себя не хозяинъ?..»

Костыльковъ надѣлъ чистый охабень, оправился и пошелъ въ хоромы довольно бодро. Въ первой же палатѣ нашелъ онъ отца Пафнутія, спокойно сидѣвшаго въ креслахъ; старикъ глядѣлъ на заходящее солнце и по лицу его казалось, что никакая мысль не возмущала его душевнаго покоя. Но когда вошелъ Костыльковъ, брови Пафнутія нахмурились, глаза заблистали.

— «Не осердись, господинъ помѣщикъ, что я нарушилъ твой праздникъ. Понадобилось мнѣ въ губернію; подумалъ: проселкомъ ближе, и поѣхалъ. Да вотъ стало дальше...»

— «Дышло сейчасъ будетъ готово.»

— «Только дышло? Спасибо. Я думалъ, что вся повозка изломалась. А какъ тебя зовутъ?»

— «Иваномъ.»

— «А прозвище?»

— «Прозвище? Да на что тебѣ прозвище?»

— «Пригодится не для меня, такъ для тебя...»

— «А вотъ, кажется, и дышло готово. Приладили. Надо самому присмотрѣть. Извини, честной отецъ...»

— «Не трудись! У тебя рабочихъ рукъ довольно. Ты лучше со мной побесѣдуй. Скажи, пожалуй, такой молодецъ, а не на службѣ!»

— «Былъ всё боленъ .. вотъ теперь объявленъ смотръ, такъ пойду; на-послѣдяхъ тѣшусь...»

— «Богопротивная потѣха, Иванъ! Пожали дары Божіе, поблагодарили Господа, повеселились на отдыхѣ, да зачѣмъ пьянство, зачѣмъ буйство, зачѣмъ животы своихъ людей и проѣзжихъ странниковъ подводить подъ бѣду, отъ нея же охранила рука Божія? Недостойно все это, Иванъ, ни твоего рода, ни званія. Богъ проститъ тебя, Иванъ, если покаешься; Богъ накажетъ строго, если устоишь въ грѣхѣ. Вотъ теперь сладили. Прощай! Проводи меня съ миромъ и любовію. Люди твои не должны ни слышать, ни видѣть чѣмъ я взыскалъ твою грѣховность.—Смотри же, исправься, Иванъ! Пойдемъ!..»

Почтительно, очень почтительно проводилъ Костыльковъ отца Пафнутія до кареты, очень низко

поклонился, но не могъ взглянуть ни на что, ни на кого, пока не убѣдился, что Пафнутій уѣхалъ.

— «Меду!» закричалъ онъ прыгая какъ ребенокъ: «А гдѣ мои ненагляднаго? Въ саду, что ли? Ну, пустилъ я козла въ огородъ! Яблоки и груши, прощайте! Такъ и есть! Это Филька; чуть только унаровитъ, что некому приглядѣть, ужъ возлѣ груши. Что, поймалъ за ухо; погоди-ка; отобью я у тебя охоту отъ лакомства...»

Несчастный Филька пищалъ, пойманный за ухо неумолимою и дюжею рукою Костылькова; какъ-вдругъ двѣ дѣвушки закричали:—Пахомычъ ѣдетъ! Пахомычъ ѣдетъ! И Филька брошенъ. Гурьба двинулась къ воротамъ сада, но Иванъ Степанычъ стоялъ тамъ въ видѣ колосса родосскаго и громогласно кричалъ:

— «Стой! Стой! Какъ пріѣдетъ, тогда ужъ зададимъ трезвону, а то еще пожалуй, того гляди...»

Костыльковъ запнулся. Но на этотъ разъ не было ошибки. — Поджарая пара разъѣздныхъ лошадей рысцой втащила телѣгу на дворъ; въ ней сидѣло двое; легко догадаться кто именно: Пахомычъ и Степанычъ. Тогда всѣ смѣло бросились изъ сада, съ гамомъ, крикомъ, музыкой и пѣснями: — Пахомычъ! Пахомычъ! кричали веселые парни. — Степанычъ! шептали красныя дѣвушки.

— «Такъ-то ты отъ своей должности бѣгаешь!» закричалъ Костыльковъ, схвативъ Пахомыча за сюртукъ и потрясая весьма живописно...

— «Не я, а должность отъ меня бѣгаетъ.»

— «Благо, что не опоздалъ, а то бы мы тебя въ прудъ до-смерти закупали!»

— «Милости твоей всякое благодарствіе.»

— «Гдѣ ты это пропадалъ, почитай три недѣли?»

— «Гдѣ!»

И Пахомычъ посмотрѣлъ на Степаныча, но, встрѣтивъ его гнѣвный взглядъ, продолжалъ запинаясь:

— «А гдѣ же мнѣ пропадать? Училъ ребятишекъ, да ничего не зашибъ: такіе всѣ были ученики. Только самъ изубыточился.»

— «Полно, Иванъ Степанычъ, его распрашивать, извѣстно, что онъ дѣлалъ, училъ мальчишекъ, да пьянствовалъ; такъ ужъ откуда ему алтынъ встрону отложить. А что, тёзка! Солнце ложится; подъ сумерки Пахомычъ не разберетъ и матки; на него нынче курячья слѣпота находитъ. Что сова ночью, то онъ днемъ.»

— «Правда твоя, Степанычъ, и я-то умаялся. Пора приниматься за матку. Гей, красныя, становитесь въ кружокъ!»

Дѣвушки, особенно, которыя по-моложе, весьма неохотно собирались въ кружокъ: а Костыльковъ въ это время читалъ Пахомычу краткую инструкцію.

— «Ты знаешь Грушу Сергѣеву?..»

— «Дѣвчонку, что по веснѣ у тебя огородъ полола?»

— «Посмотрѣлъ бы ты, какъ поднялась эта дѣвчонка и распустилась цвѣткомъ махровымъ. Да ужъ не время тебѣ толковать. Грушу! смотри, не ошибись, Грушу! Нето заправду ослѣпнешь...»

— «Грушу, такъ Грушу! По-мнѣ всё-равно... Да что́-то нынче мало дѣвушекъ.»

— «И тѣ не охотой пришли!» сказалъ кто-то и спрятался въ толпѣ молодыхъ парней.

— «Что́ же вы! Становитесь! Сидоръ! Поди-ка по саду, да выгони лѣнивыхъ! Проворнѣе!»

Съ крикомъ и визгомъ, иныя со слезами выскакивали изъ сада миловидныя пѣтчицы и, отирая слезы прозрачными рукавами, становились въ круговую. Пахомычу поднесли огромную чару меда. Онъ подносилъ чару къ устамъ каждой по очереди, чуть та хотѣла хлѣбнуть, онъ проворно отнималъ чару и отпивалъ самъ, да такъ усердно, что на третьемъ нумерѣ не стало матеріала. Подлили. Вторая чара продержалась до девятаго нумера. Третья пошла еще тише...

— «Ну-ка!...» сказалъ онъ поднося чару къ миловидной поселянкѣ, которая закрылась отъ него бѣлыми руками и отвернулась: «Не отнѣкивайся. Сладокъ медъ. Ну, что́ же ты рыло-то воротишь? Насильно милъ не будешь. А что закрылась, такъ не велика бѣда, я только погадаю, тотчасъ смѣкну кто ты, какъ тебя зовутъ и чѣмъ тебѣ быть на бѣломъ свѣтѣ...»

— «Гадай, гадай, Пахомычъ!» раздалось со всѣхъ сторонъ. Голосъ Костылькова былъ сильнѣе прочихъ... Дѣвушка хотѣла бѣжать; сестрицы придержали за полы, а Пахомычъ выпилъ чару до-тла, поставилъ на земь, перевернулся кубаремъ, будто колесо какое или мячъ, вскочилъ, выпрямился, закрутился на одной ногѣ и произнесъ торжествен-

но: — «Была ты сирота бездомная; на хлѣбахъ у добрыхъ Сергѣевыхъ; была ты Груша, какъ и всѣ Груши; быть тебѣ Аграфеной, маткой дожинокъ.»

— «Никогда! никогда!» воскликнула дѣвушка, рванулась изо всей мочи и пустилась бѣжать въ садъ благимъ-матомъ.

— «Лови!» закричалъ Костыльковъ и всѣ бросились въ садъ. Но Груша, видя, что ей нѣтъ исхода изъ барскаго сада, какъ серна взбѣжала на плотъ, стоявшій на пруду, перекрестилась, дикимъ, пронзительнымъ голосомъ закричала: «Прощайте!» и, бултыхъ въ воду. Ребенокъ, она думала, что эта дрянная сажалка — море-окіянъ. Конечно, вода покрыла ее съ головой; утонуть можно было, но для этого требовалось искуство, знаніе своего дѣла. И лодки не отвязывали. Трое, не раздѣваясь соскочили въ прудъ и вынули изъ воды Грушу, будто изъ ящика. Правда, она лишилась чувствъ, но не захлѣбнулась. Самоубійцу отнесли въ барскія хоромы. Костыльковъ проводилъ ее и скоро вышелъ на дворъ въ совершенномъ спокойствіи. —

— «Спасибо, ребята! Потѣшили вы меня сегодня знатно. За Грушу не бойтесь. Выспится и все пройдетъ. А вы себѣ-ступайте! Сидоръ, по чаркѣ на дорогу, кому вина, кому пива, кому меду, какъ кто пожелаетъ!»

— «Благодарствуемъ, кормилецъ!» закричало нѣсколько человѣкъ и толпа, безъ пѣсенъ, тихо, грустно, стала расходиться.

— «Сидоръ!» продолжалъ Костылѣковъ: «Возьми-

ка ты и Пахомыча къ себѣ. Напой, накорми! Сослужилъ онъ службу свою знатно.»

Пахомычъ поклонился и пошелъ за Сидоромъ. Одинъ только Степанычъ остался на опустѣломъ дворѣ и въ этотъ разъ не заблагоразсудилъ напоминать о себѣ. Онъ пошелъ въ садъ, куда черезъ пять минутъ явилась и Меланья: вѣроятно, въ общей сумятицѣ они успѣли условиться...

— «Ну, душа моя!» спросила шопотомъ Меланья: «Не видать ли кого? Того гляди подъ липой запряталась какая дѣвушка, или пьяный заснулъ умаявшись. Видишь, Степанычъ! Повѣрила я тебѣ, пришла, но гляди, только подумаешь меня обидѣть, не пожалѣю себя, закричу во все горло. Люди еще не улеглись. Говори, что ты мнѣ хотѣлъ сказать и отпусти меня съ миромъ....»

— «Бѣдная, бѣдная Малаша! Сказать ли ей...» Нѣтъ, погоди, скажи ты лучше мнѣ: любишь ли ты Костылькова?»

— «Любила...»

— «А теперь?...»

— «А теперь жалѣю. Право, сердце надрывается, какъ гляжу на все на это. Хмѣль до добра не доведетъ. Сегодня чуть не убили монаха...»

— «Какого монаха?»

— «Проѣзжалъ тутъ какой-то, въ такой повозкѣ, что и старики не видали, шестерикомъ...»

— «Пафнутій!»

— «Кажется, его слуга такъ кликалъ.»

— «Такъ онъ былъ здѣсь?»

— «Не по охотѣ. Съ пьяныхъ глазъ приняли его за Пахомыча и...»

И Меланья по-своему разсказала происшествіе. Съ жадностью, съ какимъ-то наслажденіемъ слушалъ Степанычъ ея разсказъ... Прерывалъ его только словами: «знатно, любо» и тому подобными восклицаніями. Когда Меланья кончила, Степанычъ взялъ ее за руку и весьма значительно повторилъ вопросъ:

— «Скажи, милая, скажи безъ обиняковъ, любишь ли ты Костылькова? Спрашиваю не для себя. Ты меня любить не можешь. Жаль тебѣ будетъ съ нимъ разстаться или нѣтъ?»

—«Нѣтъ! простодушно» отвѣчала Меланья: «нѣтъ! только куда же мнѣ дѣться?»

— «Какъ куда? замужъ, за добраго человѣка!»

— «Ужъ не за тебя ли, Степанычъ? Пожалуй, я не прочь, да какъ это уладить? Вѣдь онъ меня не изъ любви, а изъ своего нóрова отъ себя не отпуститъ... Привыкъ »

— «Мало ли чего, Отвыкнетъ!... Постой, Малаша! Помнишь ли ты отца?»

— «Нѣтъ.»

— «А матушку?»

— «Нѣтъ! Только и знаю, что меня покойная Костылькова у своихъ воротъ подобрала. Отреклись отъ меня отецъ и мать. Никогда объ нихъ ни слуху, ни духу; подросла я; какъ себя помню, стала мнѣ плохая жизнь...»

Малаша заплакала. Степанычъ былъ какъ на угольяхъ. Ему примѣтно хотѣлось что-то разска-

зать ей, но благоразуміе, или другія причины его удерживали...

— «Что плакать, Малаша! Богъ милостивъ...» сказалъ онъ. Въ голосѣ его такъ много было нѣжности и состраданія, что Малаша невольно спросила:

— «Степанычъ, что съ тобой?»

— «Ничего! Прощай! Если можешь, захворай, Малаша, такимъ недугомъ, чтобы Костыльковъ не искалъ твоей бесѣды... Понимаешь ли? — Въ постель не ложись, даромъ только истомишься, а знаешь, будто зубы болятъ. Придетъ, а ты охай, хныкай, онъ и убѣжитъ отъ тебя. Бабій вой тому сносенъ, кто въ душѣ свою бабу носитъ. Понимаешь ли? А я, пока, буду мое дѣло стряпать... Прощай, Малаша! Ступай! Становится свѣжо! Мнѣ твое здоровье дороже своего. Прощай! Ступай съ Богомъ, спи спокойно, а я ужъ за тебя и молиться и расплачиваться буду... Что ты такъ странно смотришь на меня? Развѣ не вѣришь?...»

— «Вѣрю, добрый человѣкъ, вѣрю, а моему столбняку не дивись! я такихъ рѣчей еще не слыхала...»

— «Не то еще услышишь. Только завтра же притворись больною.»

— «Притворюсь, Степанычъ, притворюсь. Что ни скажешь, все будетъ по-твоему; сердце мнѣ говоритъ, что ты мнѣ худаго не хочешь...»

— «И говоритъ правду. Послушай, Малаша...»

Но стукъ колесъ возвѣстилъ о пріѣздѣ поздняго гостя. Малаша пожала руку Степанычу и пустилась садомъ скорѣе въ свою комнату, а Степа-

нычъ подошелъ къ крыльцу преспокойно; изъ-дали онъ распозналъ костыльковскую тройку; въ столовой нашелъ Галунчикова, который кричалъ Сидору:

— «Коли спитъ, разбуди и зови. Дѣло важности перваго ранга, дѣло государственное. А, здравствуй, Степанычъ: какъ это тебя вездѣ встрѣтишь? Крылышки, что ли? Что же ты ко мнѣ за видомъ не приходилъ въ городѣ?...»

— «Не нужно. Свой старый отъискался. Ну, а ты съ добрыми вѣстями?...»

— «Я, братецъ, съ дурными самъ не ѣзжу; на то, братецъ, у меня есть подкомандные коммиссары и штатные инвалиды. Да что онъ въ самомъ дѣлѣ нейдетъ! Иванъ Степанычъ! Иванъ Степанычъ! Я вѣдь не въ гости пріѣхалъ.»

— «Провались ты, ненасытная крыса!» кричалъ Костыльковъ въ бѣшенствѣ и вскочилъ въ столовую въ шелковомъ халатѣ: «Вонъ отсюда, обирало этакой! Вонъ, говорятъ тебѣ, нето дубьемъ проводимъ. Что это, право! Сапоговъ не успѣлъ сбросить; ночью всегда его принесетъ. Точно филинъ какой! Чего хочешь! Сидоръ, засади ему кашлуна въ горло; стопу меду на голову вылей и вытолкай!...»

Галунчиковъ отъ удивленія выросъ почти вдвое, такъ, что длинная его фигура почти достигла полотнянаго потолка, а голова пудрилась даромъ столѣтнею пылью. Онъ смотрѣлъ то на Ивана Степаныча, то просто на Степаныча, и даже на

Сидора, и не могъ придумать ни одной приличной для такого случая фразы.

— «И правду сказать,» подхватилъ Степанычъ: «Пора бы тебѣ, Галунчиковъ, и честь знать. Ночью всегда зачешется: забражничаетъ, другихъ въ соблазнъ введетъ. Вѣдь ночью спать хочется ..»

— «Да и какъ еще!» съ досадой сказалъ Костыльковъ: «Не на-животъ, а на-смертъ. Чучело этакое! Совѣсть спать не даетъ.— Днемъ воеводу надуваетъ, а ночью карманы. Точно тать ночной...»

— «Точно разбойникъ на большой дорогѣ!» прикинулъ Степанычъ.

Галунчиковъ дорослалъ уже до потолка вплотную.

— «Ну, ужъ пріѣхалъ, такъ говори, что корысть твоя сочинила?»

— «Пафнутій уѣхалъ!» заревѣлъ Галунчиковъ громовымъ голосомъ, желая поразить Костылькова внезапною радостью...

— «Пошелъ ты съ своимъ Пафнутіемъ! Видали мы и тебя и Пафнутія.»

— «Оба не въ пору гости.»

— «Ужъ точно не въ пору, а пуще этотъ домовой; подарилъ дураку тройку на свою голову; колеситъ по ночамъ; радъ, что лошадки завелись. Ну, Пафнутій уѣхалъ, уѣзжай же и ты по-добру, по-здорову. Ну, чего стоишь, видно еще есть новость?...»

— «Завтра воевода со всею чиновностью будетъ въ Костыльковку!...» уже завопилъ Галунчиковъ и эта рѣчь возъимѣла свое дѣйствіе. Костыльковъ поправилъ свой халатъ, какъ-будто воевода былъ

уже на порогѣ. Хмѣль, который дотого сильно дѣйствовалъ въ распаленномъ тѣлѣ, охладился. Костыльковъ потеръ себя по лбу и сказалъ про-себя: «Ну, мало одного, цѣлый полкъ грабителей: этотъ только передовой. Проклятый день!...»

— «Двадцатое августа!» сказалъ Степанычъ, заслышавшій послѣднее восклицаніе.

— «Такъ что жъ, что двадцатое августа?»

— «Ничего. Я только говорю, что двадцатое сегодня, а завтра будетъ двадцать-первое. Воевода долго гостить не будетъ; день, два, и уѣдетъ. На дожинки въ Будимовку поспѣемъ, а нельзя же не принять воеводы; а что мы съ тобою погорячились противъ Галунчикова, такъ мы же свои братья, сочтемся, и самъ онъ виноватъ. Спросилъ бы, можно ли видѣть Ивана Степаныча; ему бы и сказали: нельзя, ступайте къ Степанычу: мы бы съ нимъ и переговорили и все было бы на порядкѣ. А то вскочилъ, нашумѣлъ, накричалъ; бери себѣ, пожалуй, не жалѣютъ, да соблюдай благочиніе...»

— «Да, да, соблюдай благочиніе...»

— «Ну, вотъ теперь и самъ видишь, что повелъ себя глупо. Стоишь какъ обвареный; не мы же виноваты! Кайся, Ильичъ! Ужъ тутъ нечего! Кланяйся Ивану Степанычу, проси прощенія. Воевода теперь нашъ. Тебя заурядъ честимъ, а нужды въ тебѣ никакой нѣтъ, развѣ для посылокъ. Кланяйся, полно важничать, а нето, братецъ, сами согнемъ. Пяти сотенъ не пожалѣемъ; такъ и скрючимъ...»

— «Тысячу рублей!...»

— «Батюшка, Иванъ Степанычъ!» поблѣднѣвъ, съ трудомъ прошепталъ Галунчиковъ:— «За что это! Что я вамъ сдѣлалъ...»

— «Ужъ не твое дѣло объ этомъ спрашивать!» перебилъ Степанычъ: «Кланяйся и проси прощенія, да и пойдемъ ко мнѣ: «Ужъ коли Ивану Степанычу некогда, такъ я за него!»

— «Вотъ ужъ по-пріятельски, такъ по-пріятельски!»

— «Что это! Плевая службишка! Ну, Иванъ Степанычъ, простите Ильича. Можетъ-быть, онъ и отъ усердія.»

— «Право, отъ усердія, ей Богу отъ усердія...»

— «Не божись, вѣримъ! Иванъ Степанычъ простилъ тебя: видишь, смѣется. Пойдемъ. Простите, Иванъ Степанычъ, будьте покойны, спите себѣ, а мы съ нимъ и закусимъ и перетолкуемъ...»

— «Прощай, мой другъ! Вижу, что я не ошибся въ тебѣ! Прощай, Галунчиковъ... Впередъ...»

— «Въ послѣдній разъ, Иванъ Степанычъ, право, ей Богу, въ послѣдній разъ. Прощенія просимъ! Покойной ночи...»

Но Костыльковъ не слушалъ Галунчикова, онъ не ушелъ, а убѣжалъ изъ столовой, а Степанычъ безъ церемоніи взялъ за руку Галунчикова и повелъ за собою въ отдаленный покой, назначенный для пріѣзда Степаныча.

—«Послушай, Степанычъ!» сказалъ Галунчиковъ, когда они вошли въ комнату: «Зачѣмъ ты этакую глупую мысль вбиваешь въ голову Костылькову?

Вѣдь для воеводы, конечно, Иванъ Степанычъ дороже меня...»

— «Во-первыхъ, Галунчиковъ: это ты говоришь, что глупая мысль, а Ивану Степанычу нравится. Во-вторыхъ, не изволь меня кликать Степанычемъ, а нето, я тебя отучу отъ такой фамильярности...»

— «Да что́ вы сегодня, больно много выпили, что́ ли?»

— «Послушай, Галунчиковъ! Повторяю тебѣ, говори со мной уважительно. Изволь меня называть полнымъ именемъ: вѣдь не я, а ты изъ подлаго народа, не честнымъ промысломъ до коммиссарства доползъ. Былъ ты при старомъ коммиссарѣ мальчишкой, безъ обуви по улицамъ бѣгалъ, грамотѣ училъ тебя дьячокъ. Сдѣлалъ изъ тебя коммиссаръ писаря, потомъ коммиссара меньшой статьи, потомъ за большое воровство ты въ земскіе попалъ.»

— «Кто тебѣ, Степанычъ...»

— «Опять Степанычъ!..»

— «Кто вамъ, Иванъ Степанычъ, такого вздора нагородилъ?..»

— «Покойникъ!»

Галунчиковъ въ ужасѣ соскочилъ со стула.

— «Ты ужъ думалъ: умеръ, такъ и концы въ воду. А? А хочешь ли, вотъ только скажу семь завѣтныхъ словъ, покойникъ самъ сюда войдетъ и все разскажетъ... Хочешь?»

— «Сгинь, пропади, нечистая сила. Съ нами Богъ, да расточатся...»

— «Хочешь?»

— «Не надо! Иванъ Степанычъ! Не надо! Вѣдь ты на меня напраслину взводишь; все это дѣло учинилъ старый земскій.»

— «А ты только хоронилъ несчастнаго? А? При томъ коммиссарѣ — покойникъ жилъ-себѣ лѣтъ десять, а при тебѣ и года не прожилъ...»

— «Такъ Степану Ѳедоровичу было угодно...» въ лихорадкѣ отвѣчалъ Галунчиковъ: «И то сказать, умеръ себѣ по своей, а не по моей волѣ. Я его не душилъ...»

— «А домучилъ. Ну, да теперь все прошло, минуло, забылось; садись, Ѳомка, и разсказывай, гдѣ была эта усадьба?»

— «Теперь тамъ есть корчма или кружало, да пустой домъ объ одномъ жильѣ; когда бываетъ большой ловъ, такъ туда ѣздятъ, въ томъ домѣ живутъ. Лѣтомъ еще жить можно; а зимой снѣгъ въ комнаты пробирается; а другое строеніе цѣловальники на топливо израсходовали. Да послушайте, Иванъ Степанычъ: что вы надо мной слѣдствіе производите, допросъ снимаете? Такъ покажите указъ.

— «Хочешь слѣдствія, изволь будетъ и слѣдствіе.»

— «Не надо, Иванъ Степанычъ, не надо.»

— «Ну, не надо, такъ разсказывай безъ допроса. Кто теперь въ томъ домѣ живетъ?»

— «Никто. Хотѣли чинить два или три года тому назадъ, да какая-то ворожея отсовѣтовала. Говоритъ, отъ того дома бѣда будетъ. Да и въ усадьбѣ-то надобности никакой нѣтъ, а поля-то, батюшка, поля, все пшеничныя; да лѣсъ десятинъ

триста, дерево къ дереву на подборъ, вонъ гдѣ соблазнъ. Глупо сдѣлалъ Степанъ Ѳедоровичъ: ему бы купить; дешевле бы обошлось.»

— «Ну, что объ этомъ говорить! Сталось, прошло, минуло, забылось.»

— «Отъ чего же вы объ этомъ домѣ изволите меня допрашивать?»

— «Я? И не думалъ. Такъ пришлось къ слову; а мнѣ что до вашихъ плутней. Мое дѣло сторона... А воевода завтра съ воеводихой будетъ?..»

— «Какъ же-съ! Меланья Ивановна безъ себя въ такой дальній путь Максима Иваныча не отпуститъ...»

— «Какъ же намъ принять ихъ? Ты, Ѳомка, къ этому дѣлу привыченъ. Разсказывай!»

— «Во-первыхъ, то есть сначала, завтракъ въ часовъ десять...»

— «Да развѣ такъ рано пожалуютъ?..»

— «Для передовыхъ...»

— «А кто же эти передовые?»

— «По церемоніалу назначено ѣхать съ утра Лукичу и рентмейстеру при двухъ коммиссарахъ: потомъ камериру и старшему бурмистру тоже при двухъ коммиссарахъ; а ужъ за ними при четырехъ коммисарахъ и мостовомъ надзирателѣ воеводскій поѣздъ.»

— «Коммиссары — это твоя челядь, Ѳомка; ихъ можно въ банѣ угощать.»

— «О, помилуйте, Иванъ Степанычъ! Гдѣ угодно, — лишь бы угощать...»

— «Тѣхъ четырехъ, да воеводу съ воеводихой

въ хоромахъ размѣстить; только надо опростать то отдѣленіе, гдѣ Меланья Ивановна живетъ...»

— «А Меланья Ивановна куда же дѣнется?..»

— «Да нельзя же ей оставаться при воеводихѣ. На глаза не должна показываться; женскій полъ весь изъ хоромъ прочь; во-первыхъ, потому что Ивану Степанычу надо за воеводихой пріударить.»

— «Такъ, такъ, Степанычъ: экая умница!..»

— «Опять!»

— «Не буду, право не буду, ей Богу не буду; съ привычки обмолвился.»

— «А во-вторыхъ, ты знаешь Лукича? Лакомка; Мы его въ дураки и посадимъ. Духу женскаго не будетъ. Монастырь, да и полно...»

— «Иванъ Степанычъ! Благодѣтель! Утрите ему носъ. Онъ у меня не одну отбилъ.»

— «Ну, такъ за дѣло, Ѳомка! Ступай на конюшню. Вели парой повозку заложить, что на помочахъ, да по пути кликни Сидора. Знаю, что ты проголодался. И мнѣ что-то ѣсть хочется.»

Галунчиковъ побѣжалъ для исполненія данныхъ порученій. Вскорѣ явился и Сидоръ. Инструкція была довольно обширна. Сонный Сидоръ съ трудомъ могъ упомнить ея подробности; однако же упомнилъ и все явилось, и въ комнатѣ Степаныча и въ повозкѣ, назначенной для особенной цѣли. Галунчиковъ пожиралъ съ жадностью холодныя блюда; Степанычъ отговаривался позднею порою, и тѣмъ, что ключи у Костылькова, и поилъ Ильича, вмѣсто меду, настойками и наливками. Сильныя ощущенія, испытанныя въ этотъ день Галунчико-

вымъ, помогли хмѣлю: онъ не успѣлъ пресытиться, какъ уже напился и опьянѣлъ совершенно. Степанычъ съ помощью Сидора бросилъ его на свою кровать, погасилъ свѣчу и вышелъ въ садъ. Къ удивленію, въ окнахъ Меланьи онъ увидѣлъ свѣтъ черезъ круглые прорѣзы въ ставняхъ; бережно отодвинувъ ставню, онъ увидѣлъ, что Меланья стоитъ посереди комнаты на колѣняхъ, присѣвъ на ноги; руки и голова ея были опущены; видно было, что она послѣ молитвы забылась, или упавъ въ забытьи передъ иконой, не могла уже и молиться. Легонько постучалъ онъ въ окно, Меланья вздрогнула и даже вскрикнула.

— «Это я, Степанычъ: не бойся. Малаша.»

Малаша съ примѣтною радостью отворила окно: — «Что ты хочешь сказать?» спросила она съ любопытствомъ.

— «Добрыя вѣсти, добрыя вѣсти, Малаша! Я теперь во всемъ домѣ хозяинъ. Костыльковъ мнѣ передалъ начало. Завтра будутъ такіе гости, что тебѣ не пристойно оставаться въ Костыльковкѣ; да для нихъ же надо припасти и мѣсто для ночлега. Такъ я тебя отвезу на старую усадьбу, гдѣ ты и проживешь на покоѣ, долго, можетъ-быть до свадьбы. Будешь сама себѣ хозяйкой; а Костылькову столько будетъ дѣла, что онъ про тебя и не вспомнитъ.»

— «Степанычъ! Степанычъ! Богъ тебя послалъ мнѣ, горемычной.»

— «Вотъ ужъ въ этомъ ты не ошиблась, другъ мой! Одѣнься-ка по-теплѣе. Завяжи въ узелъ нѣ-

сколько подушекъ, и изъ платья, что по-нужнѣе и подай ихъ сюда. Я уложу въ повозку. Съ тобой поѣдетъ старуха. Никитична для послугъ и разговора. Въ повозкѣ есть и съѣстное, на первый случай, и свѣчи, и медъ, и пиво; долго ждать меня не будешь; да и не даль же какая ни есть: верстъ шести не будетъ. Ну, душа моя, въ походъ!

Все было исполнено по наказу Степаныча и повозка съ дорогой клажей отправилась въ путь. Степанычъ напутствовалъ ихъ крестнымъ знаменіемъ и отеръ слезу тайную, потому что въ темнотѣ ночи никто не могъ ея и видѣть. Къ утру весь женскій полъ со всѣхъ отдѣленій кухонныхъ, кучерскихъ и другихъ былъ собранъ и высланъ въ Будимовку, къ примѣтному удовольствію мужей, отцовъ и братьевъ, которые, узнавъ о пріѣздѣ городскихъ гостей, понимали и похваляли предусмотрительную распорядительность Степаныча. На дворѣ еще отъ стараго порядка, заведеннаго Марьей Савишной Костыльковой, подъ навѣсомъ болтался колоколъ. При покойницѣ, онъ созывалъ челядь къ урочнымъ работамъ и трапезѣ. При Иванѣ Степанычѣ обычай этотъ былъ преданъ забвенію, потому что часто не въ-попадъ нарушалъ спокойствіе хозяина. Но въ это утро, едва солнце поднялось на высоту семи часовъ, Степанычъ собственноручно и бойко сталъ звонить. Челядь сбѣжалась и окружила его; но онъ всё продолжалъ бить въ колоколъ, пока на крыльцѣ не показалась фигура Костылькова въ шелковомъ халатѣ. Тогда Степанычъ

сказалъ дворнѣ: — «Ждать меня здѣсь!» и самъ бросился съ рапортомъ къ хозяину.

— «Что это значитъ?» кричалъ тотъ съ крыльца.

— «А вотъ что́!» отвѣчалъ Степанычъ спокойно: «Пожалуйте сюда. Гости чуть-чуть не на дворѣ. Я знаю вашу привычку; коли полюбится, вы иной разъ пробавляетесь до обѣда и наслаждаетесь медовымъ сномъ; а эти грабители въ дѣсять часовъ ужъ будутъ ходить по всѣмъ вашимъ хоромамъ, кричать: «Иванъ Степанычъ, Иванъ Степанычъ, пора завтракать!» Такъ лучше нашъ сонъ отложить до завтра, а теперь изготовиться къ предстоящей бѣдѣ. Слушайте, Иванъ Степанычъ, вотъ какъ я распорядился и вотъ почему.»

Степанычъ прежде излагалъ поводы каждой мѣры, а потомъ уже доносилъ объ ея исполненіи и привелъ Костылькова въ совершенный восторгъ.

— «Другъ ты мой, заступникъ, спаситель!..» и то и другое.

— «Все это вздоръ...» отвѣчалъ Степанычъ покойно: «это службишка дрянная. Я хотѣлъ только знать, одобряете ли вы мои дѣла или нѣтъ. А если одобряете, такъ ступайте себѣ спать. Можете еще часъ другой понѣжиться, а въ девять колоколъ будетъ звать всѣхъ на службу: тогда уже и начальникъ являйся на мѣсто!

— «Явлюсь, тёзка! явлюсь! Послалъ же мнѣ Богъ этакого друга! Прощай!»

Два часа въ хлопотахъ и приготовленіяхъ промелькнули что двѣ минуты и колоколъ загремѣлъ. На этотъ разъ и Пахомычъ проснулся.

— «Орефьевна!» закричалъ онъ въ просонкахъ: «Подай сапоги!» не замѣчая того, что онъ во всей одеждѣ изволилъ преспокойно лежать на прилавкѣ въ сборной избѣ. Замѣтя ошибку, онъ выбѣжалъ на дворъ и столкнулся съ Галунчиковымъ, который въ безпорядочномъ видѣ также бѣжалъ по двору и кричалъ:—Опоздалъ! Уже къ обѣднѣ звонятъ... И запнулся, примѣтивъ какой пономарь и на какой колокольнѣ звонитъ что есть силы.

— «Довольно, довольно, Степанычъ!» закричалъ Костыльковъ, садясь на крыльцѣ, какъ проконсулъ на провинціальномъ судилищѣ. Главные чины: Степанычъ, Галунчиковъ и Пахомычъ подошли къ нему; всѣ распоряженія Степаныча еще разъ удостоились самой лестной похвалы и одобренія, во удостовѣреніе чего Костыльковъ подалъ ему свертокъ съ рублями. Степанычъ призадумался, но только на одно мгновеніе, взялъ деньги, спряталъ въ карманъ, и сказалъ хладнокровно:

— «Пригодятся на расходы, теперь же ихъ будетъ не мало. Ну, Иванъ Степанычъ, одѣвайтесь теперь по-наряднѣе; да еще мнѣ надо вамъ словечко сказать. Пойдемте... Ѳомка, и ты, Пахомычъ, подождите насъ здѣсь!»

Ушли.

— «Это онъ васъ, Ѳома Ильичъ, такъ величаетъ?» спросилъ Пахомычъ, лукаво.

— «Шалунъ! Я люблю его, что онъ всякому въ начальство лѣзетъ. Право, люблю. Шутитъ, такъ шутитъ. Удалой молодецъ.»

— «Плохія шутки, Ѳома Ильичъ! Эта птица вы-

сокаго полета; ужъ если не соколъ, такъ самый дюжій коршунъ. Вамъ-то ничего; вы себѣ комиссаръ, а я его, какъ огня, боюсь. То есть, если бы я вамъ сказалъ, что онъ сдѣлалъ, такъ вы бы присѣли.

— «А что такое?»

— «Не велѣлъ говорить!»

— «А ты знаешь, и не доносишь?..»

— «Да въ этомъ никакой вины нѣтъ. Это паче заслуга, остраго ума чудодѣйствіе, притча въ лицахъ...»

— «Послушай, Пахомычъ, да вѣдь если ты не разскажешь, такъ я тебя въ городѣ приму въ руки...»

— «По-мнѣ пожалуй! Не моя секретность, а его, такъ я у него спроситься долженъ...»

— «Не надо, Пахомычъ, не надо! Не просятъ. Само окажется.»

— «Конечно. Шила въ мѣшкѣ не утаишь. Идутъ!»

— «Да что вы о такихъ пустякахъ заботитесь...» сказалъ Степанычъ, выходя на крыльце съ Костыльковымъ: «Я все предвидѣлъ. Таратайку!»

Таратайка подъѣхала.

— «Ну, Ѳомка, и ты, Пахомычъ сюда! Пойдемъ!»

— «Куда прикажете?» спросилъ Галунчиковъ, слѣдуя за Степанычемъ въ хоромы.

— «Много знать будешь, скоро состаръешься. Вотъ посидите здѣсь на замкѣ, пока вернусь, да толкуйте съ Пахомычемъ о суетѣ міра. Только если ты: прибавилъ онъ мепотомъ на-ухо Пахо-

мычу: «про вчераннее хоть слово сболтнешь, будешь битъ по пятамъ нещадно.»

Замокъ щелкнулъ, Степанычъ ушелъ, таратайка уѣхала и Степанычъ выпустилъ затворниковъ.

— «Ну, Галунчиковъ, теперь ты воленъ! Поѣзжай на встрѣчу воеводѣ, жди его у бѣлой харчевни или у монастыря.»

— «А Лукичъ будетъ безъ меня завтракать?»

— «Завтрака не будетъ!»

— «Какъ, не будетъ?»

— «Я отдумалъ. Непристойно подчиненнымъ ѣсть больше начальника. Ты имъ скажи, что коли хотятъ, милости просимъ, я ихъ велю кучерамъ на качеляхъ покачать, или на лодкѣ повозить, а съѣстнаго или питейнаго, кромѣ воды ничего не дамъ.»

— «Да ты погубишь Ивана Степаныча: знаешь ли, если Лукичъ осерчаетъ, такъ и воевода не поможетъ. Изъ усердія говорю.»

— «Говори себѣ, пожалуй, да только мнѣ слушать некогда. Поѣзжай лучше на встрѣчу, а то даромъ пожалуютъ... Ну, какъ себѣ тамъ хочешь, прощай. Эй, Сидоръ! Пойдемъ для воеводы жилье сочинять. Пока Иванъ Степанычъ воротится, все должно быть готово. Пахомычъ, ты безотлучно изволь быть при мнѣ; рукъ мало, а дѣла пропасть. Возьми-ка, Пахомычъ, этотъ столъ, да тащи за Сидоромъ на воеводскую половину.»

— «Да развѣ я...»

— «Что, развѣ ты не холопъ? Дрова у сосѣдей собственноручно воруешь, да къ себѣ таскаешь:

самъ видѣлъ; а тутъ, видишь какая бѣлоручка! Гей, живѣй за работу...»

— «Да помилуйте, Иванъ Степанычъ...» сказалъ Галунчиковъ: «право я съ такою инструкціей не посмѣю высокородной чиновности и носа показать; да и поздно; чай они теперь уже Старый Яръ миновали; подъ самой Костыльковкой...»

— «Тѣмъ лучше!»

— «Какъ, тѣмъ лучше?»

— «А тѣмъ лучше, что у меня рукъ мало; пріѣдутъ; помогутъ воеводскую половину убирать, а ты, Ѳомка, можешь сейчасъ приниматься. Вотъ кресло, тащи; для отдыха его высокородію... Ну, ну, не отнѣкивайся. Не для меня, для своего же начальства. Черезъ этотъ переулокъ кресло не пройдетъ, тащи его черезъ дворъ, а я тебѣ двери отпирать буду.»

Галунчиковъ повиновался. Крехтя вытащилъ онъ тяжелое кресло; кое-какъ сползъ съ крыльца, но едва поспѣлъ дворомъ, какъ въ ворота въѣхала щегольская таратайка парой; Лукичъ собственноручно руководилъ красивыхъ рысаковъ, а товарищъ его, рентмейстеръ Бузе, спокойно курилъ табакъ изъ коротенькаго чубука и съ веселою миною глядѣлъ въ оба на красивое устройство усадьбы. Какъ увидѣлъ ихъ Галунчиковъ, уронилъ кресло, повернулся и, по невольному какому-то чувству собственнаго достоинства, усѣлся въ тѣ же кресла и протянулъ ноги.

— «Это что?» спросилъ Лукичъ съ хохотомъ: «Кто это тебя рухлядь всякую таскать заставилъ?»

— «А вотъ мы спѣшимъ убирать воеводскую половину; не поможете ли и вы, Степанъ Лукичъ?» проговорилъ съ обыкновеннымъ хладнокровіемъ Степанычъ.

Лукичъ, чуть не померъ со смѣху.

— «Экой шутникъ! Нашелъ себѣ тяглыхъ, ха-ха-ха! Какъ думаешь, Нѣмецъ, вѣдь шутка знатная?..

— «Я думаю...» сталъ говорить рентмейстеръ Бузе: «Я думаю... я полагаю... что это большой шутка...»

— «Ну ужъ, господа, извините, а мнѣ право не до шутокъ; вотъ на-те, Степанъ Лукичъ, возьмите этотъ ящичекъ для Меланьи Ивановни; нельзя же безъ этого ящика...»

— «Что тутъ?»

— «Посуда! Да полноте, пожалуйста, несите, говорятъ вамъ, вотъ, за Сидоромъ... Ѳомка, что же ты сидишь? Пріѣдетъ воевода, ты же будешь виноватъ... А вы, Карлъ Карлычъ, вотъ извольте зеркало: можете глядѣться дорогой.»

И на рукахъ у Бузе очутилось зеркало, довольно большое и тяжелое...

— «Что ты, съ ума сошелъ!» кричалъ Лукичъ: «Да я хочу завтракать, а не рухлядь таскать...»

— «Завтракать! Надо прежде заработать! Не для меня, для своего же начальства трудитесь; изъ уваженія къ Меланьѣ Ивановнѣ, чтобъ не обидѣлась; ну, вотъ и я возьму корзинку съ плодами. Въ походъ, ступай!»

И Степанычъ толкнулъ Бузе, Бузе Лукича, Лукичъ Ильича и процессія двинулась. Иванъ Степа-

нычъ въ это время въѣзжалъ на дворъ и немогъ понять, чтобы означала эта церемонія. Таратайку приняли; Костыльковъ подошелъ къ трудящимся и спросилъ: — «Что вы тутъ дѣлаете?»

— «Завтракаемъ!» отвѣчалъ Степанычъ, толкая Бузе, Бузе Лукича, Лукичъ Ильича, который уже проходилъ въ дверяхъ воеводской половины.

— «Право, брошу!..» кричалъ Лукичъ: «руки отдавило...»

— «Такъ заплатишь!» замѣтилъ Степанычъ: «заплатишь Меланьѣ Ивановнѣ по ея высокородія оцѣнкѣ....»

И Бузе наконецъ прошелъ на воеводскую половину.

— «Ну, теперь...» сказалъ Степанычъ, входя за ними вмѣстѣ съ Костыльковымъ: «какъ вы думаете, честные господа? Кажется, все на порядкѣ... Спасибо! Чѣмъ теперь васъ занять, покуда повара справятся?..»

— «Какъ?» загремѣлъ Лукичъ, теряя всякое терпѣніе: «Такъ и завтракъ не готовъ? Галунчиковъ, а ты что тутъ дѣлалъ?..»

— «Я докладывалъ Ивану Степанычу, то есть, не Ивану Степанычу, потому что имъ некогда было, а Степанычу Ивану, но Степанычъ Иванъ, то есть, Иванъ Степанычъ, не Иванъ Степанычъ, а другой Иванъ Степанычъ...»

— «Что ты тутъ врешь?»

— «Убей меня Богъ, если вру... И врать никогда не буду, и вамъ не совѣтую, Степанъ Лукичъ... Съ душевнымъ высокопочитаніемъ имѣю

честь быть вашимъ, Степанъ Лукичъ, и вашимъ, Иванъ Степанычъ, и вашимъ также, Степанычъ Иванъ—подлѣйшимъ рабомъ, Ѳомка Галунчиковъ.»

И съ этими словами коммисаръ въ два прыжка выскочилъ изъ комнаты.

— «Что съ нимъ?» съ изумленіемъ спросилъ Лукичъ.

— «Что есть съ нимъ случилось?» хладнокровно произнесъ Бузе.

— «Шутникъ! Точь-въ-точь вы, Степанъ Лукичъ, когда докладываете воеводамъ коммиссарскіе рапорты объ умершихъ. При такомъ случаѣ шутка важный помощникъ!»

Лукичъ вытаращилъ глаза и смотрѣлъ на Степаныча такъ неподвижно, будто голову его изъ дерева выболванили. Но Степанычъ, какъ-будто не обращая на него никакого вниманія, сказалъ Бузе:

— «Карлъ Карлычъ! Вы опять свою дымную трубу прилаживаете. Такъ ужъ я долженъ вамъ сказать впередъ, что у насъ въ комнатахъ богопротивнымъ зельемъ курить нельзя. Меланья Ивановна и Максимъ Иванычъ, какъ заслышатъ смрадъ такой — и въ хоромы не войдутъ. Ужъ если хотите, такъ на заднемъ дворѣ.»

— «А гдѣ у васъ есть задній дворъ?..»

— «Пахомычъ, проводи! Чѣмъ-то васъ занять, Степанъ Лукичъ? право не придумаю. Нашъ монастырь теперь не то, что бывало... Вы, кажется, любите на качеляхъ качаться?..»

Лукичъ хотя и очень былъ пораженъ неумѣст-

нымъ замѣчаніемъ Степаныча, но пріятныя воспоминанія о качеляхъ изгладили минутное впечатлѣніе. Лукичъ улыбнулся.

— «Конечно...» сказалъ онъ лукаво: «при воеводѣ оно было бы неумѣстно, а паче при воеводихѣ. Такъ ужъ лучше теперь...»

— «Такъ ступайте же въ садъ, а я пошлю кому васъ покачать...»

— «То есть, просто, разумъ первой статьи у Степаныча. А я уже и дорогой думалъ: зачѣмъ ты Лукичъ, и сережки и платочки захватилъ, чай къ качелямъ и подойти не удастся... Такъ я иду, Степанычъ...»

— «Ступайте, ступайте! Вы дорогу знаете. Ну, Иванъ Степанычъ! Растасовалъ я эту чиновность. Не знаю, какъ удастся съ остальными.»

— «Да что ты затѣваешь, Степанычъ?»

— «А то, чтобы васъ высвободить изъ-подъ этихъ Татаръ. Съѣдутся, каждый хозяйничаетъ. Пусть по нашей дудкѣ пляшутъ, коли мы деньги платимъ. Пріѣдетъ воевода, вы, батюшка, Иванъ Степанычъ, возьмите его на сторонку и скажите ему на-прямки: — Послушайте, Максимъ Ивановичъ, будемъ откровенны: что вамъ за охота съ этими уродами дѣлиться? Стоютъ они мнѣ дорого, нажились отъ меня довольно. Возьмите вы меня подъ свое персональное начало. Вся провинція въ годъ обходится мнѣ въ тысячу рублей...»

— «Какое, въ тысячу?..»

— «Знаю, да такъ говорить надо. Возьмите, Ма-

ксимъ Ивановичъ, полторы тысячи, да ужъ одни, чтобы я этихъ грабителей не зналъ, и не видѣлъ.»

— «Да сможетъ ли онъ безъ нихъ?»

— «Э! не безпокойтесь, это не Семенъ Семенычъ; онъ просидитъ на воеводствѣ до втораго пришествія. Ни пикнутъ!.. Пусть онъ ихъ удовольствуетъ съ другихъ имѣній, а съ насъ никто не моги взять ни копѣйки. Указы пусть возитъ разсыльный, а ихъ, чтобы и духу не было...»

— «Каждое твое слово, Степанычъ, рубля стоитъ. Но позволь мнѣ и тебя спросить; вотъ ужъ сколько живемъ вмѣстѣ, спросить не приходилось. Теперь, когда сердце мое такъ и легло къ тебѣ, право, не въ-терпежъ знать: кто ты?..»

— «Бѣдный дворянинъ...»

— «Дворянинъ! Вотъ не даромъ же сердце чуяло, что ты не изъ холопьевъ. Обними меня, Степанычъ, прости...»

— «Да ты чѣмъ виноватъ? Въ бѣдности и горяхъ моихъ другіе виновны; ихъ нѣтъ уже на этомъ свѣтѣ; ищу отвѣтчиковъ...»

— «Да какъ же ты ихъ найдешь, когда перемерли?»

— «О! Я такой истецъ, что и мертвецамъ не дамъ покою. Но что объ этомъ толковать! У доли своя воля и своя дорога. Ни сманишь, ни своротишь. Вотъ ужъ солнце прямо въ темя бьетъ, сейчасъ пожалуютъ: будьте наготовѣ.. Ахъ Боже мой, и забылъ про Лукича... Евдокимъ!..» крикнулъ Степанычъ, выходя съ Костыльковымъ на крыльце у воеводской половины. По знаку его

двое молодыхъ конюховъ бросились въ садъ, вскочили на качели, на которыхъ Лукичъ дремалъ въ пріятномъ ожиданіи и въ два мига садъ огласился взвизгами Лукича. Онъ былъ большой охотникъ до качель, да при другихъ обстоятельствахъ и не любилъ забираться слишкомъ высоко. Крики его возбудили опасенія Галунчикова...

— «Боже мой! Степанъ Лукичъ подъ небесами! Помогите!»

— «Не мѣшайся, Ѳомка, не въ свое дѣло!»

— «Да какъ же провинція будетъ безъ земскаго секретаря?»

— «Врешь, Ѳомка! земскій секретарь больно за дѣлами насидѣлся; пылью проняло; пусть провѣтрится...»

— «Я только докладываю, и прошу, чтобы всякой отвѣтъ...»

— «Падетъ на тебя, Галунчиковъ!»

— «За что?»

— «За то, что ты не удержалъ ихъ отъ ранняго пріѣзда, какъ я тебѣ наказывалъ. — Ну, Иванъ Степанычъ, по моему разсчету, кажется, теперь воевода долженъ быть близко: не поѣхать ли намъ на встрѣчу? Таратайку! Галунчиковъ, садись за кучера...»

— «Я? Земскій коммиссаръ!..»

— «Да, земскій коммиссаръ, только не забудь за какое дѣло... Садись!»

И къ особенному удивленію Костылькова, Галунчиковъ повиновался. Не успѣли они выѣхать изъ усадьбы, какъ у рощи показалась воеводская колы-

мага, влекомая четырьмя костыльковскими рысаками и сопровождаемая пятью всадниками; то были мостовой надзиратель и коммиссары. Колымага остановилась при встрѣчѣ съ таратайкой. Занавѣска отдернулась.

— «Здравія и благоденствія желаемъ вашимъ высокоблагородіямъ!» какъ-будто условясь сказали оба Степаныча.

— «Здравствуй, мой ненаглядный!» заговорила Меланья Ивановна: «Максимъ Ивановичъ всю дорогу спалъ, всё ему Костыльковка снилась; проспалъ бы до самыхъ воротъ, если бы по пути пресмѣшная оказія не приключилась.»

— «А что такое?»

— «Да, просто, умора. То есть, у меня отъ смѣха бока заболѣли. Такъ разсмѣшилъ, что даже Максимъ проснулся. Я вамъ говорю, что такого лицезрѣнія не скоро случится видѣть. Сначала, признаюсь, оторопѣла; слышу: кто-то стонетъ; я со страху двумя пальцами за китайку; гляжу черезъ щелку, поглядѣла, да такъ и покатилась. Ну гдѣ таки этакой тушѣ на одноколкѣ ѣздить? самому править, подумайте, право! Поступилъ противу церемоніалу, не захотѣлъ съ бурмистромъ ѣхать. Въ одноколкѣ! Ахъ онъ, печка этакая! Говоритъ: самъ Великій Государь въ одноколкѣ ѣздитъ! Да то Государь! Ахъ ты, Господи! Какъ вспомню, смѣхъ до слезъ прошибаетъ. Провалился, батюшка, провалился!..»

И воеводиха залилась звонкимъ хохотомъ.

— «Кто провалился?»

— «Высадилъ и дно и сидѣнье!..»

И еще смѣхъ.

— «Матушка, Меланья Ивановна, утѣшьте: кто такой?»

— «Камериръ нашъ Андрей Кононовичъ!..»

И тутъ ужъ никто не выдержалъ; всѣ захохотали, даже Максимъ Ивановичъ осклабился.

— «Да гдѣ же онъ?..»

— «Торчитъ, батюшка, на дорогѣ въ своей одноколкѣ, будто въ хомутѣ: ни выйти, ни выползти. Максимъ мой было-разжалобился, хотѣлъ выгружать Андрея Кононовича. Хорошо, что я тутъ случилась. Что ты это, Макеимъ, глупость такую затѣваешь? Безъ мала часъ провозимся; въ Костыльковку опоздаемъ; Иванъ Степанычъ обидится...»

— «Помилуйте!»

— «Да ужъ я знаю, что ты такой добрый, да мы должны твою доброту уважить. За Кононычемъ можно съ усадьбы послать. Ба! Кто это у васъ за ямщика?»

— «Да вотъ, шутникъ Ильичъ, пріѣзда вашего ради, развеселился...» сказалъ Степанычъ, потрепавъ по плечу блѣднаго Галунчикова.

— «Видно, съ-позаранка хлѣбнулъ...» замѣтилъ воевода.

— «Нѣтъ, Максимъ Ивановичъ, съ вечера...» перебилъ Степанычъ: Теперь не прикажете-ли путь-дорогу указывать?..»

— «Мы на всей хозяйской волѣ...» отвѣчала Меланья Ивановна, и поѣздъ тронулся.

— «Это что?» спросилъ Максимъ Ивановичъ, проѣзжая между строеній усадьбы: Кажется у скотнаго двора нашъ рентмейстеръ Бузе...»

— «Онъ, грѣховодникъ. Отъ него всегда копотью такою пахнетъ. Вотъ ужъ можно сказать правду, что теперь онъ на своемъ мѣстѣ...»

Дверцы отперъ Степанычъ и съ Иваномъ Степанычемъ чуть не на рукахъ вынесъ Меланью Ивановну, потомъ Максима Ивановича. Какъ-только воеводство было поставлено на крыльце, крики изъ сада поразили слухъ ихъ: — «Батюшка, воевода! Помилуй!»

— «Что это?»

— «Степанъ Лукичъ—страстный до качелей охотникъ...» подхватилъ Степанычъ и махнулъ рукою конюхамъ.

— «Слышалъ, слышалъ!» съ улыбкой сказалъ воевода: «Меланья Ивановна, кто это намъ разсказывалъ?»

— «Полно, Максимъ Иванычъ, какъ тебѣ не стыдно говорить объ этакихъ забавахъ? Самъ видишь, что конюхи его тѣшили...»

Лукичъ, съ одной стороны, съ другой Бузе, съ третьей Галунчиковъ, всѣ пли къ крыльцу съ недовольными минами. Степанычъ успѣлъ что-то шепнуть Сидору и толкнулъ Костылькова. Иванъ Степанычъ подалъ руку Меланьѣ Ивановнѣ, и всѣ отправились въ столовую, гдѣ огромный столъ трещалъ подъ разнаго рода и вида блюдами; фляги разныхъ сортовъ и въ наготѣ своей, и въ стеклянной натурѣ красовались не хуже серебра и золо-

та. Ароматъ отъ яствъ шелъ такой, что Максиму Ивановичу чуть не сдѣлалось дурно. При этомъ очаровательномъ зрѣлищѣ, которое для многихъ краше всѣхъ швейцарскихъ и неаполитанскихъ видовъ, даже Лукичъ забылъ свое воздушное путешествіе, Бузе трубку, Галунчиковъ многія свои горести и напасти. Какое-то умилительное безмолвіе пролилось между собесѣдниками; ноги у нихъ подкосились, молча всѣ опустились въ кресла и, не глядя другъ на друга, какъ-будто условясь, стали обѣдать.

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ОБѢДЪ.

Откушали, но еще допивали. Степанычъ умѣлъ такъ ловко распорядиться, что Иванъ Степанычъ раздѣлилъ или отграничилъ собою Максима Ивановича отъ Меланьи Ивановны; самъ же гофмейстеръ, не садясь, обходилъ столъ и подливалъ вина и медъ безостановочно. Такъ какъ Меланья Ивановна была за границей, то и неудивительно, что муженёкъ натянулся добропорядочно и противу пословицы, in vino veritas, лгалъ и хвасталъ напропалую. Вотъ что удивительно; Римляне были бойкіе пьяницы, а сочинили такой невѣрный афоризмъ. Есть люди самые правдивые, а подъ-гулькомъ врутъ и на себя и на другихъ; есть хитрецы, а послѣ доброй чаши гроггу готовы проболтать государственныя тайны, если бы таковыя за ними случились; есть наконецъ и такіе, у которыхъ

и на-тощакъ и послѣ обѣда не добьешься словечка правды. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и воевода Максимъ Ивановичъ. Онъ разсказывалъ, между прочимъ, что былъ съ губернаторомъ въ Персіи, что у нихъ обѣдалъ Шахъ, что какъ подали русскаго хмѣльнаго квасу, такъ шахъ, откушавъ стаканъ, сталъ на колѣни и, *ради Аллаха*, просилъ подарить ему, что осталось въ кувшинѣ; что съ-тѣхъ-поръ при каждомъ посольствѣ въ Персію посылаютъ небольшой погребъ, съ крышей, землянымъ поломъ и пескомъ, совершенно готовый и наполненный кувшинами съ хмѣльнымъ квасомъ.

— «Этотъ погребокъ...» продолжалъ воевода: «какъ привезутъ на мѣсто, тотчасъ пошлютъ за снѣгомъ, и зароютъ погребокъ въ снѣгъ аршина на два. И знаете ли, вотъ какъ я второй разъ ѣздилъ къ шаху, такъ тотъ квасъ лучше нашего...»

Въ такихъ пріятныхъ разговорахъ, поливаемыхъ крѣпкими русскими и заморскими напитками, время себѣ плелось; вставать и не думали. Только одна Меланья Ивановна стала жаловаться на продолжительность трапезы.

— «Пусть ихъ бражничаютъ, душа моя, Иванъ Степанычъ...» сказала она, умильно поглядывая на хозяина: «а мнѣ бы хотѣлось отдохнуть, прилечь...»

— «Позвольте проводить...»

— «Да ужъ въ такомъ дворцѣ безъ проводника, того гляди, запутаешься.»

И Меланья Ивановна не безъ труда и не безъ помощи поднялась съ креселъ и, поддерживаемая

Иваномъ Степанычемъ, какъ утка, съ боку на бокъ переваливаясь, отчалила изъ столовой...

— «Я для васъ, Меланья Ивановна, и особые покои снарядилъ. По вкусу ли только придутся?»

— «У тебя мнѣ все по вкусу... Экое удобство, подумаешь! И зеркало, и постель какая, и цвѣты и плоды, и воздухъ какой... Вѣкъ бы тутъ осталась...»

— «А кто же вамъ мѣшаетъ? Живите-себѣ сколько душѣ угодно...»

— «Охъ! Нельзя, Иванъ Степанычъ, нельзя! Сердце бы то... да грѣшно оставлять сожителя; а онъ же безъ меня въ три дни полетитъ съ воеводства. Съ-общa, батюшка, съ-общa взяли мы это воеводство, по старой ко мнѣ губернаторской пріязни... Такъ съ общa надо ужъ и править. Тутъ я ему позволяю бражничать, все свои; опаса нѣтъ, а въ провинціи — упаси Господи! Сто глазъ, сто недоброхотовъ. — Садись же ты возлѣ мейя, Иванъ Степанычъ, что ты меня дичишься. Вѣдь я же не укушу тебя. Вотъ такъ, красавецъ ты мой, а право, красавецъ. Сколько тебѣ лѣтъ, душенька?..

Иванъ Степанычъ сидѣлъ какъ на иголкахъ, но очень хорошо понималъ, что размолвка съ воеводихой гораздо опаснѣе, чѣмъ съ воеводой, и придумывалъ, какъ бы благовиднѣе вынырнуть изъ предстоявшей бѣды. Будь на его мѣстѣ Степанычъ, дѣло бы уладилось, но Степанычъ былъ далече, на ратномъ полѣ съ противниками сильными и могучими. Степанычъ самъ изумлялся гигантскимъ силамъ непріятелей. Измученный безсонницей, разны-

ми мыслями, предположеніями и, наконецъ, благородными напитками, Степанычъ самъ чувствовалъ, какъ хмѣлѣлъ постоянно больше и больше. Присутствіе памяти его не оставляло; однако же онъ рѣшился воспользоваться ея померкающимъ свѣтомъ; онъ бережно вынулъ изъ кармана пукъ бумагъ и, улучивъ мгновеніе, когда никто не смотрѣлъ на него, засунулъ ихъ за пазуху, плотно застегнулъ всѣ петлицы зипуна, и сколько могъ плотнѣе затянулъ поясъ. Тогда спокойно предался судьбѣ своей и заснулъ сномъ крѣпкимъ. Молодость! Ей довольно часа, чтобы собрать силы, разбросанныя въ-теченіи двухъ сутокъ. И точно, не прошло и часа, какъ Степанычъ встрепенулся будто птица съ утреннимъ появленіемъ зари. Ему стало такъ свѣжо; бодрость будто искра пробѣжала по всѣмъ жиламъ, жилкамъ и жилочкамъ. Онъ взглянулъ на собесѣдниковъ. Всѣ и все было въ прежнемъ порядкѣ: воевода только побагровѣлъ, а впрочемъ ничего, говорилъ безъ умолка; прочіе также озарились какимъ-то вечернимъ образомъ, но также ничего, слушали безъ-устали; одинъ только Бузе почти дремалъ и держалъ въ зубахъ черенокъ ножа вмѣсто трубки. Даже Галунчиковъ, поступая за обѣдомъ съ нѣкоторою методою, хотя и спалъ, но то однимъ глазомъ, то другимъ, въ очередь. По коммиссарской привычкѣ глаза у Галунчикова были какъ лапы у гуся: одинъ всегда былъ въ запасѣ, другой на-сторожѣ. Но картина эта въ то же мгновеніе разрушилась, потому что вошелъ Иванъ Степанычъ въ странномъ располо-

женіи духа, съ примѣтной досадой, безъ всякой церемоніи бросился въ кресла и кричалъ по-хозяйски: — «Меду!» Всѣ проснулись: Бузе, уронивъ ножъ, проснулся; нагнулся, чтобы поднять; потерялъ равновѣсіе и свалился; воевода хотѣлъ поднять его или, по-крайней-мѣрѣ, освободить свои ноги изъ-подъ гнета, и также не удержалъ баланса; усердіе къ воеводѣ увлекло за нимъ въ паденіи Лукича, Галунчикова и Пахомыча. Степанычъ скорѣе зажмурился и притворился спящимъ. Иванъ Степанычъ вскочилъ съ мѣста, чтобы позвать людей, но въ самыхъ дверяхъ столкнулся съ тучной фигурой Митюшкина, который, увидѣвъ подстольную картину, поднялъ руки и воскликнулъ съ горестію:

— «О, бездна нечестія!»

Есть такіе бараньи тенора, которыхъ не забудетъ ни больная, ни самая тупая память. Голосъ Митюшкина былъ именно этого бараньяго свойства. Распростертая компанія оживилась отъ этого восклицанія и хотя не безъ труда, поднялась однако же съ помощію хозяина и заняла законныя мѣста. Степанычъ, замѣтивъ гостя, положилъ руку и голову на столъ, такъ, чтобы нельзя было распознать его. Митюшкинъ всё-еще стоялъ въ дверяхъ и не зналъ на что рѣшиться. Пахомычъ, какъ человѣкъ менѣе зависимый отъ Митюшкина, оправясь, сказалъ съ обычнымъ лукавствомъ:

— «Вотъ, Прохоръ Семенычъ: зрите убо, како потребляются дары Божіе. Отъ двухъ-аршинной стерляди — остался костистый хребетъ, и паки

реку: все и вся въ снѣстъ человѣку... А вы обѣдали, Прохоръ Семенычъ?..»

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ Митюшкинъ, запинаясь и облизываясь: «то есть обѣдалъ, да очень давно, то есть поутру, въ самый полдень, и то не плотно: зной большой былъ...

— «Такъ не хотите ли прохладиться?» спросилъ хозяинъ: «Холоднаго жаренаго, холодной водочки, холоднаго меда. Все холодное, право, холодное... Вотъ начнемте съ этого завѣтнаго меда. Сто зимъ мерзъ; всякая вода изъ него вымерзла... Просимъ откушать!..»

Митюшкинъ, прищурясь, протянулъ руку, но Степанычъ поднялъ голову и сказалъ какъ-будто въ просонкахъ:

— «А, Прохоръ Семенычъ! И вы здѣсь! Что такъ поздно?»

Рука Митюшкина опустилась; лицо приняло кисло-горькое выраженіе...

— «За дѣломъ, батюшка Иванъ Степанычъ!»

— «За дѣломъ, ну, такъ не пейте; а если можно дѣло до завтра отложить, такъ выкушайте на здоровье...»

— «Можно, можно, право, можно; срока еще довольно...»

— «Ну, такъ кушайте, и мы за ваше здоровье выпьемъ...»

— «За здоровье Прохора Семеныча!» — закричали всѣ съ особеннымъ удовольствіемъ.

— «Рады стараться!» отвѣчалъ онъ, кланяясь

всѣмъ, въ томъ числѣ и Сидору, который съ запасомъ флягъ входилъ въ комнату.

— «Только знаете, Прохоръ Семенычъ: уговоръ лучше денегъ...» сказалъ значительно Степанычъ: «Мы тутъ собрались не для того, чтобы объ дѣлахъ говорить, а чтобы покутить, повеселиться, отъ дѣлъ отдохнуть. Такъ у насъ такой законъ этакъ: кто про дѣло заикнется, изъ-за круглаго стола вонъ, на повозку и во-свояси...»

— «Именно такъ!» утвердилъ воевода.

— «Принимаю законъ! Премудрый! Столько умныхъ головъ глупости не выдумаютъ.»

— «Ну, такъ садитесь же на мое мѣсто, а я озабочусь о вашемъ угощеніи...»

— «Истинный другъ!» сказалъ Митюшкинъ.

— «Ужъ что правда, то правда! Истинный другъ...» повторилъ Костыльковъ.

— «Постойте, Прохоръ Семенычъ!» сказалъ Степанычъ, подходя къ окну: «Одному ѣсть не такъ вкусно. Вотъ и товарищъ для васъ и по васъ...»

Всѣ взглянули въ окно и не могли удержаться отъ смѣха. Пара дюжихъ воловъ на широкой телѣгѣ тащила мимо самыхъ оконъ огромную тушу камерира. Онъ сидѣлъ на многихъ перинахъ подобно римскому тріумфатору; погонщикъ шелъ возлѣ пѣшкомъ; а за колесницей двое слугъ вели лошадей камерира съ несчастною одноколкой.

— «На волахъ!! Андрей Кононовичъ на волахъ!» воскликнулъ воевода.

— «Лошади...» сказалъ Степанычъ: «для поѣзда Андрея Кононовича оказались не годны. Такъ я и

послалъ воловъ. Оно не такъ спѣшно, да надежно и для людей большаго объему покойно...

Въ дверяхъ показалась туча или камериръ, что въ существѣ было рѣшительно одно и то же.

— «Съ пріѣздомъ, Андрей Кононовичъ! Съ пріѣздомъ!»

— «Если это не Егорка подпилилъ и днище и сѣдалище...» жалобно возгласилъ камериръ: «такъ я позволю себѣ учинить торговую казнь. Будто я одинъ нѣсколько дороденъ! Другіе же ѣздятъ въ одноколкахъ. Это онъ, этакой!.. Вотъ я вамъ завтра пришлю его на смотръ. Только на рожу взгляните, сейчасъ скажете: мошенникъ. Какъ объявлено было намъ вчера повѣсткой отъ вашего высокоблагородія, чтобъ быть къ обѣду въ Костыльковку для извѣстнаго высшему начальству интереса, я, какъ прочелъ повѣстку, и думаю себѣ: А что, если интересъ продолжится дольше суточнаго термина; а можетъ-быть и болѣе. Имѣніе большое. До шести тысячъ разнаго казеннаго сбора. Могутъ случиться препоны. А Егорку я давно не сѣкъ. Вотъ тутъ въ верстѣ отъ бѣлой харчевни и притча. Ну, ужъ ворочусь, такъ наверстаю: я не обѣдалъ одинъ день, не будетъ Егорка обѣдать мѣсяцъ...»

— «Да полно, Андрей Кононовичъ!» перебилъ его Митюшкинъ: «И не обѣдали, а такъ мало о жизни своей думаете! Я вотъ и обѣдалъ, да боюсь умереть съ голода. Тошнота такая, право. Надо мнѣ по-чаще выѣзжать. Можно будетъ обѣденное время въ день до трехъ разъ довести. Да садитесь же, Андрей Кононовичъ, что вы стоите!»

— «Слушаю съ подобающей аттенціей...»

— «Вы не слушайте, а кушайте!»

— «Слушаю — и кушаю.» сказалъ Андрей Кононовичъ, и, проглотивъ чарку водки, усѣлся насупротивъ Митюшкина. Усердіе ихъ возбудило соревнованіе и въ прочихъ. Сидоръ приказалъ подать ужинъ. — Иванъ Степанычъ пошелъ звать Меланью Ивановну къ столу, но неизвѣстно почему взялъ съ собой и Степаныча... Остановясь у дверей, оба въ одинъ голосъ произнесли:

— «Меланья Ивановна, изволите почивать?»

— «Нѣтъ, ужъ не изволю. Давно проснулась. Валяюсь себѣ: такъ пріятно подумать иногда кое о чемъ. А что у васъ тамъ?»

— «Пожалуйте кушать!»

— «Сладостное житіе! Рай земной! Только и слышишь про удовольствіе!...»

— «Бараній бокъ простынетъ...» сказалъ Степанычъ.

— «Съ кашей?!»

— «Съ кашей!»

— «Иду, иду! Вотъ только обуюсь. Экое угощеніе! Краюшекъ солнца еще на лице, а ужъ зовутъ къ ужину... А что мой Максимъ?»

— «Слава Богу, не расшибся...»

— «А развѣ упалъ?...»

— «Нѣтъ, повалился.»

— «Зюзя этакая! Точно черпало колодезное: знай наливаетъ. И никого чужаго не было?...»

— «Только Митюшкинъ.»

— «Митюшкинъ! Какъ же ты не усмотрѣлъ, Иванъ Степанычъ?...»

— «Да меня тамъ не было...»

Воеводиха пріумолкла.

— «Да не бойтесь, Меланья Ивановна!» сказалъ Степанычъ: «Мы ужъ приняли Митюшкина въ руки. Вотъ ужъ онъ упадетъ, а не свалится. Только вы ужъ, Меланья Ивановна, не отходите отъ Максима Иваныча, пока здѣсь Митюшкинъ...»

Костыльковъ пожалъ руку Степанычу, а тотъ продолжалъ:

— «Насъ Максимъ Ивановичъ не слушается. Ну, и воевода...»

— «Я воевода!» закричала Меланья Ивановна, выходя изъ опочивальни: «Экой дуракъ, на часокъ отъ него отойти нельзя! Гдѣ онъ?...»

— «На мѣстѣ...»

— «На мѣстѣ!» кричала воеводиха уже въ столовой: «на мѣстѣ! Это вы съ полудня бражничаете?..»

— «Перестаньте, Меланья Ивановна, при Митюшкинѣ...» сказалъ ей на-ухоСтепанычъ: «наблюдайте за нимъ въ-тихомолку...»

И Меланья Ивановна угомонилась; даже стала весьма ласкова, когда Митюшкинъ ей поклонился; вполнѣ развеселилась, увидавъ камерира и пиръ закипѣлъ; полилось вино заморское, перемежаясь съ разноцвѣтными медами; ночной пиръ достигъ до полуночи. Истекло двѣнадцать обѣденныхъ часовъ; первый заснулъ хозяинъ, за нимъ всѣ гости; Меланью Ивановну провелъ до опочивальни Степанычъ

и откланявшись у порога, пошелъ кликнуть къ ея услугамъ Палашку, которая пріѣхала съ господами на запяткахъ колымаги.

— «Ну, Сидоръ...» сказалъ Степанычъ: «погаси ты бережно свѣчи; запри столовую, ворота; вели спустить собакъ и ложись спать.

— «А вы, Иванъ Степанычъ?»

— «Я? Мнѣ что-то не хочется; видишь, подымается луна; сяду на Орлика, да погарцую въ чистомъ полѣ; загляну въ Будимовку: что тамъ дѣлается; накажу какъ готовить дожинки...»

— «Велите, ИванъСтепанычъ, дожинки-то отложить.»

— «А что?»

— «Да я отъ ямщика воеводскаго свѣдалъ, что господа на недѣлю пожаловали...»

Степанычъ покачалъ сомнительно головою и пошелъ на конюшни, наказавъ еще разъ Сидору гасить свѣчи, запирать ворота и прочая.

Луна поднялась величественно. Читатели мои, вѣрно, въ большомъ затрудненіи, не зная мѣстности моего романа. Позвольте, будетъ и опредѣлительная мѣстность; будетъ все; а пока любуйтесь этой очаровательной картиной красивыхъ холмовъ, увѣнчанныхъ золотыми пирамидами свѣжихъ сноповъ. Стоги сѣна недвижными слонами торчали на обширныхъ лугахъ; рѣчки, какъ серебристыя змѣи извивались въ разныхъ направленіяхъ; лѣса чернѣли вдали, а по дорогѣ изрѣдка только красовались рощицы; сквозь чащу ихъ краснѣлъ западъ солнца; роса увлажала воздухъ обильно, и обѣщала

прекрасный день. И вся эта непрерывная картина благословеннаго края была залита, затоплена серебромъ луны, величаво озиравшей окрестность. Тишина ночи была прерываема только ровнымъ стукомъ некованныхъ копытъ Орлика. И какой это стукъ! Самъ ѣздокъ едва его слышалъ. Но вотъ холмы; постепенно уменьшаясь, покатились внизъ по примѣтной отлогости. Тесьма лѣсу постоянно болѣе и болѣе теряла свою сплошную массу, и вершины деревъ вырѣзали на горизонтѣ явственные узоры; дорога, какъ струнка, неслась въ лѣсъ; Орликъ по ней; шаги его на песчаной почвѣ стали не слышны. Вотъ и лѣсъ. Сквозь прóсѣку, правильно прорубленную, можно было замѣтить, что этотъ лѣсъ въ поперечникѣ имѣлъ не меньше версты. Орликъ бѣжалъ, бѣжалъ и пріостановился; поднялъ уши, и опять пошелъ въ путь покойно и ровно. Степанычъ оглянулся; въ сторонкѣ горѣлъ оставленный путниками огонь. Сердце у него ёкнуло на странный ладъ и какое-то невольное чувство заставило его поспѣшить. Онъ только взмахнулъ плеткой и Орликъ полетѣлъ такою шибкой рысью, что иной собакѣ не удалось бы обогнать его на рысяхъ. Версты какъ небывало; лѣсъ будто убѣжалъ. Величественная широкая рѣка словно спала въ мягкомъ песчаномъ ло́жѣ; берега были неровны; мѣстами скалы торчали черными великанами надъ зеркальной красавицей; мѣстами отлогіе берега покрыты были бѣлою, какъ снѣгъ, песчаною пеленою, на которой не было видно и признака прозябенія... Дорога разбѣгалась въ разныя сто-

роны. Главный путь шелъ прямо къ рѣкѣ; прочія дороги и дорожки неслись къ главнѣйшимъ возвышенностямъ берега. Степанычу легко было выбрать себѣ дорогу, потому что кружало съ постоялымъ дворомъ было на виду; за нимъ въ шагахъ трехъ, четырехъ стахъ можно было различить длинное, предлинное строеніе, неогороженное и дряхлое, которое по всему уѣзду называлось Старою Усадьбою. У постоялаго двора стоялъ обозъ; въ окнахъ блистали огни. Какъ коника подошелъ Орликъ къ старому крыльцу постоялаго двора. Степанычъ вошелъ въ избу, снялъ шапку, перекрестился на икону, и, поклонясь на три стороны, сказалъ своимъ звучнымъ, сильнымъ голосомъ: — «Хлѣбъ да соль, ребята!»

— «Спасибо!» произнесло нѣсколько хриплыхъ голосовъ: «Милости просимъ.»

Одного взгляда на сотрапезниковъ довольно было, чтобы убѣдиться, что это радушіе слишкомъ корыстно. Есть люди, у которыхъ на лицахъ написанъ ихъ промыселъ. Рыжія бороды, сѣрые, плутоватые глаза, усмѣшка адская, широкія плеча, пріемы и ухватки: все это признаки необманчивые ремесла, которое въ эти времена было еще въ большой модѣ. Конечно, эти времена были на исходѣ. Строгія мѣры правительства, искуство и расторопность сыщиковъ крѣпко поуменьшили зло, но наша провинція не могла еще похвалиться успѣхами гражданственности въ этомъ отношеніи, и собственно потому, что рѣка давала всѣ способы быстраго укрывательства отъ преслѣдованій. По сю сторо-

ну былъ театръ дѣйствій разбойниковъ, по ту сторону ихъ притоны. Съ перваго взгляда, Степанычъ угадалъ, что большая половина сотрапезниковъ были — гости съ той стороны. Душа его затрепетала при мысли въ какое сосѣдство отослалъ онъ Малашу. Опасность была на лице. Обстоятельства требовали рѣшительныхъ и скорыхъ мѣръ. «Хозяинъ!» крикнулъ онъ повелительно. Изъ-за общаго стола неохотно выползъ малорослый, тощій старикъ; видъ его нѣсколько успокоилъ Степаныча: «Что? Не бывала еще команда?» продолжалъ Степанычъ, и за столомъ примѣтно стало сильное движеніе.

— «Незнаемо, кормилецъ, что ты баишь! Нашъ кутокъ (уголъ) на большомъ пути. Много ѣздитъ всякаго... Про кого ты спрашивашъ?»

— «Про солдатовъ и драгуновъ царскихъ. Я изъ провинціи посланъ; сказано: станутъ на ночь у Старой Усадьбы, али сядутъ въ засаду у пристани. Такъ, видно, тамъ. Гдѣ тутъ у васъ пристань?...»

— «Какая пристань?» говорилъ старикъ; но уже никто его не слушалъ. Гости съ той стороны, за шапки, да благимъ матомъ изъ общей избы; зашевелились подводы; заскрипѣли колеса и потянулись къ рѣкѣ. Степанычъ внимательно слѣдовалъ за всѣми движеніями гостей и радовался счастливой выдумкѣ. Старикъ не обращалъ вниманія на бѣгство половины своихъ гостей... Пока они уходили, онъ бормоталъ:—«Какая тутъ пристань? Пристани тутъ никакой нѣтъ. Пристань есть, да верстъ

десятокъ отселѣ, по рѣкѣ. Тамъ есть и ярмонка, а у насъ пристани никакой нѣтъ. Былъ перевозъ. Плотъ ходилъ. Да за Костылькова разорили; а пристани нѣтъ. Зачѣмъ тутъ пристань? Причаловъ много; гдѣ хочешь съ лодкой подойдешь; а перевозъ былъ; плотъ ходилъ; да теперя нѣту; и пристани нѣтъ Зачѣмъ тутъ пристань? А можетъ учюгъ, гдѣ рыбаки; такъ то не пристань, то рыбный промыселъ. А пристани нѣтъ...»

Онъ бы еще разсуждалъ о пристани, да отъѣздъ телѣгъ измѣнилъ и голосъ и видъ и рѣчь старца. Онъ повернулся къ иконѣ, положилъ земной поклонъ, и выпрямился.

— «Господи! помиловалъ ты меня грѣшнаго!»

— «А что?» спросилъ Степанычъ.

— «Ничего. Свое дѣло, баринъ. Нынче времячко плохое. Одинъ воръ отъ другаго бѣжитъ. Стало всѣмъ тѣсно. Не хочешь ли, баринъ, чего? Такъ приказывай. Пѣтухи поютъ. Господа купцы отъѣдятъ, такъ и спать полягутъ, али въ путь поѣдутъ; а я дворъ на запоръ. Только повѣщу, да и залягу...»

— «Нѣтъ, хозяинъ! Мы-то ужъ до утра останемся...» сказалъ одинъ изъ гостей: «Смѣкаемъ, какіе гости у тебя были. Богъ помиловалъ. Коммиссаръ ихъ напугалъ, а то бы мы на ярмарку, безъ товаровъ, пѣшкомъ пришли. Такъ потрудись, хозяинъ, введи телѣги на дворъ, да ворота на замокъ, чай не придутъ...»

— «Придутъ, не придутъ...» сказала старуха, входя въ избу: «а что были, такъ были. Ты, Ер-

молаичъ, нето, что я. Ты своихъ-то гостей не остерегъ; а я своихъ жильцевъ въ овражекъ свела; тамъ они просидѣли не мало; пока не уѣхали. Теперь спать улеглись. Молодая-то промерзла больно. Дай Богъ, чтобы смогла. Дай-ка, Ермолаичъ, крючокъ. Я ей къ утру желудочной изготовлю; на-тощакъ дамъ; какъ рукой трясучку сниметъ.»

— «На, Евдокимовна, чистой или съ подмѣсью?..»

— «Чистой, Ермолаичъ: я ужъ сама чего нужно подмѣшаю. Вотъ тебѣ и деньги.»

Пока Ермолаичъ отмѣривалъ водку, Степанычъ съ любопытствомъ разсматривалъ старуху. Морщины обратили лице ея въ ветхій грибъ; она стояла согнувшись и опиралась на суковатую палку, а въ другой рукѣ держала стеклянную кружку, какими пивали бархатное пиво за барскими столами. На головѣ у старухи былъ повязанъ красный когда-то, теперь черный платокъ, родъ полушубка неизвѣстнаго мѣха наброшенъ на плеча и пристегнутъ подъ самой бородой; дальнѣйшаго костюма нельзя было видѣть. Не смотря на ветхость и бабы и ея одежды, все въ ней было какъ-то ладно; и странное платье опрятно и старое лицо весело и покойно.

— «Спасибо, Ермолаичъ. Прощай!»

— «Прощай, Евдокимовна! Заходи пожалуй завтра, погляди ты сынишку...»

— «А что?»

— «Да вотъ съ часъ времени, не больше, за-

снулъ... Старуха моя совсѣмъ измаялась: мальчикъ цѣлый день вопилъ...»

— «Пустое дѣло, Ермолаичъ! Право пустое! Что задарма разной дрянью поить; отъ этого здоровья не прибудетъ. А заснулъ, такъ значитъ и недугъ заснулъ; уйдетъ сонъ, уйдетъ и немочь. А зайти, зайду... Прощай!»

— «Спасибо, Евдокимовна, Богъ съ тобою. Я провожу тебя.»

— «И я...» сказалъ Степанычъ.

Старуха взглянула на него сомнительно и спросила:

— «А ты за чѣмъ?...»

— «Коммиссарское дѣло за всѣмъ приглядѣть.»

— «Кланяемся тебѣ твоей коммиссарской чести, да прощенія просимъ...»

Степанычу дали дорогу и онъ подошелъ къ своему Орлику...

— «Что это у тебя за гости, Ермолаичъ? Гляди, не съ той ли стороны.»

— «Не бойся, Евдокимовна... Люди хорошіе. Вотъ въ это лѣто третій разъ проѣздомъ. Ничего за ними не видалъ. Честные плательщики, покойные постояльцы.»

— «То-то же; гляди. Прощай!»

И старуха поплелась къ старымъ хоромамъ, а Ермолаичъ принялся вводить на дворъ купеческія подводы.

— «Что это за баба?» спросилъ Степанычъ, отвязывая Орлика.

— «Лекарка, баринъ-коммиссаръ, лекарка; и

всякую немочь знаетъ, и подъ-часъ такое скажетъ, что сбудется будто сонъ какой. Добрая такая.»

— «А откуда жъ она?»

— «А Богъ ее вѣдаетъ. Я ужъ тутъ ее на Старой Усадьбѣ засталъ.»

— «Ты развѣ здѣсь недавно?»

— «Не то, чтобъ и давно, а годовъ десятокъ будетъ.. »

— «И ты уже засталъ ее здѣсь?...»

— «Да какъ же не застать, когда она почитай, тутъ родилась...»

Степанычъ больше не разспрашивалъ. Спѣшно пошелъ онъ за старухой; Орликъ тянулся за нимъ. Но какъ ни шибко шелъ Степанычъ, не достигъ и пол-пути, старуха исчезла за хоромами. Привязавъ къ дереву поодаль своего добраго спутника, Степанычъ обошелъ кругомъ хоромы; у трехъ крылецъ прислушивался; все тихо, какъ въ могилѣ. Постучаться, можно перепугать Малашу; она же, какъ можно было угадать изъ разсказовъ старухи, продрогла, скрываясь въ оврагѣ отъ разбойниковъ. Ей больше всего нуженъ былъ покой. Если бы можно было вызвать старуху или Никитичну, да какъ узнать гдѣ именно та, гдѣ другая? Дождаться утра, когда встанутъ? Но такъ можно опоздать въ Костыльковку, гдѣ присутствіе его такъ необходимо. Уѣхать назадъ сейчасъ? Но кто поручится, что разбойники не разставили тайныхъ соглядатаевъ, что не вернутся ночью на постоялый дворъ за купцами и товарами ихъ; что

не захватятъ Малаши? Ко всему этому примѣнивалось и еще какое-то чувство, которое удерживало его у старыхъ хоромъ. Ему казалось будто они ему давно знакомы; особенно видъ рѣки, скалъ и песковъ, сходствовалъ съ видомъ, который въ головѣ его нерѣдко сочиняло воображеніе или повторяла память. Съ тайной грустью, въ которой однако же переливалась сладкая капля, усѣлся Степанычъ, на кучѣ соломы, набросанной подъ деревомъ, вѣроятно, для дневныхъ отдыховъ старухи. Усѣлся и задумался, задумался, и задремалъ. Вдругъ изъ глубины лѣса идетъ къ нему высокій, статный человѣкъ; Степанычъ глядитъ на него въ оба и не можетъ понять откуда появился нежданый гость въ такую пору, въ такой хорошей одеждѣ, съ такимъ добрымъ и ласковымъ лицомъ. Онъ подошелъ прямо къ Степанычу, безъ чиновъ сѣлъ возлѣ него на соломѣ, взялъ его за руку и сказалъ знакомымъ голосомъ:

— «Послушай! Ты хочешь все испортить! Дѣлай свое дѣло, какъ задумалъ, а ей зачѣмъ знать нашу тайну? По малой мѣрѣ не теперь, а когда выйдетъ замужъ. Дай мнѣ слово, что не скажешь.»

— «Клянусь, что будетъ по-твоему, только скажи кто ты.»

— «Удивительно! И ты не узналъ меня? Не мудрено. Я больно перемѣнился. Морозъ землю, бѣда голову снѣгомъ покрываетъ. Ты зналъ меня въ самой порѣ, когда я топоромъ съ одного раза убилъ этого проклятаго медвѣдя.»

Степанычъ вздрогнулъ. Собесѣдникъ продолжалъ...

— «Звѣрь растянулся... А эти разбойники хотѣли у меня отнять добычу... Но ты меня не помнишъ. Ты не можешь меня помнить, тѣмъ менѣе узнать... Вотъ, погляди, еще не сошли съ моихъ рукъ знаки веревокъ; вотъ еще у меня въ карманѣ то зѣлье, которымъ опоили меня...»

Съ крикомъ вскочилъ Степанычъ, но чувства оставили его; онъ замертво упалъ на солому.

Проснулся. Солнце и Малаша глядѣли ему въ глаза. Евдокимовна и Никитична бесѣдовали въ сторонкѣ, а Малаша сидѣла возлѣ Степаныча на соломѣ и, казалось, только и ждала его пробужденія.

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ВОЕННЫЯ ДѢЙСТВІЯ ВЪ КОСТЫЛЬКОВКѢ.

Было еще больно рано, когда по красивому двору костыльковской усадьбы, конюхъ проваживалъ Орлика, облитаго пѣной. На усадьбѣ еще всѣ спали, и свои и гости; Степанычъ стоялъ посереди двора и, въ раздумьи, не зналъ на что рѣшиться. Будить ли, или дать имъ выспаться? Выспятся, еще пожалуй будутъ умны; но Митюшкинъ, если не выспится, будетъ глупъ. И такъ плохо, и такъ не хорошо. Вдругъ изъ-за рощи показалась толпа людей разношерстныхъ и разнородныхъ; тамъ были и драгуны и солдаты и мужварье, вооруженное дубинами и топорами; поч-

ти всѣ — пѣшіе, но были и всадники. Впереди ѣхалъ офицеръ въ зеленомъ мундирѣ съ желтыми выпушками и окладкой, и по наружности былъ предводителемъ арміи. Завидя Костыльковку — армія грянула пѣсню, и Степанычъ по какому-то невольному чувству вышелъ на улицу имъ на встрѣчу.

— «Ба!» закричалъ офицеръ: «Ванька Острякъ! Ты какъ сюда попалъ?»

— «Не нарокомъ, ваше благородіе! Богъ меня сюда направилъ.»

— «Радъ тебя видѣть, очень радъ, право; а что, братъ, Ваня, по старой привычкѣ, чай поднесешь чего выпить, чего перекусить? Ты, вѣрно, и здѣсь по съѣстной части, какъ въ губерніи.»

— «Куда, батюшка, ваше благородіе! Неволя пляшетъ, неволя скачетъ, неволя пѣсеньки поетъ. Укажутъ — половой, велятъ — конюхъ, пожалуютъ — дворянинъ; между людей все на бумагѣ: у нихъ не въ душѣ — родъ, не въ сердцѣ — званіе, все на бумагѣ; бумажка есть — и всѣ вѣрятъ ..»

— «Э, да ты, Ваня, что-то по иному нынче шутишь. Я, братъ, загадокъ не жалую. Голову сломаешь, а не смѣкнешь... Говори на-прямки...»

— «Не надо, а будетъ надо, скажу. Куда путь держишь?»

— «Да ужъ извѣстно куда: наше житье теперь по лѣсамъ, да по оврагамъ; ищемъ...»

— «Жаль, что вчера ты не былъ на Старой Усадьбѣ.»

— «А что?»

— «Нашелъ бы.»

— «Что ты говоришь?»

— «Были... да я разогналъ.»

— «Зачѣмъ же ты ихъ разогналъ? Вотъ я тебя велю сейчасъ подъ арестъ взять; зачѣмъ ты не донесъ?»

— «За тѣмъ, что некому было. Да, видишь, теперь тебѣ и доношу; и еще тебѣ скажу, что тамъ у нихъ причалъ; въ кружалѣ — привалъ; командѣ укрыться есть гдѣ; а тебѣ готовое жилье; половину хоромъ тебѣ отдамъ, коли хочешь.»

— «Ты?»

— «Я.»

— «Да ты что? Прикащикъ, что ли?»

— «Подымай выше.»

— «У барина въ чести и милости?»

— «Подымай выше.»

— «Да что же ты?»

— «Хозяинъ!»

— «Ты, Ваня, не забудь: мы съ тобой не въ харчевнѣ; я теперь не на гульбѣ какой, а на царской службѣ. Ты мнѣ воровъ подавай: гдѣ ихъ видѣлъ?»

— «Послушай, честной офицеръ! Слѣзь-ка съ коня; пойдемъ погуляемъ по саду. Я тебѣ кое-какія диковинки разскажу; ахнешь; а ты рода хорошаго; души еще лучше; такъ тебѣ слова мои не противны будутъ; команда пока поотдохнетъ; на усадьбѣ люди подымутся, — накормятъ. Тогда ступай въ путь: недалече; до ночи два полка усадишь надъ рѣкою...

Офицеру полюбилось предложеніе, онъ слѣзъ съ лошади и ушелъ съ Степанычемъ въ садъ. Офицеръ былъ лѣтъ тридцати пяти, хорошо сложенъ, недуренъ лицомъ, только порохъ и солнце маленько его и припекли и прикоптили. Недолго тянулась прогулка. Выходя изъ сада, офицеръ то и дѣло кричалъ:

— «Вотъ гдѣ воры, вотъ кого ловить надо! Нѣтъ, Иванъ Степанычъ, я ужъ за тебя по-братски постою...»

— «О томъ только и прошу, Семенъ Романычъ, чтобъ ты въ это дѣло не мѣшался: все испортишь; коли можешь, такъ помоги мнѣ, какъ я сказывалъ; а нѣтъ, такъ лучше убирайся поскорѣе со всей твоей командой.»

— «Изволь, изволь, быть по-твоему. Бери команду, я становлюсь во фронтъ. Маршъ!»

— «Маршъ!»

И Степанычъ ударилъ въ колоколъ; долго въ этотъ разъ пришлось ему звонить; дворня, и та съ трудомъ собралась на зовъ Степаныча; а гостей и пушками разбудить было трудно. Примѣчая недѣйствительность мѣры, Степанычъ сказалъ:

— «Семенъ Романычъ, есть у тебя барабанъ?»

— «Два!»

— «Прикажи вонъ подъ этими окнами пріударить!»

И барабаны загремѣли, и колоколъ звучнѣе загудѣлъ. Но изо всей компаніи проснулся только одинъ Митюшкинъ и выскочилъ на крыльце. По знаку Степаныча, барабаны смолкли. Онъ самъ подошелъ къ крыльцу.

— «Что́? неужто спятъ?» спросилъ онъ; но Митюшкинъ вмѣсто отвѣта самъ спрашивалъ:

— «Что? Турки? Татаре? Шведы? А? Что?...»

— «Свои, свои, Прохоръ Семенычъ, не опасайся! Скажи лучше: наши спятъ?»

— «Не видалъ...»

— «Такъ поглядимъ!»

Степанычъ возвратился изъ хоромъ съ довольной миной, взялъ за руку Митюшкина, потомъ офицера и потащилъ обоихъ въ садъ, наказавъ людямъ идти по своимъ мѣстамъ; но господъ не будить. Хотя тайна, казалось не могла выйти наружу, но Степанычъ не вспомнилъ о предателѣ или, лучше сказать, о предательницѣ. Уже звонокъ разогналъ сонъ Меланьи Ивановны и навелъ на нее недоумѣніе; но барабанный бой привелъ ее въ страхъ неописуемый. Ужасы войны въ страшной картинѣ представились ея воображенію; а главное, что на этой войнѣ могъ случиться генералъ; безъ генераловъ же какая война, а генералъ старше губернатора; хотя можетъ-быть и моложе губернатора. Притомъ же военная дисциплина не то, что гражданская. Тамъ можно найти денежные или вещественные пути къ оправданію, но тутъ взятки гладки; тутъ улика на лице: воевода захваченъ въ расплохъ; а военные люди къ тому нетерпѣливы; у нихъ какъ нарочно съ боку — шпага, а въ рукѣ трость; кого не нужно рубить, такъ пожалуй тростью, а это посрамитъ воеводскій санъ, дойдетъ до губерніи...

И съ какою быстротою неслись эти мысли, съ такою же скоростью обувалась и одѣвалась Ме-

ланья Ивановна. Вспотѣла, запыхалась, однако же кое-какъ окончила тоалетъ и бросилась въ столовую, гдѣ уже, отложивъ всякую обычайность въ сторону, тузила въ затылокъ, то мужа, то Лукича, то Галунчикова, причемъ досталось заурядъ и камериру, и Бузе, и Пахомычу, и невзначай даже Костылькову. — Мѣра Меланьи Ивановны была дѣйствительнѣе и колокола и барабановъ... Всѣ проснулись и съ ужасомъ спрашивали другъ у друга, что случилось...

— «Слава тебѣ, Господи!» кричала Меланья Ивановна: «что еще ничего не случилось; сейчасъ будетъ сюда генералъ.»

— «Какой генералъ?»

— «Какой бы ни былъ, а все генералъ. Война въ Костыльковкѣ. Набатъ, барабаны, а вы спите! Я, право, выбилась изъ силъ; за всѣмъ сама смотрю; того гляди придется самой резолюціи писать. Поглядите, на кого вы похожи; а ужъ ты, зюзя этакой! Ступай за мною, я тебя причешу; а эти какъ-себѣ хотятъ, а подъ судомъ будутъ!»

Галунчиковъ, Степанъ Лукичъ, и даже камериръ побѣднѣли. Одинъ Бузе при этихъ словахъ пріосамился и сказалъ съ важностью:

— «Какой судъ! Ни какой судъ не есть!...»

— «Военный, батюшки свѣты!» воскликнула Меланья Ивановна, взглянувъ въ окошко.

— «Подъ военный судъ!» запищалъ Галунчиковъ: «Того и гляди шпицрутеномъ...»

— «Или аркебузируютъ...» дрожа произнесъ Лукичъ, блѣдный какъ полотно...

Воевода, влекомый за руку могучей супругой и не понимая, что вокругъ него происходитъ, также терялъ бодрость; Пахомычъ, не причастный грѣхамъ гражданскимъ, потому что грѣхи его принадлежали къ категоріи ученыхъ, поглядѣлъ въ окно и присѣлъ на полъ...

— «Что тамъ?» спросили почти всѣ.

— «Пушки!» съ трепетомъ произнесъ Пахомычъ: «Жерла ихъ направлены въ насъ. Сейчасъ палить будутъ.»

И всѣ, никого не исключая, послѣдовали примѣру Пахомыча и присѣли. Это спасло Степаныча. Возвращаясь изъ сада съ товарищами, онъ приказалъ барабанить, а самъ принялся за колоколъ. При первыхъ ударахъ въ барабанъ, многіе вскрикнули, полагая, что открыли канонаду; въ то же время двери отворились, и въ столовую вошелъ офицеръ съ Митюшкинымъ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» громко сказалъ Пахомычъ: «Теперь начинается арестованіе.»

— «Что́ это, честные господа!» спросилъ офицеръ, осматривая коллекцію добровольныхъ карликовъ. «Въ какую вы это игру играете?»

— «Въ грибки, ваше сіятельство, въ грибки!» поднимаясь, отвѣчалъ Пахомычъ...

— «Не слыхалъ. Какая же это игра. Я не знаю.»

— «И мы не вѣдаемъ...» сказалъ воевода, подымаясь. «Хотѣлъ Пахомычъ научить...»

Мало-по-малу и всѣ выпрямились, только одинъ Галунчиковъ, стоялъ какъ коромысло надъ колодеземъ, сохраняя съ трудомъ равновѣсіе.

— «А гдѣ хозяинъ?» спросилъ офицеръ.

Всѣ руки, въ томъ числѣ и Меланьи Ивановны, вытянулись и указали на Костылькова.

— «Прощенья просимъ, что сонъ вашъ потревожили. Дѣло не наше: такъ указано; команда то и значитъ, что она подъ командой...»

— «Совершенно справедливо, ваше сіятельство!» сказалъ Лукичъ.

— «Сущая истина!» подхватилъ Галунчиковъ.

— «Святая правда» произнесъ воевода, а камериръ утвердилъ положеніе значительнымъ: — Гмъ!

— «Ну, теперь не знаю, къ чему приступить прежде...» продолжалъ офицеръ: «къ пищѣ или къ дѣлу? Правду сказать, ѣсть смертно хочется...»

— «Чего ты зѣваешь?» сказала Меланья Ивановна Костылькову, который стоялъ неподвижно, будто на него столбнякъ нашелъ. Между-тѣмъ Лукичъ уже почистилъ кресла и подвинулъ ихъ къ офицеру; другіе также оживились, кто ухватился за тарелку, кто за пустую бутылку... Костыльковъ, побуждаемый воеводихой, отправился за съѣстными и питейными припасами.

— «Ну, господа!» сказалъ офицеръ, сѣвъ въ кресла: «Хозяина теперь нѣтъ; можно перемолвить кое о чемъ. Глядите, чтобы за потворство богатымъ мальчишкамъ не отвѣтить Богу и Государю. Насъ-то, голышей, вы не жалѣете. А вотъ такіе развратники вамъ по сердцу и по рукѣ. Такъ вотъ смотрите же, чтобы воля начальства была безпрекословно исполнена. Питербурхъ далече; можетъ опоздать; тогда онъ самъ по-себѣ, а вы сами по-

себѣ будете въ отвѣтѣ. Ну, Прохоръ Семенычъ, объявляйте приказаніе, мое дѣло — исполнительное...»

Митюшкинъ ободрился, выступилъ впередъ и возгласилъ: — «Губернское начальство... (Митюшкинъ поперхнулся) желаетъ, нѣтъ не желаетъ, а указало... (Митюшкинъ вспотѣлъ и сталъ утираться)... указало, всѣхъ нѣтчиковъ, сколько ихъ ни есть, выслать на смотръ, перваго сентября... То есть, перваго сентября изъ уѣзда... а кого, тѣмъ приложена поименная табель...»

— «А кто ослушается...» перебилъ офицеръ: «то имѣетъ воевода обратиться къ военнымъ командамъ... Поняли? Ну, теперь позвольте покушать... Право, ѣсть смерть-хочется. Прощайте! Ступайте, да потолкуйте, какъ бы получше исполнить порученіе. Остается только недѣля.

Въ столовой остались только Митюшкинъ да офицеръ; прочіе выползли на крыльце, оттуда чуть не бѣгомъ бросились въ садъ, и открыли совѣтъ въ бесѣдкѣ. Пахомычъ, пользуясь общею смутою, отправился на задній дворъ. Костыльковъ, завидя бѣгство своихъ покровителей, устремился за ними, но на порогѣ встрѣтилъ ужасный пріемъ:

— «Бѣги!» кричала воеводиха: «Спрячься, гдѣ-нибудь въ лѣсу; только скажи мнѣ, гдѣ ты будешь; ужъ я о тебѣ радѣть буду; теперь лѣто, отъ стужи не пропадешь. Поищутъ, поищутъ, да и уйдутъ, а тамъ тебя Максимъ выручитъ.»

— «Матушка...»

— «Молчи! Не умничать! Хоть весь уѣздъ, всю

провинцію отдай въ солдаты, а Ивана Степаныча не моги. Убью!»

— «Убьешь? Вѣрю, вѣрю! Сдержишь слово, да вѣдь меня самого подъ судъ...»

— «Да что! Иванъ Степанычъ, бѣднякъ какой, что ли! выручитъ...»

— «Нельзя, Меланья Ивановна!» сказалъ съ важностью Лукичъ.

— «Что нельзя?»

— «Ни какъ нельзя! Я про Ивана Степановича ничего не говорю; пока насъ слушался да уважалъ, десять смотровъ прошло, ни на одинъ не потревожили, а какъ сталъ земскихъ секретарей на качеляхъ качать...»

— «Да вѣдь не я...»

— «А земскихъ коммиссаровъ всякою позорною бранью поносить, заставлять за батраковъ рухлядь таскать, за ямщикомъ править...»

— «Да развѣ я?...»

— «Камеировъ на волахъ возить...»

— «Господи, Боже мой, да вѣдь не я, Степанычъ...»

— «Ну, такъ пусть Степанычъ и выручаетъ.»

— «И выручитъ...» сказалъ Степанычъ, входя въ бесѣдку, къ общему неудовольствію, за исключеніемъ четы воеводской.

— «Другъ мой!» сказалъ Костыльковъ, увидавъ Степаныча: «Пришла бѣда не минучая; прислали за мной команду; хотятъ на службу силой взять...»

— «Кто!»

— «А вотъ хотя бы этотъ Митюшкинъ, съ этимъ, кто его знаетъ...»

— «Ну, а ты что? Съ этой челядью возишься, какъ будто она тебѣ теперь помочь можетъ! Пришла пора, они, видишь, и заважничали. Да ужъ такъ написано, что кто больно смѣется сегодня, тотъ больно будетъ плакать завтра; кто плачетъ сегодня, завтра утѣшится. Вздоръ, Иванъ Степанычъ, пустяки! Плюнь! Дѣло алтына не стоитъ. Дай депька два, три: пусть только губернское начальство изъ провинціи уѣдетъ.

— «Губернаторъ въ провинціи!» воскликнула Меланья Ивановна.

— «Пока нѣтъ, а къ вечеру неотмѣнно будетъ...» отвѣчалъ покойно и утвердительно Степанычъ, и Меланья Ивановна, всплеснувъ радостно руками, заговорила:

— «Это онъ меня, голубчикъ, навѣстить хочетъ! Соскучился, старичекъ мой почтеннѣйшій: ну, теперь не бойся, Иванъ Степанычъ! Теперь есть защитникъ и покровитель твоей молодости! Колымагу! Скорѣе колымагу! Бѣда, какъ никого въ провинціи не застанетъ...»

Удивительное дѣло! Никто и не спрашивалъ, откуда пришла вѣсть, кто писалъ, кто говорилъ; всѣ бѣгали, суетились, сбили съ ногъ конюховъ; нѣкоторыхъ кучеровъ едва отыскали, потому что никто не ожидалъ такого скораго отъѣзда. Прежде всѣхъ уѣхалъ Галунчиковъ, котораго предусмотрительная воеводиха выслала на границу для встрѣчи губернатора; камерира отправили на доб-

рой костыльковской тройкѣ; Лукичъ уже сидѣлъ на своей таратайкѣ и въ нетерпѣніи ругалъ Бузе, который забѣжалъ на кухню, закурить на дорогу трубку, но вотъ, подобно пароходу, понеслась и таратайка. Подали и колымагу; на запяткахъ уже сидѣла Палашка, а въ колымагѣ воевода; одна Меланья Ивановна пробавлялась еще въ бесѣдкѣ.

— «Не бойся, душа моя...» говорила она Костылькову: «дура я, что ли? Позволю у себя отнять такого парня! Не бойся; поставлю на своемъ. Сказала и сдѣлаю. Ты только умасли Митюшкина и этого военнаго. Степанычъ поможетъ. Я ужъ смекаю, что это послѣ тебя, первый человѣкъ... А ты, душа моя, не бойся; у меня и на коммиссарствѣ, дворяне по моей волѣ дома себѣ прожили, а ужъ на воеводствѣ... Ну, да говорятъ тебѣ не бойся! Прощай!»

Послѣ трогательнаго прощанія и воеводиха усѣлась въ колымагу; во все время прощалась взорами; оба Степаныча проводили колымагу до воротъ и оставшись одни, посмотрѣли другъ на друга значительно

— «Ну,» сказалъ Костыльковъ: «Слава Богу, уѣхали!»

— «Не радуйся!» замѣтилъ сухо Степанычъ: «Главные — не уѣхали и отъ этихъ ни взяткой, ни хмѣлью не отдѣлаешься.»

— «Костыльковъ побѣднѣлъ.»

— «Жаль мнѣ тебя, Иванъ Степанычъ! Ты точно такъ какъ я, за другихъ терпишь, за другихъ расплачиваешься.»

— «За кого, за другихъ?»

— «Когда-нибудь и это узнаешь! Семъ дней срока. Посмотрю, поворожу, авось придумаю...»

— «Другъ мой!»

— «Я другъ твой! Конечно, Иванъ Степанычъ, и отцы наши друзьями были!»

— «Отцы наши?...»

— «И это когда-нибудь узнаешь...»

Лице Степанычу измѣнило; звѣрская улыбка пробѣжала по устамъ и пропала, будто зарница, безъ грома. Костыльковъ, пораженный непонятнымъ для него чувствомъ, глядѣлъ на него безсмысленно, ожидая дальнѣйшаго объясненія; но тотъ не замѣчалъ Костылькова. Утопая въ соображеніяхъ, онъ безпрестанно мѣнялся въ лицѣ; наконецъ какъ-будто догадался, что̀ ему дѣлать; лице просіяло; онъ вздохнулъ отрадно и сказалъ Костылькову:

— «Иванъ Степанычъ! Разогналъ я всю провинцію, разгоню и этихъ вороновъ. Ступай себѣ къ Грушѣ или къ Малашѣ. Ну, говори правду, Иванъ Степанычъ: къ кому больше сердце тянетъ: къ Грушѣ или къ Малашѣ?»

— «Къ Грушѣ, Степанычъ, къ Грушѣ! Надоѣла мнѣ эта ворона; точь-въ-точь Митюшкинъ, она для меня; взгляну на нее, точно попрекъ слышу. Къ Грушѣ, къ Грушѣ!...»

И радость и досада заиграли на устахъ Степаныча.

— «Ну, такъ ступай же ты къ своей Грушѣ, а я примусь за гостей.»

— «Такъ я могу ѣхать въ Будимовку?...»

— «Долженъ!»

— «О, Степанычъ! Теперь я вижу, что отцы наши были друзьями...»

— «Не то еще увидишь! Прощай!»

Костыльковъ, какъ ребенокъ, радовался позволенію; чуть не самъ запрягалъ таратайку; то и дѣло оглядывался: не идутъ ли отмѣнить приказаніе и ужъ за плетнями усадьбы вздохнулъ свободно, когда лошади могли пуститься во всю рысь... Степанычъ изъ окна наблюдалъ за Костыльковымъ, и на всѣ вопросы офицера, который, окончивъ трапезу, оканчивалъ медъ и вино, не отвѣчалъ ни слова. Митюшкинъ не дѣлалъ никакихъ вопросовъ, потому что спѣшилъ въ провинцію, а передъ нимъ еще оставался каплунъ съ начинкою и какое-то диковинное блюдо, которое онъ изотвѣдалъ до послѣдней крошки, а все не зналъ изъ чего оно состряпано. Наконецъ и каплунъ исчезъ.

— «Ну, теперь, пора и вамъ, Прохоръ Семенычъ! Вотъ сегодня вы показали, что трусомъ никогда не были! Молодецъ! Просто молодецъ! Семенъ Романычъ, вы такъ и въ губерніи разсказывайте!»

— «А, что? Плохо не бойсь я ихъ припугнулъ, а регистра-то нѣтъ!» сказалъ съ довольнымъ видомъ Митюшкинъ.

— «Въ томъ-то и молодечество, Прохоръ Семенычъ! То есть, какъ Семенъ Романычъ въ губерніи разскажетъ: воръ, подумаютъ, молодецъ!»

— «Семенъ Романычъ, только ужъ про регистръ ничего не упоминайте. Право, только для

васъ такую ложь отпустилъ. Самъ по себѣ ни за что бы...»

— «Да поѣзжайте же, Прохоръ Семенычъ! Вы должны почти первый къ губернатору явиться...»

— «А вотъ сейчасъ, моя умница! Нѣтъ ли винца?»

— «Нѣтъ! Воевода все выпилъ...»

— «Экая лакомка! такъ хоть медку...»

— «Камериръ...»

— «Такъ и зналъ! Бочка проклятая! Право, я съ нимъ служить не могу. Какъ угодно начальству, или я, или онъ вонъ изъ провинціи... Такъ ужъ наливочки...»

— «Лукичъ, Ильичъ!...»

— «Знаю, знаю. Піявки! Нечестивцы! Имъ вина и меду не давай. Придется настоемъ покончить...»

— «Пахомычъ...»

— «Что? И настойку выпили! Пьяницы! Прожоры! А еще другихъ людей своимъ порокомъ облыгаютъ.»

— «И оболгутъ передъ губернаторомъ, если опоздаете. Право, поѣзжайте! Вотъ, благо, и лошади готовы.»

И насилу на-великую удалось Степанычу выпроводить Митюшкина, усадить на повозку и отправить...

— «Ну, Семенъ Романычъ! не знаю какъ благодарить! Все идетъ по-моему. Не будь васъ, Митюшкина бы загоняли, запутался бы, — мнѣ не ловко; подали бы ему кружку съ пѣнистымъ, да-

же хоть съ пѣннымъ, и концы въ воду... Разогналъ я ихъ. Будутъ ждать дня три-четыре; губернаторъ не пріѣдетъ; примутся за старое ремесло: тогда — я опять попрошу вашей помощи.»

— «Хорошо, Иванъ Степанычъ; только ужъ во второй разъ не ручаюсь; кого ни есть изъ этихъ взяточниковъ, а поколотить надо; вѣдь это все отъявленные; вѣдь они изъ алтына продадутъ брата, сестру...»

— «Ахъ, Семенъ Романычъ, гдѣ женщина замѣшается, тамъ и честной не устоитъ...»

— «Вздоръ! Честный — вездѣ честный!»

— «Полно, такъ ли?»

— «За другихъ только дуракъ ручается; а ужъ про себя скажу: запри меня на замокъ съ первой раскрасавицей, будто съ сестрой буду жить...»

— «Полно, такъ ли?»

— «Ей-Богу!»

— «Вѣрю, вѣрю! Ну-те, Семенъ Романычъ, пора и намъ въ походъ.»

— «А людей накормили?»

— «Накормили...»

— «Сколько слѣдуетъ?»

— «Да что вы это? Неужто деньги станемъ брать!

— «А неужто я себѣ ихъ въ карманъ положу. Деньги царскія...»

— «Ну, такъ вы и покажите такъ по книгамъ: въ Костыльковкѣ даромъ накормили, такъ и деньги налицо...»

— «И то правда! Ну, такъ въ походъ! А до рѣки далече?»

— «Ходьбой часа два...»

— «Такъ не опоздаемъ! Въ походъ!»

Вышли. Ударили въ барабаны, команда собралась и выступили въ походъ. Степанычъ на Орликѣ ѣхалъ возлѣ офицера; армія шла въ почтительномъ разстояніи, оглашая окрестность пѣснями...

—

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

гости съ той стороны.

Степанычъ предупредилъ команду. На Старой Усадьбѣ никто не ожидалъ, что онъ пріѣдетъ опять такъ скоро, и потому настала радость великая. Больше другихъ обрадовалась Евдокимовна. До пріѣзду Степаныча, она частенько поглядывала то на отлогіе, пустынные, покрытые мелкимъ кустарникомъ берега рѣки по ту сторону, то на солнце, которое, перекатясь черезъ полуденную черту, стало тускнуть. Кто вѣритъ колдуньямъ? Я, пожалуй, и вѣрилъ бы, да не смѣю: вѣкъ не велитъ; но въ тѣ времена вѣрили, и Евдокимовна была колдуньей. Свойство ли предвидѣнья было то́ или чары, неизвѣстно, только Евдокимовна встрѣтила Степаныча загадочною рѣчью:

— «Солнце заходитъ! Ты за него! А гости будутъ...»

— «Угадала, Евдокимовна, будутъ гости знатные, добрые слуги царскіе. Рай мой, Малаша! Просторны твои хоромы, а начальнику надо пристанище дать...»

— «Э, батюшка!» радостно перебила Евдокимовна: «бывали и у насъ пиры, бывало веселіе; много мѣстилось гостей въ барскихъ хоромахъ. Тридцать покоевъ, батюшка; семь выходовъ; три крыльца крытыя; такъ есть гдѣ раскинуться. Помню я послѣдній пиръ передъ самой охотой; Степанъ Петровичъ, почитай, всю ночь съ гостями пѣсни пѣлъ, а на бабьей нашей половинѣ ничего и слышно не было. Такъ мы, женскій полъ, на своемъ концѣ и останемся; а царскимъ людямъ хоть всѣ хоромы отдай...»

— «Ладно! Ну, а ты, моя Малаша, не забудь, пойдешь за помѣщицу, слышишь?..»

— «Я? Да какъ же я?..»

— «Да такъ же, за помѣщицу, да и кончено. Нельзя же тебѣ отъ него прятаться...»

— «Батюшки-свѣты! Солдаты... убьютъ, застрѣлятъ...»

— «Какой вздоръ! Идутъ они на твою защиту; благо, съ тобой и платье есть понарядиѣе; поди-тка, душа моя; на бѣлыя плечики накинь душегрѣю, да выходи на встрѣчу честному командиру... Полно, не чинись, Малаша! Помни, что я тебѣ зла не желаю. Все что ни говорю, что ни дѣлаю, толкъ есть. Ну, ступай!»

— «Да, какъ же я, право... Вѣдь я по-помѣщичьему и говорить не умѣю; осмѣетъ еще...»

— «Полно же, говорю тебѣ, вонъ и они...»

— «Ахъ ты, Господи, срамъ какой!»

И Малаша убѣжала, но Степанычъ пошелъ за ней, умѣлъ уговорить, умаслить, и Малаша какъ

на угольяхъ уже стояла на крыльцѣ и не смѣла взглянуть на гостей...

— «Вотъ, Семенъ Романычъ, здѣшняя барыня!..» сталъ говорить Степанычъ, не обращая вниманія на то, что Малаша то и дѣло дергала его за рукавъ: «Не полюби, гляди, бѣдной сироты! (Малаша закрылась обѣими руками, да и Романычъ какъ-то смѣшался). Не бери въ полонъ вдовьяго сердца. Ты птица перелетная: улетишь къ другой веснѣ, а эта завянетъ. Позволяю вамъ всякую бесѣду, и трапезу, и рѣчь, только любиться нельзя!»

— «Видно, Иванъ Степанычъ, за самимъ грѣшки...»

— «Водятся...»

— «Что это, право?..» запищала Малаша сквозь слезы. «Не выдержу!»

— «Полно, полно, Меланья Ивановна! Мы съ тобой свои, что намъ чиниться; ну, хозяюшка, проводи-ка гостя, покажи ему, гдѣ его покои...»

— «А я почемъ знаю! Я сама не во всѣхъ была.»

— «Не изволь трудиться, хозяюшка! Мы народъ ратный. Надъ нами Божій шатеръ: помѣстимся; а покою твоего не потревожимъ. Видно, ты царскихъ слугъ не жалуешь?..»

— «Боюсь...»

— «Это отчего?»

— «Да Иванъ Степанычъ частенько разсказывалъ, будто они такіе строгіе...»

— «Пугалъ, я пугалъ...» перебилъ Степанычъ. «Дѣвушекъ, что ребятъ, отъ грѣха стращать надо. Ну, такъ, Евдокимовна, ты отворяй, а мы всѣ за тобой командира провожать будемъ.»

— «Да что ты, Иванъ Степанычъ, обо мнѣ хлопочешь. Прилягу гдѣ-нибудь на пріизбѣ и ладно; нынче дѣло лѣтнее; не о томъ теперь забота: надо людей разсадить; погода что-то хмурится; быть бурѣ; надо ихъ укрыть отъ невзгоды, а злодѣи чаще всего подъ громъ небесный творятъ страшныя дѣла...»

— «И не старъ, а видно присмотрѣлся...» сказала старуха. «Будетъ ночью буря, будутъ и гости; завоетъ на небѣ, загудитъ на рѣкѣ, валы чуть не хватаютъ до маковки чернаго бугра, а имъ тутъто и раздолье. Пѣсни поютъ, безбожники, на ладьяхъ, и по рѣкѣ и по затокамъ такъ и разгуливаютъ; утомятся: къ нашему кружалу пристанутъ, почитай до-тла все выпьютъ, денегъ не заплатятъ и опять подъ бурю. И хмѣль ихъ не беретъ!»

— «А гдѣ же у нихъ тутъ причалы?»

— «Всѣ знаю, батюшка; коли хочешь, укажу...»

И Евдокимовна повела Романыча къ рѣкѣ; невольно пошли за ними и Степанычъ, и Малаша, и Никитична, и команда. Всѣ распоряженія сдѣланы, сѣли въ засады; кашевары отправились въ лѣсъ кухню закладывать; обозъ и лошадей увели также въ лѣсъ, а главныя дѣйствующія лица усѣлись подъ тѣнію десятка прекрасныхъ многолѣтнихъ липъ, осѣнявшихъ черный бугоръ, или скалу, торчавшую надъ самой рѣкою. Видъ былъ истинно восхитительный. На западѣ собирались тучи и умножали прелесть чуднаго вечера. Собесѣдники и собесѣдницы скоро освоились; искренность и непринужденность оживила рѣчи. Евдокимовна болтала боль-

ше всѣхъ, и больше всего о временахъ былыхъ Старой Усадьбы.

— «Тутъ, вотъ гдѣ мы сидимъ, кончался плодовой садъ; я говорю, что груши съ Малашину голову были; вонъ, вдоль по тому берегу отъ того мѣста, гдѣ шестъ торчитъ, до большаго булыжника, была барская пристань и рыбный ловъ. Вотъ ужъ тѣшились подчасъ, а больше съ огнемъ: жаровни зажгутъ и по-надъ рѣкой поставятъ по всей пристани; а сами-то постанутъ съ острогами, да баграми. Потѣха!.. А пуще всѣхъ на рыбной ловлѣ священникъ Никита умѣлъ заправлять...»

Степанычъ вздрогнулъ.

— «Бѣдняга! Гдѣ-то онъ теперь? Любилъ онъ Степана Петровича какъ сына роднаго...»

— «А гдѣ же онъ жилъ?»

— «А вотъ, если видишь, подъ лѣсомъ горка: тамъ и церковь стояла. Какъ стало на усадьбѣ пусто, гости съ той стороны пришли, пожаръ такой затѣяли, все погорѣло; диво, какъ уцѣлѣли хоромы. Въ тотъ пожаръ и пчелъ всѣхъ выкурило; и пчельникъ; Антонъ гдѣ жилъ, и та изба погорѣла. Только хоромы, а то все, все на золу пошло; а кружало и дворъ, это уже за Костылькова, ради барышей построили. И люди куда дѣвались! Помню я этотъ день, какъ отецъ Никита заѣзжалъ, ни вѣсть откуда. Пріѣхалъ. Гдѣ бумаги? Говорю: былъ тутъ Антонъ пчельникъ съ Лукой садовникомъ; что могли забрали, ограбили и ушли, окаянные! — Ну, это нехудо... сказалъ отецъ Никита. А гдѣ Антонъ? — А кто его знаетъ; были тутъ

за нимъ изъ Костыльковки сыщики, меня допрашивали, гдѣ Антонъ? Стащилъ онъ тамъ что-то и ушелъ... Послѣ того много прошло годовъ. Ни про Антона, ни про Никиту ничего не слыхала.»

— «Антона уже нѣтъ на свѣтѣ!» со вздохомъ сказалъ Степанычъ.

Евдокимовна вскочила...

— «Такъ ты знавалъ Антона?»

— «Какъ не знать! Добрый былъ старикъ; покойному помѣщику былъ преданъ безъ лести. Умеръ Антонъ: старость одолѣла; а все покойнику своему барину до смерти служилъ.»

— «А гдѣ же онъ умеръ?»

— «Далече. Въ большомъ селѣ государевомъ, подъ самою Москвою огородничалъ; нажилъ себѣ достатокъ честный, да не вкусилъ плода трудовъ своихъ... Померъ...»

— «Давно ли?..»

— «Годъ съ хвостикомъ. На Маккавеевъ.»

— «И ты зналъ его?..»

— «Что это?» осѣнивъ рукою глаза, спросилъ Степанычъ. «Стадо не стадо, люди не люди, тамъ между кустовъ пробираются.»

— «Гости!» радостно перебила Евдокимовна, удерживая Романыча, который уже хотѣлъ вскочить и пойти къ своей командѣ, расположенной въ засадахъ. «Нѣтъ, Семенъ Романычъ, не трогайся съ мѣста; прислонись лучше къ липѣ: зорки эти коршуны; ползутъ къ своимъ лодкамъ, чтобы ихъ съ нагорной стороны не подмѣтили. Какъ доползутъ до камышей, тутъ ужъ ихъ и птица не засмотритъ,

а они все видятъ; выглядятъ все что на берегу дѣлается, да и ударятъ подъ шумокъ. Буря на носу; гости на глазахъ; такъ ужъ пока не смеркнется, мужскому полу и шевельнуться нельзя, сейчасъ подмѣтятъ; а Меланья съ Никитичной пускай идутъ въ хоромы...»

— «Ну, а ты, Евдокимовна?»

— «Мое дѣло ратное. Пойду къ кашеварамъ, да скажу, чтобы огни залили, да прилегли. Потомъ буду тебѣ помогать; а какъ, увидишь...»

И Евдокимовна увела Меланью съ Никитичной, а Романычъ съ Степанычемъ недвижно сидѣли у липъ и продолжали тихо бесѣдовать.

— «Иванъ Степанычъ!» сказалъ офицеръ: «Правду сказать, поставилъ ты меня между двухъ огней. Съ той стороны — разбойники, съ этой — хозяйка...»

— «А что?»

— «Больно хороша Малаша! Не будь она твоей любовишкой...»

— «Ошибаешься, Семенъ Романычъ! Не моя она любовь...»

— «Право?..»

— «Сиди смирно, Семенъ Романычъ! Гости уже въ камышахъ. Полюбилъ я Малашу не по-твоему. Какъ отдали мнѣ въ руки мои бумаги, когда сказали, гдѣ и кого я долженъ искать, чтобы тѣ бумаги прочелъ и меня наставилъ какъ и что дѣлать, пришелъ я въ Костылькovку, втерся въ милость къ хозяину, полюбилъ его любовь, Меланью...»

— «Что ты говоришь, такъ она?..»

— «Была жертвой дурнаго воспитанія костыльковскихъ хоромъ; выросла съ дворовыми дѣвчонками между швей и чулкоплетницъ; по-моему, на черной работѣ поднялась до весны своей. Я захотѣлъ вырвать ее изъ рукъ Костылькова, жениться; а ты знаешь, для женитьбы нынче нужна грамота; я выучился читать и писать; прочелъ самъ мои бумаги — и потерялъ Малашу навѣки...»

— «Это почему?»

— «Она сестра моя!..»

— «Что ты говоришь?..»

— «Клянусь тебѣ всѣмъ, что ни есть святаго на этомъ свѣтѣ, что говорю правду. Я былъ половымъ въ Москвѣ, она швеей; меня спасло горе, ее погубило. Но, Семенъ Романычъ, сорвалась у меня съ языка тайна великая. Не продай меня! Не должна она знать, кто она, пока не будетъ замужемъ. Такъ угодно батюшкѣ...»

— «Помилуй, Иванъ Степанычъ: да вѣдь отецъ твой умеръ.»

— «И какъ еще! Не приведи Господи! Будетъ время, все разскажу, а теперь позволь промолчать. Бумаги мои хороши только для меня. Но для сестры ихъ недостаточно. Костыльковъ, да еще съ помощью этихъ злодѣевъ, можетъ отстоять мою сестру, какъ свое добро — и вконецъ осрамить домъ нашъ. Я уже все передумалъ. Надо взять хитростью. Если мой замыселъ удастся, тогда будетъ легче пристроить Малашу. Приданое соберется не малое: Костыльковъ что-нибудь подаритъ; я ей дамъ два большіе огорода

подъ Москвой; оброка съ нихъ за два ста. Пріищу женишка изъ бѣдныхъ дворянъ; вымаячу ей волю; тогда сниму свою личину; тогда пусть умру, а кто налицо, тотъ самъ отвѣтитъ, а кого нѣтъ, за того пусть расплатятся дѣти... Семенъ Романычъ, тоска меня истомила; больно носить тайну! Сказалъ я тебѣ много. Молю тебя, не продай несчастнаго!»

— «Какъ тебѣ не стыдно, Иванъ Степанычъ! Вотъ моя рука, и смолчу, и гдѣ нужно постою за тебя... Скажи, что́ я могу сдѣлать?..»

— «Много, много можешь, Семенъ Романычъ! Охрани мою сестру и отъ разбойниковъ и отъ вора Костылькова, если ему вспадетъ на умъ взять отсюда Малашу.»

— «Не увидитъ какъ ушей своихъ!..»

— «Не то, Семенъ Романычъ! Пока силой ничего не сдѣлаешь; право и законники на его сторонѣ. Такъ хитростью...»

— «Что́ же надо дѣлать?..»

— «А вотъ что́...»

И примѣтивъ, что къ нимъ идетъ Евдокимовна, Степанычъ шепотомъ досказалъ свое намѣреніе.

— «Завтра же,» сказалъ громко Романычъ: «Завтра же за работу!»

— «Не бѣда, что кричите...» сказала подошедшая Евдокимовна: «А бѣда, что руками разводите... Ну, да стало темнѣть отъ грозы; авось не подмѣтятъ... И солнце на закатѣ; и, кажется, лодки уже спущены; за дѣломъ насъ и не увидятъ. Я сказала твоимъ людямъ, чтобы обозъ снарядили телѣгъ

въ десять, да и подъѣхали бы къ постоялому, будто купцы — знаешь, для приману. Гости завидятъ, такъ не раздѣлятся, а цѣлой шайкой къ кружалу пустятся. Та засада, что́ у старой пристани, пусть сейчасъ ухватится за лодки, чуть онѣ на бугоръ войдутъ, а потомъ уже по свистку и всѣ засады, словно неводъ, пусть кружкомъ идутъ; надо ихъ до-тла изловить; не то, корни останутся. Вотъ теперь я и обойду всѣ засады, и отъ тебя наказъ разнесу, а ты посиди маленько; видишь, изъ камышей носы отъ лодокъ торчатъ. Оборони Богъ, чтобы не перепугать! Ну, Богъ помощь, надо спѣшить.»

И Евдокимовна, перекинувъ на плечо коромысло съ ведрами, поплелась къ рѣкѣ. Не успѣла она перемолвить съ засадой у пристани, какъ сильные порывы вѣтру, предвѣстники бури, взволновали покойное теченіе рѣки; раскаты грома становились громче и громче — и буря разразилась. Проливной дождь закрылъ противоположный берегъ густымъ покрываломъ. Степанычъ и Романычъ безопасно могли оставить черный бугоръ и бросились съ увѣдомленіемъ, къ разнымъ отдѣленіямъ команды. Степанычъ заблагоразсудилъ занять для себя мѣсто поближе къ театру предстоявшаго дѣйствія, и на обломкахъ старой пристани присѣлъ въ камышѣ. Буря свирѣпѣла; дождь проѣлъ, но громъ гремѣлъ безъ умолку; валы съ сѣдыми гривами бросались на берегъ съ буйною радостью. Раздались пѣсни страшныя, вскрики безумнаго веселья, и, мѣшаясь съ шумомъ бури, наводили не-

вольный ужасъ. Молнія освѣщала путь гостей. Окрестность будто умерла, только при блескѣ молніи можно было замѣтить на черномъ бугрѣ тѣнь женщины, которая съ какимъ-то священнымъ величіемъ, воздѣвъ руки къ небу, по-видимому, творила теплую молитву.

— «Ой! Пропаду! Совсѣмъ укачало!» кричалъ кто-то.

Голосъ этотъ показался Степанычу слишкомъ знакомымъ; но хотя лодка, откуда крикъ раздался, была очень близко, въ темнотѣ однако же невозможно было различить лица. Лодка ударилась въ обломки пристани; багоръ уцѣпился въ бревно; оттуда выскочило нѣсколько человѣкъ.

— «Ну, вотъ и на мѣстѣ!» сказалъ кто-то грубымъ голосомъ. «Выходи!»

— «А зачѣмъ я выйду?» раздался опять тотъ же знакомый голосъ. «Я свое дѣло сдѣлалъ. Навелъ васъ на добычу... Только ищите и обрящете сокровища земныя, того для, что какъ увозили ее, то колесницу преисполнили всякимъ серебромъ и клейнодами. Мнѣ объявилъ келейно о томъ конюхъ Вавило; а онъ самъ влагалъ весь грузъ собственноручно... Ну, грядите же въ путь, а я пребуду на стражѣ у ладьи...»

— «Идти — пойдемъ! Да еще не всѣ! Чай мы первые! Онисимъ волной тѣснится: селезень этакой! Ему только бы съ вѣтромъ переѣдываться, а корысть изъ рукъ и уйдетъ. Свиснуть развѣ, да старуха зачуетъ. Чортъ ее знаетъ, сколько лѣтъ въ глаза ее не видалъ; а знаю, что тутъ.

Ведьма проклятая, и вчера никто, какъ она, подослала этого молодца, что́ распугалъ Онисимцовъ. Дурачье! Надо было и его съ собой залучить. Ну, да сегодня не отдѣлается.»

— «Ну, а если она и заправду вѣдьма!»

— «Молчи, трусъ! Ужъ если поймаю, право, тебя на ней женю...»

— «Э, Кононъ, такъ ты такой! Развѣ на томъ мы по рукамъ ударили?»

— «Да что́ мнѣ въ твоей Меланьѣ; я тебя, пожалуй, на обѣихъ женю. Ну, вотъ и Онисимцы, и Савичи... Видишь, какъ дружно.»

Въ самомъ дѣлѣ, къ той же пристани въ разныхъ мѣстахъ причалило нѣсколько лодокъ; больше сотни дюжихъ удальцовъ соскочили на плотъ и съ необычайнымъ искуствомъ пробирались по мосткамъ на берегъ, какъ ходятъ слѣпые въ мѣстахъ, имъ совершенно извѣстныхъ. У лодокъ осталось нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ и знакомецъ Степаныча. Съ трудомъ могъ усидѣть въ засадѣ Степанычъ, и выскочилъ бы прежде времени, если бы ратные люди, опытные въ дѣлѣ, не удержали его. Когда вѣтеръ донесъ уже несвязные звуки, отрывки веселыхъ рѣчей шумной толпы, тогда только команда тихо поползла въ бродъ къ лодкамъ, минуя деревянный путь, который легко могъ измѣнить ихъ надеждамъ. Нѣкоторые нырнули въ воду и пробрались на глубину, гдѣ имъ воды было по горло; другіе, выждавъ и примѣтя, что на водѣ уже показались головы товарищей, проворно вскочили на плотъ и бросились на сторожей.

— «Молчать! Не то зарѣжу!» закричалъ кто-то, и съ легкимъ вскрикомъ, сторожа должны были сдаться прежде чѣмъ могли опомниться. Въ ближайшую лодку вскочилъ Степанычъ, и въ рукахъ его запищалъ кто-то...

— «Молчи, Пахомычъ! У меня нѣтъ ножа, да я задушу тебя какъ курицу... Что, узналъ ты меня?..»

— «Не узналъ, право не узналъ; убей меня Богъ, если узналъ...»

— «Такъ узнаешь! Веревку!»

— «Смирно, не то зарѣжу!» сказалъ кто-то: «Что тамъ горланите! Кто связанъ, того мечи въ лодку; кто не связанъ, того вяжи, да не шумѣть, а кто пикнетъ, въ рѣку. Смирно!»

И въ величайшей тишинѣ сторожа улеглись на лодкахъ; половина команды заняла мѣста гребцовъ.

— «Держись, на баграхъ!» сказалъ начальный: «А мы пойдемъ своей дорогой.»

Едва онъ успѣлъ это выговорить, какъ послышались крики и стукъ оружія. «Отчаливай!» закричалъ начальный. И лодки унесло волной, а остальная половина команды, снявъ тѣсные мостки, черезъ которые разбойники должны были бѣжать къ лодкамъ, раздѣлилась на двѣ части и засѣла по сторонамъ. На черномъ бугрѣ показался огонь. Упадавшій вѣтеръ былъ еще довольно силенъ, чтобы поднять пламя; всталъ огонь большой и освѣтилъ бѣгство разбойниковъ къ лодкамъ, команда полукругомъ сходилась, и болѣе и болѣе стѣсняла шайку.

— «Нѣтъ лодокъ!» заревѣлъ Кононъ и въ отчаянныхъ рукахъ заблистала сѣкира. Но при свѣтѣ огня, который больше и больше кормили Евдокимовна и Никитична сухой соломой, всѣ лица были очень хорошо видны; раздался выстрѣлъ изъ аркебуза и Кононъ опрокинулся.

— «Сдавайся!» раздалось со всѣхъ сторонъ, и только двое не были схвачены. Лихіе плевцы, они улучили мгновеніе, бросились въ рѣку; но съ лодокъ примѣтили ихъ бѣгство и они ушли отъ казни подводною смертью. Лодки не безъ труда, на призывъ начальнаго, воротились къ пристани.»

— «Забирай воровъ, ступай къ допросу, лодки привяжи. Проворнѣе! Поворачивайся!» кричалъ начальный.

— «Нѣтъ, Пахомычъ, ты мой, я тебя не отдамъ!»

— «Не выдавай, Иванъ Степанычъ: вѣчно за тебя Бога буду молить, не выдавай; и съ ногами, и съ руками твой! Чортъ попуталъ; очи ясныя Меланьи Ивановны дурь навели; не буду, не буду!..»

— «Это я и безъ тебя знаю!» говорилъ Степанычъ, таща Пахомыча съ лодки за ноги.

— «Ой, задохнусь! Помилуй!»

Степанычъ распуталъ ему ноги, и потащилъ за шиворотъ къ хоромамъ.

— «Не туда, не туда!» закричали солдаты: «Въ кружало! Тамъ судъ...»

Едва Степанычъ съ Пахомычемъ переступили порогъ большой избы, какъ всѣ разбойники указали на Вороненку и въ одинъ голосъ закричали:

— «Вотъ онъ!»

— «Не я. Убей меня Богъ, не я!»

— «Мы увидимъ, кто. Подайте его сюда...»

— «Не подавайте, братцы! Не подавайте! Онъ меня убьетъ, съѣстъ, замучитъ...»

— «Ну, признавайся!»

— «Признаюсь...»

— «Въ чемъ же ты признаешься?»

— «Во всемъ!»

— «Да что́ это за болванъ такой?»

— «Это, Семенъ Романычъ, городской школяръ, Пахомычъ; большой до женскаго пола охотникъ.»

Всѣ засмѣялись, даже разбойники не удержались отъ усмѣшки. Такъ лицо Пахомыча, особенно въ это мгновеніе, не согласовалось съ объявленной охотой. Степанычъ продолжалъ: «Полюбилась ему Меланья. Свѣдалъ онъ въ Костыльковкѣ, что Меланья на Старой Усадьбѣ, безъ людей, съ одной только бабой; самъ-то онъ и трусъ и плохъ; онъ и сманилъ гостей изъ-за рѣки.»

— «Ну, что́ же ты молчишь, Пахомычъ?»

— «Истинно такъ, право такъ, не смѣю поперечить. Какъ твоей офицерской милости угодно. Ты самъ женскій полъ, вѣрно, жаловать изволишь, такъ и поймешь, какъ бѣсу и работы не было со мной; помутилъ разумъ, попуталъ душу, только ноги и оставилъ...»

— «А кто же у васъ старшій?»

— «Подстрѣлили. Кононъ рыжій сегодня держалъ начало.»

— «А много ли васъ всѣхъ?»

— «Да будетъ за сотню.»

— «Евсей, перечти всѣхъ; спутай за ноги и за руки по́двое, а другую руку къ поясу; я ихъ и до утра держать не стану: къ утру къ часу десятому въ провинцію поставлю, а тамъ ужъ не наше дѣло. Ну, а на той сторонѣ много еще осталось?»

— «То другіе, не наши.»

— «А другихъ-то много?..»

— «А кто ихъ считалъ!»

— «Я!» сказала Евдокимовна, сходя въ избу. «Съ рыбьяго притона должно быть сто и шесть удальцовъ, на двѣнадцати лодкахъ: перечтите. Коли всѣ, такъ всѣ, а нѣтъ, такъ остались на гнѣздѣ.»

— «Сто четыре,» сказалъ Евсей.

— «Да двухъ утопили...»

— «Да проводникъ...»

— «Да одного подстрѣлили...»

— «Ну, такъ и всѣ!» перебила Евдокимовна: «Благодаренье Богу, всѣ; теперь будетъ недѣлю другую смирно, пока на рыбій притонъ другіе охотники не переберутся.»

— «Ну, Евсей, такъ въ походъ; чай, люди проголодались, да истомились.»

— «Маленько, ваше благородіе!»

— «Гей, хозяинъ, командѣ по чаркѣ водки на мой счетъ!»

— «Рады стараться, ваше благородіе.»

— «Только, Евсей, долго не пробавляться! Закусить путемъ-доро́гой успѣешь. Послушай, Иванъ Степанычъ, пойдемъ; я долженъ проститься...»

И оба пошли къ хоромамъ.

— «Иванъ Степанычъ! Служба моя здѣсь кончена; не могу остаться, не могу и разстаться; забирай сестру; ѣдемъ въ городъ...»

— «Нѣтъ! Богъ съ тобой! ступай куда тебя служба зоветъ; храни мою тайну; а я самъ кое-какъ буду управляться... Не повезу сестры въ городъ: отнимутъ, обезчестятъ, оболгутъ... Нѣтъ, знаю я городскихъ воровъ.»

— «А я на что?»

— «Эхъ, Семенъ Романычъ, и тебя обнесутъ.»

— «Авось сестра твоя будетъ умнѣе.»

И безъ спора Романычъ съ Степанычемъ вошли въ дѣвичью, гдѣ Никитична разсказывала Малашѣ, какъ происходило сраженіе.»

— «Спасибо, Меланья Ивановна...» сказалъ Романычъ: «спасибо за гостепріимство. Жаль, что не могу остаться: служба гонитъ. Хотѣлъ бы, чтобъ и ты за мной пошла; да нѣтъ повода. Вотъ если бы ты была моей женой...»

Меланья вздрогнула и невольно бросилась къ Степанычу, который не менѣе ея былъ удивленъ рѣчами офицера.

Романычъ, потупивъ голову, продолжалъ:

— «Насильно милъ не будешь, говоритъ пословица, а я такъ хочу попытаться, не вретъ ли пословица. Завтра я буду въ Костыльковкѣ и женихомъ и сватомъ...»

Никитична едва успѣла подхватить Меланью: она бы непремѣнно упала, потому что Степанычъ за-

былъ объ ней и съ отверзтыми объятіями бросился къ жениху.

— «Другъ мой, братъ, ты не шутишь?»

— «Самъ я такой же бѣдный дворянинъ, какъ и вы. Мнѣ жены не имѣть лучше, а богаче не надо. Прощай! Будь у Меланьи Ивановны моимъ заступникомъ и ходатаемъ.»

Степанычъ не могъ вымолвить слóва; слезы лились ручьемъ; Романычъ молча обнялъ его и за дверьми уже сказалъ:

— «Степанычъ! Завтра, до свиданья въ Костыльковкѣ!»

Степанычъ хотѣлъ бѣжать за нимъ, но Меланья собрала всѣ свои силы и удержала его за руку. Голосомъ, прерывающимся отъ сильнаго волненія, начала она:

— «Клянусь Богомъ...»

— «Постой, не клянись, Малаша! Не клянись противу милости Божіей...»

— «Такъ-то ты любилъ меня?»

— «Люблю, какъ любилъ! Больше жизни своей...

— «И готовъ уступить...»

— «Батюшка! Разрѣши свой завѣтъ; онъ уже исполнился! Не обманетъ Романычъ... Малаша, Малаша! Слушай, Малаша! Слушай, Никитична! А, добро пожаловать! Слушай и ты, Евдокимовна! Меланья, ты, не Ивановна — ты, какъ и я, Меланья Степановна, ты сестра моя!..»

— «Батюшки свѣты!» воскликнула Евдокимовна, но Малаша отъ изумленія не могла выговорить ни

слова. Степанычъ продолжалъ съ возрастающимъ жаромъ:

— «Нашъ отецъ, несчатный отецъ, былъ дворянинъ, Степанъ Петровичъ Полосковъ... Малаша! и я и ты, мы родились въ этихъ хоромахъ!..»

И, заливаясь слезами, онъ обнялъ сестру, которая еще пуще оторопѣла. А Евдокимовна невольно упала на колѣни и, воздѣвъ руки къ небу, просіяла священнымъ восторгомъ. Никитична крестилась.

—

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНІЕ.

Въ Костыльковкѣ была смута велія. Съ утра еще Степанычъ привезъ вѣсть о нападеніи гостей, о сраженіи, плѣненіи и о прочемъ. Дали наскоро знать въ Будимовку, и Костыльковъ къ полудню прибылъ съ большою дворней, вооруженною топорами и дрекольями. Костыльковка, поблизости къ рѣкѣ, была всегда въ большей опасности, чѣмъ Будимовка. Степанычъ же умѣлъ увѣрить хозяина, что какъ поимка имѣла мѣсто на земляхъ костыльковскихъ, то гости не преминутъ отомстить за товарищей Красивой Усадьбѣ.

— «Знаете, Иванъ Степанычъ, и этотъ командиръ военный, что́ былъ, ужасъ, не человѣкъ...»

— «А что́, душа моя, Степанычъ, скажи мнѣ, что́ ты замѣтилъ?»

— «Да какъ же: захватилъ меня въ полонъ; хотѣлъ послать прямо въ Москву на смотръ; гово-

рить: ты нѣтчикъ, да и полно. Кажется мнѣ, что онъ не только за ворами смотритъ, а еще и...»

— «Очень можетъ быть. Вчера слышалъ ты, какъ онъ, говорятъ, за Митюшкина вступался...»

— «То-то же! Спасибо ворамъ, а то бы я не ушелъ. А на Старой-то Усадьбѣ, Боже ты мой, какъ расхозяйничался, пристадъ къ Меланьѣ Степановнѣ...»

— «Ивановнѣ...»

— «Виноватъ, Ивановнѣ... такъ турусы на колесахъ и подпускаетъ...»

— «Ахъ онъ, каторжный! Я не посмотрю, что онъ военный; скрючу; моего добра не замай. Солдатъ этакой...»

— «То есть я вамъ говорю, вотъ такъ и разсыпается мелкимъ бѣсомъ...»

— «Губа не дура, да руки коротки...»

— «Ваша правда, Иванъ Степанычъ! Да и то не ложь, что если онъ себѣ задумаетъ, такъ можетъ намъ много непріятнаго сочинить...»

— «Да что онъ можетъ?»

— «Да у него военная сила»

— «А у меня нѣтъ, что ли?»

— «Не пойдете же съ нимъ тягаться; вѣдь вы знаете, за это чѣмъ взыскать могутъ. За такое— и воевода не поможетъ. Засадятъ; всѣхъ помѣстій не хватитъ.»

Костыльковъ призадумался.

— «То-то и есть. Ничего не надо дѣлать очертя голову. Всюду оглядывайся.»

— «Такъ что же мнѣ? Неужто Малашку ему от-

дать, такъ, ни съ того, ни съ сего; здорово живешь...»

— «Кто объ этомъ говоритъ!»

— «А знаешь, не припрятать ли намъ ее въ другое мѣсто?»

— «А если хуже раздразнимъ? Нѣтъ, Иванъ Степанычъ, по-моему лучше лаской. Авось не воротится...»

Но въ то же самое время вбѣжалъ Сидоръ и объявилъ, что военная команда идетъ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказали оба Степаныча въ одно слово.

— «Ну-те, глядите же, Иванъ Степанычъ! Самое первое: труса не праздновать. Будто ни кого и ни чего не боитесь; я ужъ знаю что́ мнѣ дѣлать. Ну-те, ну-те! Пожалуйста, ободритесь! Вы же хотѣли съ нимъ по-своему перевѣдаться, а вотъ теперь колѣнки и дрожатъ. Конечно, онъ можетъ васъ захватить и послать съ проводниками прямо въ Москву: въ этомъ онъ ни на кого не посмотритъ, а вы сдѣлайте, какъ-будто рады, будто сами ѣдете, а между тѣмъ ласкайте, подчивайте — и уладится. А, конечно, можетъ, весьма можетъ васъ взять подъ караулъ; на то онъ и посланъ. Да вы только не бойтесь, Иванъ Степанычъ, пожалуйста не бойтесь!..»

— «Послушай, Степанычъ; не лучше ли мнѣ въ лѣсу навремя спрятаться? А? Сказать только Сидору, гдѣ я буду...»

— «Бога вы не боитесь! Вѣдь ужъ какъ поймаютъ, кончено: тогда не послушаютъ ничего, ни на что не посмотрятъ; и срамъ-то какой!.. Да и

какъ на Сидора понадѣяться? Вѣдь онъ же безъ васъ будетъ всѣмъ заправлять; ему и съ руки...»

— «Идетъ!»

— «Идетъ! Смотрите же, не бойтесь! Вонъ видите, сколько у него ратныхъ людей; именно для того, что въ случаѣ обыскъ можно дѣлать... Ну, крѣпитесь, Иванъ Степанычъ, это ужъ онъ...»

И дѣйствительно, вошелъ Романычъ, весь въ пыли, обожженный солнцемъ, истомленный трудами, безсонницей и душевными ощущеніями.

— «Здравія желаю, честные господа!» сказалъ онъ. «А, любезный, и ты здѣсь?»

— «Здѣсь, Семенъ Романычъ, пріѣхалъ проститься и ѣду на службу,» отвѣчалъ Степанычъ.

— «Хорошо, хорошо, любезный, а все-таки я тебѣ проводниковъ пожалую: нынче по дорогамъ не безопасно. Шалятъ.»

— «Покорно благодарю; да передъ отъѣздомъ не перекусить ли намъ, если милость хозяйская...»

— «Эй, Сидоръ! закусить!»

— «Отчего же не закусить! Одно дѣло состряпалось; за другое можно и послѣ приняться. Коли позволите, и я бы съ вами перекусилъ.»

— «Много чести, Семенъ Романычъ...»

— «Много чести...» повторилъ Костыльковъ и ободрился. «Садитесь, Семенъ Романычъ, садитесь! Какъ это вы успѣваете! Вѣдь вы ловите и воровъ и нѣтчиковъ?»

— «А тебѣ какое дѣло?» громко сказалъ Романычъ: «Про то я знаю. У меня инструкція въ карманѣ, такъ ужъ ошибки не будетъ. Благо, что

регистръ сегодня въ провинціи добылъ. Теперь у меня все пойдетъ безъ задоринки, какъ по маслу. А, вотъ и закуска. Присядемъ!»

Присѣли, закусили, разговорились. Романычъ хотя и не любилъ притворяться, однако же велъ себя очень исправно; говорилъ загадками и всегда въ понадъ; поселилъ въ Костылькове уже не опасеніе, а полное убѣжденіе въ томъ, что ему, Романычу, поручено по списку собрать всѣхъ дворянъ съ уѣзда и препроводить прямо въ Москву подъ военнымъ охраненіемъ и сдать на руки стольнику Степану Колычеву.

— «Послушай, Иванъ Степанычъ!» сказалъ Романычъ значительно, поставивъ чару подалѣе отъ себя, какъ-будто не желая болѣе заниматься затрапезными дѣлами: «Скажи-ка ты мнѣ, какъ пройти поближе къ Анкудимову и къ Семеркинымъ; послѣ тебя, только они и остались на своихъ гнѣздахъ. Ты вотъ не уйдешь, не побѣжишь, ты не такой; а они, ножалуй еще, спрячутся. Не хотѣлось бы мнѣ съ пустыми руками на Москву прійти.»

Эта выходка, хотя и ожиданная, поразила Костылькова до того, что онъ не зналъ что̀ дѣлать, что̀ говорить, а языкъ между тѣмъ во рту болтается; звуки вырывались изъ устъ; Степанычъ поспѣшилъ на выручку.

— «Да что̀ вы это, Семенъ Романычъ, къ нашей братьѣ пристаете то съ бока, то съ рыла, да невплотную. Вы бы сказали, что̀ вамъ нужно, да и кончено...»

— «Будетъ, братецъ, кончено. Поглядишь какъ знатно все уладится. Пожалуй, вѣдь я не такой: я отъ Костылькова отсталъ бы съ разу, кабы онъ не ломался, да отдалъ бы мнѣ въ жены Малашу...»

— «Надуешь, Семенъ Романычъ!» перебилъ Степанычъ: «Право надуешь. Малашу возьмешь, а не отвяжешься.»

— «Вотъ тебѣ моя рука; отдастъ Малашу, на его глазахъ въ Будимовкѣ обвѣнчаюсь. И свадьбы справлять у васъ не буду; заберу жену, да напрямки такъ и помарширую на Анкудимова. Не то отъ него, и отъ тебя отстану. Пробавляйтесь какъ знаете. Не нашелъ!.. ну, и концы въ воду. Ну, что жъ? По рукамъ?»

— «Какъ изволите, Иванъ Степанычъ! Вѣдь по-моему дѣло-то дешево обойдется, а ужъ, послѣ военнаго обыска, до другаго смотра никто васъ не потревожитъ. Ну, что жъ, Иванъ Степанычъ, какъ укажете?...»

— «Я... того... какъ ты думаешь, Степанычъ... такъ и твори... а я... мое дѣло сиротское... только мнѣ и помощи и совѣта, что ты... Я не знаю какъ это дѣло и уладить...»

— «Очень просто, Иванъ Степанычъ! Вотъ посмотрите, какъ мы все уладимъ; надо бумагу...»

— «Бумага готова, мнѣ въ провинціи писаря откололи за двѣ гривны... Ты только подпишись...»

— «Да какъ же я подпишусь, когда я писать не умѣю?»

— «И это вздоръ!» сказалъ Степанычъ, вышелъ и воротился съ чернильницей и перомъ; перо омочилъ въ чернила, воткнулъ его въ руку Костылькову; сжалъ его пальцы въ своей рукѣ и повелъ по бумагѣ костыльковскую подпись.

«Вотъ и подписались, а еще говорили, что писать не умѣете. Видите, что значитъ добрая воля. Ну, теперь прикажите винца подать...»

Но Костылькова бросило изъ огня да въ полымя; онъ съ изумленіемъ глядѣлъ на Степаныча, за которымъ никакъ не подозрѣвалъ грамотности. Изъ столбняка онъ былъ выведенъ рѣчью Романыча, который, прочитавъ подпись, сказалъ: «Ну, теперь все кончено! Прощайте, ребята: гуляйте себѣ на волѣ, пока другой коршунъ захватитъ. Прощайте!..»

Сказано, сдѣлано. Романычъ ушелъ, сѣлъ на коня и команда тронулась въ путь на Старую Усадьбу. Молча сидѣли оба Степаныча; молча черезъ окно провожали глазами гостей. Первый вздохнулъ Степанычъ. Костыльковъ со вздохомъ протянулъ ему руку: тотъ пожалъ ее и опять вздохнулъ.

— «Ну, что, Степанычъ!»

— «Ничего. Жаль Малаши...»

— «Жаль! Да утѣшимся...»

— «И что она теперь будетъ? Жила въ холѣ и въ довольствѣ, а выйдетъ замужъ за бѣдняка. Вы бы, Иванъ Степанычъ, пожаловали ей приданое какое.»

— «Ну, ужъ ты умный человѣкъ, а врешь та-

кія глупости! Я боюсь, не захватила ли она чего съ собою? Надо бы послать Сидора, да велѣть обобрать. Я подарилъ Маланьу, а не вещи...»

— «Гдѣ Сидору, Иванъ Степанычъ! Позвольте ужъ мнѣ,» сказалъ Степанычъ, съ трудомъ скрывая негодованіе.

— «Спасибо! Только не мѣшкай: надо обогнать команду; возьми удалую тройку и проворнѣе въ путь...»

— «Эй! велите заложить тройку! Кто тамъ? Сидоръ!»

— «Сидоръ, вели ермолаевскую тройку заложить въ легковую телѣжку, да живо...»

— «Послушайте, Иванъ Степанычъ, и у меня до васъ есть просьба.»

— «Другъ ты мой, говори только...»

— «До времени нужно мнѣ денжонокъ сотни двѣ.»

— «Да на что тебѣ такая пропасть денегъ?...»

— «Надо въ провинціи изъ суда выкупить наслѣдство.,.»

— «А велико ли?»

— «Порядочное.»

— «А далеко ли?»

— «По сосѣдству.»

— «Право?»

— «Ей Богу.»

— «А съ какой же стороны?»

— «Отъ рѣки.»

— «Да гдѣ же это?»

— «Право, я теперь еще и самъ докладно не

знаю, а въ судъ безъ денегъ, ничего не покажутъ.»

— «Да все-таки двухъ сотенъ много; рублевъ тридцать, сорокъ, пожалуй...»

— «Право, надо двѣ сотни. Ужъ вы знаете, что я не попрошайка; первый разъ у васъ прошу; а отдамъ съ лихвою.»

— «А что дашь?»

— «Да какъ желаете.»

— «А надолго?»

— «Да мѣсяца на три.»

— «Ну, такъ по пяти рублевъ со ста будетъ не обидно.»

— «Иванъ Степанычъ!»

— «Да что ты, душа моя, хочешь? Меня провинція въ пухъ раззоряетъ. Право доходовъ скоро хватать не будетъ; такъ ужъ если и други и недруги раззорять меня станутъ, на комъ мнѣ поправиться? Вѣдь и то подумай, безо всякаго залога даю; честности твоей вѣрю: благо ты письменный, ты мнѣ при Сидорѣ и писни, что взято и на когда, знаешь, больше для памяти...»

— «Пожалуй, извольте.»

— «Лошади готовы!» сказалъ вошедшій Сидоръ.

— «Ну, поѣзжай, а мы съ Сидоромъ тебѣ приготовимъ и деньгу и бумагу...»

— «Батюшка, Иванъ Степанычъ! да мнѣ теперь же нужны деньги.»

— «Да вѣдь ты не въ провинцію ѣдешь? Поѣзжай, поѣзжай, опоздаешь!»

Не оставалось никакого изворота. Степанычъ, больно опечаленный, уѣхалъ.

«Не зналъ я за тобой этого талана!» такъ разсуждалъ онъ дорогой. «Ну, да все равно. Завтра не за горами... Догоню я Малашу; передамъ ей деньги и пускай себѣ обзаводятся; а я за дѣло... за тяжкое дѣло! Не найду я отца Никиты и все пропало! И бумаги мои не помогутъ. Ну, да Богъ милостивъ.»

Желая скрыть передъ Костыльковымъ вмѣшательство свое въ дѣла Меланьи, Степанычъ проселками проѣхалъ на Старую Усадьбу; Ермолая и лошадей оставилъ на постояломъ дворѣ, а самъ пошелъ къ Малашѣ. Затрепетала несчастная, увидѣвъ брата; но онъ умѣлъ ее успокоить: объявилъ ей о послѣднемъ поступкѣ Костылькова. Съ негодованіемъ стала Меланья собирать разную дрянь, которую Костыльковъ считалъ своею собственностію; все это Евдокимовна отнесла къ Ермолаю, между тѣмъ подошла команда и Меланья хотя и робко, но уже не безъ радости встрѣтила своего жениха. Сборы были коротки. До ближняго села, въ которомъ была церковь, добрались они уже ночью; подняли пономаря, священника; обвѣнчались и Степанычъ простился съ сестрой и зятемъ на долго. Условились по-возможности давать о себѣ знать на Старую Усадьбу Евдокимовнѣ. Разстались съ надеждою на Бога.

О, съ какими чувствами летѣлъ Степанычъ въ Костыльковку! Сестра уже спасена; теперь онъ могъ мстить на волѣ; погибнуть, платя ужасный

домъ. О своей погибели ему нечего было безпокоиться: онъ жилъ для сестры и для неупокоенной тѣни отца. Онъ уже разсчитывалъ, какъ онъ разбудитъ Костылькова, какъ получитъ деньги, какъ отошлетъ ихъ сей же часъ къ Евдокимовнѣ, какъ самъ полетитъ въ провинцію, подыметъ изъ-подъ спуда мертвыя дѣла и дастъ имъ жизнь и... Но мечты его были прерваны. Онъ уже въѣзжалъ на костыльковскій дворъ. У крыльца стояла колымага; въ окнахъ свѣтъ; гости; тѣмъ лучше, при свидѣтеляхъ безопаснѣе дѣйствовать съ такими людьми какъ Костыльковъ. Безъ доклада онъ вошелъ въ столовую комнату. И какъ это, право, удивительно бываетъ на бѣломъ свѣтѣ: носишь мысль, голубишь ее, живешь ею, обдумываешь: какъ отдалить малѣйшія препятствія къ ея исполненію; все готово... вдругъ — и дорогая мысль изгнана, извержена изъ памяти; труды и ухищренія позабыты безъ сожалѣнія; другая мысль заняла мѣсто прежней; она поглощаетъ такую же дѣятельность, требуетъ большихъ жертвъ и лишеній — и можетъ-быть наканунѣ исполненія третій замыселъ разрушитъ все многосложное зданіе, чтобы на развалинахъ его построиться самому изъ другихъ матеріаловъ. И, что забавнѣе всего, во всѣ три раза цѣль одна и та же.

Костыльковъ, блѣдный, растрепанный, стоялъ на колѣняхъ передъ воеводой, который хотя и сидѣлъ, но весьма неспокойно, съ примѣтной досадой... Завидя Степаныча, оба примѣтно ободрились.

— «Спасай меня!» кричалъ ему на встрѣчу Костыльковъ: «вразуми, наставь!»

— «Что такое?»

— «Ахъ, любезный!» сказалъ воевода: «Дернула его нелегкая дурачиться на большой дорогѣ! Протоинквизиторъ...»

— «Отецъ Пафнутій?»

— «Ужъ точно поэтически поступилъ; нечего сказать: пріѣхалъ въ губернію и передалъ губернатору каковъ молодецъ и чѣмъ пробавляется въ уѣздѣ. На бѣду случись тамъ самъ стольникъ Колычевъ, главный сборщикъ. Указъ какъ дернули, такъ у меня лихорадка чуть зубовъ не вышибла. Поставить Костылькова на смотръ въ Москву на Захарьинъ день, а не то, быть мнѣ безъ воеводства подъ строгимъ отвѣтомъ, и прочая. Всего страха, что тамъ написано, не перескажешь. Ну, Степанычъ, что тутъ дѣлать?..»

— «Степанычъ, душа моя, говори, что тутъ дѣлать?...»

— «Эхъ, батюшка, Иванъ Степанычъ, у всякаго своя бѣда есть, а до чужой нѣтъ дѣла. Вспомните, просилъ я денегъ; чужая бѣда...»

— «Вотъ деньги, вотъ, на, бери, только научи что намъ дѣлать...»

— «Маловато!» сказалъ Степанычъ, пересчитывая деньги.

— «Ты сколько же просилъ?»

— «Двѣ сотни...»

— «А тутъ сколько?»

— «Одинъ сорокъ...»

— «Это Сидоръ ошибся... Вотъ, на, довьми золотомъ...»

— «Спасибо, да мнѣ теперь и этого мало.»

— «Что же ты хочешь, душу изъ меня вытянуть?»

— «Что мнѣ въ ней? Душу не душу, а еще сотню...»

— «Что же будетъ тогда?»

— «Ничего. Ты себѣ поѣдешь на службу, а я мой долгъ пришлю въ Москву или въ Питербурхъ, куда укажешь, пригодятся...»

— «Провались ты, окаянный!»

— «Спасибо...»

— «Да полно ссориться!..» перервалъ воевода; «Тутъ надо умы сложить и сообща передумать, нѣтъ ли какого исхода...»

— «Думайте себѣ о чемъ хотите, а я буду думать о деньгахъ...»

— «Экой жадный какой!» сказалъ Костыльковъ, чуть не со слезами.

— «Да полно же ссориться!» опять началъ воевода. «Дѣло не шуточное; я упряталъ бы тебя въ Москву къ собственному ущербу; воеводство стоитъ тебя, да есть домашняя причина... И знаешь, вотъ мнѣ сдается было бы не глупо. Отца Пафнутія на Москвѣ нѣтъ, чай и не скоро будетъ; потомъ пошлютъ тебя въ Питербургъ; пока онъ туда пріѣдетъ, тебя въ полки отправятъ — и концы въ воду; по спискамъ показанъ; на смотру былъ — никто и слова не скажетъ...»

— «Ну, такъ что?»

— «А вотъ что, тебя ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ никто не знаетъ; пошли за себя кого другаго. Пусть явится на смотръ, пусть послужитъ годокъ, два; потомъ пусть себѣ увѣчье какое учинитъ, да и на покой въ Костыльковку... Ты его и за увѣчье, и за службу награди, да и живи себѣ на покоѣ. Въ рукахъ у тебя квитанція — и никто ужъ не привяжется; а тамъ годъ другой не токмо въ губерніи, въ провинціи никто знать не будетъ, что ты себѣ въ деревнѣ пробавляешься; ужъ если указъ какой земскій или другая нужда будетъ, никто изъ нашихъ чиновниковъ къ тебѣ не поѣдетъ; все самъ буду справлять, будто ты мнѣ надзоръ за помѣстьями поручилъ; тотъ, кто за тебя поѣдетъ, того мы Костыльковымъ снарядимъ, и бумаги ему такія выдадимъ, а тебѣ дадимъ видъ, будто ты приказчикъ того Костылькова, опять никто не привяжется...»

— «Отецъ родной! Распремудро, да кого послать?..

Лице Степаныча, при этихъ словахъ Костылькова, вспыхнуло; онъ едва могъ скрыть волненіе; едва не задохся отъ мысли, которая въ одно мгновеніе вытиснула изъ души его всѣ прежніе разсчеты и наполнила все существо его собою...

— «То-то, отецъ воевода...» сказалъ онъ смиренно: «Замыселъ истинно мудрый, да исполненіе трудновато. Холопа нельзя послать, изъ городскихъ людей тоже; а нашей братьи, бѣдныхъ дворянъ, во всей губерніи вольныхъ, не на службѣ, и десятка не насчитаешь. Трудно... Трудно...»

— «Что́ трудно? Была бы только добрая воля; вотъ, примѣрно ты, Степанычъ, въ большихъ городахъ лучше бы самого Костылькова справился...»

— «Я? Да, что́ вы это, батюшка, Максимъ Ивановичъ. Полно-те! Что́ вы, какъ это можно!»

Костыльковъ глядѣлъ умильно на Степаныча, а воевода продолжалъ:

— «Ужъ я знаю Ивана Степаныча; онъ бы не постоялъ ни на чемъ, наградилъ бы тебя щедро́ всякимъ добромъ, хуторъ бы пожаловалъ...»

— «Право?»

— «Отчего же и нѣтъ? Степанычъ! Служба службѣ рознь. Скажи что́ хочешь, ударимъ по рукамъ и отправляйся...»

— «И отправляйся, Степанычъ, бариномъ, годка два бариномъ себѣ живи...»

— «Того-то я и боюсь, еще, чего добраго, привыкну, выслужусь, въ чины выйду, вотъ тебѣ и разъ! Отдавай потомъ званіе другому; а не отдать, нельзя; докажутъ — мнѣ и достанется. Плохо; нѣтъ, страшно! Да еще тутъ кто поручится, наткнется случай, выйдетъ наружу; вамъ-то ничего, при одномъ власть, при другомъ богатство, а я одинъ въ дураки и сяду.»

— «Да, ужъ ты за насъ не опасайся! Общій интересъ — все дѣло въ секретности держать: ухитримся. Да и кто будетъ доискиваться, когда списки будутъ очищены, ни одного нѣтчика не будетъ въ недоимкахъ. Ну, Степанычъ, сдавайся!»

— «Ну, что, душа моя, другъ Степанычъ, сдавайся!»

— «По-мнѣ пожалуй, да что же дашь за такую службу?..»

— «Ай-да, Степанычъ! Экой добрый, расцѣловалъ бы...»

— Что дашь? Вотъ, пусть Максимъ Ивановичъ назначаетъ...»

— «По совѣсти назначу, никого не обижу. Во-первыхъ, содержаніе какъ прилично Костылькову; лошадей штукъ десять, повозки двѣ-три для выѣзда; сѣделъ два, одно парадное, другое повседневное; столовыхъ шестъ сотенъ, карманныхъ столько же; да на наемъ дома и челяди столько же, да двѣсти про случай: двѣ тысячи!..»

— «Двѣ тысячи!»

— «Маловато, Максимъ Ивановичъ!»

— «Поди ты, видно въ большихъ городахъ не живалъ. Заглаза довольно; это годовой окладъ, а награду ужъ ты объявляй...»

— «Да, помилуй, отецъ воевода, и такъ ты меня до-тла разоряешь. Вѣдь двѣ тысячи...»

— «Полно, полно, Иванъ Степанычъ: мы твои доходцы не хуже твоего знаемъ. Двѣ тысячи! Эхъ, молодецъ, тутъ еще и десятой доли твоего прихода нѣтъ...»

— «Да, вѣдь по-мнѣ, Иванъ Степанычъ, какъ волишь; я ѣду не за себя, а за тебя. Вѣдь, примѣрно сказать, тѣло мое только тамъ будетъ для обмана; а жить будешь ты, не я. Мнѣ и двухъ алтынъ на день довольно, а тебѣ нельзя, стыдно. Вѣдь я и

стыдиться не за себя буду, а за тебя; мнѣ все равно. Содержаніе — какое хочешь назначь, такъ и жить буду...»

— «Да будто если Костыльковъ, такъ ужъ и скрягой быть не можетъ; ты прикинься алтынникомъ, скупцомъ, живи затворникомъ...»

— «Пожалуй...»

— «Нѣтъ, нельзя, Иванъ Степанычъ! Этакъ никого не обманешь; станутъ обнюхивать, по слѣдамъ доберутся: тогда тебѣ служба дорого обойдется. Нѣтъ, какъ сказалъ, такъ тому и быть. И не думай умничать...»

— «А мнѣ про содержаніе тоже все равно, а вотъ про награду такъ дѣло иное; я долженъ отъ наслѣдства, почитай, на два года отказаться, дѣла оставить...»

— «Да что тамъ твои дѣла! Чай за всѣ двѣ сотни возьмешь...»

— «Нѣтъ, и двухъ тысячъ мало. Да что долго толковать; такъ и быть, ѣду, да вотъ вы, Максимъ Ивановичъ, будьте свидѣтелемъ. Двѣ тысячи! Половину впередъ — и тогда извольте....»

— «Разбойникъ! Да ты подумай...»

— «Я ужъ подумалъ и сказалъ свое, а тамъ какъ угодно...»

— «Да что же вы это, Максимъ Ивановичъ, какой вы воевода, позволяете притѣснять и грабить...»

— «Ну, тутъ моей власти нѣтъ, дѣло полюбовное и по моему Степанычъ линняго не запрашиваетъ. Неси ему тысячу и за дѣло.»

— «Степанычъ, другъ мой, душа, голубчикъ,

возьми пять сотъ! Остальные какъ воротишься. Право, наличныхъ нѣтъ...»

— «Не могу...»

— «Ну, мнѣ пора ѣхать. Есть еще дѣлишки. Кончайте скорѣе...»

— «Степанычъ, возьми шесть...»

— «Не могу...»

— «Подавись же ты, окаянный!» И Костыльковъ вынесъ груду золота: — «На!»

Степанычъ сосчиталъ и произнесъ хладнокровно:

— «Тутъ не всѣ. Только восемь сотъ...»

— «А двѣсти, что прежде далъ?..»

— «А! пожалуй, такъ и тѣ идутъ не въ долгъ, а въ уплату. Такъ согласенъ.»

— «Насилу-то уладили,» сказалъ воевода. «Слава Богу! Ну, теперь извольте такъ поступать. Снаряди Степаныча въ дорогу, и отправляй сегодня же, коли можно, но только безъ людей: продадутъ, коли снюхаютъ. А онъ себѣ приищетъ. Пусть онъ тебя обождетъ на Старой Усадьбѣ. А завтра ты пріѣзжай въ провинцію тоже одинъ, явись въ канцелярію, получишь для Степаныча видъ въ присутствіи, а для себя у Меланьи Ивановны; потомъ простишься со мной, съ чиновниками, а паче съ Митюшкинымъ, отправишь молебствіе въ соборѣ — и уѣдешь со слезами и плачемъ на службу. На Старой Усадьбѣ отдашь свой видъ Степанычу и концы въ воду.»

И все сбылось по слову воеводы Максима Ивановича Бурунова.

ДВА ИВАНА, ДВА СТЕПАНЫЧА, ДВА КОСТЫЛЬКОВА.

—

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГУБЕРНІЯ.

—

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КОНТРАБАНДИСТЫ.

Кланяюсь тебѣ, первопрестольная! Кланяюсь золотымъ верхамъ твоимъ; кланяюсь дворцамъ твоимъ, и крыльцамъ, и камнямъ, и землѣ! Потерпѣла ты за дѣтей своихъ, отстояла ихъ съ материнскою любовію, страданіями, муками, кровію. И свято имя твое, святъ единый образъ, который не изгладится изъ памяти каждаго, будь онъ басурманъ, кто только видѣлъ тебя! Теперъ ты опять полна, богата, весела, а были времена печали разныя; то ворогъ, то язва; было для тебя и такое время, когда и безъ враговъ и безъ язвы томилась ты грустію, подобно вдовицѣ; и было о чемъ грустить: не видала ты государя и государева семейства долго; именемъ и дѣломъ не была уже столицей; называли тебя губерніей и была ты безъ лести, точно губернскимъ городомъ, не болѣе. Случайные пожары обнесли твое сердце, Кремль многоглавый, печальнымъ пепелищемъ; почти всѣ важнѣйшіе сановники и присутственныя мѣста переселились въ новый Петербургъ, гдѣ деревянные

соборы Исакія и Троицы замѣняли всю твою многовѣчную святыню. И отъ пожаровъ и отъ переселенія, Москва пришла въ великое опустѣніе; но біеніе въ этомъ сердцѣ Россіи не прекращалось, кровь не изсякала, и сравнительно съ другими городами, Москва еще сохраняла видъ столицы. Новые порядки хотя и не нравились жителямъ, однакожъ возбуждали въ нихъ энергію отрицательнымъ образомъ, и никогда Москва столько не болтала и не сплетничала, какъ въ описываемое мною время. Да и предлоговъ къ тому было не мало. Много указовъ выслушали дворяне, но не двинулись съ мѣста. Стольникъ Степанъ Колычевъ напрасно ждалъ дворянъ и служилыхъ людей; прошли три отсрочки, никто не являлся. Грянулъ указъ грозный; ослушаніе стало опаснымъ; и въ сентябрѣ Москва вдругъ сдѣлалась многолюднѣйшимъ въ мірѣ городомъ. Черезъ всѣ ворота цѣловальники и солдаты едва успѣвали пропускать пріѣзжихъ; въ домахъ Китая и Бѣлаго Города гости съ трудомъ помѣщались; русская смѣтка умѣла пользоваться обстоятельствами, и дороговизна возрасла до высокой степени; стеченіе народа было причиною и другихъ безпорядковъ, которыхъ не могла унять губернская, плохая полиція того времени. Вотъ и въ этотъ день, какъ намъ приходится въѣхать въ Москву съ Иваномъ (уже) Степанычемъ, зарю давно пробили, а на улицахъ противъ указа — гулянье, да и полно; кабаки, харчевни — всѣ были отперты; толпа народа не расходилась съ рынковъ: словомъ, никто и не думалъ о покоѣ. На Спасскомъ

Мосту, у маркитантской лавочки, которую смѣло можно было назвать ходячею харчевней, сидѣли два гостя на деревянныхъ складныхъ стульяхъ и тихо между собою бесѣдовали. Миловидная, хотя уже не молодая, маркитантша подливала имъ настойки въ небольшія заорленыя чарки изъ зеленой посудины, и въ то же время ловко и проворно управлялась съ другими покупателями. Одинъ изъ собесѣдниковъ былъ одѣтъ въ синій суконный зипунъ съ стоячимъ клеенымъ козыремъ; старинная шапка прикрывала густую сѣдину; по описанному платью можно уже догадаться, что у него была и борода соотвѣтственнаго возраста, размѣра и цвѣта. Другой былъ одѣтъ довольно странно. Исподнее платье было у него изъ черной обьяри; камзолъ пестрый, а кафтанъ съ желтыми обшлагами, какъ у военныхъ. Шляпа круглая довершала его костюмъ. Борода была сбрита, но по щетинистому виду можно было догадаться, что эта хирургическая операція имѣла мѣсто тому назадъ съ недѣлю.

— «Право, не ладно, Никитка!» сказала Борода: «Не знаю, что про тебя общество скажетъ. Волосъ коротокъ и умъ коротокъ станетъ. И кто тебя въ соблазнъ ввелъ?»

Никитка лукаво улыбнулся.

— «Хорошо тебѣ, Савва Андреичъ, бороду носить; пятьдесятъ рублевиковъ въ приказъ что̀ годъ отдавать; у меня, далъ бы то Богъ, чтобъ и всего прихода до пятидесяти набралось. Все за бороду отдай, а самъ что̀ ѣсть будешь? А на ту

мѣдную пуговицу, что̀ за бороду на кафтанъ напиваютъ, и калача не купишь, да и продать нельзя; вдругорядъ взыщутъ...»

Савва вздохнулъ.

— «Да! признательно сказать, со мною былъ тотъ случай. Пошелъ я въ приказъ, говорю: я изъ Нижняго, мнѣ подайте вольный значекъ. Вотъ ваши деньги. Выложилъ пятьдесятъ; все новаго чекана, знаешь, ради приказной привязки вымѣнялъ: одинъ кружекъ къ другому на подборъ; а не то привяжутся: Старая деньга. Не указано. И серебро отымутъ, и другое подай. То есть я говорю, что кликуша Анфимья Кирилловна вчера тутъ у насъ на мосту правду баила. Конецъ свѣту приходитъ. Только, что̀ мы, христіанъ и осталось: а то все Нѣмцы!»

Савва запивалъ настойкой горькую рѣчь и посмотрѣлъ на всѣ стороны. Никитка умильно глядѣлъ на него и по лицу его нельзя было никакъ догадаться, въ какую онъ сторону думалъ.

— «Ай да времячко!» сказалъ Савва, отершись рукавомъ: «Вездѣ сыщики и чиновные и военные. Теребятъ и тебя и товаръ. Намѣдни всю лавку исшарили; обобрали рублевъ на сто товару. Баютъ: въ казну! Да что казнѣ изъ крашеной бумаги за прибытокъ! Понадобились видно самимъ, а съ насъ и товаръ и пеню сдули, язычники этакіе! И еще поди въ приказъ, да въ нѣмецкой черной книгѣ распишись, поставь въ богомерзкомъ черномъ книжищѣ и свое и отцево имя и прозвище; вотъ такъ сдуру и ступай въ кабалу къ нечи-

стому. Да не на таковскаго напали! Не поддѣли! Я отъ той книги отступилъ, перекрестился, да отъ книги и отвернулся... Поднялась кутерьма, завопили: штрафъ! штрафъ! въ тюрьму! подъ судъ! — Съ нами крестная сила, сказалъ я: да расточатся! Они, знаешь, такихъ словъ не любятъ, притихли. А я имъ: изъ чего ко мнѣ привязались, господа честные?.. Распишись въ книгѣ, что у тебя найдены въ лавкѣ на Спасскомъ Мосту листы разныхъ изображеній, противъ государева указа... Смотрю я на нихъ, думаю, али нальные, али взятки добиваются. — Нѣтъ, господа, молвилъ я, не во гнѣвъ скажу, врете. Никакихъ листовъ противъ указа у меня не было и нѣтъ; а какіе есть, такъ всѣ добротные, лучшей суздальской печати и отмѣнныхъ красокъ. На мой товаръ охулки класть не извольте. — Не твое дѣло разсуждать! Расписывайся! — Расписаться я, пожалуй, распишусь, только на особомъ листѣ, а въ черную книгу изъ-подъ пытки не затащите... — Ну, врагъ тебя побери! Этакого неуча не уломаешь! Все равно, расписывайся особнякомъ... Я сдуру и черкнулъ: Савва, Андреевъ сынъ, Мотковъ... — Ну, ступай, да гляди, чтобы тѣхъ листовъ, о которыхъ по столбамъ и по воротамъ будетъ объявлено, не держать ни въ лавкѣ, ни на дому, а не то батоги, а по винѣ и торговая казнь... Смѣкаемъ, думаю себѣ; дудки! это только одно пристрастіе, потому-де, что листы имъ не нравятся. Поглядимъ, по нраву ли придется вонъ этотъ. Про него на воротахъ ничего не указано... Мотковъ

вытащилъ изъ-за пазухи въ нѣсколько разъ сложенный листъ. На немъ вверху, въ клѣткахъ, суздальскимъ манеромъ нарисовано было не мало фигуръ, а внизу отпечатано толкованіе.»

— «Погляди, Никитка, вотъ и съ тобою то же будетъ.» И, указывая на каждую клѣтку, Мотковъ толковалъ: «Вонъ былъ добрый русскій человѣкъ, не изъ подлыхъ, гляди: у него жена какая дородная, красавица, видишь, красной краской вся измалевана, а это у него приказчики серебро считаютъ; ну, а тутъ, подальше, видишь, собака бѣжитъ: это самъ сатана собачью шкуру надѣлъ, да къ нему ласкается, а тотъ, филя, и не смѣкнулъ; гладитъ бѣса; а вотъ третья клѣтка, песъ то уже на дыбы поднялся, ноги обулъ въ нѣмецкіе башмаки, кафтанъ напялилъ, а въ томъ кафтанѣ, видишь, и для хвоста мѣсто есть, гдѣ прятать... Гляди, гляди. Бѣсъ то ему подноситъ заморскихъ питей, а въ томъ питьѣ чары; проглотилъ, голова кругомъ пошла; а бѣсъ вонъ тутъ взялъ зелья заморскаго, зри, куритъ, а тотъ одурѣлъ и свалился. Бѣсы изъ преисподней, видишь, крысами выползли, одинъ тому въ карманъ, другой въ рукавъ, третій въ сапогъ, а вонъ тотъ за пазуху пробирается, раздѣли дурня, серебро растаскали, жену переиначили въ нѣмецкую бабу, а тѣ вонъ тутъ бороду съ обмершаго сдираютъ, содрали, отъ боли проснулся... Глядитъ, нѣтъ жены, серебра, ферязи, все съ бородой ушло...»

Никитка не могъ глядѣть дальше на ужасы, какіе съ героемъ картины послѣдовали отъ лиценія

бороды; стиснулъ губы, зажмурился и только слушалъ.

— «Вотъ, гляди!» продолжалъ Савва, болѣе и болѣе одушевляясь: «Былъ человѣкъ, а у него ослиныя уши выросли; жена ему щенковъ народила; самъ-то онъ, увидѣвъ крестъ, отъ креста бѣжитъ; онъ было-хотѣлъ у пустынника попросить снадобья какого противу ереси, видишь, идетъ, а за нимъ стая псовъ; свалили съ ногъ, поволокли въ тму кромѣшную: гляди какъ черно; огонь подъ нимъ подложили, да его же бородой его и поджариваютъ... А тутъ...»

— «Не могу, Савва Андреичъ!» завопилъ Никитка и вскочилъ.

— «Что, не бойсь, проняло!» съ удовольствіемъ сказалъ Мотковъ и въ то же время замѣтилъ, что съ ними во все время толкованія картины былъ и третій собесѣдникъ, который нагнувшись слушалъ и съ любопытствомъ разсматривалъ раскрашенный листъ. Незнакомецъ тотчасъ отвернулся и сказавъ, «знатное изображеніе», пошелъ на мостъ и пропалъ въ толпѣ.

— «Надо быть знатное!...» прикинулъ Мотковъ самодовольно и присѣлъ на свое мѣсто. «Присядь, Никитка! Покаяться успѣешь; пожалѣлъ серебра, за пятьдесятъ рублей продалъ душу; оно и то правда, въ этомъ году обошлась мнѣ бородушка въ сотню, да то ужъ такой случай...»

— «Правда, правда...» подхватилъ Никитка. «Ты что-то началъ сказывать, что въ приказъ пришелъ, да серебро подалъ...»

— «Говорю же тебѣ — рублевикъ къ рублевику. Приняли, записали имя и мое и отцево и прозвище, и губернію, и провинцію, и уѣздъ, и волость, да и выдали мнѣ мѣднякъ, такой, знаешь, вольный значекъ, что хочешь къ зипуну пришей, хочешь такъ его въ мошнѣ носи; показывай только, когда спросятъ. Ну, вышелъ я изъ приказа, держу мѣднякъ въ рукѣ; мнѣ и встрѣлся какой-то нѣмецъ, поглядѣлъ на меня сурово, да и спросилъ: — Съ бороды пошлина взята? Я показалъ ему значекъ и пошелъ дальше. Тамъ опять идетъ объѣздный, спросилъ; я показалъ, иду дальше; тамъ третій, десятый, то и дѣло: покажи значекъ. Ну, подумалъ, нажилъ себѣ бѣду... Ужъ недалече отъ моихъ воротъ встрѣлся не то пономарь, не то дьячекъ: покажи значекъ! Нечего дѣлать: показалъ, онъ взялъ въ руки, поглядѣлъ и такъ и на изнанку, отдалъ значекъ и пошелъ. Я скорѣе домой, испотѣлъ весь, измучился, хочу чтобы раздѣться скорѣе, положить значекъ за икону, анъ его и въ рукахъ нѣтъ. Обронилъ. Бѣгу на улицу, всю грязь вымѣсилъ досуха, значка какъ не бывало. Нечего дѣлать. Пришлось еще полсотни въ приказъ нести, другой значекъ искупить; сказался, будто для больнаго брата, а у меня и брата нѣтъ, да приказныхъ побоялся... Скажи: потерялъ, — подняли бы кутерьму. Завопили бъ: въ тюрьму, штрафъ, подъ судъ! Втрое бы доправили. Согрѣшилъ, солгалъ, да ужъ за то этого значка не оброню: пришилъ къ зипуну; вотъ онъ. Ахти!»

Покойное лицо Моткова приняло выраженіе ужаса. Онъ поблѣднѣлъ и ощупывалъ грудь судорожно объими руками: значка не было; только оборвыши нитокъ свидѣтельствовали, что значекъ не самъ собою соскочилъ съ зипуна, а съ помощью посторонней руки. Но когда и какъ это могло случиться?.. Передъ тѣмъ какъ они усѣлись у маркитантской лавочки, значекъ былъ, потому что Мотковъ, стыдясь хозяйки, закрывалъ его рукою и чувствовалъ его присутствіе. — Восклицаніе Моткова, его испугъ, движенія, все обратило на него вниманіе проходящихъ; кружекъ зѣвакъ образовался около собесѣдниковъ въ одно мгновеніе. Одни увѣряли Моткова, что у него значка, видно, не было; другіе убѣдительно доказывали, что онъ уворованъ и очень ловко; третьи утѣшали, что найдется. Замѣчаніе одпого подозрительнаго лица въ нѣмецкомъ платьѣ, что Мотковъ притворяется будто значекъ былъ, навело на него такой ужасъ, что онъ выскочилъ изъ толпы и благимъ матомъ пустился бѣжать черезъ мостъ. Зѣваки нѣсколько времени забавлялись надъ чужею бѣдою и тѣшились бы еще долго, если бы не появился объѣздный и не разогналъ ихъ по домамъ, не безъ труда и толчковъ. Чтобы не оставлять читателя въ заблужденіи, я долгомъ считаю донести, что объѣздный былъ не какой-нибудь казакъ, а такъ тогда называли полицейскихъ надзирателей. Разогналъ объѣздный всѣхъ, и указалъ запирать лавки. Никитка одинъ считалъ себя вправѣ не слушаться объѣзднаго, и, вѣроятно, имѣлъ на то причины.

— «Что ты это, Родичкинъ,» сказалъ онъ: «такъ рано сегодня день кончаешь?»

— «Эхъ, Никитка, плохое время приходитъ. Новое начало пріѣхало изъ Питера. Никогда такого и не слыхивали; и ужъ выговорить, не выговорю. Знаю только, что большаго чина человѣкъ, и прибыть изволилъ на Москву, чтобы заводить тутъ у насъ какую-то полицію.»

— «Полицію? А это что такое?»

— «Не вѣдаю. Должно быть какой ни есть новый порядокъ. Нынче того только и гляди: что шагъ, то новая выдумка. Позвали къ нему всѣхъ бурмистровъ и насъ всѣхъ, объѣздныхъ. Много онъ толковалъ, да я отъ страха ничего не слышалъ. Благо еще, что не заговорилъ до лихорадки; только и помню, что напослѣдяхъ сказалъ: «Ступайте же; зорю когда пробили, а Москва на улицахъ почитай вся бражничаетъ! Пошли вонъ!» Мы и пошли вонъ, да вотъ и васъ гонимъ... Ну, запирайте же лавки, говорятъ вамъ; того гляди самъ пріѣдетъ...»

На этотъ разъ купцы и не упрямились, потому что и покупателей уже не было; лавочки постоянныя закрылись; подвижныя уѣхали; сторожа улеглись на мосту, держа на веревкахъ собакъ; объѣздный пошелъ домой, съ нимъ и Никита.

— «А что, Родичкинъ,» спросилъ онъ: «ты ничего не слышалъ, оптеки велѣно ему вѣдать, али нѣтъ?..»

— «Эхъ, какой ты, право, Никитка! Сказано

тебѣ — важная особа, изъ Питера, изъ самаго сенята; указано ему всю Москву вѣдать.»

— «Гмъ! Оптека не Москва, Москва не оптека. Пусть онъ себѣ Москву вѣдаетъ, а оптеку не замай! Стороннее дѣло. Какъ нашъ зелейный рядъ раззорили, лавки съ травой всякой поломали, сколько людей перемерло! Оптекъ на Москвѣ всего-то шесть, седьмая государева верхняя; ну гдѣ имъ всякаго снадобья напастись на такое городище! А цѣны-то какія заломили! Поди-ка напрокладъ въ Новонѣмецкую слободу къ Ермолаю Григорію въ оптеку; а еще жалованная грамота у него есть, и въ грамотѣ написано, чтобы цѣны были безъ надбавки; а купи ревеню кусокъ, такъ что за пудъ заплотишь; а всей-то пошлины нѣмецъ пять ефимковъ заплатилъ; а, бывало, въ зелейномъ ряду сколько душѣ угодно можешь ревеню безпошлиннаго искупить по вольной цѣнѣ почитай задарма. Кушай себѣ на здоровье!..»

— «Такъ отчего же тебѣ хочется, чтобы онъ оптекъ не вѣдалъ?»

— «Мнѣ? Да мнѣ какое дѣло? Зелейную лавку свою гуртомъ въ приказъ продалъ; сотень семь убытка; остатки, какіе не приняли въ приказъ, гніютъ. Мнѣ-то что! Я теперь красками торгую... Плохіе барыши. А до оптекъ, Богъ съ ними, ни знать ихъ, ни вѣдать не хочу. Мнѣ какое дѣло, что нѣмцы корчемствуютъ; водку продаютъ хуже всякаго кабака, перцу подмѣшаетъ да и говоритъ—желудочное лекарство. Поди, хоть теперь погляди: увидишь сколько здороваго народа тамъ лечится; а по ка-

кимъ цѣнамъ! Только раззореніе отъ нихъ. Въ зелейномъ нашемъ ряду по малой мѣрѣ водкою не торговали...»

— «А продавали только отравы, да темныхъ людей подъ рукой морочили. Полно, Никитка, у меня у самого племянница объѣлась нашего зелья, да и померла. А продаютъ ли въ оптекѣ водку, поглядимъ. На то и чинъ объѣздный. Пойдемъ!..

— «Да мнѣ какое дѣло до оптеки! Ступай себѣ одинъ. Еще, пожалуй, скажутъ, что я донесъ. А мое дѣло сторона. И спать пора. Плохіе барыши съ красокъ. Почитай, задарма сегодня въ ряду просидѣлъ. До зори лавку заперъ, да вотъ и пошелъ на Спасскій Мостъ горе мыкать. Прощай, Родичкинъ. Богъ съ тобой, добрая душа! Коли для дѣтокъ твоихъ ревеню будетъ нужно, зашли! У меня есть остаточки. Все равно гніютъ.»

— «Кого ты надуваешь, Никитка? За посулъ спасибо, а что остатки, такъ видно не малые: вотъ ужъ ночитай лѣтъ десять, какъ зелейный рядъ раззорили, а остатки у тебя не переводятся...»

— «Да все выходитъ по-малости. Да вѣдь и то скажу, я никому не продаю, а изъ своего запаса уступаю... На это нѣтъ указа. Только гляди, Родичкинъ, ты въ оптекѣ самъ не пей. Отравятъ. Намѣдни умерла на улицѣ баба отъ оптекарской водки.»

Объѣздный завернулъ въ оптеку, а Никитка побрелъ домой. Черезъ ворота Кремля, Китая и Бѣлаго Города пропускали свободно; но въ воротахъ Земляного Города Никитку остановилъ цѣловальникъ.

— «Куда, Никита Андреичъ?» спросилъ онъ почтительно...

— «Понадобилось, Игнашка, за городъ къ знакомцу...»

— «Охъ, Никита Андреичъ!»

— «Что охъ?»

— «Новый порядокъ...»

— «Какой новый порядокъ?..»

— «Да вотъ не будь уже темно, вы бы на воротахъ сами прочитали. Въ городъ-то можно, а изъ города нельзя. Покажи отъ того, какъ его зовутъ: языкъ сломаешь, а не выговоришь, отъ обера новаго — покажи пропускъ...»

— «Какой пропускъ?»

— «Не вѣдаемъ. Послѣ зори указъ сталъ. Никто еще съ такимъ пропускомъ не приходилъ...»

— «Вотъ тебѣ разъ!»

Никитка крѣпко призадумался.

— «Послушай, Игнашка!..» сказалъ онъ наконецъ: «Да будто ты меня не знаешь?..»

— «Какъ не знать, да вѣдь я не одинъ; насъ цѣловальниковъ-то здѣсь шесть, да два солдата, да одинъ драгунъ: донесутъ, вздуютъ... Да еще и на новый порядокъ надо посмотрѣть, что оно такое. Приходи завтра.»

— «Да вѣдь я часа черезъ три-четыре вернусь; не въ первый же разъ...»

— «Не могу. Новаго порядка еще не знаю; да и драгуна такого приставили, несговорчивый...»

Въ унынiи Никитка присѣлъ на скамьѣ, на которой обыкновенно сидѣли цѣловальники и солда-

ты. Игнашка собиралъ въ своемъ умѣ утѣшительныя слова, но не успѣлъ ихъ вымолвить. Къ воротамъ изъ-за городской стороны подъѣхали пріѣзжіе. Игнашка отперъ калитку; драгунъ, солдаты и цѣловальники высыпали изъ сторожки и осматривали поѣздъ, а Игнашка разспрашивалъ:

— «Кто ѣдетъ?»

— «Иванъ Степановъ Костыльковъ, дворянинъ, на смотръ къ стольнику Степану Колычеву. Отворяй! И такъ запоздалъ и что-то не здоровится...»

— «Не здоровится!» вскрикнулъ Никитка. «Могу твоей дворянской милости сказать, что какъ рукой сниметъ. А что болитъ?»

— «Подъ ложкой такъ и душитъ...»

— «Батюшки свѣты! Скажешь, честной господинъ, на всю Москву спасибо. Отворяй же, Игнашка! Что же ты проѣзжихъ дворянъ задерживаешь?..»

— «Эхъ, Никита Андреичъ!.. Новый порядокъ. Пожалуй, честной господинъ, вонъ этому драгуну проѣзжее письмо; пусть пропишетъ, кто и откуда.»

Костыльковъ отдалъ драгуну паспортъ. Между тѣмъ отворили ворота. Цѣловальники, обшаривъ и обнюхавъ колымагу и еще двѣ повозки, пропустили ихъ черезъ ворота. Игнашка толкалъ Никитку и шепталъ ему на ухо: вотъ теперь подъ шумокъ улепетывай. Но Никитка и не думалъ уже о походѣ за городъ; онъ присталъ къ Степанычу и тихо объяснялъ объ удивительныхъ врачебныхъ свойствахъ ревеня.

— «То есть, батюшка, вотъ не дальше какъ

сегодня,» говорилъ онъ: «недугъ было совсѣмъ одолѣлъ; съѣлъ я не мало правда, за то здоровъ сталъ. У меня у самого нѣтъ, а если прикажешь фунта два или три достану у знакомыхъ; уступятъ; только накажи, куда занести. Гдѣ изволишь на жительство стать?»

— «И самъ еще не знаю. Пока на постояломъ дворѣ, гдѣ ни есть...»

— Ну, ужъ если на постояломъ, такъ я тебя, честной господинъ, уважу; на всей Москвѣ для знатныхъ нѣтъ такого пристанища. У другихъ по указу одна большая свѣтлица да двѣ каморы. А у этого совсѣмъ инако; гдѣ покой, а гдѣ два, да ходъ особый въ сарай, и на дворъ, а окна на улицу и въ садъ; хозяинъ въ Нѣмечинѣ былъ, тамъ и домъ свой перенялъ. Только, правду сказать, нечего таить, не дешево.

— А какъ?»

— «Да какъ пожелаешь, два покоя или одинъ?»

— «Три!»

— «Три? Видно, женатъ, дѣтей много. Три, такъ три. Придется по пяти алтынъ въ день, рубль въ недѣлю, четыре въ мѣсяцъ, сорокъ восемь въ годъ, а на годъ можетъ рубля три уступитъ... И мѣсто какое! — У самыхъ у Варварскихъ Воротъ. Все подъ бокомъ. Коли изволишь, провожу.»

— «Спасибо. Ну, что, все?» спросилъ Степанычъ у драгуна, который съ подобающею воинскою аттенціей подалъ ему паспортъ.

— «По этому письму все, да холопскія письма прописать нужно, коли есть...»

— «А коли нѣтъ?»

— «Такъ прописывать не указано, а велѣно отсылать въ канцелярію или на Москву не пускать.»

— «У меня прислуга наемная; пусть каждый за себя отвѣчаетъ. Гей! Подавайте у кого какой видъ есть... Только ты, любезный, попроворнѣе поворачивайся. И поздно, и не здоровится...»

— «Про здоровье не изволь безпокоиться... Какъ рукой сниметъ. И знакомые-то живутъ у меня тамъ у того постоялаго двора по сосѣдству; душкомъ сбѣгаю.»

Драгунъ, видно, умѣлъ очень скоро писать, или не удостоилъ холопей подробною выпиской, только очень проворно вынесъ паспорты и, подавъ, остановился въ позиціи, какъ-будто ожидая приказанія или чего-либо. Степанычъ догадался и подалъ ему полуполтинникъ. Драгунъ такъ былъ тронуть этою милостью, что не утерпѣлъ и поцѣловалъ у щедродателя руку. Поѣздъ тронулся въ путь, Никитка бѣжалъ впереди и указывалъ дорогу Хотя и ѣхали шагомъ, однако же скорохожденіе наводило на Никитку одышку; онъ задыхался. Пристать бы, если бы злой духъ корысти его не поддерживалъ. Наконецъ доползли до Варварскихъ Воротъ. Степанычъ осмотрѣлъ покои, убранные на нѣмецкій ладъ, приказалъ три нумера соединить вмѣстѣ и расположился на ночлегъ. Никитка все время торчалъ у дверей и поджидалъ, когда-то начнутъ носить вещи. Самое невинное любопытство къ тому его побуждало. Но вещей не было, а Степанычъ, растянувшись на постели, не обращалъ

никакого вниманія на присутствіе Никитки. Но когда, желая напомнить о себѣ, Никитка сталъ покашливать, Степанычъ, молча, вынулъ пятиалтынный и протянулъ къ Никиткѣ руку.

— «Покорно благодарствую!» сказалъ Никитка, хотя плата за путешествіе показалось ему обидною. «Такъ теперь прикажешь ревеню достать?»

— «Спасибо. Мнѣ что-то стало лучше! Видно, отъ дороги не смоглось, а высплюсь, такъ и совсѣмъ пройдетъ. Прощай! Спать хочу. Позови дорогой Сергѣя.»

— «Какъ, прощай! Такъ ревеню не возьмешь?»

— «Да на что́ мнѣ онъ?»

— «Какъ на что́! Боленъ, жаръ такой, что издали слышно; горячка, а не хочетъ лечиться...»

— «Коли нужно будетъ, пошлю въ оптеку, вылечатъ.»

— «Отравятъ, да еще вдесятеро за отраву сдуютъ. Какой у нихъ товаръ! Знаешь: по три года въ гниломъ погребѣ лежитъ. Такъ ужъ отъ такого снадобья какое тутъ здоровье.»

— «А у тебя?..»

— «Ну, ужъ не оптекарскій... Самый свѣжій... перваго разбору, лучше нѣмецкаго... Нѣтъ и трехъ дней, какъ привезли.»

Степанычъ всталъ и, посмотрѣвъ пристально на гостя, спросилъ:

— «Скажи, пожалуй, ты изъ военныхъ?»

— «Боронилъ меня Богъ отъ такой бѣды; я изъ купечества нижегородскаго. Въ Москву, такъ, ненарокомъ заѣхалъ, да вотъ и прожилъ годковъ

десять и больше. Полюбилось! А что у меня окладки, да выпуски желтые, такъ я тебѣ, кормильцу моему, правду объявлю, что искупилъ послѣ одного покойника всякую ветошь: тамъ и этотъ кафтанъ нашелъ. Послѣ указа и платья себѣ не дѣлалъ. Вздѣлъ кафтанъ, какъ разъ. Я и ношу; а оно пришлось и сподручно; темный народъ поглядитъ на кафтанъ и уважительно обходится. Не изволь глупыми рѣчами моими обижаться.»

«Долженъ быть продувной!» подумалъ Степанычъ и сказалъ громко: — «Радъ твоему знакомству. Я умныхъ людей жалую. Ревеню пока не нужно, а заходи завтра, можетъ, понадобится...»

— «Право, хоть фунтикъ возьми сегодня. Цѣлый день промаялся, ничего не продалъ. Право, по своей цѣнѣ отдамъ.»

— «А ты зелейный торговецъ?»

— «Былъ, кормилецъ, да зелейный рядъ по указу раззорили; остаки продаемъ... И то вотъ добрымъ людямъ такимъ, что доносить не станутъ. Господинъ честной, и не только что ревень, какой товаръ ни выдумаешь, въ полцѣны поставлю. Прикажи только. Да я полфунтика таки принесу; отвѣдай, полюбится, а я тебѣ готовъ служить до конца живота моего. Ты меня, горемыку, не выдашь; у меня жена, семеро дѣтей, другой разной роденьки на рукахъ моихъ не мало. Всѣхъ кормлю, а ужъ охрою, батюшка, такой семьи не прокормишь. А товаръ, только задумай, достану. Почитай, что и подъ землею въ Москвѣ, и то знаю.»

«Находка!» подумалъ Степанычъ: «Помню

я васъ этакихъ; про жидовъ разсказываютъ: тотъ же жидъ, да въ кафтанѣ. А мнѣ пока такой жиденокъ нуженъ. — Спасибо!» продолжалъ онъ громко. «Товару всякаго мнѣ будетъ нужно не мало, да не сегодня, а теперь мнѣ нуженъ слухъ: не пріѣхалъ ли на Москву лейтенантъ двѣнадцатаго класса Карамзина полка Семенъ Романовъ Лукомкинъ, и гдѣ стоитъ?»

— «Изволь, отецъ родной, черкнуть на бумагѣ; такъ не упомнишь, а добыть, добуду языка, коли только на Москву пожаловалъ. Вотъ я сейчасъ за снарядомъ сбѣгаю.»

«Не ошибся я...» подумалъ Степанычъ: «такъ и есть. Что хочешь, на все готовъ... Запретнымъ товаромъ торгуетъ, по рядамъ и за себя и за другихъ плутуетъ; на посылки прытче собаки; захоти, въ сваху пойдетъ: женитъ и похоронитъ. А!.. Молодецъ!.. — А какъ зовутъ тебя?..»

— «Не люблю я своего имени, честной господинъ! Окрести ты меня для себя по-своему, такъ тѣмъ и останусь...»

— «Какъ же тебя назвать?» спросилъ Степанычъ, подавая ему записку.

— «Да ужъ не нашему глупому уму выдумывать...»

— «Знаешь какъ бы я тебя назвалъ?»

— «А какъ?»

— «Тараканомъ. Во тмѣ живешь, а все видишь....»

— «Хитро, право хитро. Спасибо, кормилецъ, да не пора ли таракану за печку? Съ дороги по-

кой нуженъ; а я завтра до обѣдень вѣсточку принесу....»

— «Правда твоя! Да еще провѣдай, гдѣ живетъ стольникъ Колычевъ, что дворянъ разбираетъ.»

— «Этого-то гуся кто не знаетъ! Живетъ онъ, батюшка, не далече отъ тебя, въ Кремлѣ, въ царскихъ палатахъ, да разборъ-то дворянамъ чинитъ въ Новомъ Приказѣ, и приказъ тутъ же, только въ нижнемъ жильѣ, почитай, въ подвалѣ.»

— «Ну, ладно, прощай!»

— «Да не прикажешь ли завтра тебѣ нѣмецкаго платья принести? На Москвѣ въ твоихъ золотныхъ портищахъ и въ бархатномъ зипунѣ не показывайся. Въ приказъ потащатъ...»

— «Принеси!»

— «Счастливо оставаться.»

И Никитка, онъ же и Тараканъ, какъ ни былъ измученъ, довольно шибко пошелъ за Москву рѣку, и подъ Донскимъ Монастыремъ, въ темномъ и грязномъ переулкѣ, сталъ стучаться въ высокія ворота.

— «Кто тамъ?» спросилъ кто-то.

— «Добыча, Климъ! Новичекъ есть! Отворяй!..»

— «Да, ты кто?»

— «Эхъ ты, Климъ, Климъ, змѣя подколодная, не узнала свою ящерицу!»

И Климъ молча впустилъ гостя, заперъ калитку и пошелъ въ длинныя хоромы; тамъ еще горѣли огни, и не безъ дѣла. Въ большой палатѣ посереди стояло чучело, въ средній мужской ростъ, съ деревянною размалеванною головой. На немъ былъ

парикъ, кафтанъ безъ шитья, обшлаговъ и выпушекъ, камзолъ цвѣтной, исподнее нѣмецкое платье, чулки и башмаки; въ одной рукѣ чучело держало нѣмецкую шапку, въ другой шляпу. Вокругъ, на большихъ и малыхъ столахъ, сидѣло до двадцати разнаго возрасту парней; всѣ шили весьма прилежно разное платье.

Климъ молча шелъ и черезъ эту палату, но Никитка нѣсколько разъ успѣлъ вздохнуть, пока вошелъ въ небольшую горенку, гдѣ хозяинъ обыкновенно бесѣдовалъ съ друзьями и людьми нужными.

— «Видишь, Климъ! Чуть только гдѣ заслышу поживу, сейчасъ слухъ къ тебѣ несу...»

— «Ну!»

— «Пріѣхалъ, братецъ, дворянчикъ изъ провинціи, на двѣнадцати лошадяхъ и въ колымагѣ; дорогое на немъ платье, да старое.»

— «Ну!»

— «Чего, ну! Извѣстно что! Нужно его одѣть. Можно ему и не клейменую одежу продать. За клеймо деньга въ карманѣ останется, а на такомъ богатомъ парнѣ кто станетъ клейма доискиваться.»

— «Хорошо.»

— «То-то же. Вотъ твоя ящерица высмотрѣла, да и принесла слухъ... Да и цѣну-то можно содрать важнѣйшую. Драгуну подворотному полуполтинникъ пожаловалъ: такъ видно что мотовское племя.»

— «Ладно.»

— «А что у тебя, все ли ладно? Дѣтки-то

что? Чай ревень искупали. Не прикажешь ли занести фунта три, четыре?»

— «Можно.»

— «Такъ пускай завтра, да надо бы пораньше на мои руки платье прислать.»

— «Ростъ?»

— «Какъ твой образцовый нѣмецъ, что я ему рожу размалевывалъ.»

— «Дороденъ?»

— «Точь-въ-точь нѣмецъ...»

— «Военный?»

— «Какой же онъ военный, когда только-что изъ деревни притащился. Завтра мы ему спустимъ ординарную одежу; онъ и пойдетъ къ стольнику; его запишутъ въ полкъ, а ты опять сошьешь ему платье и опять безъ клейма продашь.»

— «Изрядно!»

— «Ну, знаешь ли, Климъ: вѣдь я по твоему дѣлу ноги отходилъ; умаялся; позволь у тебя ноченьку переспать. Вѣдь не близокъ путь домой; и перекусить бы...»

— «Ладно!»

ГЛАВА ВТОРАЯ.

СМОТРЪ.

Степанычъ былъ уже совершенно одѣтъ, когда явился Никитка съ Климомъ. Сергѣй доложилъ. Купцевъ впустили.

— «Милости твоей всякаго счастія и долголѣтія!» сказалъ Тараканъ, низко кланяясь. «Доношу тебѣ,

что Лукомкина на Москвѣ еще не было, то есть было, да изъ послѣдняго наряда не вернулся; къ Покрову долженъ быть неотмѣнно. Пока нѣтъ, а платье есть, какое важной и богатой персонѣ носить пристойно. Вотъ кафтанъ веницейскаго сукна, камзолъ изъ цвѣтной парчи, исподни, и что къ нѣмецкой одеждѣ принадлежитъ, все по самой сходной цѣнѣ и лучшей доброты, перваго нашего суконнаго торговца: почитай полряда — его. Такъ ужъ тутъ какому быть обману.»

— «Некогда мнѣ съ вами торговаться. Постой, примѣрю, а вы погодите меня тамъ. Эй, Сергѣй!»

Купцы вышли, оба довольные. Степанычъ переодѣлся. Платье какъ-будто было на него шито.

— «Зови Таракана!» сказалъ Степанычъ. «Ну, ладно! А что стоитъ?»

— «Только для твоей милости,» отвѣчалъ Климъ: «можно взять за все восемьдесятъ пять рублей.»

— «Возьми сорокъ.»

Климъ замоталъ головой, а Тараканъ отвернулся, чтобы скрыть смущеніе. Платье, конечно, не стоило больше, да и барышей-то приходилось рубля два, не больше.

— «Ну, что же? берешь? Я вѣдь цѣну даю, а не такъ спроста торгуюсь.»

— «И осьмидесяти-четырехъ не возьму...»

— «Возьмешь, пустяки! Сергѣй, поди-тка кликни сюда конюховъ.»

Купцы были приведены въ большое недоумѣніе, но оно скоро разрѣшилось. Конюхи остановились у дверей, а Степанычъ сказалъ:

— «Вы, ребята, этихъ барынниковъ придержите, а ты, Сергѣй, поди спроси объѣзднаго: пусть въ нихъ за клеймо пеню доправитъ...»

— «Батюшка, государь, не погуби!» повалясь въ ноги, возопилъ Климъ...

— «Пустяки, не разжалобишь! Неклейменое продаешь, да еще вдвое цѣну ломишь?...»

— «Батюшка, возьму сорокъ...»

— «То-то же! На! Я цѣны-то знаю. Пошелъ вонъ, да гляди, не попадайся; въ другой разъ не прощу. А ужъ клеймо я самъ приставлю. Пошелъ!»

— «Вѣчное спасибо!» говорилъ Климъ, откланиваясь.

— «Не за что, не за что! Отваливай! Ну, а ты, Тараканъ, ревеню принесъ?...»

— «Не досталъ, честной господинъ!» дрожа отвѣчалъ Никитка:» ни у кого не нашелъ...»

— «То-то же, Тараканъ! Служи вѣрно, такъ прибытокъ будетъ, а если все такъ сходно будешь покупать, какъ эту одежу....»

— «Не буду, Иванъ Степанычъ, не буду. Я почемъ зналъ, что не клейменое, и что онъ такую цѣну заломитъ! Не я шилъ, не я торгую, я и себѣ платья никогда не справлялъ. Чужую ветошь дощашиваю.»

— «Ну, теперь я пойду къ Колычеву, а ты, Тараканъ, поищи мнѣ въ городѣ небольшой домъ. Не стану я въ харчевнѣ убытóчиться, да еще въ такихъ конурахъ тѣсниться...»

«Видишь, мало ему мѣста!» подумалъ Тараканъ.

— «Мнѣ надо гостей принимать, на большую ногу жить...»

«А отмошенничалъ сорокъ пять рублей...» подумалъ Никитка.

— «А тамъ, что Богъ пошлетъ. Да! шляпы-то нѣтъ! На-ка, Тараканъ, рубль, поди искупи; только гляди, клейменую нѣмецкую шляпу; да проворнѣе; тутъ ряды недалече...»

«Бывалый!» подумалъ Никитка, и съ удивительною быстротой воротился съ покупкой.

Степанычъ отправился въ Кремль. Никитка по неизвѣстнымъ причинамъ не рѣшился сопровождать его, а пропалъ въ трактирѣ, между нумерами и челядью. И хорошо сдѣлалъ, потому что трактиръ, дѣйствительно походившій на нѣмецкія заѣзжія гостинницы, заключалъ въ себѣ много гостей, съ которыми и легче и прибыльнѣе было обходиться, чѣмъ съ Степанычемъ; но, къ сожалѣнію Никитки, онъ нашелъ почти во всѣхъ нумерахъ только слугъ; дворяне уже пошли въ канцелярію, и въ пріемной ожидали стольника. Степанъ Яковлевичъ Колычевъ былъ занятъ и дѣлами и бесѣдой. Въ палатѣ у него сидѣлъ первый московскій оберъ-полиціймейстеръ, генералъ, командиръ московскихъ гарнизонныхъ войскъ и еще нѣсколько московскихъ высшихъ сановниковъ. Бесѣда продолжалась, хотя Колычевъ и сидѣлъ за письменнымъ столомъ съ перомъ въ рукѣ.

— «Сегодняшній рапортъ принесетъ Его Величеству сатисфакцію. Принято и поверстано вчера два ста дворянъ, царедворцевъ и служилыхъ

людей; сегодня, чай, нумеръ будетъ еще побольше.»

— «Только мнѣ отъ этихъ гостей истинное бѣдствіе...» замѣтилъ начальникъ полиціи: «Вчера вступилъ я въ должность и первая ночь со счетовъ долой. То и дѣло, что гдѣ-нибудь оказалась проказа непристойная. Я и наблюсти и взыскать ничего не могъ, потому что и мнѣ и имъ все вновь. Да и черезчуръ многолюдно. Объѣздные — плутяги, а бурмистры — купцы, народъ тихій: сами отъ всего бѣгаютъ; куда же имъ за другими смотрѣть! Отпусти, Степанъ Яковлевичъ, хоть половину поскорѣе. Легче будетъ управиться.»

— «Отецъ ты мой родной! Вѣдь не огурцы же разбирать, а людей; надо съ оглядкой; иной калѣкой притворяется; другой заправду калѣка; иной себѣ меньше лѣтъ показываетъ; иной подлогомъ за другаго явился; объ нѣкихъ есть секретныя инструкціи и повѣстки. Про каждаго справку наведи, не обидь, и себя не дай одурачить. Впрочемъ, которые уже по статьямъ поверстаны, тѣмъ я памяти сегодня къ тебѣ посылаю; за тобою станетъ дѣло. Отправляй по статьямъ, кого въ сенатъ, къ гражданскимъ дѣламъ, кого въ военную коллегію, а негодныхъ по домамъ. Всѣмъ имъ виды готовы, пусть только берутъ; а сегодняшнихъ вечеромъ по статьямъ распишемъ, а памяти объ нихъ завтра пришлемъ. — Скажи, пожалуй, ты вчера лишь изъ столицы: что про Шведовъ слышно?»

— «Замиряются, да подъ рукой плутуютъ. Аглецкаго флота поджидаютъ.»

— «Ну, такъ еще въ этомъ году не конецъ, а признаюсь, и мнѣ война надоѣла. Ежечасно возись съ наборомъ, да съ смотрами. А матушка государыня?»

— «Благодаренье Богу, здорова. Хотятъ вояжъ учинить въ лифляндскія земли. Въ Рижскую Губернію уже и указы посланы.»

— «Ну, а наши-то господа большіе всѣ здравствуютъ?»

— «Да что имъ дѣлается? По ассамблеямъ ѣздятъ, меморіи пишутъ; дѣла много, да какъ-то нынче стало весело; не то, что прежде. Я и въ маломъ чинѣ былъ, да изблизи все видѣлъ. Бывало все не по нихъ...»

— «Оттого, отецъ мой родной, стало весело, что стали больше понимать; видятъ, гдѣ польза; такъ и трудъ не тяготитъ. Вотъ тутъ въ Москвѣ поживешь, такъ увидишь: тутъ еще слѣпота; есть такіе, которымъ когда писано, чтобъ быть ко двору, на сто ладовъ уклоняются.»

— «Будьте благонадежны! Выкурю я ихъ изъ Москвы по регистру.»

— «Тутъ, батюшка, есть окольничій Словцевъ. Повѣришь ли? Заурядъ съ раскольщиками, бороду что годъ окупаетъ; значекъ себѣ на свои деньги золотой сдѣлалъ и на ферези припнлъ, а на однорядкѣ другой серебряный. Старикъ зажился, да дурной примѣръ. И то сказать надо, внукъ у него добрый малый, выпелъ бы по службѣ, да

взять нельзя: умретъ старикъ. Такъ ужъ сквозь пальцы гляжу; больно старъ: не сегодня, завтра умретъ, такъ я его у государя на годъ выпросилъ. Хочу ему сегодня послать царскую амиссію.»

— «Дворянинъ Иванъ Степанычъ Костыльковъ на смотръ пришелъ...»

— «Пришелъ, такъ пускай и сидитъ въ канцеляріи. Срокъ не приспѣлъ; сказано, въ десять.... Костыльковъ, Костыльковъ... Погоди, погоди! Эй, Ефимъ Андреичъ, подай сюда память подъ литерою К. Такъ и есть, тотъ самый, о комъ отецъ Пафнутій меморію подалъ... О немъ же тутъ и губернаторскій отзывъ. Пожалуй, зови, однимъ будетъ въ присутствіи меньше. А долженъ быть разбойникъ и сутяга; отъ десяти смотровъ ускользнулъ. Поди-ка сюда, угорь-рыба..»

— «Здравія и долгоденствія желаю вашему превосходительству. Имѣю счастіе предстать на дворянскій смотръ. Куда благоизволите, по разборѣ, поверстать и на службу назначить. Радъ буду кровь мою пролить за государя и отечество, и малую какую ни есть пользу интересамъ царскимъ оказать. Ожидаю вашего превосходительства указа.»

Колычевъ совершенно смутился и вмѣсто отвѣта махнулъ рукой. Степанычъ повернулся и хотѣлъ идти.

— «Стой, молодецъ!» закричалъ стольникъ. «Кто тебя, какъ сороку, такому изрядному комплименту выучилъ?»

— «Богъ — и уваженіе къ персонамъ, кои тру-

дами службы царскую довѣренность благопріобрѣли...»

— «Что за оказія! Словно по писанному говоритъ. Поди-ка сюда поближе! Экой молодецъ! А сколько тебѣ лѣтъ?»

— «Послѣ Покрова двадцать шесть сполна будетъ...»

— «А для чего изволилъ ты отъ службы отнѣкиваться и отъ смотровъ уклоняться?»

— «По дурному внушенію провинціальной чиновности, понеже они взятками съ меня противоуказными пропитаніе имѣли.»

— «А кто именно?»

— «Ѳома Галунчиковъ, земскій коммиссаръ, и Семенъ Водопаевъ, земскій секретарь, съ жены и домочадцы...»

Колычевъ записалъ.

— «Ну, а теперь кто надоумилъ пожаловать?»

— «Отецъ Пафнутій, воевода Буруновъ, и собственная совѣсть...»

— «А отецъ-то Пафнутій?..»

— «Не извольте продолжать, ваше превосходительство! Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Кто смолоду не былъ молодъ. И вы, можно думать, изволили въ свое время пошаливать. Таковъ чинъ міра сего. И теленокъ брыкаетъ, а волъ смирно свою службу правитъ...»

Колычевъ окинулъ взоромъ предстоящихъ, какъ-будто на лицѣ у него былъ написанъ вопросъ: Каковъ?

— «Грамотенъ?» спросилъ Колычевъ.

— «На мѣдныя деньги учился у городского школяра. Уповаю на Москвѣ, а паче въ Питербургѣ доучиться, коли отъ службы время останется.»

— «Ну, на это всегда хватитъ времени. А какую ты имѣешь диспозицію?»

— «Не могу въ толкъ взять... Слово нѣмецкое...»

— «Ну, куда хочешь быть приписанъ: въ подъячіе или въ воинскую службу?»

— «Моя воля не указъ. А если спрашивать изволите, такъ да не будетъ тайно, что мнѣ стала приказная челядь хуже горькой рѣдьки. Та еще хотя въ постъ пригодна, а ужъ эти и богатаго въ малый срокъ постится посадятъ.»

— «Э, да ты и шутникъ!»

— «Не дерзнулъ бы я передъ такой персоной мой веселый нравъ показывать, да по вопросу отвѣтъ. Половина сказана, а другая половина нижайшая, рабская просьба приписать меня къ ратному дѣлу. Смерть люблю драться.»

Колычевъ опять посмотрѣлъ на всѣхъ и спросилъ:

— «А, можетъ быть, въ гвардію ты бы хотѣлъ?»

— «А мнѣ какъ знать что́ такое гвардія.»

— «Гвардія — надворное войско царское.»

— «Не хочу.»

— «Почему?»

— «Отъ Шведа далече.»

— «Такъ ты хочешь въ полевые полки, въ конные, пѣшіе...»

— «Въ конные! У меня лошадей много и всѣ своего завода. Въ пѣхотѣ что проку? Лошади ноги отстоятъ, а я ноги отхожу. Такъ ужъ, коли милость...»

— «Въ кавалерію?»

— «Куда угодно, только въ конные.»

— «Благо, благо! Только прямо въ полкъ нельзя. Надо прежде артикулу научиться.»

— «Пожалуй, я учителя найму, только укажите...»

— «Благо, благо, Костыльковъ! Ступай теперь въ канцелярію и явку свою въ книгѣ запиши, а назначеніе получишь по своему желанію.»

— «Душевно благодарствую.»

И Степанычъ ушелъ.

— «Позвать ко мнѣ штабъ-фурьера!» сказалъ Колычевъ и всталъ съ мѣста. Всѣ гости также поднялись. — «Наступаетъ время: пора въ присутствіе; а этотъ молодецъ меня крѣпко занялъ. И бумагъ не покончилъ. Такъ что же, господа? Вѣдь обѣдать гдѣ ни есть, а надо. Такъ не пожалуете ли ко мнѣ? Наслушаюсь я на смотру диковинокъ, а вамъ за трапезой и передамъ. Посмѣемся.»

— «Будемъ, будемъ, Степанъ Яковлевичъ!» отвѣчали почти всѣ и разбрелись. На ихъ мѣсто явился штабъ-фурьеръ.

— «Кто у насъ по драгунскимъ полкамъ рекрутъ правитъ?»

— «Нѣмецъ Браксе и плѣнный Шведъ Кофъ.»

— «А нѣтъ ли Русскаго?»

— «Фендрихъ Кусточкинъ, да онъ младшій.»

— «Благо, благо, ступай за мной.»

И Колычевъ отправился въ присутствіе, по внутренней лѣстницѣ; за нѣсколько комнатъ слышно было жужжаніе улья нѣтчиковъ; и по множеству и по хлопотливости смѣло можно было сравнить этихъ новослужилыхъ съ пчелами; но шумъ утихъ какъ только по явочному списку въ присутствіе былъ позванъ первый нѣтчикъ. Секретарь, вѣроятно, не безъ умысла оставилъ двери незапертыми. Почти большая половина могла видѣть Колычева, который, въ кафтанѣ, богато зашитомъ золотыми цвѣтами, и въ парикѣ, возсѣдалъ прямо противъ дверей.

Первый объявилъ себя калѣкой.

— «Гдѣ же у тебя изъянъ?..»

— «Во рту. Хлѣбной мякоти глотать не могу. Кашицей живу. Съ дѣтства испорченъ...»

— «Благо, благо! Мы однихъ на службу беремъ, а другимъ сами службу служимъ. Отъ насъ болѣзнь, куда бы ни спряталась, не уйдетъ; найдемъ; а кто на здоровье свое вретъ, и того обличимъ. Вонъ, погляди въ зеркало. Улика налицо! Побѣдилъ ты отъ одного пристрастія... Годенъ! Въ Питербургъ! Къ явкѣ подлежитъ въ военную коллегію. Пиши! — Зови другаго. Ну, а ты что? тоже калѣка!..»

— «Калѣка, кормилецъ.»

— «А въ чемъ изъянъ...»

— «Сна нѣтъ, ѣсть не хочется.»

— «Мало движенія. Годенъ! Туда же! Зови! Ну!»

— «Отецъ-командиръ! Былъ я на всѣхъ на шести смотрахъ, отпустилъ ты меня за плохимъ здоровьемъ; а теперь, отецъ родной, самъ-то я здоровъ, да мать умираетъ; некому за бѣдною присмотрѣть; глаза моей родной закрою, самъ на службу явлюсь, гдѣ пріемъ будетъ.»

— «Ты откуда?»

— «Здѣшній городской дворянинъ...»

— «Ну, такъ ступай съ Богомъ!.. Да гляди, слово сдержи. Запиши резонъ, почему отпущенъ. Дальше. Ну, а ты изъ какой губерніи?»

— «А?..»

— «Да что ты, глухъ, что ли?» тихо спросилъ Колычевъ.

— «Глухъ!»

— «Годенъ! Пиши въ первую статью! Дальше! А ты, братъ, кажется совсѣмъ охромѣлъ.»

— «Отъ ушиба, государь-генералъ. И не такъ, чтобъ и давно.»

— «Помню, помню, на прошломъ смотру у тебя другая болѣзнь была. Да и эта не лучше. Къ чему хромой годенъ? Ни для марша, ни на часы. Такъ что мнѣ въ тебѣ? Вотъ тебѣ бумага и перо. Распишись, когда и какъ охромѣлъ, чтобы слѣдъ и резонъ по дѣламъ остались. Ну, подай-ка сюда писаніе. Почеркъ хорошъ, въ словахъ толкъ и связь есть. Годенъ! Пиши его въ Московскіе Приказы для письменныхъ дѣлъ.»

— «Батюшка-генералъ...»

— «Ступай! Ты, видно, не слыхалъ про меня. Слово мое твердо. Дальше!»

И вереницей тянулись пѣтчики, одинъ за другимъ. Съ необыкновенною скоростью Колычевъ версталъ ихъ по статьямъ; но эта скорость была слѣдствіемъ не лѣни или опрометчивости, а многолѣтней опытности стольника и необычайной его памяти: въ нѣсколько смотровъ онъ совершенно познакомился съ истинно негодными къ службѣ, и съ поразительною быстротою, а нерѣдко и остроуміемъ, обличалъ притворство. Болѣе ста дворянъ повернулъ онъ такимъ образомъ и наконецъ запнулся. Передъ нимъ сталъ веселый, румяный, дородный, голубоглазый дворянинъ, лѣтъ двадцати трехъ.

— «Ну,» по обыкновенію спросилъ Колычевъ: «ты что?..»

— «Ну, ты что?» отвѣчалъ дворянинъ и разсмѣялся такъ простодушно, что никакъ нельзя было подозрѣвать его въ притворствѣ.

— «Ты дурачокъ, что ли?»

— «Ты дурачокъ, что ли?»

— «Послушай, если доказано будетъ, что ты глупъ съ притвора, то наказаніе будетъ жестокое. Тутъ мѣсто не до шутокъ...»

— «Тутъ мѣсто не до шутокъ...» И дворянинъ расхохотался.

— «Съ кѣмъ ты пріѣхалъ?»

— «Съ кѣмъ ты пріѣхалъ?..»

Колычевъ призадумался. Ни глаза, ни что не позволяло думать, что дворянинъ полоумный... Но какъ онъ явился въ присутствіе, какъ записался въ явочной книгѣ, какъ вышелъ по кличкѣ?

— «Какъ его зовутъ?» спросилъ Колычевъ у секретаря.

— «Помѣщикъ московской губерніи, костромской провинціи, недоросль Иванъ Григорьевъ Котелкинъ.»

— «Иванъ Григорьичъ!» крикнулъ Костыльковъ, не глядя на дворянина.

— «Иванъ Григорьичъ!» повторилъ Котелкинъ, и опять сталъ смѣяться.

— «Да развѣ никто не видалъ, какъ онъ расписывался?» спросилъ Колычевъ тихо.

— «Помилуйте, ваше превосходительство...» отвѣчалъ секретарь: «да какъ же на нихъ тутъ смотрѣть. Благо что расписываются: сегодня и такъ больше трехъ сотъ по явочному списку, и этотъ насъ только задержитъ. Отписать его полоумнымъ, да и дальше.»

— «Нельзя, братецъ, тутъ притча!»

— «Ужъ точно притча...» подхватилъ Степанычъ, который съ нѣкоторыми дворянами успѣлъ влѣзть въ присутствіе. Колычевъ оглянулся и, съ улыбкой посмотрѣвъ на Степаныча, сказалъ: — «Вотъ тоже молодецъ, тоже Божіе твореніе, а что въ немъ проку. Пристрастія любоями или пыткою чинить не указано; они это знаютъ — и до правды трудно добраться. Да если онъ такой дуракъ, то какъ онъ изъ Костромы сюда пожаловалъ? Что значится въ описи воеводской? Погляди!..»

Секретарь очень долго отыскивалъ, наконецъ нашелъ и прочелъ: «О семъ ходятъ слухи, что временно одержимъ безумною болѣзнію.»

— «Такъ, видно, припадокъ пришелъ къ нему отъ испуга. Выморочь, негоденъ!»

По сосѣдству, въ лицѣ одного дворянина Степанычъ замѣтилъ сильное судорожное движеніе радости. Другое обстоятельство также показалось Степанычу подозрительнымъ: секретарь съ особенною скоростью записалъ Котелькина въ статью негодныхъ и крикнулъ къ стоявшей у дверей военной командѣ...

— «Корпоралъ! Выведи бережно его изъ присутствія! Онисимъ, Ивановъ сынъ, Котреинъ, пожалуй въ присутствіе.»

Колычевъ занялся смотромъ, а Степанычъ потихоньку выползъ изъ присутствія въ пріемную, вслѣдъ за сосѣдомъ, который изъявилъ такую сильную радость при словѣ: «Негоденъ». Изъ пріемной за нимъ же прошелъ на площадь, гдѣ дурачекъ стоялъ уже одинъ и глазѣлъ на золотые верхи московской святыни. Означенный дворянинъ схватилъ дурачка и проворно пошелъ къ воротамъ. Степанычъ догналъ ихъ и сказалъ:

— «Поздравляю, Иванъ Григорьевичъ, отъ души поздравляю...»

Дурачекъ шелъ дальше, не проводникъ оглянулся.

— «Неужто, Иванъ Григорьевичъ,» продолжалъ Степанычъ: «не изволишь меня признавать? Правда, гдѣ тебѣ меня и помнить! А ужъ хитрость чудная, получше моей; моя-то еще не знаю какъ съ рукъ сойдетъ, а твоя сполна удалась. То-то обрадуются домашніе. Ай-да Иванъ Григорьевичъ!»

Дворянинъ, блѣдный какъ полотно, умоляющимъ голосомъ сказалъ Степанычу: — «Да чего ты горланишь! Заслышатъ — все пропало! Мало, ты думаешь, стóитъ?»

— «Да ужъ и секретарь-то не промахъ. Добробы кого, а то стольника Колычева подъ носомъ обманулъ. Видно, не одни-то мелкіе плутуютъ....»

— «Да тѣ-то по малости и берутъ, а ужъ эти изъ алтына и рукъ марать не станутъ...»

— «Чай сотня, другая...»

— «Нѣтъ, товарищъ...»

— «Ну, а я такъ за сотню, и то не сполна, отдѣлался.»

— «Охъ! Секретарю двѣ сотни; писарю, что́ у явочной книги, двадцать рублей. Этотъ болванъ чего мнѣ стóитъ! Пускай лакомства за рубль на годъ искупишь, да возня-то съ нимъ какая! Того гляди на колокольню влѣзетъ, да оттуда соскочитъ; или домъ подожжетъ; а взялъ я его у матери на отвѣтъ; и за услугу заплати. Страхъ, сколько денегъ пошло...»

— «А то ли дѣло, поднелъ бы служить! Самому бы жалованье царское шло. И знаешь ли, Иванъ Григорьевичъ, хитрость твоя не удалась...»

— «Что?... А?...»

— «Говорю, не удалась! Вѣдь я за тобой отъ стольника въ сыскъ и присмотръ посланъ.»

— «Владыка живота моего, что́ такое?... Въ толкъ не возьму! Голова кругомъ пошла...»

— «Опамятуйся, Иванъ Григорьевичъ! Да и пойдемъ къ стольнику съ повинною, а не то ошель-

муютъ. Не уйдешь! Въ воротахъ, видишь, драгуны; придержатъ; не оглядывайся: куда бѣжать? Не пущу! Самъ я дворянинъ и стыжусь, что поздно на службу явился. Да не я виноватъ: пусть тѣ и отвѣчаютъ. А ты не уйдешь!»

— «Да какъ же ты меня узналъ?»

— «Я царскій драгунъ. Царю служу. Долженъ его указовъ слушаться. Поглядѣлъ на ваши продѣлки, смѣкнулъ и на чистую воду и вывелъ. Пожалуй въ палату...»

— «Отецъ ты мой родной! Возьми денегъ...»

— «Свои есть! Пожалуй! Не отплатишься, не отколдуешься!»

— «Пришелъ мой конецъ! Прощай, моя Дуня! Прощай и ты.. »

— «Такъ и есть,» сказалъ Степанычъ съ горькою усмѣшкой: «для дѣвокъ отъ службы бѣжалъ; а, можетъ быть... О, нѣтъ! Ступай, ступай! Слушай, Иванъ Григорьевичъ, всѣхъ бы васъ я изловилъ и уличилъ; есть у меня свое горе, да есть и жалость. Если я тебя приведу на силу, и передъ стольника, какъ поимку, поставлю, третья часть твоихъ волостей — моя. Да мнѣ твоего добра не нужно. А если ты самъ придешь, покаешься, повинную принесешь, и казни не будетъ, и деревень не отымутъ. Пойдемъ!»

И взявъ за руку Котелкина, Степанычъ почти тащилъ его въ канцелярію, а Котелкинъ тащилъ дурачка, какъ-будто хотѣлъ удержаться за него, чтобы не повалиться въ пропасть. На порогѣ канцеляріи дурачекъ какъ-то вырвался и убѣжалъ на

площадь. Присутствіе дворянъ привело въ стыдъ Котелкина. Онъ выпрямился и пошелъ ровно къ дверямъ присутствія, но Степанычъ все-еще не оставлялъ руки его. Въ самыхъ дверяхъ они услышали возгласъ секретаря:

— «Не явился!»

— «Не думаю. Повтори еще разъ!»

— «Иванъ, Степановъ сынъ, Ко...» Секретарь запнулся, примѣтивъ входящаго Котелкина.

— «Костыльковъ, что ли?» сказалъ Степанычъ: «Если такъ, вотъ я налицо, да и не одинъ, съ товарищемъ...»

— «Съ какимъ товарищемъ?» спросилъ Колычевъ.

— «Его дѣло, не мое, пусть самъ о себѣ объявитъ...»

Котелкинъ повалился въ ноги стольнику.

— «Что̀ такое? Что̀ съ тобою? Что̀ выходишь безъ оклика! Жди очереди...»

— «Батюшка, отецъ родной, спаси и помилуй! Нечистый попуталъ.»

— «Говорятъ тебѣ, ступай на мѣсто и жди пока позовутъ по регистру, а порядка не нарушай! Очередь!»

— «Да его очередь ужъ была...» замѣтилъ Степанычъ: «да ошибка случилась. Какой-то дуракъ замѣсто его передъ твое превосходительство выскочилъ, да наплуталъ; а Ивана Григорьевича Котелкина, по случаю, въ пріемной не было. Обидѣлся, за что ваше превосходительство указали его записать въ негодные.»

— «Да и воеводскій отзывъ есть...» замѣтилъ секретарь.

— «Иванъ Григорьевичъ говоритъ,» продолжалъ Степанычъ: «что и воевода на него написалъ по злобѣ, того-для, что ревпость его къ царской службѣ зналъ и хотѣлъ ему противность только и безчестіе учинить. А Ивану Григорьевичу смерть служить хочется, какъ дворянину пристойно.»

— «Такъ ли?» спросилъ лукаво Колычевъ.

— «Сущая истина!» отвѣчалъ дрожа Котелкинъ.

— «Да не изволь тревожиться!» опять началъ Степанычъ. «За чужую ошибку ты не будешь отвѣчать, и гпѣва на тебя нѣтъ.»

— «Какой тутъ гнѣвъ? Похваляю. Выморочь его изъ негодныхъ, въ первую статью запиши... Ну, а ты, молодецъ, ты уже записанъ; вотъ тебѣ штабъ-фурьеръ, въ науку отведетъ; да послѣ ученья, такъ, передъ вечернями, зайди ко мнѣ на домъ.»

— «Слушаю. Счастливо оставаться. Штабъ-фурьеръ, пойдемъ!»

Колычевъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ на расторопнаго новобранца и опять занялся смотромъ.

— «Ну, отвѣсь стольнику спасибо,» сказалъ дорогою штабъ-фурьеръ: «что отдалъ тебя на руки фендриху Кусточкину, а не заморскимъ учителямъ».

— «А что?»

— «Все-таки свой...»

— «Э, мнѣ все равно. Лишь бы человѣкъ. А далече ли?»

— «Да не близко. Подъ лафертовскимъ дворцемъ.»

— «Такъ зачѣмъ же намъ пѣшкомъ ходить? Зайдемъ ко мнѣ, перекусимъ, а тѣмъ мѣстомъ колымагу заложатъ...»

Штабъ-фурьеръ почтительно посмотрѣлъ на Степаныча и учинилъ ему воинскій решпектъ. Богатство въ иныхъ глазахъ стóитъ чина.

Во время закуски, Степанычъ спросилъ: — «А гдѣ Тараканъ?»

И Тараканъ вползъ.

— «Послушай, Таракашка! Поди, приведи ко мнѣ купца съ драгунскою одеждою и что́ къ драгунской службѣ принадлежитъ. Помни только, что я цѣны знаю и про ревень вѣдаю. За усердіе награжу, за плутовство взыщу. Пошелъ!»

— «Отецъ родной, тутъ нѣмецъ часы занесъ, да и оставилъ на мои руки; продаетъ. А тебѣ, такой важной, богатой и служилой персонѣ, непристойно и несподручно безъ часовъ.»

— «А что́ стóятъ?»

— «Всего десять рублей...»

— «Недорого, да краденыя! Сергѣй, возьми часы, а какъ нѣмецъ придетъ, возьми и нѣмца и ступай къ объѣздному, и часы покажи и заяви, что не воровское покупаемъ, тогда нѣмцу и заплати. А вотъ тебѣ и деньги. А ты, Тараканъ, ступай куда указано...»

Никитка съ кислою миною почесался въ затылкѣ, но прекословить не смѣлъ и ушелъ. Подали колымагу; штабъ-фурьеръ отъ избытка почтитель-

ности хотѣлъ сѣсть на козлы, но Степанычъ пригласилъ его въ колымагу; конюхъ заперъ дверцы; вскочилъ на коня и поѣхалъ за каретой. Въ казармахъ не напли фендриха Кусточкина; онъ былъ на полковомъ полѣ и училъ команду артикулу. Штабъ-фурьеръ побѣжалъ впередъ.

— «Юрій Петровичъ,» кричалъ онъ издали еще, помахивая рукою: «Юрій Петровичъ! Прислалъ къ тебѣ стольникъ въ науку какого-то знатнаго господина, чай князя, помалости...»

— «Понимаю!» сказалъ фендрихъ. «Принять въ ежевыя рукавицы, дурь выколотить. Подавай его сюда!»

— «Нѣтъ, Юрій Петровичъ! Богъ свидѣтель, самъ видѣлъ: Степанъ Яковлевичъ съ этимъ бариномъ страхъ какой ласковый. Чего! Въ присутствіи изволилъ съ нимъ запанибрата рѣчь вести...»

— «Знаемъ мы Колычева! Мягко стелетъ, жестко спать. Все равно. Подавай!..»

— «Да вотъ его сіятельство и сами.»

— «Какое сіятельство!» перебилъ Степанычъ: «Простой дворянинъ. Имѣю охоту къ воинскому дѣлу и по благости его превосходительства въ науку присланъ...»

— «Да какъ же я тебя учить буду, когда ты еще не солдатъ?»

— «А отчего же я не солдатъ?»

— «И безъ мундѣра и безъ ружья...»

— «Учиться можно и безъ мундѣра, а ружье вели подать, да и показывай, какъ надо имъ вымахивать доброму драгуну...»

— «Такъ ты конный?..»

— «Конный, по милости стольника, дай Богъ ему здоровья; и коня своего верховаго съ собой привелъ...»

— «Ну, извини, сегодня не конный день. А приходи завтра поранше, часу въ пятомъ или шестомъ утра, а теперь некогда...»

— «Послушай, фендрихъ, не знаю какъ тебя титуловать...»

— «Юріемъ Петровичемъ,» подхватилъ штабъ-фурьеръ.»

— «Ну, такъ слушай, Юрій Петровичъ! Въ какой срокъ ты меня выучишь?»

— «Глядя, какой таланъ; иного въ мѣсяцъ знатнымъ служивцемъ поставишь, а съ инымъ и годъ безъ прока провозишься.»

— «Ну, а если въ мѣсяцъ перейму, что благостыня?..»

— «Да что ты врешь? Развѣ я школяръ какой? Изъ царскаго жалованья служу.»

— «Да ты себѣ бери царское жалованье, а за то, что меня скорѣе выучишь, за то и моею щедростью не брезгай. Ты себѣ ломайся какъ хочешь, а я тебѣ объявляю: если въ мѣсяцъ выучишь, подарю, сколько дней, столько и рублей; если въ три недѣли, десять рублей прикину; если въ двѣ недѣли, окромя денежнаго, подарю знатнаго заводскаго коня; если въ одну недѣлю...»

— «Въ одну недѣлю нельзя...»

— «Ну, такъ въ двѣ. Помни же уговоръ. Прощай! Штабъ-фурьеръ, пойдемъ!»

Фендрихъ изумленными глазами провожалъ странаго солдата, который пріѣхалъ въ колымагѣ и сулитъ за то, что фендрихъ сдѣлать обязанъ, чуть не полное его годовое содержаніе. А солдатъ съ подобающею важностью, поставивъ ногу въ колымагу, сказалъ:

— «Штабъ-фурьеръ! Мнѣ хочется на Москвѣ осмотрѣться, до вечерень далеко; а тебѣ надо быть поскорѣе на своемъ мѣстѣ: такъ не соизволишь ли отправиться на моемъ верховомъ, а кошоха я на козлы возьму. Коня же отдашь, на постояломъ, Сергѣю...»

— «Очень радъ и благодаренъ!»

И Степанычъ отправился на городской выѣздъ; остановился у обширнаго огорода и, наказавъ людямъ тутъ его обождать, побрелъ между капустныхъ грядъ къ небольшому, но опрятному, свѣтлому домику. На крыльцѣ играло двое дѣтей, отъ которыхъ однако же нельзя было добиться никакого порядочнаго отвѣта, потому что хотя они уже и разговаривали, но на языкѣ, не принадлежащемъ ни одной націи; это языкъ хотя и дѣтскій, но общій, языкъ чудный, языкъ счастливцевъ; и кто разучится этому языку, какъ-будто въ наказаніе начинаетъ испытывать разныя непріятности, горе, болѣзни и прочее и прочее, что все вмѣстѣ называется *жизнію*. И по-дѣломъ! Если уже нельзя всегда быть дѣтьми, то по крайней мѣрѣ всегда будьте яко дѣти. И глядя на нихъ, Степанычъ вздохнулъ глубоко и сказалъ: Година незнаній, гдѣ ты? Огородъ ты мой, колы-

бель моя, школа! промѣнялъ бы я твои тихія грядки на все, на все, да, ба! Антонъ ты мой, отецъ-слуга, гдѣ ты? И молодость ушла, и старикъ спрятался; найду я и тебя, да когда и гдѣ?»

Дѣти, глядя на человѣка, который почти поихнему изволилъ самъ съ собою разговаривать, перепугались, сползли съ крыльца и убѣжали, а Степанычъ вошелъ въ покои Немного ихъ было; но и тѣ стали грязны, не такъ какъ бывало; шкафъ, гдѣ была посуда, безъ стеколъ торчалъ впустѣ. Иконы заволокло паутиной; столы, полы и прилавки, правда, были чисты, но потолки и стѣны будто состарѣлись. Недолго разсматривалъ ихъ Степанычъ: грусть одолѣла. Онъ вышелъ на крыльце, куда пришелъ дюжій, ражій мужикъ съ разными поговорками; но, увидѣвъ Степаныча, остолбѣнѣлъ и не успѣлъ сдернуть шапки.

— «Плохо вы держите мой домъ!» сказалъ Степанычъ: «На дняхъ буду за оброкомъ; такъ гляди, Евсей, чтобы и деньги и изба были начисто. Не то я съ тобою посвойски раздѣлаюсь. Не взыскивалъ я съ тебя, почитай, полтора года; пора разсчитаться. Ну, Евсей, прощай! Ты оторопѣлъ, теперь мнѣ съ тобою говорить и нечего и некогда.»

Степанычъ ушелъ. Евсей остался на своемъ мѣстѣ и въ изумленіи глядѣлъ на преобразованнаго хозяина огородовъ.

— «До вечерень далеко еще. Ступай на Спасскій Мостъ! Поглядѣть, да чего ни есть искупить для забавы!»

И колымага потащилась къ Спасскому Мосту, который для тогдашней Москвы замѣнялъ нынѣшній Кузнецкій.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

СПАССКІЙ МОСТЪ.

Издали еще колымага должна была остановиться, потому что толпа на мосту была ужасная; за разнаго рода экипажами не было проѣзда, за многолюдствомъ прохода. Степанычъ вышелъ и, взявъ конюха съ собою, пѣшкомъ сталъ пробираться на мостъ; но чѣмъ далѣе подвигался онъ, тѣмъ труднѣе становился путь; наконецъ не стало возможности сдѣлать шага. Благодаря росту, онъ могъ замѣтить, что причиною такой тѣсноты была женщина, одѣтая въ разноцвѣтныя лохмотья, простоволосая и безобразная; она странно разводила руками и кричала такъ громко, что Степанычъ могъ слышать каждое ея слово.

— «Не плюй!» кричала она: «видишь по небу уже ходьба пошла. Стрѣльцы небесные! Тамъ и нашихъ много! Мученики мои, помагайте дѣлу! А гляди, вонъ есаулъ къ солнцу подходитъ; пилу тащитъ; на чемъ солнце виситъ, то онъ станетъ подпиливать; а луну уже совсѣмъ подрубили, на ниткѣ виситъ, да при солнцѣ не видно. Только не бойтесь, православные! На Москву свѣтила небесныя не попадаютъ. Другой имъ будетъ путь; косякомъ упадутъ одно на новый городъ, другое на нѣмцевъ. Живые погорятъ. Конецъ міру, ко-

нецъ свѣту красному! Молитесь и кайтесь, конецъ пришелъ...»

И кликуши не стало видно, толпа зашевелилась; было тихо, а отъ рѣчей такой шумъ пошелъ, будто буря стала. Передъ носомъ Степаныча стояло нѣсколько дворянъ, только-что поверстанныхъ въ службу.

— «Петръ Иванычъ, а Петръ Иванычъ! А что если кликуша и заправду на небеси все видитъ?..»

— «Какъ же ей не видѣть! Не разсказывала бы. Вѣдь это. братецъ, не въ деревнѣ, а въ Москвѣ. Тутъ передъ цѣлою сходкою врать нельзя. Лжи не потерпятъ. Тутъ только сущую истину объявляй. Несумнительно, все видитъ, а какъ видитъ, такъ и разсказываетъ...»

— «Тьфу ты страсти какія, солнце упадетъ!.. Вотъ чай множество народу раздавитъ...»

— «Пустяки! Куда ему! Что́ оно? Дерево доброе когда упадетъ, больше придавитъ, а самъ погляди: все-то́ оно съ тарелку, а ужъ много, много, съ колесо телѣжное. А вотъ то́ страшно, что оно неугасимое, ничѣмъ не зальешь, развѣ молокомъ. Да еще не пытались: случая такого не было. А вотъ какъ громъ ударитъ, такъ пожаръ можно кувшиномъ молока залить; только надо, чтобъ парное было. Такъ вотъ въ чемъ страсть: землю зажжетъ.»

— «Не выгоритъ же вся земля! Чай земли на свѣтѣ немало.»

— «Да куда же ему всю землю сжечь! Оно

же, видишь, вокругъ земли себѣ-вертится; а упадетъ — станетъ по землѣ бѣгать; гдѣ пройдетъ, слѣдъ останется, да вѣдь нынче другой порядокъ. Ухитрятся. Поймаютъ, да на мѣсто и поставятъ. Луну новую сдѣлаютъ; а звѣзды — теперь на кафтанахъ носятъ. Убей меня Богъ! Сегодня въ Успенскомъ самъ видѣлъ. Одно только хорошо. Отъ такого припадка суматоха станетъ; засуетятся; имъ не до насъ будетъ; войну пока отложатъ; а мы со службы и уйдемъ... — Тише, братъ, перестань болтать. Кажись опять кличетъ...»

И дѣйствительно, молчаніе распространилось съ быстротою.

— «На, разспрашивай!» кричала опять кликуша: «Такое скажу, что́ наплачется не одинъ человѣкъ... а вся Москва, все царство... Будутъ всѣхъ въ чужую шкуру рядить...»

— «Сбылось, сбылось!» раздалось со всѣхъ сторонъ, и опять наступила тишина.

— «Человѣческій видъ отымутъ... Что лошадиныя головы у васъ будутъ, потомъ и за другое примутся.»

— «Раздайся!» закричалъ Степанычъ: «Генералъ ѣдетъ!»

И не обманулъ Степанычъ. Оберъ-полиціймейстеръ впервые объѣзжалъ городъ. Онъ ѣхалъ верхомъ, возлѣ или пѣшкомъ бурмистры и объѣздные, за ними драгунская рота, за нею пушка, за пушкой рота пѣхотныхъ солдатъ. Разбѣжался бы народъ, если бы съ другой стороны совершавшійся крестный ходъ не удержалъ бѣгущихъ.

— «Раздайся!.. говорятъ тебѣ,» повторилъ Степанычъ громогласно, и народъ разступился и устроилась дорожка, по которой, и то съ трудомъ, могла пройти одна лошадь. Степанычъ пошелъ впереди оберъ-полиціймейстера и расталкивалъ народъ. Поровнявшись съ кликушей, онъ остановился и такимъ образомъ загородилъ дорогу.

— «Вотъ, матушка!» сказалъ онъ, кланяясь старухѣ: «Зачѣмъ ты бѣду такую гадаешь, да разсказываешь простому народу. Если что такое печальное провѣдала, такъ зачѣмъ темныхъ людей смущаешь; вотъ ты главному городскому начальству съ рукъ на руки бѣду передай. Авось придумаетъ, какъ горю помочь.»

— «А что же разсказываетъ?» спросилъ оберъ-полиціймейстеръ.

— «Слышь, удостоилъ енералъ тебя вопросомъ. Изволь разсказывать...»

Кликуша дрожала отъ страха, но съ тѣмъ вмѣстѣ поглядывала съ бѣшенствомъ на Степаныча, который, не боясь ни порчи, ни волхованій, тащилъ ее на авансцену.

— «Полно, старуха, чиниться! Не такой твой чинъ, чтобы земныхъ властей бояться! Старымъ костямъ твоимъ нечего пугаться. Перетлѣли отъ лѣтъ! И какой страхъ тому, кто видитъ все, что на небѣ творится...»

— «Вотъ что!» сказалъ оберъ-полиціймейстръ. «Ну, кликуша, еще разъ говорю, разсказывай, не то дворянинъ правду сказалъ: поведутъ куда указано,

не для одного пристрастія, а для того, чтобы изъ тебя бѣса выгнать...»

— «Батюшка, воевода, помилуй меня беззубую!» завопила старуха, повалясь на земь.

Сильный ропотъ негодованія за обманъ послышался въ народѣ. Многіе, которые не были закоренѣлыми поклонниками кликуши, подхватили камни изъ мостовой и готовились заплатить за свою обиду. Примѣтивъ это опасное движеніе, оберъ-полиціймейстеръ крикнулъ: — «Смирно!» и все утихло.

— «Ну!» продолжалъ онъ: «Зачѣмъ же ты, бабушка, глупости такія разсказываешь? Какая тебѣ отъ того польза?..»

— «На бѣдность, отецъ-воевода, щедродатели жалуютъ; имъ такія рѣчи любы...»

— «Дурной промыселъ, старуха! Ты повинна суду и казни; но на первыхъ порахъ не хочу начинать строгостью. Ступай домой и сиди смирно. За второй разъ — сожгу, по уложенію. Стунай!»

Кликуша, низко поклонясь, пошла; народъ не охотно давалъ ей дорогу; многіе толкали ее съ придачею красныхъ словъ, какія въ то время на Спасскомъ Мосту были въ модѣ; нѣкоторые отплевывались. Наконецъ путь сталъ свободенъ. На мосту народъ рѣдѣлъ больше и больше; пока прошла команда, стало совсѣмъ пусто; осталось постороннихъ человѣкъ десять не больше. Савва Мотковъ, заслыша оберъ-полиціймейстерскій приходъ, ловко примкнулъ свою лавку съ лубочными картинками; а по отшествіи кортежа, опять отво-

рилъ лавку и пестрые листы привлекли вниманіе Степаныча. Онъ подошелъ и спросилъ: — «А есть у тебя книги?»

— «Есть. Вотъ тебѣ книга, глаголемая космографія. Тутъ всѣ народы, моря, острова, то есть, весь кругъ земной.»

Степанычъ взялъ въ руки большой листъ, то есть Книгу Космографію, посмотрѣлъ и сказалъ:— «Ладно. Это можетъ быть пригодно.»

— «Какъ же не пригодно! По малой мѣрѣ знаешь, что Москва посреди всей земли стоитъ, и что больше ея на всемъ свѣтѣ города нѣтъ. Видишь, какая здоровая!»

— «А Питербурхъ тутъ есть?»

— «Какъ же нѣтъ. Вонъ въ болотѣ, что̀ куликъ сидитъ. Щедушный такой: почитай, не видно.»

— «Ну, а другіе народы?»

— «Всѣ тутъ, вонъ кругомъ насъ по островамъ сидятъ. Вонъ тѣ, что̀ людей ѣдятъ, вонъ которыхъ философами зовутъ, вонъ что̀ половина пса, а половина людская, оттого такая и кличка: «Песьи острова». А тутъ вонъ арапское царство, гдѣ люди дочерна изгорѣли. Родится бѣлый, вынесутъ его, обмоютъ, масломъ обмажутъ, да въ печь и засадятъ. Обжарится, и готовъ. Зато ужъ ни холодъ, ни жаръ его не пройметъ. Тутъ все прописано вразумительно. А вотъ другая книга, тоже съ изображеніемъ.»

Степанычъ посмотрѣлъ на Моткова съ улыбкой и спросилъ:

— «А нѣтъ ли у тебя математической ариѳметики?»

— «Что такое?»

— «Цифирнаго обученія?»

— «Вотъ тебѣ и цифирь въ лицахъ! На одномъ листѣ до милліона досчитаешься...»

— «Да цифирь-то я знаю...»

— «Такъ какого же ты хочешь еще обученія? Вотъ коли хочешь господскіе и царскіе праздники въ лицахъ, есть, самое новое, на этотъ годъ, и какая доброта, погляди, на тридцать лѣтъ хватитъ.»

— «Пожалуй! А что за все?»

— «Да что лишнее запрашивать, пожалуй гривенникъ, и спасибо.»

— «Изволь!»

Мотковъ въ свою очередь посмотрѣлъ умильно на Степаныча, душевно восхищаясь простотѣ его, потому что онъ за всѣ за четыре книги, то есть, листа, заплатилъ втрое.

— «Господинъ! а господинъ!» сладостно сказалъ Мотковъ: «Сказочекъ не изволишь?»

— «Да на что онѣ?»

— «Для забавы...»

— «И своихъ забавъ довольно. Вотъ ученья сколько хочешь подавай, все куплю.»

— «Эхъ, честной господинъ, школьная-то мудрость глупа; что у нихъ за книги; видѣлъ я въ типографіи ихнія книги, что кличутъ гражданскія, будто знаешь для горожанъ писаны.»

— «Въ типографіи?»

— «Да кто ихъ держать станетъ? Вѣдь онъ церковнымъ въ обиду сдѣланы. У кого толкъ въ головѣ есть, тотчасъ смекнетъ. Безо всякаго изображенія; посмотришь, посмотришь и уснешь. Одурь возьметъ. Пускай красить не умѣютъ, ну, чернью отмалюй что ни есть, а то хоть бы одно рыло, хоть бы деревце или какое ни есть быліе: ровно ничего. А печать-то, печать!.. Читаешь — будто по-нѣмецки. Русской настоящей буквицы, почитай, три-четыре; и цифирь не буквицей, а крючками, да палочками. Помора, да и только. Я попросилъ приказнаго одно этакое книжище почитать. Бока отъ смѣха заболѣли. Такія все слова, что ихъ никогда и не бывало; сами новыдумывали. Потомъ я уже узналъ, отъ одной бывалой старухи, что то у нихъ нарокомъ такой колдовской языкъ придуманъ, что кто тѣхъ словъ по той печати, а пуще цыфири, почитаетъ хоть съ недѣльку, къ ереси и приворожится. Ну, а ересь-то какая, самъ знаешь, толковать нечего. Охъ! (Савва снялъ шапку и перекрестился). И вотъ до чего православный народъ доведутъ! Погляди! (Савва изъ-подъ прилавка вытащилъ листъ, съ которымъ въ первой главѣ мы имѣли случай познакомиться и подалъ Степанычу). Вотъ то же и съ тобою будетъ. Вотъ что и читать надо, а не еретическія гражданскія свѣти. Вотъ оно гдѣ наука настоящая сидитъ. Были и не такіе листы, да, ба!»

— «Куда же дѣвались?»

— «Были, да сплыли. Въ казну забрали. Неню

доправили... Да еще по воротамъ написали такую на честныхъ торговцевъ хулу, что, право, промыселъ опротивѣлъ...»

— «И ужъ теперь нѣтъ тѣхъ листовъ?»

— «Какъ не быть, да продаютъ не на мосту и не въ рядахъ, а такъ, стороною. Кто будетъ въ лавкѣ держать!...»

— «Экая досада, а я заплатилъ бы въ-три-дорога...»

Савва поглядѣлъ опять на Степаныча и рука невольно потянулась въ сапогъ; добылъ онъ свертокъ...

— «Ну, послѣдній, больше ни одного не достанешь. Вонъ въ этомъ пучкѣ двѣнадцать изображеній, да ужъ тутъ на мосту нельзя пересматривать: такъ сыщики и шныряютъ. Давай полтину и забирай, только пока домой не придешь, никому не показывай и не развертывай. Скажу тебѣ подъ-рукою, что первыя три, деверь кликуши, Марко, съ другими разумными людьми придумывалъ, а толкъ писалъ Семенъ Разстрига...»

— «Экіе люди, право, на Москвѣ живутъ! Надо правду сказать, многіе грѣшатъ по невѣдѣнію, того-для, что учителей нѣтъ. Вотъ пришелъ я на Москву; деньги у меня есть, а дядки себѣ не найду; того гляди...»

— «Эхъ, честной господинъ! Видно, сынъ богобоязливыхъ людей...»

— «Да сиротой остался...»

— «Такъ и есть, я угадалъ...»

— «Въ деревнѣ съ холопскими дѣтьми выросъ.»

— «А большая деревня?»

— «Которая? У меня ихъ не одна. Да что толку, дуракъ-дуракомъ...»

— «Эхъ, честной баринъ! Вотъ какъ шумъ на мосту сталъ, въ лавкѣ у меня спрятался большой мудрецъ. Спасибо, помогъ онъ мнѣ лавку запереть; мы съ нимъ и присѣли, не видали, что́ на мосту и дѣялось. Вотъ не хочешь ли его къ себѣ взять для ученья?»

— «Почему жъ! Да кто онъ?»

— «Загадка. Онъ у насъ на сходкахъ. Вотъ когда соберемся о нынѣшнемъ послѣднемъ времени потолковать, онъ-то у насъ всѣмъ порядкомъ и заправляетъ.»

— «А какъ бы мнѣ его послушать?»

— «Эхъ, бѣда, не будь ты дворянинъ, можно бы, а наши дворянина сейчасъ зазрятъ...»

— «Отчего же?»

— «Оттого, что на службу идутъ неохотно; до смотра, старины, что́ есть силы, держатся; чуть ногой въ полкъ или въ приказъ, будто съизнова родились, такъ и нападутъ на старину, что́ коршуны. Пуще нѣмцевъ Русь раззоряютъ и у себя и у другихъ. Такъ на томъ у насъ и стало, чтобы не пускать и монастырскихъ дворянъ, не то ужъ городскихъ, али помѣщиковъ.»

— «Жаль.»

— «Да что жаль! Знаешь, вотъ сегодня сходка будетъ на моемъ дворѣ; я тебя засажу въ такое мѣсто, что никто не увидитъ; только ты...»

— «Эхъ ты, а еще борода съ просѣдью! Я не

въ службу, а въ монастырь наровлю... Что мнѣ въ сластяхъ міра сего, когда послѣдній день, не сегодня, такъ завтра.»

— «Правда твоя, правда! Такъ приходи, коли хочешь нашего мудреца послушать, послѣ вечерень, какъ лавки запрутъ.»

— «А гдѣ живешь?...»

— «Да не близко: оттого у меня и сходится честная братія, что подальше отъ сыщиковъ. Въ Кожевникахъ, на самомъ Живодерномъ Мосту; вотъ такая же лавочка у самыхъ воротъ моихъ стоитъ... Найдешь?...»

— «Найду! А вотъ пока полтина за изображенія, а полтина за добрый совѣтъ.»

— «Ради стараться,» отвѣчалъ Савва, приподнявъ шапку и кланяясь.

Отошелъ Степанычъ отъ лавки и посмотрѣлъ на солнце. Эти часы никогда его не обманывали. Сѣвъ въ колымагу, онъ поспѣшилъ въ Кремль къ Колычеву. Стольникъ давно уже отобѣдалъ и легъ отдыхать. Солдатъ на часахъ не хотѣлъ впустить его.

— «Я пришелъ по указу, господинъ солдатъ!» сказалъ Степанычъ. «Если его превосходительство спроситъ, ты будешь отвѣчать.»

Солдатъ поднялъ ружье и Степанычъ вошелъ въ пріемную. Тамъ нашелъ онъ только одного секретаря, который писалъ памяти. Примѣтивъ Степаныча, секретарь вспыхнулъ отъ досады.

— «Ты зачѣмъ пожаловалъ?» спросилъ онъ гнѣвно.

— «Указано, а указъ ты самъ слышалъ.»

— «Такъ поди на крыльце, тамъ и дожидайся.»

— «Мнѣ не на крыльце приходить указано. Я не какой иной. Ослушанія не люблю.»

— «Да чего ты горланишь? Степанъ Яковлевичъ почивать изволитъ.»

— «Ты секретарь, такъ твое дѣло о томъ и остеречь, а мнѣ какъ знать, что̀ господинъ твой исправляетъ. Постоимъ, погодимъ.»

— «Да ты тутъ дѣлу помѣха. И такъ про тебя говорятъ: выскочка, выслужиться хочетъ; не въ свое дѣло вступается.»

— «Точь-въ-точь, ты, господинъ секретарь: по твоему прикладу поступаю. Тебѣ указано за правильностью дворянской явки наблюдать, а ты въ казначеи лѣзешь...»

— «Что̀ ты тутъ врешь, озарникъ! Гляди, ты солдатъ, я тебя велю...»

— «Руки коротки. Я солдатъ, да царскій, меня не достанешь: я не воровское серебро. Обожжешься.»

Секретарь никакъ не предполагалъ, чтобы Котелкинъ обнаружилъ и эту тайну и смѣялся, а Степанычъ продолжалъ:

— «Ты на сколькихъ подводахъ въ Москву пріѣхалъ? Чай пѣшій пришелъ, а изъ Москвы обозомъ поѣдешь, на счетъ негодныхъ къ службѣ. Нынче негодность въ цѣнѣ. По двѣ сотни съ головы; знатная поголовная подать!...»

Секретарь поблѣднѣлъ и не могъ выговорить ни слова.

— «Что же ты, господинъ секретарь, памятей писать не изволишь, али я тебѣ помѣха?»

— «Нѣтъ, нѣтъ, Иванъ Степанычъ... кажется, Иванъ Степанычъ?»

— «Такъ.»

— «Вѣдь это окаянный Котелкинъ на меня налгалъ. Я его и не видалъ. Писарь взятку, вѣрно, царапнулъ, да и допустилъ Котелкина расписаться и дурака за себя поставить.»

— «И писарь взялъ; да его плутовство въ десять разъ меньше твоего, такъ онъ въ десять разъ меньше и денегъ взялъ.»

Секретарь совершенно потерялся и перелистывалъ памяти туда, сюда, самъ не зная, что говорить, что дѣлать.

— «Ну, помиримся!» сказалъ онъ наконецъ, покраснѣвъ до ушей и потупивъ глаза.

— «Да мы съ тобою ссорились, что ли? И съ чего ты взялъ, что я обидѣлся? Я дворянинъ, а изъ какихъ ты, про то мнѣ подлинно не вѣдомо. Не вижу повода брататься. На тебѣ царскій чинъ, какой, то же не знаю, да ты чинъ опозорилъ, такъ на тебѣ и чина нѣтъ...»

— «Кто тамъ?» раздался голосъ Колычева.

— «Послушай, Иванъ Степанычъ...» съ умоляющимъ видомъ началъ секретарь.

— «Слышишь, зовутъ! Не будь ослушникомъ!..»

— «Гляди, не проговорись...»

— «Да ступай, куда зовутъ!» громко сказалъ Степанычъ.

— «Кто тамъ?» раздалось во второй разъ.»

— «Я, Костыльковъ, по твоему указу...»

— «Поди сюда! Извини, молодецъ...» сказалъ Колычевъ, лежа на софѣ въ нарядномъ халатѣ: «утомились за обѣдомъ. Сонъ одолѣлъ. У меня къ тебѣ есть дѣло. Принялъ я сегодня Котелкина безъ разспроса, да сказкѣ его не повѣрилъ; разскажи, какъ дѣло было.»

— «Прикажите, ваше превосходительство, подать памяти.»

— «Эй, Ефимъ Андреичъ, подай-ка сюда всѣ сегодняшнія памяти...»

— «Не готовы!»

— «Подай, какъ есть... Это что? Что у тебя, лихорадка, Ефимъ?»

— «Такъ, ломаетъ...»

— «Ну, вотъ и памяти. Разсказывай!»

— «Поглядите, записанъ ли въ своей статьѣ Котелкинъ?»

— «Поглядимъ... Не записанъ, а регистръ до литеры Твердо доведенъ... Не ладно. Ну, что же дальше?...»

— «А дальше пусть Ефимъ Андреичъ разсказываетъ, а что пропуститъ, я добавлю. Иное онъ, иное я лучше знаю...»

— «Ефимъ!» закричалъ Колычевъ громовымъ голосомъ, вскочивъ съ софы: «Кого ты вздумалъ обманывать? И на какомъ дѣлѣ! Я тебя за уши въ чинъ вытащилъ, а ты до какого стыда меня доводишь! Какъ я въ глаза взгляну Государю Великому! У меня на глазахъ, мои же люди чинятъ подлогъ и воровство. Садись, пиши, къ оберъ-по-

лиймейстеру; садись; ты меня знаешь: никому потачки. Пиши: «По нѣкоимъ экстраординарнымъ резонамъ покорно прошу статейную память о негодныхъ, что сего числа къ вамъ послана, въ дѣйство не производить и ко мнѣ возвратить, а подателя сего, старшаго дьяка моей канцеляріи, Ефима Андреева Поливанченка, подъ строгій арестъ посадить и держать его тамъ до того, пока потребуется.» — Ну, вотъ я подписалъ! Ступай, безстыдникъ, самъ отнеси и отдай въ руки. Пошелъ!»

— «Не удивляйся,» сказалъ Колычевъ въ сильномъ волненіи: «что я такую поспѣшную диспозицію учинилъ. Видно, по его милости, въ этомъ году много стало негодныхъ. Надо всѣхъ докладно пересмотрѣть и перевѣрить, чтобы службѣ Его Величества черезъ таковую мою оплошность не учинилося какого ущерба... Мѣра ничему не повредитъ, а ты теперь мнѣ подробно разскажи, какъ все было и какъ ты про такое воровство сыскалъ.»

Степанычъ разсказалъ. Колычевъ то смѣялся, то досадовалъ.

— «Достоинъ еси награды и вотъ тебѣ десять рублей,» сказалъ Колычевъ, вынимая деньги.

— «Не извольте меня позорить платою за то, чѣмъ я Богу и государю обовязанъ. Если на глазахъ моихъ видимо обманъ чинится, неужели я долженъ молчать и не объявлять? Не могу. Не такъ родился.»

— «Знатно разсуждаешь! Съ такими регулами пойдешь далече.»

— «Ваше превосходительство! Нынче люди вотъ что́ разсказываютъ. Не одинъ разъ слышалъ. Говорятъ: служба, охъ служба! Что оно... не суду правда, а судьямъ лесть; не то, что́ должно, а то, что́ хотятъ. Дѣла не дѣлай, съ дѣломъ въ глаза не встрѣчайся, а старшимъ льсти, дари, услуживай, до большой степени доѣдешь. А если правдой пойдешь, каждая гнилушка тебѣ подъ ноги подкатится, а ты и ну спотыкаться, пока до большихъ бревенъ не дойдешь; тамъ споткнешься, такъ ужъ и не встанешь... И многое все на тотъ же ладъ говорятъ...»

— «Вздоръ! Можетъ быть, такъ бывало, только не теперь. Не такой царь и не такая мысль царская. А бывать, бывало. Покойный отецъ мой разсказывалъ, что въ приказѣ сиживали безбородые недоросли, знатности ради. Дьяки за нихъ правили и дѣло не шло, а если шло, то съ великимъ отягощеніемъ. Взяточниковъ было по всѣмъ приказамъ безъ счета. Родами и мѣстами считались, а за то, что одному боярину жилецъ ставилъ лучшихъ соколовъ и кречетовъ, такихъ, что и въ государевой охотѣ не было, такъ изъ жильцовъ въ окольничіе попалъ. Теперь не то. Теперь изъ однѣхъ заслугъ лѣствица знатности устроена. Ты вотъ и богатъ, и моишной и родами, а ступай въ солдаты...»

— «Въ драгуны...»

— «Все равно, тотъ же чинъ, да конскій. Хочешь дальше, изволь, дорога гладкая, да на ней чины въ ретраншаментахъ сидятъ; хранятъ ихъ

пушки, вражье войско сторожитъ; возьми коменданта, то есть, тотъ чинъ, съ бою. Ты ли, богачъ, или другой, нищій твой товарищъ, все равно. Деньги твои при тебѣ, а способности — государственное добро. Чинъ тому добру клеймо. Какой сортъ заслуги, такой и штемпель.»

— «Все такъ, только, не во гнѣвъ будь сказано, взяточниковъ теперь, говорятъ, не меньше прежняго.»

— «Твоя правда; не меньше, потому что взяточники моль; въ темнотѣ дѣйства свои производятъ; кругомъ ихъ — тьма; имъ и сподручно. Эту моль, какъ и натуральную, только свѣтомъ выживешь. Оттого и пошло теперь на Руси всякое ученіе, школы, училища, семинаріи, духовныя заведенія, а теперь въ Питербурхѣ и академія наукъ устрояется. Вотъ этотъ свѣтъ поѣстъ моль; стыдомъ истлитъ, а пока ихъ тѣснитъ нѣкоторое пристрастіе строгаго наказанія...»

— «А зачѣмъ же, ваше превосходительство, на Москвѣ ничего такого не устроятъ?...»

— «На Москвѣ? Эхъ, братъ, тутъ еще такая тьма, что сами учители ослѣпнутъ. Вотъ какъ ихъ промнутъ въ пяти, шести кампаніяхъ, какъ пропшпацируютъ по чужимъ государствамъ, какъ приглядятся чужому разуму, такъ и свою глупость разсудятъ...»

— «Не возьми, ваше превосходительство, во гнѣвъ, что я съ такою дерзостью мысли мои объявляю...»

— «Напротивъ! Очень радъ и надѣюсь изъ тебя сдѣлать человѣка. Говори безъ опаса и церемоніи.»

— «Да вотъ что́ у меня всегда на умѣ вертѣлось. За что это дворянъ со всѣхъ угловъ съ такимъ принужденіемъ на службу сгоняютъ?..»

— «А ты сгоняешь своихъ тяглыхъ на пашню? Государство — нива Божія, отъ Бога царю передана; гдѣ же пахарей достанешь, если вы, лучшіе и родомъ и разумомъ и достаткомъ въ царствѣ, на работу ходить не станете! Кто будетъ сѣять, кто будетъ жать, а не отъ нея же и вы всѣ кормитесь? Не огороди поля, скотина придетъ, все истопчетъ и потравитъ; не огради царства, разберутъ тебя и земли и людей твоихъ сосѣди; а кто защититъ тебя?»

— «Все такъ, да плохой работникъ безъ доброй воли...»

— «Воля ребенокъ какъ разумъ... Тѣломъ человѣкъ какъ дерево, отъ однихъ лѣтъ выростетъ; а разумъ и волю надо учить; это серебро; положимъ рубль; не трогай его, оно навсегда такъ рублемъ и останется; а пусти его въ промыселъ, рубль одинъ можетъ умножиться до такого нумера, какого и въ цифири нѣтъ. Для этого серебра на ростъ ни мѣры, ни конца нѣтъ.»

— «А много ли у царя такихъ слугъ, какъ ваше превосходительство?..»

— «Къ чему этотъ вопросъ?»

— «Да мудрость твоя меня проняла...»

Колычевъ улыбнулся.

— «Какая жъ тутъ мудрость! Такой же разумъ,

какъ и того дурачка, что сегодня за Котелкина стоялъ, да разумъ эдукованный, то есть, нѣкоимъ образомъ обученный, строгими регулами снабженный, при нѣкоторомъ характерѣ, чтеніи и странствованіи. Могъ бы я его и болѣе укомплектовать нужными знаніями, но служба отрываетъ меня отъ Питербурха, гдѣ есть еще какое-нибудь ученымъ трудамъ подспорье.»

— А ужъ на Москвѣ ровно нечему научиться? Тьма, говоритъ изволишь?»

— «Нѣтъ! То сказано въ другомъ сенсѣ (смыслѣ). А для охотника есть въ Москвѣ весьма важное училище, славено-греческая школа.»

— «Чему же тамъ учатъ?»

— «Разнымъ знаніямъ...»

— «А развѣ надо знать еще что-нибудь окромя указовъ царскихъ?»

Колычевъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на Степаныча, отъ котораго нижакъ не ожидалъ подобнаго вопроса

— «Вотъ видишь, можно быть и не глупымъ человѣкомъ, а круглымъ игнорантомъ, невѣжей. На этотъ вопросъ я тебѣ отвѣчать не буду, а напишу записку къ отцу префекту; пусть онъ потрудится дать тебѣ учителя, съ которымъ, до отъѣзда моего въ Питербурхъ, ты бы могъ позаняться ученіемъ...»

Къ особенному радостному удивленію, Колычевъ увидѣлъ у ногъ своихъ Степаныча.

— «Что съ тобой?»

— «Только о томъ и снилось мнѣ, какъ бы

поучиться. Сердце у меня захватило, тебя слушая. Все знаешь, а еще и не старъ, — а я такой пень въ двадцать пять лѣтъ, только и знаю, что азъ, а что буки! Вѣчное спасибо!..»

— «Похвально, любезный, похвально!»

Въ самое это время, когда Степанычъ не успѣлъ еще подняться съ пола, вошелъ безъ доклада оберъ-полиціймейстеръ. Увидѣвъ Степаныча на колѣняхъ, онъ сказалъ:

— «За этого, Степанъ Яковлевичъ, позволь ужъ мнѣ заступиться. Оказалъ мнѣ сегодня услугу: обличилъ на Спасскомъ Мосту непотребную кликушу, которая, какъ и ты, чай, слышалъ, стращала народъ страшнымъ судомъ, и противъ царскихъ указовъ волновала. Да какъ обличилъ, право, хитро, такъ и посадилъ голышемъ на ледъ. Помилуй его, Степанъ Яковлевичъ! Я, пожалуй, его на поруки возьму...»

— «И я тоже,» сказалъ съ улыбкой Колычевъ. «Съ чего ты это взялъ, что я съ него взыскиваю? Нѣтъ. Это онъ-то дурачка сегодня на смотру обличилъ, что́ я разсказывалъ...»

— «Онъ!»

— «И онъ же вывелъ на чистую воду и Ефима моего, что́ я къ тебѣ прислалъ.»

— «Да я за тѣмъ персонально и пришелъ, чтобы спросить, что́ случилось?»

— «Негодяй неблагодарный, вотъ и все тутъ. Пожалуй мнѣ изъ какого ни есть приказа дьяка поглупѣе, только бы четко писалъ, да вели по указу ко мнѣ въ разсыльщики прислать солдатовъ

съ Краснаго Крыльца, со стѣннаго караула, человѣка три, четыре. Право, команда мала, не управлюсь. Только объ одномъ попрошу, пусть они, по обычаю, *за ѣздѣ и хожденіе* ничего не берутъ, я имъ отъ канцелярскихъ доходовъ награжденіе опредѣлю. А куда же ты Ефима сослалъ?»

— «Сидитъ въ канцеляріи и плачется.»

— «Слезы — вода... Розыскъ я учиню завтра, а сегодня послѣ вечеренъ много письма, поважнѣе Ефима.»

— Ну, Ефимъ, Ефимомъ, а зачѣмъ же этотъ у тебя въ ногахъ валялся?»

— «А затѣмъ, что учиться хочетъ, а я ему объщалъ протекцію къ отцу префекту...»

— «Полно такъ ли? Хочетъ учиться, а гуляетъ по Спасскому Мосту, гдѣ только развратъ и соблазнъ всякій...»

— «Потому, господинъ начальникъ московскій, что на Спасскомъ Мосту всякое изображеніе съ печатнымъ толкованіемъ продаютъ. Противу запрета вотъ этакими листами торгуютъ, гдѣ намалевана всякая хула на сподручниковъ царскихъ и на его царскіе указы. Извольте смотрѣть.»

— «Гдѣ ты досталъ?»

— «Лавку-то я знаю, а хозяина нѣтъ ..»

— «Сейчасъ забрать подъ караулъ и его и лавку...»

— «Не впрокъ будетъ поспѣшность. У нихъ есть тайныя скопища, гдѣ они, стараго порядка охотники, душу отводятъ въ свободныхъ рѣчахъ. Хочу я тѣхъ рѣчей послушать и скопище разворить.

Гнусно подумать, что они, яко змѣи подколодныя, отравой можетъ-быть и великое имя обливаютъ, а на нихъ ни суда, ни управы нѣтъ...»

Сановники съ довольною улыбкою взглянули другъ на друга. Степанычъ съ возрастающимъ жаромъ продолжалъ:

— «Пусть себѣ безъ пошлины ревень продаютъ, пусть не клейменымъ платьемъ торгуютъ, бѣды большой нѣтъ: никому важнаго подрыва, инымъ пропитаніе; но тутъ ужъ зло—этого покрывать нельзя; напротивъ, весьма разъискивать надлежитъ...»

— «Послушай, братецъ!» сказалъ начальникъ полиціи: «Не хочешь ли, я тебя коронным бурмистромъ сдѣлаю?»

— «Государь-генералъ! Вы сражались и честь добыли, за что же вы хотите изъ меня сыщика сдѣлать?»

— «Да вѣдь ты самъ.. »

— «Я чиню это по долгу совѣсти, потому что зря зло, молчать не могу, и по охотѣ на воровъ тѣшусь, а изъ найма на такую службу не пойду... Тутъ есть разница...»

— «Истинно такъ!» сказалъ Колычевъ, вставъ съ мѣста и потрепавъ его по плечу: «Бравый малый! Будешь большимъ человѣкомъ! Пойдемъ нашимъ путемъ...»

— «Хорошо! А скопище!»

— «Я его сыскалъ, я его и доправлю »

— «Безъ команды?»

— «У меня своя есть! Позвольте откланяться.»

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПРЕЗУСЪ.

Степанычъ проворно откланялся, сѣлъ въ колымагу и отправился въ Кожевники; не доѣзжая до Живодереннаго Моста, приказалъ остановиться и, оставя тутъ экипажъ, пошелъ къ лавочкѣ лубочныхъ изображеній, которая издали красовалась уже своею пестротою. Мотковъ уже поджидалъ гостя и сидѣлъ у воротъ своего дома.

— «Опоздалъ?» спросилъ Степанычъ.

— «Какъ-разъ впору; уже звонили на вечерню, скоро станутъ сбираться. Пойдемъ, чтобы сосѣди не подмѣтили.»

Вошли. Мотковъ калитку на ключъ, а самъ повелъ Степаныча въ хоромы, потому что домъ Моткова не могъ называться иначе по обширности, чистотѣ и убранству. Образная одна чего стоила! Лампадъ сколько, и всѣ серебряныя, а иконы крѣпко золоченыя. Въ большомъ покоѣ не было такъ нарядно; по всему протяженію комнаты возвышались до самаго потолка кипы лубочныхъ картинокъ. Между ними оставалась узкая дорожка, такъ, чтобы одному человѣку пройти.

— «Это что у тебя?»

— «Дрянь! Листы будничные. Прибаутки въ лицахъ. Никакого ученія и толку въ нихъ нѣтъ: суздальскіе. Для дѣтей народъ покупаетъ. Ихъ мы наружу держимъ...»

— «Господи, какое злое время! И съ ученіемъ изволь таиться. А много этой дряни расходится?..»

— «Бездѣлица! Тысячъ до шести, до семи: а тѣ, такъ не бумага крашеная, а золото. Тысячъ до ста уже искупили. Лубки больше ста разъ перемѣняли. Куда! И счету нѣтъ. И до указа шли они недурно, а ужъ послѣ указа, вотъ хоть и сегодня, больше сотъ трехъ продано. Нѣтъ, ересь окаянная, не изломаешь! Иной не только для себя, для знакомцевъ и для родныхъ искупитъ. Вѣдь доброму христіанину и ближняго спасеніе дорого. Не знаю почему, я такъ боюсь, чтобы ты въ типографское ученье не попалъ. Пусть они, мудрецы, толкуютъ, что дворянъ не надо. Нѣтъ, кормильцы, намъ-то отъ того и трудно, что всѣ дворяне заколдованы. Пускай бѣдняки, у кого и на харчи не хватаетъ, а то богачи! Самъ къ ереси пристанетъ, да и волости за собой тащитъ; разомъ нечистому душъ многое число закабалитъ. Оно, конечно, надо съ оглядкой, не всякаго пускай...»

— «Правда твоя, правда! Да много ли и такихъ разумныхъ и старинъ вѣрныхъ какъ ты?»

— «Ну, таки немало...»

— «Да что они? Чай ты одинъ всю Москву отъ соблазна изображеніемъ спасаешь?...»

— «Не хочу солгать, насъ немало торговцевъ. Вотъ Трифоновъ и Коскинъ въ рядахъ, Бабличекъ на Спасскомъ Мосту, да Отеря на Никольскомъ... Есть и другіе, да у тѣхъ тайниковъ и производства нѣтъ. У нихъ только суздальское изображеніе. Правда, и тамъ есть вострое, да такъ-себѣ, мякоть; а московскихъ лубковъ листы, только у

насъ и есть; мы на свое издѣліе промѣнъ чинимъ безобидно—и Богъ промыселъ честный благословляетъ...»

— «Дивно, какъ еще новые порядки до производства не доберутся.»

— «Подъ землей, честной господинъ, у кого изъ насъ челядь есть, такъ и челядь не знаетъ, какъ въ тайники ходить. Вотъ тутъ у меня бесѣдная палата. Богу изволившу, всю оклеилъ священнымъ изображеніемъ. Тутъ, батюшка, въ этой палатѣ много ума-разума. Не одна голова придумывала. Вотъ столъ. Видишь, на немъ символы вырѣзаны. Кто символъ рукою прикроетъ, да учнетъ думу думать, сущую правду увидитъ. А вотъ стулъ на четырехъ золоченыхъ голубяхъ стоитъ. Кто начало держитъ, тотъ на немъ и сидитъ. Вотъ тутъ кругъ старецъ Кирилла на полу провелъ. Стань посреди круга, никакое воинство тебя не возьметъ; если чары на тебя или заговоръ положенъ, отпадутъ. Только этотъ кругъ за старца Кириллу сталъ, а то все что̀ видишь мудростью нашего презуса изобрѣтено...»

Странно показалось Степанычу, что Мотковъ, ненавистникъ всего новаго и заморскаго, употребилъ слово, явственно чужеземное; но онъ боялся прерывать любопытное сказаніе ультра-фанатика и продолжалъ внимательно слушать.

— «Мудрѣйшая голова!» говорилъ Мотковъ: «Да вотъ кажется и онъ; раньше всѣхъ приходитъ. Пора тебѣ въ засаду; тутъ у меня никто не ходитъ; комната пустая пока; тамъ и крючекъ

есть; запрись, только въ окно не смотри; увидятъ—бѣда; а потомъ сами спасибо скажутъ. Ну, садись... Видишь, какъ стучитъ. Никто въ моемъ домѣ, кромѣ презуса, такъ не вольничаетъ.»

Степанычъ вошелъ въ сосѣднюю комнату и къ удовольствію замѣтилъ, что не только слушать, но черезъ порядочную щель въ двери по нуждѣ и видѣть все можно. Между тѣмъ мимо окна мелькнула не одна шапка: прошелъ и клобукъ, и женская рогатая повязка; но въ палатѣ все-еще никого не было. Наконецъ, дверь растворилась и въ палату вошелъ отвратительной наружности человѣкъ съ рѣдкою, дурно обросшею бородою, въ старинномъ платьѣ, на которомъ торчалъ мѣдный значекъ; за нимъ вошло еще нѣсколько человѣкъ, изгорбленная старуха подъ фатой, и хозяинъ, послѣдній.

Рука моя дрожитъ. Не сказку сказываю. Знаю, что работа моя — лубочная картинка съ тѣхъ печальныхъ подлинниковъ, которыми такъ обиловало Петрово время; но эти подлинники—подлинно были въ отвратительной существенности; ихъ нѣтъ, и писатель, изображая былое, но уже не существующее, теряетъ половину силы впечатлѣнія, какое произвести старался. Зачѣмъ же—скажутъ досужіе люди — писать? Право, на это и отвѣчать не съумѣю. Соберется компанія такихъ оригиналовъ, я съ ними сведу знакомство поближе и не могу утерпѣть, чтобы не описать ихъ какъ умѣю... Но тутъ лице лицу, рѣчь рѣчи рознь; глупость и невѣжество забавны; ихъ изображеніе не безполез-

но: и старина может имѣть примѣненіе. Но тѣ же и глупость и невѣжество злонамѣренныя—уже едва ли забавны; изображеніе ихъ не можетъ быть полно, по многимъ поводамъ, а полнота и отчетливость не позволяютъ на холстѣ оставить пустыя черныя пятна съ надписью: здѣсь имѣлъ быть образъ злонамѣреннаго невѣжи, здѣсь дерзкаго глупца. И вотъ почему я не рѣшился изсѣчь изъ моей лубочной картинки пасквилянтовъ того времени.

— «Никого же любитъ Богъ, токмо сего, иже съ премудростію пребываетъ, говоритъ царь Соломонъ.» Такъ возгласилъ презусъ и голосъ его заставилъ Степаныча вздрогнуть и посмотрѣть черезъ щелку; но презусъ сидѣлъ въ очарованномъ кругѣ, на голубиныхъ креслахъ; рука его покоилась на столѣ и покрывала символы.

— «Сію возлюбихъ...» — продолжалъ онъ: «и поискахъ отъ юности моея, и взыскахъ невѣсту привести себѣ и любитель быхъ красоты ея...»

— «Полно, учитель!» сказалъ довольно рослый и нестарый мужчина. По его одѣянію, можно было догадаться, что онъ нѣкогда принадлежалъ къ духовному сану. «Полно отъ священнаго писанія разсказывать. Знаемъ, что ты искусенъ и въ томъ и въ гражданскомъ письмѣ, чему изъ ревности къ старинѣ ты зѣло поучился. Не о томъ рѣчь. О томъ разсудить надо, что сегодня на мосту было. Уронила ты насъ, Анфимья Кирилловна, больно уронила! Пагубно твое отреченіе. Народъ охолодѣлъ.»

— «Эхъ, Семенъ!» отвѣчала женщина: «Застѣнокъ не свой братъ; тебя вотъ разстригли, такъ тутъ костямъ никакого изъяна нѣтъ, а какъ поднимутъ на дыбу, да встряхнутъ: повинишься въ томъ, въ чемъ безгрѣшенъ.»

— «Эхъ, Кирилловна! У тебя ума не хватило честно отойти, словами отдѣлаться...»

— «Да, выскочилъ бы ты изъ рукъ этого ражаго нѣмца; ростомъ онъ показался съ колокольню; да и правду молвить, оглянулась я, поддержки ни какой... Презусъ ушелъ...»

— «Я чинилъ наблюденіе изъ лавки Саввы Андреича.»

— «Тебя, Семенъ, я тоже не видала...»

— «Я присѣлъ, чтобы тотъ съ коня не подмѣтилъ...»

— «Деверь Марко торчалъ одинъ, да неблизко и то отвернувшись.»

— «Не хотѣлъ на слугъ богомерзкаго дѣла взирать...»

— «Про другихъ не говорю: всѣ отъ клики отвернулись, отреклись отъ меня; мнѣ духъ и сталъ шептать: отрекись и ты, Анфимья; Богъ тебя проститъ, а ты еще нужна и народу и дѣлу...»

— «Такъ тебѣ духъ и сказалъ?» спросилъ презусъ.

— «Такъ и сказалъ.»

— «Ну, такъ духу нельзя прекословить. Отложите прю о мостѣ. Потребно придумать нѣкое новое возбужденіе, понеже на мосту опасъ и страхъ

велій. Семенъ, на тебя нисходитъ всякая письменная хитрость. Что придумалъ еси?»

— «Да что придумалъ. Надо въ народѣ новое начало, что на Москву прислано, охаять. Вотъ у меня такъ набросано: ѣдетъ верхомъ; его четыре бѣсёнка на вервіяхъ за носъ держатъ; въ рукѣ у него огонь геэнны: изо рта такое же полымя; изъ-подъ трехконечнаго брыля рожки пробиваются; изъ-подъ сѣдла хвостъ; а тутъ онъ одною рукой кабакъ запираетъ, а другою самъ водку къ своимъ губамъ подноситъ; а здѣсь тоже одною рукою вора держитъ, а другою самъ изъ мошны чужой деньгу добываетъ; а тутъ домашнее упражненіе: пляшетъ съ женами бурмистровъ и объѣздныхъ, а тѣ, дурни, плачутся; а тутъ онъ голубей жретъ, да табакомъ грѣхъ закуриваетъ; а тутъ, видишь, подростка двѣнадцатилѣтнюю ласкаетъ, а она у него въ рукахъ сорокой стала... Ну, и еще, что придумается. Какъ окончу, такъ все это зло на лубокъ, тиснуть, да по воротамъ по всѣмъ и поприклеивать. Придетъ онъ всему граду въ омерзѣніе; каждый пуще къ старинѣ прижмется... Вотъ какъ оно переварится да перемелется въ народѣ, тогда уже пустимъ писаніе. Въ монастыряхъ нынче ни чернила, ни перьевъ черницамъ по кельямъ держать не указано; а хочешь, пиши въ трапезѣ, подъ окомъ настоятеля. И правда, подметныхъ писемъ стало меньше; знатную выдумку подшепнулъ лукавый, и мало кознямъ его обличенія. Такъ надо тѣхъ подметныхъ писемъ сочинить немало, а вездѣ говорить, что

съ неба падаютъ. У кого голуби ученые, такъ ихъ такъ обучитъ, чтобы письмо надъ Москву вынесъ и бросилъ; пока письмо на землю упадетъ, птица улетитъ: ну, кто скажетъ, что не съ неба упало?...»

— «Знатно, Семенъ!» закричали всѣ. Одинъ презусъ молчалъ, положивъ обѣ руки на символы, онъ поднялъ глаза горѣ: — «Вижу правду, вижу истину; замыселъ похваляется... Но, Семенъ, вижу, что на душѣ твоей лежитъ еще одна мысль: вскую кроешься? И велика та мысль, и много опаса, но да исполнится писаніе.»

Семенъ оглянулся не безъ страха и вынулъ лоскутокъ бумаги.

Ко всеобщему ужасу двери отворились и въ палату засѣданія вошелъ Степанычъ. Семенъ Разстрига, поблѣднѣвъ какъ полотно, сползъ съ креселъ... Савву ударила лихорадка. Кликуша, узнавъ своего обличителя, затряслась и завопила. Другіе по невольному чувству схватили съ головъ шапки, крестились и читали молитвы; но больше всѣхъ перепугался презусъ. Онъ не выдержалъ, вскрикнулъ: «Степанычъ!» и бросился въ двери. Степанычъ боялся потерять добычу, поспѣшилъ за нимъ на дворъ, но презуса уже не было; а когда Степанычъ, увидѣвъ, что калитка заперта на замокъ, отодвинулъ засовъ, отперъ ворота и вышелъ на улицу,—презусъ былъ еще видѣнъ на концѣ улицы; но вотъ онъ повернулъ въ переулокъ и пропалъ... Воротиться въ палату было весьма опасно; обличенные могли рѣшиться на страшную мѣру,

чтобы спасти себя. Но Степанычъ объ этомъ и не подумалъ: возвратясь, онъ нашелъ всѣхъ членовъ скопища въ прежнемъ ужасѣ; только одинъ Семенъ Разстрига поднялся съ пола и жевалъ что-то; увидавъ Степаныча, онъ съ усиліемъ проглотилъ тайную пищу, и казалось сталъ покойнѣе.

— «Презусъ вашъ не уйдетъ!» сказалъ Степанычъ торжественно, стараясь придать какъ голосу, такъ и всѣмъ движеніямъ своимъ трагическую важность Онъ какъ-будто выросъ и, вступивъ въ очарованный кругъ и прикрывъ рукою символы, сѣлъ на предсѣдательское мѣсто: — Изжену духа нечистаго...» возгласилъ онъ: «и будетъ мѣсто свято. Горе вамъ, грѣшники! Сѣкира у древа лежитъ! Покайтесь и прощено вамъ будетъ беззаконіе, за которое грозитъ вамъ застѣнокъ съ мучительною пыткой, батоги, торговая казнь, на семъ свѣтѣ, а на томъ огнь геэнны! Знаете ли, слѣпцы, кому служили? Вору и разбойнику, пойманному на промыслѣ; онъ бѣжалъ изъ темницы, какъ бѣжалъ отъ меня. Власть имѣю надъ вами и покажу ту власть; заблудшимъ—помилованіемъ, нераскаяннымъ — обличеніемъ. Хотите ли помилованія или обличенія?...»

— «Помилуй насъ! помилуй! закричали всѣ, кромѣ Марка и Семена. Послѣдній засучилъ рукавъ, подъ которымъ былъ намотанъ кистень. Степанычъ, примѣтивъ это, съ необычайною ловкостью бросился на него, одною рукою схватилъ его за рукавъ, другою за бороду и въ одно мгновеніе Семенъ очутился на полу.

— «Нѣсть въ тебѣ покаянія, не уйдешь и отъ казни! Веревку!»

Всѣ бросились за веревкой, не исключая и Марка. Всѣ воротились съ веревками, не вернулся одинъ Марко. Связавъ Семена, Степанычъ опять сѣлъ на мѣсто.

— «Сей не раскаялся!» сказалъ онъ. «Хотѣлъ убить меня, безумный, не вѣдая того, что я все вижу. Чернецъ ушелъ. Далеко ли? — Приведутъ его воины въ монастырскій приказъ и тамо снимутъ съ него, недостойнаго, и чинъ ангельскій и одежду. Вы же, дѣти мои, творя по невѣдѣнію, принесите покаяніе и въ явѣ и въ тайнѣ! Въ тайнѣ — Богу трисвятому, въ явѣ — властямъ Его земнымъ. Горе пиющимъ лукавства, говоритъ Исаія, и сему Разстригѣ не будетъ помилованія. Лестію его, презуса, и чернца, вы были уловлены, овцы заблудшія. Разрѣшу мракъ — и будетъ утро, праздничное. Запремъ его здѣсь — и пойдемъ въ путь, который я вижу ясно. Пойдемъ! Мотковъ, предшествуй!...»

Съ страннымъ смиреніемъ повиновалось скопище, лишенное трехъ главъ своихъ. Заперли Семена въ палатѣ Заперли домъ, калитку, ворота. Шествіе отправилось на Живодеренный Мостъ. Впереди шелъ Мотковъ, за нимъ кликуша, а тамъ члены одинъ за другимъ съ поникшими головами. За мостомъ, въ переулкѣ, была харчевня и, по слову Степаныча, Мотковъ повернулъ туда, за нимъ и все стадо. Степанычъ по пути кликнулъ свою колымагу, послалъ куда-то конюха, а колымага

следовала за шествіемъ. Въ харчевнѣ Степанычъ объявилъ имъ страшный указъ.

— «Первымъ знакомъ вашего покаянія да будетъ жертва бородами!...»

— «Господи, владыко живота моего!» возопилъ Мотковъ.

— «Молчи!» тихо сказалъ ему Степанычъ: «Не то завтра же будешь нищъ и голъ, яко пальцъ: А вотъ и брадобреи. Садись. Съ тебя, Мотковъ, и начало. Говорю и повторяю: кто ослушается, того прямо въ застѣнокъ!»

Начался плачъ и скрежетъ зубовъ; брадобреи съ необыкновенною быстротою косили длинныя бороды закоренѣлыхъ любителей старины, доведенныхъ до такого позора опасностью своего положенія. Степанычъ, разсчисливъ, что операція, при всемъ искуствѣ цирюльниковъ, можетъ продолжиться болѣе получаса, приказалъ себѣ подать холоднаго поросенка подъ хрѣномъ, травнику и солянку съ огурцами. Обѣдая, онъ удостоилъ разговоромъ одну кликушу, которая была, по причинѣ пола, свободна отъ экзекуціи.

— «Ну, матушка, съ тобою-то что мнѣ дѣлать?»

— «У тебя всякая власть есть, родимый, отпусти меня!»

— «А куда же я тебя отпущу?... Знаю, что тебя не помилуетъ генералъ. Вторично попалась, а попалась по родству и связямъ; да все-таки отпустить не могу; а вотъ что, коли хочешь, могу сдѣлать. Есть у меня здѣсь на Москвѣ огородъ.

Хочу на томъ огородѣ, въ память сегодняшнихъ дѣлъ, поставить часовню, да при ней богадѣльню, на шесть недужныхъ. Ты, матушка, еще здорова, работать можешь, такъ я тебя къ той богадѣльнѣ для послугъ больнымъ поставлю. Хочешь?»

— «Твоя власть! Ты и презуса изгналъ, и Семена скрутилъ, и кругъ перешелъ, и символы разрушилъ. Только одна глупость не уразумѣетъ, что вся власть у тебя.»

— «Ну, хорошо! Вотъ тебѣ, старуха, рубль, проживи на этотъ рубль сколько можешь, а выйдетъ, приходи на Антоновъ огородъ, что на выѣздѣ. Ну, а вы, бритые! Подымайтесь! Пойдемъ!»

И опять, кромѣ кликуши, всѣ пошли на дворъ Моткова, взяли Семена и повели черезъ всю Москву прямо въ Кремль къ оберъ-полиціймейстеру. Степанычъ слѣдовалъ за ними въ колымагѣ. Толпа народа возрастала болѣе и болѣе, по мѣрѣ того какъ шествіе приближалось къ Кремлю. Оберъ-полиціймейстеръ, замѣтивъ изъ окна такую толпу, послалъ за командой, а самъ вышелъ на крыльцо. Степанычъ также выскочилъ изъ колымаги и принялъ начальство надъ своею арміей.

— «Вотъ моя команда, ваше превосходительство!» сказалъ онъ, указывая на бритыхъ: «Богъ помогъ мнѣ убѣдить ихъ въ преступномъ невѣжествѣ. Повинились, покаялись, кромѣ трехъ. Одинъ ушелъ, другой спрятался. Захочешь, сыщешь, не самое зло—вотъ оно. Этого возмутителя обманутые люди передаютъ тебѣ съ рукъ на руки. Въ карманѣ у него найдешь свое изображеніе съ ру-

гательными толкованіями, а хулу на великое имя онъ съѣлъ.»

Оберъ-полиціймейстеръ не могъ безъ смѣха смотрѣть на обритыхъ, которые въ старинныхъ своихъ платьяхъ не походили ни на старыхъ, ни на новыхъ Русскихъ.

— «Не задержи насъ, господинъ генералъ!» сказалъ Степанычъ. «Намъ еще много дѣла. Ряды еще не заперты, хотимъ уже сегодня все покончить; платье въ рядахъ искупить, да людьми стать, какъ пристойно богатымъ и честнымъ торговцамъ.»

— «Хорошо! Ступайте, да помните, что если по сыску кто окажется къ свидѣтельству или очной ставкѣ нуженъ, являйся безотговорочно; не то пощады не будетъ. А этого молодца, обыскавъ, отведите въ сторожку...»

«Ну, ребята!» сказалъ Степанычъ, отходя съ своими бритыми отъ крыльца: «ступайте и закупайте себѣ платье, пока не смерклось и рядовъ не заперли. У меня свое есть, мнѣ не нужно. А ты, Савва,..» прибавилъ вполголосомъ Степанычъ: «воротясь домой, всякое дурное изображеніе или пожги, или отнеси самъ къ генералу, а не то, какъ Семена, въ застѣнкѣ встряхнутъ, такъ онъ про все разскажетъ. Хуже будетъ! Ну, прощайте! Спасибо за потѣху...»

Степанычъ ѣхалъ домой очень непокоенъ. Не смотря на то, что презусъ былъ съ бородой, нельзя однако же было не узнать въ немъ Нахомыча, стараго нашего знакомца. Тайна Степаныча, про которую въ дневныхъ своихъ подвигахъ онъ

совсѣмъ было-забылъ, стала его безпокоить. На всей Москвѣ только одинъ Пахомычъ и могъ обличить подлогъ, и отъ страха пытки и казни, несомнительно объявилъ бы государево слово и дѣло... Грусть закралась въ сердце Степаныча, но была пріятно разогнана, какъ только онъ вошелъ въ свои покои... Не успѣлъ онъ отворить дверей, какъ на шеѣ у него повисла Малаша, а Семенъ Романычъ съ отверзтыми объятіями шелъ ему на встрѣчу. Радость свиданія была непродолжительна. Нѣсколько словъ Меланьи возбудили прежнюю грусть.

— «У самаго приказа, куда Семенъ Романычъ пошелъ справку взять, гдѣ ты присталъ...» такъ говорила она: «сижу я въ повозкѣ и на Москву любуюсь; глаза у меня такъ и разбѣжались; я зѣваю на соборы, на меня люди зѣваютъ; поглядѣла я на каменное строеніе, думаю себѣ: тутъ и люди должны быть инакіе, поглядѣла: вотъ такъ, возлѣ меня, у самой повозки, стоитъ Пахомычъ, только съ бородой; я такъ и вскрикнула, да и спряталась... Онъ къ повозкѣ и подойди: «Меланья Ивановна,» говоритъ: «какъ васъ Богъ сюда занесъ? Видно, съ Иваномъ Степанычемъ пожаловали; а гдѣ пристали?» Я молчу, не знаю, что сказать; на мое счастье Семенъ Романычъ изъ приказа вышелъ; Пахомычъ, видно, завидѣлъ его, отскочилъ и пропалъ въ толпѣ...»

— «Такъ и есть! Неладно... Нехорошо, когда узнаетъ; да Богъ милостивъ; надо изъ этой харчевни, куда ни есть, подальше переѣхать. Тутъ,

того и гляди, на бѣду наткнешься. Ну да, говорю, Богъ милостивъ; на Него все мое упованіе; не за себя плачу; не за себя на опасное дѣло пустился. Авось Пахомычъ сторонить отъ насъ будетъ; ушелъ онъ отъ меня, ушелъ отъ Семена Романыча, не уйдетъ отъ висѣлицы... Ну, Малаша, ну, Семенъ Романычъ, каково-то вы поживаете?..»

— «Эхъ, Иванъ Степанычъ, наградилъ ты меня не женой, а золотомъ; кладъ, не баба! Окончился воровской сыскъ; до пяти сотъ изловилъ; чай отдохнуть дадутъ хоть на мѣсяцъ; хотѣлось бы на Москвѣ пожить, дѣлишки поустроить, и тогда уже въ полкъ. Воровская война только опасна, а никакого отличія. Да какъ укажетъ губернаторъ. Завтра пойду къ нему на явку.»

— «Дѣлишки?» прервалъ Степанычъ. «Денегъ я тебѣ немало далъ, надо передать и огороды, да не хочется; возьми ты за нихъ деньгами, а огороды оставь мнѣ. Хочу на нихъ часовню съ богадѣльней поставить, въ память моего дѣтства и добраго Антона...»

— «Какія еще деньги! Ты мнѣ больше далъ, чѣмъ обѣщалъ. Что за счеты! Я объ нихъ и думать забылъ.»

И въ такихъ и подобныхъ разговорахъ доболтались они до полуночи.

Поутру, чуть свѣтъ, Степанычъ на красивомъ Орликѣ былъ уже на полковой площади. Фендрихъ Юрій Петровичъ Кусточкинъ любовался на его молодецкую ѣзду.

— «Знатно!» кричалъ фендрихъ: «Ты ѣздишь не

по наукѣ, но будешь важный драгунъ. Три, четыре полковыя ученья и готовъ... Только, знаешь ли, тебѣ надо и пѣхотную службу пройти. Въ такомъ солдатѣ, что́ пѣхотный артикулъ знаетъ, два угодья. Скорѣе въ чинъ офицерскій попадешь. Довольно тебѣ гарцевать. Слѣзай-ка, бери ружье и вымахивай. Эй, капралъ, подай мушкетъ.»

Подали ружье. Фендрихъ уставилъ Степаныча въ позицію и сказалъ:

— «Инфантерская служба, почитай, нѣсколько труднѣе всякой другой экзерциціи того для, что требуетъ акуратства и адрéссу. Когда начальникъ передъ фронтомъ станетъ и скажетъ: «Слушай!» того для, чтобы команда слушала, какое будетъ командованіе, тогда глаза на меня уставь, и держи себя всемѣрно тихо, ни гугу, хоть бы у тебя зубы болѣли... Ну! Прикладно: *Слушай!*»

Съ минуту фендрихъ сохранилъ молчаніе и Степанычъ тоже.

— «Ну, теперь дальше. *Клади на мушкетъ руку! Подвысь мушкетъ! Мушкетъ на краулъ!*»

— «Вотъ ужъ этого не знаю, послѣдняго, что́ оно значитъ...»

— «Само по себѣ оно такъ-себѣ, то есть, на караулъ, а дѣлать этотъ темпъ такъ надо. Вотъ этотъ третій темпъ и есть караулъ. Понялъ?»

— «Понялъ.»

— «Ну, дальше: *Мушкетъ передъ себя!* Хорошо, такъ! *Бери за дуло*... Такъ, да прихватывай не такъ низко... *Мушкетъ къ ноги!* Хорошо. Дальше! *Отпусти руку по мушкету! Выступи правою*

кою! Положи мушкетъ! Молодецъ! Ну, первой лекціи конецъ! Пріѣзжай завтра, такъ я тебя съ солдатами въ пѣшій строй поставлю и всю эту первую экзерцицію на дѣлѣ произведу. Безъ подхлѣбства скажу, что я имѣю упованіе, что ты въ недѣлю всю экзерциціи будешь докладно разумѣть. Ну, повторимъ-ка еще разъ...»

Повторили безошибочно. Фендрихъ былъ въ восторгѣ.

— «То есть, я тебѣ говорю,» сказалъ онъ: «что просто во всей арміи не будетъ такого солдата. Коли имѣешь протекцію, норови въ меншиковъ или шереметевскій конскій шваронъ. Самые ученые люди; весь полкъ изъ дьяковъ и дьяковыхъ дѣтей сформированъ; простымъ драгуномъ, что за охота служить? Ну, прощай, до завтра.»

Возвратясь домой, Степанычъ не засталъ Семена Романыча: онъ пошелъ на явку къ губернатору и воротился очень довольнымъ.

— «Правда, опять дѣло; да по-малой мѣрѣ въ Москвѣ,» сказалъ онъ. «Губернаторъ говоритъ, что онъ объ моихъ заслугахъ въ губерніи писалъ и въ полкъ и въ Военную Коллегію, и чаетъ для меня награды, а тѣмъ временемъ приказалъ открыть, изловить и въ новую канцелярію представить воровъ и мошенниковъ, коихъ должна быть большая шайка на Москвѣ и притонъ ихъ сыскать... Тяжело, статься-можетъ и не успѣю, да время на Москвѣ проволочу... Признаюсь, я больно бы желалъ теперь поймать Пахомыча. Не я буду, если онъ не презусомъ и у воровъ, такъ, какъ у бородъ.

Что ему безъ такого промысла на Москвѣ дѣлать?»

— «Вѣроятно, Семенъ Романычъ, а я тебѣ въ подмогу дамъ знатнаго сыщика. Что, Тараканъ не бывалъ?»

— «Какъ не бывать!» отвѣчалъ Сергѣй: «Да еще и не одинъ.»

— «А съ кѣмъ же?»

— «Пономарь какой-то приходилъ съ нимъ, сталъ про сестрицу вашу разспрашивать, и про васъ »

— «Ну!»

— «Говоритъ: кто тутъ остановился?..» Я и говорю: «Иванъ Степанычъ Костыльковъ.» — Онъ только рукисебѣ потеръ. «А это съ нимъ женщина какая? «Сестра,» говорю... «Знаемъ, знаемъ!» и опять потеръ руки. «А на долго?» Надоѣлъ онъ мнѣ съ разспросами, я и говорю: «Завтра чуть свѣтъ въ Питербурхъ ѣдемъ, Сказано укладываться ..» «Завтра, ну, такъ зѣвать нечего, мы еще сегодня зайдемъ.» — И схватилъ за руку Таракана, да и потащилъ за собою.»

— «Слышишь, Семенъ Романычъ, это былъ Пахомычъ. Тутъ сомнѣнія быть не можетъ. А Тараканъ и самъ изъ ночныхъ гостей, такъ держи только ухо востро. Ссъ! Кто-то идетъ. Потрудись съ сестрою въ тотъ покой отойти. Должно быть Тараканъ ползетъ...»

И Степанычъ не ошибся. На лицѣ Никитки было написано умиленіе.

— «Ну, Таракашка, видно пожара-то не бывать, коли тараканы покойно ползаютъ...»

Тараканъ побѣднѣлъ въ одно мгновеніе, какъ полотно, и затрясся всѣмъ тѣломъ.

«Что́ бы это могло значить?» подумалъ Степанычъ: «А съ кѣмъ ты былъ сегодня здѣсь, Таракашка? А?..»

— «Гдѣ здѣсь?»

— «У моихъ покоевъ...»

— «Съ знакомцемъ, батюшка; говоритъ, будто тебя наизустъ, какъ свои пять пальцевъ, знаетъ...»

— «Такъ отчего же ко мнѣ не зашелъ?»

— «Тебя дома не было.»

— «Ну, а какъ же твоего знакомца зовутъ?»

— «Да какъ его зовутъ. Не то, чтобъ имя у него было, а такъ, кличка: «Горячая Лапа,» а иной его по-нѣмецки называетъ «Сенька Фитиль,» а на рынкахъ «Юлой» зовутъ, а гдѣ «Буравчикомъ.»

— «А гдѣ же онъ живетъ?»

— «Да нигдѣ. Гдѣ придется, переночуетъ, а гдѣ у него домъ, не вѣдаю.»

— «Сергѣй, ступай себѣ, да пріудержи двери, чтобы Тараканъ не ушелъ...»

— «Государь, честной господинъ, что́ ты хочешь дѣлать?» съ ужасомъ спросилъ Никитка.

— «Да что́? Ты купецъ, хочу съ тобой поторговаться. Продай мнѣ Буравчика; знатно заплачу.»

— «Право, честной господинъ, въ толкъ не возьму.»

— Послушай, Тараканъ! Говорю съ тобой не

для шутки. Будешь ломаться, самого изломаю, хуже всякаго застѣнка. Говорю не для пристрастія токмо, а истинную правду. Вотъ что́. Этотъ Буравчикъ — по-нашему Пахомычъ и я его знаю; онъ воръ, тать ночной, изъ ученыхъ; сорвался изъ острога; бороду отпустилъ и бородачей дурачитъ; на Москвѣ воровской промыселъ держитъ; теперь и на насъ злое дѣло умыслилъ. Ты, Никитка, тоже воръ: всякимъ запретнымъ товаромъ торгуешь. Приказано мнѣ всѣхъ васъ воровъ сыскать и гдѣ кого поймаю на дѣлѣ, того не вязать, а вѣшать. И я съ тебя перваго начну.»

— «За что́, государь, отецъ родной?..»

— «За ревень, что́ у тебя въ сапогахъ и за пазухой. Улика налицо. Подавай его сюда! Семенъ Романовичъ, пожалуй! Для суда судьи и свидѣтели нужны.»

Увидѣвъ сыщика, котораго зналъ въ лицо, и про котораго немало всякихъ ужасовъ слышалъ, контрабандистъ повалился въ ноги и возопилъ: «Насталъ мой часъ послѣдній!»

Степанычъ, не изъявляя ни малѣйшаго признака жалости, обратился къ Лукомкину и сказалъ:

— «Какъ же, Сергѣй Романычъ, его вѣшать? Тутъ въ комнатѣ на мѣстѣ уличенія, или передъ рядами?»

— «Можно и помиловать, Иванъ Степанычъ, если по доносу, на него учиненному, подастъ истинную сказку; если же нѣтъ, вѣшай гдѣ угодно, только ревень и другой запретный товаръ,

какимъ торгуетъ, въ ротъ и въ руки вложи. Тогда ужъ и вѣнай!»

— «Батюшки, отцы родные, помилуйте: всю правду сущую скажу...»

— «Ну, такъ цѣлуй икону и разсказывай!» сказалъ Лукомкинъ; снялъ небольшой деревянный образъ изъ угла и поднесъ къ Никиткѣ. Контрабандистъ поцѣловалъ икону дрожащими устами, стоя на колѣняхъ и перекрестился.

— «Ну!» сказали судьи и усѣлись.

— «Я никакимъ запертнымъ товаромъ не торгую...»

— «А ревенъ?..»

— «Только жъ ревенемъ. Да про ревень въ указѣ ничего не сказано. Тамъ говорится, что запретный товаръ: каламенки, полукаламенки, стамеды, полотна, что ниже рубля аршинъ, да карты всякихъ рукъ; вотъ запрещенный товаръ, а ревеня въ томъ указѣ нѣтъ.»

— «Да въ другомъ есть...»

— «Въ другомъ есть... виноватъ, никогда не буду... позабылъ про тотъ указъ; и грамотѣй я плохой... право, не буду... только помилуйте!»

— «А кто же на Москвѣ тѣми запретными товарами торгуетъ?..»

— «А мнѣ какъ знать?»

— «Постарайся, коли не хочешь на крючкѣ болтаться...»

— «Докладно не знаю, а слышать слышалъ, что за Рогожской Заставой, на валу, есть подземный складъ, да какихъ купцовъ, право, не вѣдаю...»

— «Послушай, Семенъ Романычъ! такъ мы съ нимъ толку не добьемся. Послать его лучше въ застѣнокъ: память у него прошибло, а встряхнутъ разокъ на дыбѣ, все вспомнитъ...»

— «Пожалуй!»

— «Не надо, не надо. И такъ все разскажу, что́ знаю...»

— «Ну...»

— «Голой Хвостъ, Бакуневъ и Яблочкины оба; у нихъ въ рядахъ въ лавкахъ нѣтъ, а продаемъ мы подъ рукой...»

— «Кто мы?»

— «Мелкіе торговцы...»

— «Кто именно?..»

— «Да вотъ я... Всѣхъ не перечтешь...»

— «Ну, хорошо, этихъ мы перечтемъ и послѣ. А твой ревень гдѣ?..»

— «Далече, подъ Всесвятскимъ, у мызника.»

— «Много ли?»

— «Пудовъ шесть, не больше. Остатки отъ зелейной лавки: въ оптекарскій приказъ не взяли, куда же мнѣ дѣвать?»

— «Врешь.»

— «Вру... виноватъ, не буду...»

— «Ну, а гдѣ же ты его покупаешь?»

— «Батюшка, помилосердуй; не допытывайся, этакъ ты весь торгъ раззоришь...»

— «Не умничай, а разсказывай. Гдѣ ты покупаешь?»

— «Компанейщики есть! Въ Сибири одни покупаютъ, другіе въ Нижній привозятъ, а мы ужъ

изъ Нижняго беремъ, да по городамъ и развозимъ...»

— «Ну, эта статья кончена!» сказалъ Лукомкинъ: «Теперь скажи намъ, гдѣ воры и разбойники московскіе притонъ имѣютъ?»

— «Да я развѣ воръ какой!»

— «Воровской торговецъ — тотъ же воръ, и воровъ придерживаться долженъ; однимъ безъ другихъ быть нельзя; кто запретный товаръ умѣетъ сбывать, тотъ и краденому мѣсто пріищетъ...»

— «Вотъ...» перебилъ Степанычъ: «хоть бы эти часы, у кого ты укралъ?..»

— «Да не я укралъ.»

— «А кто же?»

— «Не знаю, а Горячая Лапа отдалъ мнѣ ихъ продать богатымъ людямъ, потому что онъ между дворянами не торгуетъ, а я всегда, дурень, съ ними якшаюсь. Вотъ и попался!»

— «А гдѣ же Горячая Лапа живетъ?»

— «Вотъ ужъ про это и повѣсите, ни слова не скажу. Этого онъ и самъ не знаетъ. Иной день на рынкѣ ночуетъ, чаще въ торговыхъ баняхъ, а иной разъ въ вольныхъ домахъ, гдѣ прилучится. А когда до него дѣло у кого есть, такъ у него на стѣнѣ у самой типографіи кружка своя есть; кому нужно его видѣть, прійди и кинь туда серебряную деньгу, и ступай часу въ третьемъ ночи за Донской къ Климу на дворъ, гдѣ платье стряпаютъ, тамъ ужъ онъ и сидитъ. Тамъ у него воровская сходка. А если ему надо товарищей собрать, такъ онъ всю Москву долженъ обѣгать и

въ урочныхъ мѣстахъ, больше на рынкахъ, деревянные кресты навѣсить; послѣ вечерень, всѣ до единаго соберутся въ Лаковскія торговыя бани; будто парятся, а ужъ о своемъ дѣлѣ переговорятъ неотмѣнно.»

— «Ну, а сегодня гдѣ у нихъ сходка?»

— «Какая сходка?»

— «Послушай ты, Тараканъ, теперь ужъ не вернешь словъ своихъ, такъ лучше до̀ чиста разсказывай: скорѣе помилуемъ...»

— «На васъ сходка чай уже была. Вчера еще повѣстилъ; да и не такъ, чтобъ и повѣстка нужна была. Огонь увидятъ, сами набѣгутъ...»

— «Огонь!» вскочивъ, сказалъ Степанычъ.

— «Видишь, милостивецъ, только не выдай меня: Горячая Лапа, отъ того и прозвище такое. Самъ-то онъ мнѣ ничего не сказалъ; мы съ нимъ не на воровской, а на торговой ногѣ; а встрѣлся мнѣ Зелейкинъ, самый страшный изъ нихъ. Отъ него я свѣдалъ, что быть сегодня послѣ вечерень на этой улицѣ большой кутерьмѣ. Безъ огня, чему же быть?..»

— «Допросъ конченъ!» сказалъ Лукомкинъ. «Сергѣй, позови моихъ деньщиковъ.»

— «Чѣмъ меня помилуешь, батюшка кормилецъ!»

— «А вотъ увидишь! Возьмите-ка, ребята, этого молодца, да проводите въ полицейскую канцелярію, гдѣ сыскной приказъ былъ. Да потомъ кликните ко мнѣ сержанта Лукича. Ступай, Тараканъ! Не трусь! Тамъ только посидишь, а тебѣ ничего

худаго не сдѣлаютъ. За твою правду помилуютъ; я ужъ на томъ настою. Вотъ я только сдѣлаю распорядокъ, сейчасъ самъ въ приказъ буду; повѣрь моему слову и не трусь; авось еще и награду выхлопочу, коли все безъ обмана объявишь. Ну, ступайте, да путь держите такъ, будто каждый особнякомъ идетъ по своему дѣлу; съ встрѣчными не говорить, а привяжется кто, объяви: некогда, извини, за дѣломъ спѣшу!.. Ступайте!»

— «Дѣло нелегкое!» сказалъ Лукомкинъ. «Бѣда какъ подмѣтятъ; надо обману поддаться, да страшно пожара; тутъ мѣсто людное, строенье тѣсное, пол-Москвы можетъ охватить, а огнегасительныхъ машинъ не таскать же теперь днемъ: тогда не поймаешь вора на дѣлѣ; только испугаешь. Про Тараканова арестъ завтра свѣдаютъ; не безъ того, чтобы у Пахомыча своихъ людей въ приказѣ не было; изъ Москвы уйдутъ. Деньгу ему бросить, тоже опоздаешь, пол-Москвы выгоритъ. Будь, что будетъ, надо принять мѣры.»

Вскорѣ пришелъ и сержантъ Лукичъ, получилъ подробныя наставленія и отправился за командой. Лукомкинъ пошелъ въ приказъ и вернулся уже во время вечерень, когда по разсчету его все было готово къ принятію вожделѣнныхъ гостей. Не успѣлъ онъ разсказать, какъ все распоряжено, по всему трактиру поднялась суматоха и бѣготня. Раздавались крики: «Огонь, пожаръ!!..» Лукомкинъ и Степанычъ поспѣшили къ своимъ засадамъ; въ коридорѣ уже почувствовали сильный запахъ дыма;

по счастію, у обоихъ вещей немного было; Сергѣй и конюхи проворно ухватили свою рухлядь и съ Мелашей поспѣшили выйти на улицу. Тутъ они увидѣли, что дымъ уже подымался густымъ столбомъ; огонь огромнымъ языкомъ выскакивалъ изъ середины строенія, такъ что къ гашенію пожара и приступить было трудно. Народъ, всегдашній любитель подобныхъ зрѣлищъ, густою толпою тѣснился на улицѣ... По распоряженію, еще заранѣе сдѣланному, Малашу посадили въ колымагу и повезли-было въ Кремль, но толпа такъ загородила дорогу, что невозможно было проѣхать, и не далѣе какъ шагахъ въ пятидесяти, колымага должна была остановиться. Малаша съ ужасомъ глядѣла на картину, которая росла на ея глазахъ: въ нѣсколько мгновеній пламя восторжествовало надъ сухимъ деревомъ, и освѣтило людской муравейникъ. Всѣ шесть московскихъ гарнизонныхъ полковниковъ приспѣли съ своими командами. Топоры, ведра, кошели, лопаты, крюки, багры, трубы, щиты, паруса, ломы, всѣ тогдашніе пожарные инструменты неслись въ огромномъ числѣ мимо колымаги. Губернаторъ, вице-губернаторъ, оберъ-полиціймейстеръ, стольникъ Колычевъ, полковники гарнизона, всѣ проѣхали мимо Меланьи и очистили путь колымагѣ. Вдругъ послышались крики сзади и спереди; кто-то упалъ и съ ко́зелъ, и съ запятокъ. «Раздайся!» закричалъ кто-то съ ко́зелъ неизвѣстнымъ голосомъ, и колымага поѣхала, смотря по многолюдству, довольно быстро. Меланья лишилась чувствъ — и очнулась въ дум-

ной комнатѣ, плохо освѣщенной ночникомъ или стоящимъ на полу свѣтильникомъ.

— «Гдѣ я?» спросила она, съ трудомъ переводя дыханіе.

— «Не изволь безпокоиться... Исторжена еси изъ когтей геэнны.»

По голосу она узнала Пахомыча и чувства снова остановили ее.

— «Охъ, Лапа!» сказалъ грубый голосъ: «Всегда я толковалъ тебѣ, что не доведетъ насъ до добра твое женское лакомство; вотъ тебѣ и добыча! Всѣхъ людей перетратили, а добыли дѣвку и пустую повозку. Чай и ту унесли вѣрные кони.»

— «Люди воротятся, Зелейкинъ, только повозку убрать надо. А то такъ и набѣгутъ на нее; словно фонарь торчитъ.»

— «Ну, такъ ступай ты, Лапа, и отъѣзжай куда подальше, а если можно проберись за городъ. Лошади важныя, продать можно...»

— «Ужъ лучше ты, Зелейкинъ. Мнѣ вотъ хочется съ любовишкой моей перемолвить.»

— «Нѣтъ, ужъ не на дурака напалъ! Я изъ засады не вылѣзу, того гляди наткнусь на сыщика; видѣлъ ты команда какая высыпала, а съ дѣвкой и я толковать съумѣю.»

Стукъ у дверей заставилъ смолкнуть обоихъ; но такъ какъ стукъ раздался по условію, то оба и бросились отворять двери. Третій вскочилъ запыхавшись и съ трудомъ могъ вымолвить: «Солдаты!»

— «Гдѣ солдаты?»

— «За мной!..»

— «Зачѣмъ же ты ихъ на бани навелъ?..»

— «А куда же мнѣ было дѣваться. Я чаялъ, что васъ тутъ много, а солдатовъ-то всего трое съ офицеромъ; прочіе на пожаръ.»

— «Трое!» закричалъ Зелейкинъ и схватилъ за горло Пахомыча: «Стрѣлка, распутай кушакъ!..»

— «Что ты хочешь дѣлать?»

— «Повѣсить Лапу! Мы пробьемся, а его, труса, захватятъ. Всѣхъ выдастъ. Слышь, идутъ! поясъ!..»

Пахомычъ только мычалъ и моталъ руками, но не могъ вырваться изъ дюжихъ лапъ Зелейкина. Страшный замыселъ Зелейкина исполнился сугубо. Ножъ и веревка... двойною смертью погибъ Пахомычъ, но и убійцы не ушли отъ казни; Зелейкинъ задулъ ночникъ. Меланья сползла съ прилавка и спряталась. Напрасно Зелейкинъ шарилъ и искалъ еще одной жертвы, которая, не хуже Пахомыча, могла обличить его; Меланьи нигдѣ не было. Шаря въ потьмахъ, Зелейкинъ не могъ видѣть, что люкъ, который открывался для спуска воды, когда чистили баню, былъ открытъ, оступился, и упалъ въ яму; правда, онъ удержался на рукахъ, но вылѣзть никакъ не могъ... «Стрѣлка, Стрѣлка!» закричалъ онъ, и этотъ крикъ погубилъ его вдосталь. Отъ сильнаго удару двери соскочили съ петель и фонари освѣтили страшную картину злодѣйства. Зелейкинъ и Стрѣлка были схвачены, и связаны въ одно мгновеніе. Но каково было изумленіе Лукомкина, когда изъ-подъ

прилавка выползала испачканная, бледная женщина и когда въ этой женщинѣ онъ узналъ жену свою!

— «Ты какъ попала сюда?» закричалъ онъ: «Ты не въ Кремлѣ? Значитъ... Но гдѣ же Пахомычъ?..»

Меланья отвернулась и указала въ ту сторону, гдѣ болтался Пахомычъ.

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ДОЛГИ.

Пожаръ продолжался. Присутствіе начальниковъ, отличное дѣйствіе гарнизона, тихая погода, все это помогало унимать пламя, которое видимо смирялось. Оно какъ-будто удовольствовалось постоялымъ дворомъ и не обидѣло ни одного сосѣда. Степанычъ, отправивъ въ колымагѣ сестру, сталъ совершенно покоенъ и бросился помогать сосѣдямъ, которыхъ онъ вовсе не зналъ и не намѣренъ былъ съ ними знакомиться. Бѣгая по нумерамъ, онъ замѣтилъ, что всѣ уже пусты; можетъ быть, вещи были обречены на жертву, но люди успѣли убраться. Въ самомъ только отдаленномъ покоѣ, откуда дымъ валилъ облаками, послышались глухой стонъ и хрипѣніе; не думая о себѣ, онъ вбѣжалъ въ комнату и сквозь дымъ, выѣдавшій глаза, замѣтилъ человѣческое тѣло, которое издавало предсмертные звуки. Степанычъ бросился, схватилъ умирающаго и не безъ труда вытащилъ, не на улицу, а на дворъ, тяжелое бремя. Тутъ, въ суматохѣ, онъ примѣтилъ, что дѣйствіемъ гарнизона, высокая деревянная стѣна, отдѣлявшая но-

стоялый дворъ отъ чужаго огорода, сломана, и собравъ всѣ силы, онъ понесъ свое бремя прямо на чужой территоріумъ. Оглянувшись, онъ примѣтилъ скамейку и положилъ на него бездушное тѣло. Тутъ только увидѣлъ онъ, что ноша его былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-двухъ-трехъ не больше; онъ былъ, какъ говорится, въ бѣльѣ. Ноги у него были обмотаны суконками и перевязками. Хотя погода стояла тихая, но не забудьте, что въ исходѣ сентября, ночью, въ Москвѣ, не такъ-то бываетъ тепло, и Степанычъ бросился искать, чѣмъ бы на первый случай хотя прикрыть больнаго. Увидавъ, что въ концѣ этого огорода стоитъ довольно опрятный домикъ съ стекольчатымъ крыльцемъ, Степанычъ безъ церемоніи вбѣжалъ на лѣстницу и попалъ въ довольно больную компанію. На крыльцѣ сидѣлъ старикъ лѣтъ шестидесяти, но свѣжій и бодрый, въ стеганомъ халатѣ и вязаномъ колпакѣ, и курилъ трубку; возлѣ, на скамьяхъ, придвинутыхъ къ стѣнамъ дома, рядкомъ сидѣло нѣсколько женщинъ. Степанычъ замѣтилъ, что старикъ былъ въ сильномъ негодованіи; одушевленная бесѣда была прервана неожиданнымъ появленіемъ Степаныча.

— «Зачѣмъ сюда!» закричалъ старикъ: «Не входи на лѣстницу, не то мы тебя кочергами и всякимъ дреколіемъ...»

И въ самомъ дѣлѣ, въ правой рукѣ у старика показалась кочерга; дамы также приподняли какое-то домашнее оружіе, котораго Степанычъ не заблагоразсудилъ разсматривать.

— «За что?» спросилъ Степанычъ.

— «За то, что мѣсто наше свято! Огонь во власти Божіей, да у меня крыша желѣзная, и домъ кирпичный. Вотъ развѣ на крыльце головня упадетъ; отстоимъ... Такъ огня не боюсь, да и ночныхъ гостей также. Отойди! Ступай, откуда пришелъ!»

— «Дивно, что при такомъ огнѣ не изволишь распознать, кто воръ, а кто честный человѣкъ; кто дворянинъ, а кто изъ подлыхъ...»

— «Дворянству твоему честь, да насъ не тревожь, изволь отваливать...»

— «Не для себя пришелъ я, честной господинъ! Товарищъ у меня больной; я его изъ пожара вынесъ; если и не задохся, такъ замерзнетъ; нѣтъ ли у тебя одѣяла какого?..»

— «Мало ли чего нѣтъ, да себѣ нужно. Поди, потомъ сыщешь!»

— «Да я твоей милости пять рублей закладу оставлю, да за прокатъ, пожалуй, себѣ рубль вычти...»

— «Толковый! Вотъ такъ бы сразу и сказалъ. Давай деньги!..»

— «Вотъ твои деньги...»

— «Постой, постой, на лѣстницу не изволь ходить, положи деньги вонъ на ту половицу. Вотъ такъ. Груша, принеси свое одѣяло.»

— «Да у меня, батюшка, не совсѣмъ цѣло...»

— «Лишь бы тепло. Ступай, Груша, а не то дворянинъ замерзнетъ. Надо быть человѣколюбцемъ. И то сказать, погорѣлый. Экая притча, право! Такъ нынче стали часты пожары, что не при-

веди Боже! Зажигальщиковъ по уложенью не казнять, берутъ въ каторгу, они себѣ и тѣшатся.»

— «За то же сегодня и наловятъ злодѣевъ, что рыбъ въ добрый ловъ.»

— «Ой ли? Что ты, батюшка, говоришь?..»

— «Да, ужъ мой зять не промахъ. На этомъ промыслѣ добылъ себѣ многую честь и славу...»

— «Вотъ тебѣ разъ! Говоришь: дворянинъ, а у зятя у твоего такой дурной промыселъ.»

— «Какой промыселъ? Зять мой сыщикъ Карамзина полка, лейтенантъ Лукомкинъ...»

— «Лукомкинъ! Батюшки свѣты! Ономнясь, такъ, запнелъ въ приказъ по привычкѣ, сталъ куранты петербургскіе прочитывать; чудеса про Лукомкина отпечатаны... Мавруша, поди принеси перину. Не возьми во гнѣвъ, честной господинъ, изо всего вижу, что опознался...»

Старикъ проворно пригнулся, будто кланяясь, подобралъ рубли, да въ карманъ въ исподнее платье и упряталъ.

— «А гдѣ же твой больной?..»

— «У тебя въ саду...»

— «У меня въ саду?.. Да какъ же вы пробрались?..»

— «Дорога гладкая... Заборъ сломанъ...»

— «Заборъ сломанъ!» закричалъ старикъ и уронилъ трубку: «Заплатятъ! И за трубку заплатятъ! Не на таковскаго напали! Кто сломалъ? Кто смѣлъ сломать?»

— «Оберъ-полиціймейстеръ приказалъ...»

Это замѣчаніе охладило нѣсколько гнѣвъ старика.

— «Все равно!» сказалъ онъ: «Казна богата! Да вы-то какъ смѣли въ чужой дворъ вносить заразу?..»

— «Какую заразу?»

— «Больной — и кончено. Я почемъ знаю, какая у него болѣзнь!..»

— «По всему думаю, у него ноги отнялись. Да, впрочемъ, какъ изволишь, давай мои деньги; я моего больнаго дальше понесу.»

— «Да отчего же ему и въ моемъ саду не лежать!» сказалъ старикъ, опомнясь. «Вотъ одѣяло, вотъ и перина, за тѣ жѣ деньги...»

— «То-то же, старикъ. Изъ дряни сталъ торговаться. А помогъ бы, я не пятью рублями наградилъ бы твое усердіе...»

— «Ночное время, честной господинъ, тати, пожаръ, сумнительство и раззоренье. Одуръешь; вотъ какъ я теперь въ толкъ взялъ, да смѣкнулъ, такъ самъ бѣгу на помощь ближнему...»

И старикъ дѣйствительно послѣдовалъ за Степанычемъ. Воздухъ ли, или натура спасли больнаго; онъ уже открылъ глаза и вдыхалъ въ себя чистый, свѣжій воздухъ. Увидавъ Степаныча, который покрывалъ его теплымъ одѣяломъ, молодой человѣкъ спросилъ тихо:

— «Что такое? Гдѣ я? Кто меня спасъ? Гдѣ этотъ разбойникъ?»

— «Какой разбойникъ?..»

— «Слуга Прохоръ...»

— «Чей слуга?»

— «Трактирный! — Пріѣхалъ я въ субботу; до-

рогой у меня ноги испортились; послалъ я Прохора за лекаремъ; онъ мнѣ привелъ аптекаря; тотъ окрутилъ мои ноги травой и водою какой-то; хуже стало; совсѣмъ отнялись. Лежу сегодня; стали къ вечернѣ звонить; Прохоръ и пришелъ. Ну, что слышно? — «Все, слава Богу, хорошо слышно...» говоритъ: «Сейчасъ пожаръ будетъ. Уже подложили огонь. Тебѣ теперь денегъ не надо, ты себѣ сгоришь; такъ я ихъ возьму, прощай!» И ухвативъ изъ-подъ подушки кошель, ушелъ; я и крикнуть не успѣлъ, дымъ такъ и повалилъ изъ сосѣдней комнаты; тамъ никто не стоялъ; тамъ-то они и пожаръ затѣяли...»

— «А много было денегъ?» съ живостью спросилъ старикъ.

— «Какія тамъ деньги; не даль же какая; и ста верстъ нѣтъ. Взялъ съ собою сущую дрянь, сотни три съ небольшимъ, пока назначатъ на службу; а тогда маменька пришлетъ, куда укажу. Что деньги — плёвое дѣло, да ноги...»

— «Деньги дрянь! Деньги плёвое дѣло! Да что́ у тебя — серебро въ землѣ, что ли?..» вскричалъ старикъ.

— «И то сказать...» продолжалъ молодой человѣкъ: «совѣстно. Въ прошлый смотръ Степанъ Яковлевичъ отпустилъ меня за глазами, болѣли сильно; а въ этотъ смотръ — опять недугъ. Еще, пожалуй, подумаетъ...»

— «Стольникъ Колычевъ, что ли?»

— «Да!»

— «Не бойся! Ничего не подумаетъ. Мнѣ онъ повѣритъ...»

— «А ты кто?»

— «Такой же, какъ и ты, дворянинъ и помѣщикъ, и за тѣмъ же въ Москвѣ. Только я уже на службѣ, въ драгунахъ. Не успѣлъ себѣ пошить формы, а уже служу. И ты не печалься! Выздоровѣешь, только не лечись. О деньгахъ не думай, пока изъ дома пришлютъ, у меня бери; все это трынь-трава...»

— «Деньги трынь-трава!» опять воскликнулъ старикъ.

— «А вотъ что́ неловко. У меня теперь немалая семья, ты, да сестра, да зять. Гдѣ теперь по ночи пристанище отыскать?»

— «Богатые люди, а о пристанищѣ думаютъ...» сказалъ старикъ: «А мой-то домъ на что? Велика у меня семья, немала и свѣтелка наверху; пока помѣстимся.»

— «А что́ возьмешь, только до завтра?..»

— «Богатые люди, а торгуются! Видно, что деньги не плёвое дѣло, не дрянь, не трынь-трава.»

— «Видишь, съ инымъ и безъ торга поладишь, а другой и для умирающаго рванаго одѣяла безъ пяти рублевъ не даетъ.»

— «Простите великодушно! То была притча, случай, тати, пожаръ, сумнительство, зазоръ, подозрѣніе...»

— «Полно, полно! Помоги мнѣ лучше товарища на одѣялѣ въ покои перенести.»

Старикъ съ охотою исполнилъ приказаніе. Боль-

наго уложили на хозяйской постелѣ и, оставивъ одного, чтобы дать ему покой, сами вышли на крыльце, гдѣ весь женскій гарнизонъ, въ полномъ вооруженіи, будто изваянный, не трогался съ мѣста.

— «Вотъ, дорогой постоялецъ, имя, отчества не имѣю счастія вѣдать,» такъ началъ старикъ, указывая на бабій регименть: «вотъ моя семейка съ дѣти и домочадцы... Вотъ старуха Лукерья Пахомовна, матушка моя: старый грибъ да здоровый, отъ роду считаетъ столѣтній вѣкъ, а чай обочлась, полтора есть. Вотъ супружница моя, счетомъ третья, Анфиза Карловна, изъ нѣмокъ; тѣ двѣ первыя были изъ Русскихъ, да и эта не хуже; только бить себя не даетъ, а подъ случай, сама дерется... Вотъ дочка моя старшая, замужняя, то есть, вдовица горькая, Анна: мужа ее, молодаго приказнаго, въ солдаты взяли, подъ Нарвой подстрѣлили; до сей поры не могу ее вторичнымъ бракосочетаніемъ утѣшить. Она сама себя кое-какъ утѣшаетъ; имѣетъ много гражданской мудрости и домъ въ Кожевникахъ; въ наймы отдаетъ, а у меня на хлѣбахъ живетъ. Вотъ это нумеръ третій, а втораго нѣтъ. Исключенъ изъ списка смертныхъ; Богомъ принята покойница въ горнія селенія по шестнадцатому году; стосковалась по невѣдомымъ резонамъ, а было доброе, бережливое дитя; сарафанъ, что ей пошилъ, три года проносила; еще бы три года обходилась, да умерла и сарафанъ оставила сестрамъ въ наслѣдство. А третій нумеръ, Нимфодора, замужемъ была за нѣмец-

кимъ человѣкомъ, большимъ мастеромъ денежнаго дѣла; да но злобѣ и клевете подъ извѣтъ попалъ; и не умеръ, а вдовой жену оставилъ; оправдится... Тутъ уже хотя бы и показывать свое добро не приходилось, да отцу ли утерпѣть? Дѣвки идутъ, вотъ Мавруша, подростокъ, Глафира, почитай невѣста, и дѣти малолѣтные, Груша и Соня... А вотъ, честной постоялецъ, боковыхъ линій женскій полъ: свекровь, золовки, невѣстки и другіе чины... Наградилъ меня Богъ семьей не по состоянію: такъ не диво, что иной разъ о деньгахъ лишнее слово скажешь. Самъ досадуешь, да сорвалось...»

Пожаръ въ это время достигъ всей красоты своей; постоялый дворъ, охваченный со всѣхъ сторонъ пламенными потоками, представлялъ изъ себя одну цѣльную массу огня. При такомъ освѣщеніи Степанычъ могъ свободно разсматривать семейство старика и высмотрѣлъ, что Глафира «почти невѣста» и Мавра «подростокъ» были уже зрѣлыми дѣвами; но за то дѣти, Соня, и особенно Груша, были, что называется, на самой порѣ, во всей прелести дѣвственной весны...

Груше было лѣтъ семнадцать, не больше, но ростомъ она превосходила даже вдовицу Нимфодору. Одѣтая въ ситцевое нѣмецкаго покроя платье, весьма узкое, по неизвѣстнымъ причинамъ, она не могла скрыть роскоши своихъ развивающихся формъ и казалась въ толпѣ этихъ женщинъ царицей въ цѣпяхъ. Лице ея не совсѣмъ согласовалось съ прелестью формъ: глаза у нея были сѣрые, и довольно

злобнаго выраженія; улыбка обѣщала однако же кротость и терпѣливую покорность; изрѣдка только мелькали въ чертахъ ея признаки коварства, но кто замѣчаетъ ихъ въ чертахъ семнадцатилѣтней красавицы? Красавицы, говорю я положительно, потому что сѣрые глаза были и есть у самыхъ первостатейныхъ историческихъ красавицъ и въ изъянъ не поставляются. Груша съ перваго взгляда замѣтила, какое она сдѣлала на Степаныча впечатлѣніе, и надулась. Это придало ей большой интересъ и Степанычъ, тотчасъ послѣ окончанія рекомендаціи, спросилъ у нея, о чемъ она такъ надулась...

— «Ничего. Такъ-себѣ. Не ваше дѣло!» отвѣчала она.

— «Отчего же не мое, Аграфена?.. какъ величать слѣдуетъ?..»

— «Кирилловной...»

— «Такъ отчего же не мое, Аграфена Кирилловна?..»

«А оттого, что не ваше...»

— «Видно, жаль тѣхъ, что горятъ.»

— «А я ихъ почемъ знаю...»

— «Хоть и чужіе, да все ближніе...»

— «Содомъ горитъ, туда ему и дорога...»

— «Какъ Содомъ?...»

— «Кабакъ, кружало! Когда ни пойдешь по саду гулять, тамъ всегда плясъ, да шумъ, да непристойныя пѣсни...»

— «А почему же знаете, что тамъ плясъ?...»

— «Черезъ щелку видѣла..»

— «А зачѣмъ же вы смотрѣли?...»

— «Да куда же мнѣ глаза спрятать... Не одна я смотрѣла...»

— «Рѣзвый ребенокъ!» перебилъ старикъ, боясь, чтобы дитя не разсказало чего не дѣтскаго. «Не усмотришь, да еще въ лѣтнее время. И то сказать, вотъ у насъ роденька, все стараго порядка люди: нѣмецкаго обычая не любятъ; ужъ и за то сердятся, что по-нѣмецки одѣваю. Ну, скажи самъ, честной господинъ, какое надо имѣть состояніе, чтобы въ старое платье рядить цѣлый полкъ! Безъ золотаго позумента, безъ аксамита, по малой мѣрѣ безъ объяри, что́ за сарафанъ? Безъ жемчуга на повязкѣ въ церковь пойти нельзя. Кисеи на рукава цѣлую лавку надо: то какъ же ихъ въ старой кожѣ держать? А ужъ въ нѣмецкомъ платьѣ надо бы по-нѣмецки и жить; да ба, загрызутъ! Отъ того и никакого обхожденія не имѣютъ. Такъ ты уже, честной господинъ, за глупость съ нихъ не взыскивай: не отъ рожденья глупы, а отъ стараго обычая...»

— «Будетъ тебѣ обычай!» сказала дряхлая золовка. «Поглядимъ, какъ ты Соню и Груню убережешь...»

— «Въ убыткахъ не буду... Да не о томъ рѣчь: надо для господина помѣщика нижнее жилье опростать. Подымайтесь-ка! Эй, Мавра, Нимфодора, Глафира, уберите что́ понужнѣе, да въ свѣтлицу наверхъ отнесите. Господа у насъ ночевать будутъ...»

— «Пускай тлю въ теремѣ, домъ истлитъ...» опять прокаркала золовка.

— «Въ убыткахъ не будемъ...»

— «Пожаръ унимается, хозяинъ! Приберегимоего больнаго, а я пойду своихъ искать; чай, по Москвѣ снуются безъ пристанища...»

— «Будь покоенъ, честной господинъ: какъ за роднымъ сыномъ смотрѣть будемъ.»

Первая встрѣча на улицѣ — былъ Сергѣй.

— «Нашли!» закричалъ онъ, увидя Степаныча: «Нашли, отняли, воронъ захватили!!...»

— «Кого нашли? Кого отняли?»

— «Меланью Степановну! Въ Лаковскія бани тати проклятые завезли, да Богъ помиловалъ.»

И Сергѣй разсказалъ, какъ Зелейкинъ столкнулъ его съ запятокъ, а Пахомычъ съ другимъ товарищемъ конюха съ козелъ; какъ онъ былъ ушибенъ неизвѣстнымъ оружіемъ до безпамятства. Другіе конюхи отстали и потеряли колымагу, такъ, что неизвѣстно, гдѣ они теперь съ повозками и лошадьми, и гдѣ теперь колымага, потому что Меланья Степановна съ Семеномъ Романычемъ изъ бань пѣшкомъ пришли, остановились въ монастырѣ, а его встрѣтили и послали за Степанычемъ. Степанычъ не шелъ, а бѣжалъ, какъ услышалъ, гдѣ его дорогіе; по дорогѣ Сергѣй досказывалъ, что видѣлъ и слышалъ; но эти разсказы столь же мало были интересны для Степаныча, какъ и для васъ, высокопочтенный читатель! Гораздо пріятнѣе для него было узнать отъ Семена Романыча, какою страшною смертью казнило небо Пахомыча. Будто камень упалъ у него съ сердца; невольно взглянулъ онъ на небо, и благодарная мысль его про-

неслась между звѣздъ быстрѣе молніи къ невѣдомому престолу. Меланьѣ нельзя было оставаться въ монастырѣ, потому что здѣсь было назначено сборное мѣсто для всѣхъ сыскныхъ командъ, подъ начальствомъ Лукомкина, тушившихъ не пожаръ, а воровство. Лукомкинъ не могъ оставить поста; болѣе сорока татей уже сидѣло на монастырскомъ дворѣ; передъ ними лежалъ трупъ Пахомыча. Благо ему, что онъ не могъ уже слушать проклятій, которыми осыпали его товарищи! Одинъ только Зелейкинъ сидѣлъ покойно и насвистывалъ пѣсню удалую. Вся эта картина не могла быть пріятна для женскихъ глазъ, а рѣчи — назидательны для слуха Меланьи, и потому Степанычъ поспѣшилъ съ сестрой и Сергѣемъ на новую квартиру. Не добрались бы они до старикова дома, если бы Сергѣй не выманилъ у солдата фонаря. Пожаръ смирился, пламя улеглось, только дымило, а безъ запаснаго освѣщенія въ Москвѣ того времени по ночамъ была тма кромѣшная. Даже въ Кремлѣ горѣлъ только одинъ фонарь у крыльца полиціймейстерской канцеляріи. Фонари освѣтили Москву уже въ царствованіе Анны Іоанновны. Помѣстивъ и успокоивъ сестру, Степанычъ навѣдался къ больному; тотъ спалъ сладкимъ сномъ; нечего было дѣлать больше такою позднею порой, и Степанычъ улегся спать въ больной избѣ у дверей, которыя вели въ комнату Малаши.

— «Хорошо!» сказалъ Сергѣй, выходя въ садъ съ фонаремъ: «а я-то куда дѣнусь...»

— «Послушай, пріятель, ты зачѣмъ тутъ съ

огнемъ ходишь?» сказалъ старикъ, схвативъ его за руку.

— «Ищу мѣста, гдѣ бы прилечь, хозяинъ...»

— «Пойдемъ въ домовую баню, пріятель! Тамъ по указу все лѣто не топили. Жарко́ не будетъ, а мнѣ теперь и самому во всемъ домѣ мѣста нѣтъ...»

— «Хоть въ конюшню; и такъ отъ ушиба голова трещитъ. Чѣмъ это онъ меня хватилъ? Хорошо еще, что душу не вышибъ...»

— «Кто это?»

— «Да разбойникъ на пожарѣ...»

— «Ахъ, разскажи, пожалуй, смертъ люблю сказки...»

— «Хороши сказки!..»

И оба улеглись въ банѣ на прилавкахъ, подложивъ подъ головы сухіе вѣники. Хозяинъ разспрашивалъ, но Сергѣй отвѣчалъ лѣнивo, безпрестанно засыпая; наконецъ заснулъ на́крѣпко и на всѣ вопросы старика отвѣчалъ храпѣньемъ.

Ни свѣтъ, ни заря старикъ уже поднялся и вышелъ въ садъ, обошелъ всѣ закоулки своего небольшаго двора и отправился на слѣдствіе, какой убытокъ учинило ему градское начальство. Заборъ, правда, былъ сломанъ саженяхъ на десяти, доски немногія расколоты, нѣсколько молодыхъ деревъ и съ полгряды капусты потоптано; но весь убытокъ, вѣроятно, не превышалъ пяти рублей. Старикъ не могъ не изъявить особеннаго удовольствія и расхохотался. Обративъ вниманіе на пепелищe постоялаго двора, старикъ замѣтилъ, что на ули-

цъ стоятъ колымага, люди и лошади; при нихъ торчалъ объѣздный и, ходя взадъ и впередъ, грѣлся.

— «Кудимычъ!» кликнулъ старикъ: «что ты тутъ дѣлаешь?»

— «Ахъ, батюшка, Кирилла Александровичъ, служба нынче плохая, на десятскихъ не смѣю понадѣяться; самъ за всѣмъ присматривай...»

— «А-га! Не то, что за насъ!»

— «Куда! За васъ съ приказомъ у насъ всегда миръ стоялъ; по всей Москвѣ говорили, что каковы дьякъ Соколъ, да подъячій Кирилла Александровичъ Чевушкинъ, такъ просто надиво!»

— «То-то же.. А нынче?»

— «Что нынче! Еще какъ стояло бурмистерское управленіе — туда-сюда: съ купцами можно было ладить! И то сказать, пробудетъ годъ бурмистеромъ, къ намъ же подъ начало попадетъ, такъ и побаивается, чтобы кого изъ насъ не обидѣть; ну, а теперь, такой знатный чинъ! — кромѣ царя, никого не боится. Караульныхъ разсыльщиковъ, право, не такъ гоняютъ какъ насъ. Вотъ тутъ вчера дворянчикъ какой-то стоялъ; съ пожара лошади съ колымагой убѣжали. Чего конюхи смотрѣли! По-нашему, и колымагу и лошадей взять въ приказъ и поминай какъ звали; умеръ бы, не доказалъ, что его; а теперь холопьямъ повѣрили: они признали лошадей и колымагу; говорятъ: Иванъ Степаныча Костылькова... Отвести колымагу и лошадей и сдать на руки Костылькову... Да его уже тамъ нѣтъ; дворъ сгорѣлъ ..

Все равно, не гдѣ индѣ, а у того двора Иванъ Степанычъ справляться будетъ...»

— «А знаешь ли, Кудимычъ, гдѣ эта знатная персона жительство имѣетъ?»

— «А мнѣ какъ знать...»

— «У меня, Кудимычъ, у меня! На ловца звѣрь бѣжитъ...»

— «Такъ пусть же беретъ свое добро...»

— «Э, братъ! Какъ я будить стану такого знатнаго господина!»

— «Да что́ онъ за знатный такой? Солдатъ.»

— «Э, братъ, Государь Великій Князь Петръ Петровичъ тоже солдатъ. Служба — роду не помѣха; этотъ будетъ енераломъ, а ужъ мы съ тобой, Кудимычъ, и въ табель о рангахъ не попадемъ. — А эти повозки чьи?»

— «Тоже его.»

Старикъ почесался.

— «Тѣсновато!» сказалъ онъ подумавши. «Да знаешь что́, Кудимычъ! У тебя всей семьи ты, да жена! Возьми-ка навремя къ себѣ мать мою, да двѣ пары дочекъ.»

— «А что́?»

— «Прочую роденьку по домамъ разгоню. Полно имъ гостить. Заживаются. Пора имъ убираться; а у кого своего дома нѣтъ, пускай къ роднымъ шествуютъ. А я себѣ-останусь съ женой, да съ дочками, что́ еще дѣти. Малышей безъ матери на чужія руки отдавать непристойно. Тѣхъ прочихъ ты на харчи возьми, а на чемъ условимся, заплачу, а домъ со всѣми службами отдамъ

господамъ. Недолго на Москвѣ пробудутъ, а я деньгу зашибу.»

— «А самъ-то гдѣ жить будешь?»

— «Въ банѣ, Кудимычъ; и сегодня тамъ ночевалъ. Удобно.»

— «Экой разумъ, подумаешь! Изъ лыка домъ построитъ. Ну, быть по-твоему. А что за безчестье?»

— «Да ужъ, Кудимычъ, воронъ ворону глаза не выклюнетъ. Сосчитаемся.»

— «Благо. Такъ присылай своихъ.»

— «Я ихъ такъ поднлю, будто за дѣломъ, а ты уже имъ указъ мой объяви. И указъ строгій, подъ пристрастіемъ интрафа. Я имѣю на то резоны... Да постой-ка, изволь у меня въ огородѣ освидѣтельствовать, какой моему достоянію отъ пожарнаго случая ущербъ учинился, и раззореніе стало не отъ огня, а отъ командпаго поведенія и огнегасительнаго производства. Я тебѣ столбцы приплю готовые, а ты только руку приложи.»

— «Нѣтъ, Кирилла Александровичъ, не примутъ!»

— «Какъ не примутъ?»

— «Подавай на клейменой бумагѣ. Нынче скоро и наши объѣздныя доношенія прикажутъ на клейменой подавать.»

— «Что жъ? И для казны, и для приватныхъ людей изрядный доходецъ.»

— «А для людей-то какой доходъ? Одно раззореніе; для приказныхъ — сущее зло. Бывало, отколетъ челобитную не то, что столбца три, четы-

ре, а книгу цѣлую, а теперь на клейменой бумагѣ больно не распишешься: дорого обойдется.»

— «Конечно...»

— «Такъ какой же доходецъ для людей?...»

— «Конечно, конечно... Я обмолвился, а для казны большой доходъ. Вотъ я схожу въ ряды; искуплю бумагу и напишу, ты только подмахни...»

— «Въ ряды! Нѣтъ, братъ, и не достанешь. Прежде, правда, подъ рукой продавали, да еще противъ казенной въ полцѣны; а нынче и купца и продавца ошельмуютъ. Ступай къ бурмистерамъ; окромя бурмистеровъ ни у кого бумаги нѣтъ; и сколько листовъ возьмешь, столько и въ книгѣ роспишись... Плохія времена! Нигдѣ поживы!»

— «Конечно, конечно! Ну, такъ прощай. Колымагу и повозки и людей, и все что ни есть, на мой дворъ тащи, а я пойду ворота отопру.»

Возвращаясь, Чевушкинъ увидѣлъ, что Иванъ Степанычъ стоялъ уже на крыльцѣ и какъ-будто кого поджидалъ.

— «Ну, спасибо, хозяинъ, за ночлегъ!» сказалъ онъ. «Жестка была моя перина, половица холодная, да соснулось послѣ трудовъ сладко. Спасибо! Сестра еще спитъ, больной тоже; бѣдный Сергѣй, дай Богъ ему здорово встать; а конюхи мои, а лошади, а повозки?...»

— «Все цѣло и все на моемъ дворѣ будетъ. Насилу отыскалъ. Всю Москву обѣгалъ, по всѣмъ проулкамъ кричалъ, не видалъ ли кто добра твоей милости; ужъ на возвратномъ пути, у пожарища

нашелъ: объѣздный привелъ; не прикажешь ли объѣздному что̀ пожаловать за труды?...»

— «И не слѣдуетъ: онъ свое дѣло дѣлалъ; да можешь дать ему полтину. А гдѣ они?»

Радостно встрѣтилъ Степанычъ своихъ людей; недоставало колымажнаго ямщика, котораго на пожарѣ съ козелъ столкнули.

«Видно, ушибли больно,» подумалъ онъ и приказалъ сѣдлать своего любимца, Орлика. Сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія, Степанычъ уѣхалъ къ фендриху на ученье. Чевушкинъ, размѣщая лошадей и повозки въ разныхъ зданіяхъ своего двора, не преминулъ разспросить людей порядкомъ и, получивъ всѣ дополнительныя свѣдѣнія, которыхъ вчера не могъ добиться у соннаго Сергѣя, отправился въ большую избу, вынулъ половицу и досталъ изъ-подъ пола десть клейменой бумаги. Отобравъ два листа подъ среднимъ гербомъ, Чевушкинъ усѣлся у окна и дупкомъ исписалъ четыре столбца, въ которыхъ съ подробностію поименовалъ всѣ убытки, понесенные имъ отъ пожарнаго случая. Кончивъ, Чевушкинъ раза два перечиталъ выемку или осмотръ объѣзднаго, и сталъ писать челобитную. Въ это самое время вошелъ Лукомкинъ.

— «Здѣсь остановился Иванъ Степанычъ?»

— «Совершенно здѣсь и нигдѣ индѣ.»

— «А гдѣ же моя жена?»

— «Почивать изволитъ.»

— «А зять?»

— «Уѣхали на муштры къ Лафертовскому, къ

фендриху Кусточкину: сегодня будутъ въ конской службѣ упражняться. Обѣщали скоро вернуться...»

— «Экой онъ! Степанъ Яковлевичъ спрашивать его изволитъ»

— «Не послать ли верховаго?...»

— «Авось скоро вернется...»

— «Ты здѣсь!» раздался голосъ Малаши, и Лукомкинъ пошелъ къ женѣ.

— «Степанъ Яковлевичъ спрашиваетъ...» бормоталъ Чевушкинъ, продолжая писать. «А можетъ онъ и съ губернаторомъ знакомъ, не дай Боже.. Хорошо бы, чтобы и этотъ новый большой чинъ ничего не провѣдалъ... А важное челобитье!.. Пусть разберутъ. О чемъ челомъ бьетъ? Прочесть нельзя. Да зачѣмъ читать? Изъ выемки явствуетъ То объѣзднаго писарь писалъ, такъ и четко, а челобитную я самъ, калѣка, старецъ шести десятковъ, такъ гдѣ уже мнѣ бойко строчить!... А бумагу гдѣ взялъ? Отъ старыхъ дѣлъ осталась, оттого и пожелтѣла, оттого и клеймо на ней старое... А принимать указано до перваго марта... Охъ, какъ бы Богъ благословилъ сбыть остатки!»

Въ такихъ и подобныхъ размышленіяхъ Чевушкинъ дописалъ челобитную и отправился наверхъ, въ свѣтлицу, гдѣ покотомъ покоился бабій легіонъ.

— «Вставай, моя команда!» сказалъ онъ тихо: «Дѣла много! Слушать и слушаться! Матушкѣ моей, купно съ дочерьми Анной, Нимфодорой, Маремой и Глафирой идти немедля къ Пелагѣ Сильвановнѣ, и писаніе это вручить Кудимычу, чтобы подписью справилъ и съ разсыльщикомъ сюда прислалъ. А

что вамъ дѣлать, онъ объявитъ. Дѣло важное; не мѣшкайте. Отъ вашей мѣшкоты мнѣ и вамъ ущербъ учинится!»

Старикъ, видно, пріучилъ домочадцевъ къ повиновенію. Старуха и за нею четыре дородныя внучки проворно унли съ бумагой.

— «Ну...» сказалъ Чевушкинъ: «теперь ваша очередь! По нѣкоимъ резонамъ, крайне важнымъ, не могу, окромя родной фамиліи, никого у себя держать на харчахъ и постоѣ; понеже указомъ начальства ко мнѣ и воинская и гражданская команда на цѣлый мѣсяцъ поставлена; а что вы внесли, любезные родичи, въ казначейство мое наличностью, за харчи и постой впередъ, то частію плату означенную вы отстояли и откушали, а что остается, то будетъ зачтено вамъ, когда, по мининованіи казенной нужды, въ домъ мой вернетесь. Того для немедля собирайтесь въ путь и очистите пристанище царскимъ людямъ...»

— «Ты намъ деньги подай, такъ мы еще спасибо скажемъ, что развязались съ такимъ скрягой; полмѣсяца пройдетъ, онъ и проситъ съ насъ деньги за другой мѣсяцъ; а не заплатишь, ѣсть не даетъ; тѣмъ и держитъ насъ у себя противъ воли... Такъ подай деньги...»

— «Деньги?—Я у себя денегъ на дому не держу, воровской и пожарной опасности ради. Деньги въ честныхъ рукахъ; радъ бы, да никто не въ терминъ не отдастъ. Да что, развѣ ваша деньга пропадала? Отъѣдите и отстоите опосля.»

— «Подавись ты, скряга поганый!» сказала

золовка, и послѣ небольшихъ преній, родственницы, захвативъ узелки, разбрелись. Каждая, на прощанье, оставила хозяину грубое словечко, но миролюбивый Чевушкинъ только откланивался.

— «Ну! разнесла ихъ нелегкая! Теперь ты, Анфиза Карловна, и вы, дѣтки мои, малолѣтки, забирайте всю мягкую рухлядь отсюда и несите въ баню...»

Тутъ ужъ никакого прекословія не было. Въ полчаса фамилія окончательно переѣхала въ баню, а письменный столъ съ снарядомъ помѣстился въ передбанникѣ... Сергѣй, обезпокоенный переѣздомъ гостей, долженъ былъ съ ужасною головною болью также переѣхать на сѣновалъ, гдѣ впрочемъ сѣна не было. Когда Степанычъ возвратился отъ фендриха, его встрѣтили на крыльцѣ Лукомкинъ съ женою и Чевушкинъ. Узнавъ о приглашеніи Колычева, Степанычъ изъявилъ досаду.

— «Тьфу ты, какъ не кстати!» сказалъ онъ. «Хотѣлъ пойти, поискать хоромъ какихъ пустыхъ, да нанять, да поустроиться...»

— «А на что милости твоей хоромы, когда мои есть? Я тебѣ весь домъ опросталъ. И размѣщеніе самое удобное. А мы съ семьей потѣснимся. Не навѣкъ же наймешь. Стерпится...»

Степанычъ сомнительно посмотрѣлъ на Чевушкина и сказалъ: — «А что на мѣсяцъ?...»

— «Богатые люди, деньги дрянь, деньги плёвое дѣло, деньги трынь-трава, а еще торгуются!...»

— «Не боюсь я никакого плута на свѣтѣ и го-

товъ у тебя жить, да отъ плутовства себя ограждаю. Говори напрямки, а не то сейчасъ съѣду...»

— «Самъ положи цѣну, милостивецъ: прекословить не буду...»

— «Десять рублей...»

— «За-глаза довольно! Кланяюсь и благодарствую. Можетъ быть, мнѣ вѣрить не изволишь, такъ задаточекъ пожалуешь...»

— «Художникъ, нечего сказать: умѣешь перевернуть дѣло...»

— «Навыкъ, батюшка, на службѣ. Всякое случалось. Родъ людской такой сталъ, что и моей старости не вѣрятъ.»

— «Вотъ тебѣ за мѣсяцъ впередъ, только не забудь, что я по нуждѣ и самъ не хуже иной приказной піявки...»

— «И недиво! съ такимъ умомъ! Весь я твой и по гробъ мой готовъ служить твоей милости...»

— «Перестанешь ли ты?» сказалъ Лукомкинъ. «Пойдемъ къ Колычеву...»

Чевушкинъ съ низкими поклонами проводилъ до воротъ постояльцевъ и занялся заготовленіемъ провіанта и фуража.

— «Груня!» сказалъ онъ дочери: «постельный слуга господина нашего боленъ, такъ ты пока за него будешь на послугахъ; поди-ка убери все къ столу почище, а ты, Анфиза, пошла съ Соней на кухню, разведи огонь, а я сбѣгаю въ обжорный рядъ, достану снадобья получше.»

Чевушкинъ отправился, въ воротахъ принялъ отъ разсыльщика выемку или свидѣтельство объ-

вздняго и побѣжалъ къ Кремлю. Почти въ одно время съ своими постояльцами вошелъ онъ въ ворота и, давъ имъ отойти впередъ, опять рысью пустился въ канцелярію. Тамъ была такая толпа, что только одно искуство Чевушкина могло пособить горю, и Чевушкинъ пробрался къ самому зерцалу.

— «Тебѣ что надо?» спросилъ оберъ-полицймейстеръ, допрашивавшій какого-то сподвижника Пахомыча.

— «Милосердія и жалости великаго государя, отъ него же идетъ всякая помощь погорѣлымъ...»

— «А что у тебя погорѣло?»

— «А вотъ тутъ прописано...»

— «Подай и приходи за отвѣтомъ послѣ завтра...»

— «Дворъ мой нынѣ не имѣетъ никакого ограждения. Буде ждать три дни, хищники и тати разнесутъ добро мое. А безъ указа городить не смѣю, да будетъ въявѣ весь ущербъ мой...»

— «Пустяки! Городи-себѣ; тутъ есть выемка: такъ другой разъ свидѣтельствовать нечего.»

— «Истинно и премудро. Кланяюсь и благодарствую. Иду ограждаться...»

— «Ступай, старикъ, ступай!»

И съ тѣмъ же искуствомъ Чевушкинъ выпырнулъ изъ канцелярскихъ волнъ.

— «Простоватъ!» сказалъ онъ съ улыбкой уже на площади. «И не спохватился, какъ надули. Ну, это уладилось. Теперь, что имъ къ обѣду искупить такое, что бы и дорого было и дешево?.. Ну, этого-

такъ не придумаешь; надо на мѣстѣ резолюцію учинить...»

И Чевушкинъ отправился въ обжорныя лавки.

Между тѣмъ Лукомкинъ и Степанычъ вошли къ столяшнику. О нихъ доложилъ уже не секретарь, а разсыльный солдатъ.

— «Милости просимъ!» сказалъ Колычевъ. «Все знаю. Попались воры. На самого сыщика набѣжали.»

— «Видно...» перебилъ губернаторъ, который сидѣлъ возлѣ Колычева, въ богатомъ золотомъ кафтанѣ: «видно, хотѣли поздравить Лукомкина съ царскою милостью. За прежніе труды и подвиги пожалованъ ты въ капитанъ-лейтенанты и въ унтеръ-лейтенанты гвардіи въ Семеновскій Полкъ. Поздравляю!»

Лукомкинъ не вѣрилъ своему счастію. Изъявленія его благодарности такъ были неловки, что заставили губернатора сказать:

— «Полно, полно! Себя благодари; ты и досказать мнѣ не далъ. Жалованье тебѣ пойдетъ по новому чину, а ты останешься при сыскныхъ дѣлахъ дотолѣ, пока не пріищу достойнаго на твое мѣсто...»

— «А ты, молодецъ!» сказалъ Колычевъ: «слышалъ я и о твоихъ проказахъ. Такъ шалить можно, да съ оглядкой! Фендрихъ также мнѣ хорошо аттестовалъ тебя; я и вспомнилъ, что обѣщалъ тебѣ грамотку къ отцу префекту. Вотъ она! Ступай! Тамъ есть чему поучиться; только гляди, чтобы служба отъ ученія не потерпѣла. Я пробуду

здѣсь почитай мѣсяцъ. Учись и уму и службѣ; а какъ только снимусь въ Питербурхъ, и ты за мной; хочу слѣдовать за твоими форпритами, то есть, успѣхами. А пока, что́ нужно, двери мои открыты.»

Лукомкинъ побѣжалъ домой обрадовать жену, а Степанычъ, почтительно держа въ рукахъ дорогое письмо, пошелъ въ Греко-Славяно-Латинское Училище... Отецъ префектъ принялъ его весьма милостиво и назначилъ ему въ наставники ритора Ѳеофраста Квинтилиануса, который въ дѣйствительности назывался Ѳедькой Краснобаемъ. Квинтиліанусъ былъ изъ поповскихъ дѣтей; съ молоду обученъ хорошо грамотѣ и въ училищѣ въ короткое время ученіемъ пріобрѣлъ первое мѣсто между риторами. Ученіемъ, говорю, потому что поведеніемъ онъ также занималъ первое мѣсто между повѣсами и синтаксиса и риторики и философіи. Но геній проказъ умѣлъ всегда скрываться отъ зоркаго ока префекта, такъ что Квинтиліанусъ и по кондуитнымъ спискамъ отмѣчался: отличнаго поведенія. Квинтиліанусъ чрезвычайно обрадовался порученію, потому что оно подавало поводъ къ частымъ изъ училища отлучкамъ, которыя префектъ даже философамъ разрѣшалъ съ большими затрудненіями. Условились, въ какое время Квинтиліанусу навѣщать ученика, и разстались. Степанычъ поспѣшилъ домой, чтобы раздѣлить радость супруговъ; но! увы горе съ веселіемъ сосѣди. Въ воротахъ еще Степанычъ повстрѣчалъ разсыльщика.

— «Ну, господинъ унтеръ-лейтенантъ гвардіи Семеновскаго Полка...» сказалъ Степанычъ, входя

въ комнату. «Давай-ка я тебя еще разъ поздравлю...»

— «Ужъ правду сказать, есть съ чѣмъ! Никогда отъ службы не отвѣкивался. Видитъ Богъ, и въ сраженіяхъ былъ, и отъ пуль не откланивался, и на штыки шелъ, да хотѣлось отдохнуть маленько. Вотъ тебѣ и отдыхъ!» Лукомкинъ указалъ на бумагу, лежавшую на столѣ.

— «А что такое?»

— «Нарядъ! И опять туда же! Въ другое время съ какою бы великою радостью полетѣлъ я на Старую Усадьбу, гдѣ мое благополучіе возъимѣло начало; а теперь хотѣлось бы въ столицу...»

— «Да вѣдь разбойники изловлены.»

— «Правду говорила Евдокимовна: рыбій притонъ больно выгоденъ для разбойниковъ; перебралось туда опять многое число; большіе два купецкіе обоза ограбили; подъ городокъ подходили; изъ указа вижу, что ихъ немало. Приказано взять вдвое больше команду и пушку. Губернаторъ не скрываетъ опасности и возлагаетъ надежду на меня одного. Лестно. Онъ имѣетъ право отъ меня требовать всего — и я, хоть и горько, ѣду завтра же...»

— «А Малаша?»

— «Что за вопросъ! Я безъ него не останусь! Я хоть и люблю брата, дороги вы мнѣ оба, да тебѣ тутъ въ Москвѣ скучно не будетъ, а Семенъ стоскуется... Я ѣду съ Семеномъ...»

— «Я это зналъ, Малаша; дорогая супружница и половина бремени съ плечъ долой...»

— «Постой!» закричалъ Степанычъ. «Видно, и моему замыслу приспѣло время... А вотъ кстати и хозяинъ!»

Чевушкинъ, отнеся на кухню провизію, шелъ съ Груней на послуги дорогимъ своимъ гостямъ.

— «Изо всего вижу,» сказалъ Степанычъ Чевушкину: что ты приказная птица...»

— «Служилъ, да ничего не выслужилъ.»

— «Мнѣ до этого нѣтъ дѣла, а вотъ что: у меня много отчинъ, да на Москвѣ расходъ великъ; въ Питербурхѣ еще больше будетъ; надо денегъ; такъ я вотъ и занялъ у капитанъ-лейтенанта и гвардіи унтеръ-лейтенанта Семена Романовича Лукомкина, три тысячи рублей золотомъ, которые и обязуюсь уплатить ему въ усадьбѣ моей, въ Костыльковкѣ, черезъ приказчика моего, Ваньку Ломжина, а буде не уплачу въ мѣсяцъ, то волент онъ за тѣ деньги, безъ суда, взять отчину мою, Старую Усадьбу, въ вѣчное и потомственное владѣніе со всѣми угодьями, какъ она отцу моему досталась отъ бывшаго той усадьбы владѣльца Степки Петрова сына Полоскова; а буде Ванька чинить препятство будетъ въ уплатѣ моего долга или въ отдачѣ по условію волости, то волент онъ, Лукомкинъ, того Ваньку, а не иного кого изъ людей моихъ, въ приказъ взять и съ правежа искъ свой доправить. Ну, понялъ?»

— «Понять-то я понялъ, да не возьму въ толкъ, что твоей милости угодно? Дома можно только заемную крѣпость начернить, а писать надо на площади у служилыхъ подъячихъ, и такъ одному

нельзя, надо по малой мѣрѣ пять послуховъ съ собой взять: Сумма изрядная; не запинаетъ подъячіе безъ послуховъ. Не изволь безпокоиться. За нѣкоторую плату я тебѣ послуховъ поставлю; клейменую бумагу тоже искуплю; къ вечеру крѣпость будетъ готова...»

— «Ну, поворачивайся! Надо успѣть...»

— «Что ты хочешь дѣлать?» спросилъ изумленный Лукомкинъ.

— «Неужели тебѣ не ясно? Простой случай свое добро воротить безъ всякой тяжбы; ни пикнетъ; а достояніе отца воротится къ Малашѣ.»

Сказавъ это шепотомъ Лукомкину, Степанычъ обратился къ Чевушкину:

— «Ну, что же ты стоишь?»

— «Отчего это вы» умильно прервалъ старикъ: «не изволите по саду прогуляться?..»

— «А зачѣмъ?»

— «А затѣмъ, что погода ясная; тепло, будто лѣтомъ; а тутъ надо въ комнатѣ и прибрать и къ обѣду приготовить то, другое. Вотъ и Груня затѣмъ пришла.»

— «Мы не мѣшаемъ. Вкусно пообѣдаешь, когда къ столу такая красавица все изготовитъ. Пусть она свое дѣло дѣлаетъ, а ты займись своимъ...»

Старикъ почесался.

— «А знаете ли, я вамъ забылъ сказать, что больной васъ спрашивалъ,» продолжалъ старикъ.

— «Меня?»

— «Всѣхъ, и капитана, и Меланью Степановну, всѣхъ, всѣхъ...»

— «Пойдемъ...»

— «Да я-то изъ чего пойду?» спросила Меланья.

— «Желаетъ познакомиться, а встать ему не мочно.»

— «Пойдемъ, пойдемъ! Бѣдный, я про него совсѣмъ забылъ.»

И взявъ за руку Меланью, Иванъ Степанычъ пошелъ въ другую комнату, куда за ними отправился и Лукомкинъ.

— «Выжилъ!» шепнулъ радостно старикъ. «Ты поила воинъ, Груня. Погоди меня у дверей! Кликну.»

И половица поднялась; пукъ клейменой бумаги вытащенъ и спрятанъ подъ камзолъ; половица опустилась...

— «Груня!» громко сказалъ старикъ: «что же ты стола не накрываешь? А? Чего зѣваешь! Скоро полдень!.. Поворачивайся, а я пойду крѣпость писать, послухи собирать...»

И старикъ, впустивъ Груню, самъ выскользнулъ и прямо въ баню. Груня не заблагоразсудила торопиться; подошла къ дверямъ и хотѣла посмотрѣть что тамъ дѣлается. Только-что придвинула глазокъ къ дверямъ, вскрикнула ахти и отскочила; тѣмъ же соглядатайствомъ занимался и Степанычъ, такъ что не будь дверей—ихъ головы непремѣнно бы столкнулись. Степанычъ отворилъ маленько двери и сказалъ:

— «Не пугайся, моя милая, это я.»

— «Такъ что жъ, что ты?» раскраснѣвшись отвѣчала Груша, перебирая посуду.

— «А ты на кого же хотѣла посмотрѣть?»

— «Ни на кого. На двери. Хотѣла запереть.»

— «Ну, такъ я запру.»

— «Запирай...»

— «Право запру...»

Груша молчала, и Степанычъ дѣйствительно заперъ двери и занялся больнымъ. Молодому дворянину стало чувствительно легче; по совѣту Степаныча, онъ еще свечера отвергъ аптекарскія травы и ноги на покоѣ стали отходить замѣтно.

— «Вотъ видишь, послушался и легче...»

— «И впередъ слушаться буду. Ты мнѣ второй отецъ. Хозяинъ мнѣ разсказалъ, какъ ты меня вынесъ изъ пожара, какъ дочери его покрыли и согрѣли меня...»

— «Пдутъ...»

— «Какъ онъ всю ночь навѣдывался про меня...»

— «Лгунишка...»

— «И всѣмъ я обязанъ тебѣ, Иванъ Степанычъ, и никогда добра твоего не забуду...»

— «Полно, полно...»

— «И маменькѣ напишу, и начальству объявлю, пусть въ курантахъ припечатаютъ...»

— «Да перестань же...»

— «Ну, ужъ ты себѣ какъ тамъ хочешь, а Евгеній Николаевъ Жатый никогда неблагодарнымъ не будетъ...»

— «Хорошо, хорошо! А не хочешь ли закусить чего?»

— «Смерть ѣсть хочется...»

— «Отчего же молчишь?.. Аграфена Кирилловна!

— «Что тебѣ надо?»

— «А скоро ли обѣдать?»

— «Какъ подадутъ.»

— «А скоро ли подадутъ?»

— «Когда прикажешь.»

— «Я попросилъ бы сейчасъ.»

— «Ну, такъ сейчасъ и подадутъ...»

Не прошло и минуты, Груня изъ другой комнаты закричала «готово» и началась трапеза. — Къ концу обѣда, который нельзя сказать, чтобы очень былъ продолжителенъ, явился Чевушкинъ съ бумагами. Въ петлицѣ у него на снуркѣ висѣла чернильница, за ухомъ перо, подъ одною мышкой клейменая бумага, подъ другою черновая заемная крѣпость. И онъ, подобно дочери, сказалъ: — «Готово, только требуются имена, для коихъ я пробѣлы оставилъ...»

— «Читай!»

Чевушкинъ читалъ и тутъ же пополнялъ пробѣлы. Запись, которая легко могла умѣститься на одной страницѣ, была написана на трехъ листахъ, въ два столбца; почти вся десятая глава Уложенія и болѣе десяти новыхъ указовъ помѣстились въ крѣпости во всей своей полнотѣ съ числами, заглавіями и заключеніями.

— «Длинно...» замѣтилъ Степанычъ.

— «За то по указамъ, а гербовую бумагу я искупилъ...»

— «Видѣлъ, видѣлъ!» улыбаясь, сказалъ Степанычъ. «Ну, что же теперь надо дѣлать?»

— «Зачѣмъ преждевременно милости твоей обез-

покопаться? Я пойду на площадь, отдамъ подъячему Лизунову, самому бойкому; часа въ два перебѣлитъ.»

— «Да какъ же ты усѣлъ въ полчаса?»

— «Указы и прочія вещи что̀ надлежитъ, у меня готовые есть, про случай; а заголовокъ и справка небольшія; черкнулъ, и готово; ну, а подъячему надо на клейменой бумагѣ писать; такъ не диво, что провозится. Такъ я пойду; а часа черезъ два изволь приходить, руку приложить; а послухи безъ тебя приложатъ, чтобы не задержать... Только имъ надо заплатить. Нынче даромъ никто на алтынъ ничего не подпишетъ...»

— «А по сколько?»

— «Сегодня дешево удалось нанять; по два...»

— «Что̀ по два?»

— «По два рубля...»

— «Старикъ, видно, отъ старости у тебя памяти не стало. По два полуполтинника, то есть по полтинѣ, туда-сюда; а по два рубля, гдѣ это видано!»

— «Какъ изволишь; мое дѣло сторона.»

— «Ну, а бумагу почемъ покупалъ?..»

— «Бумага? На бумагу такса, подъ орломъ напечатано.»

— «Ну, да почемъ?»

— «Извѣстно почемъ... по указу... деньги большія, такъ и бумага подъ большимъ гербомъ, по десяти копѣекъ столбецъ; прійдется столбцовъ двадцать четыре, такъ и денегъ два рубля со-

рокъ; да про запасъ взялъ; та, пожалуй, мнѣ останется; я за нее денегъ не возьму; другому услужу ..»

— «Нѣтъ, не хочу! дорого!. »

— «Да развѣ казенное клеймо не указываетъ?..»

— «Говорю тебѣ, дорого; и за что мнѣ деньги платить, когда я только нагнусь, да сколько душѣ угодно листовъ изъ-подъ полу вытащу...»

И черновая и листы и перо разлетѣлись по комнатѣ отъ такой неожиданной рѣчи... Старикъ присѣлъ отъ ужаса.

— «Ну, Кирилла Александровичъ!» сказалъ Степанычъ подымаясь: «подбери-ка листы, да бѣги на площадь; по слухамъ твоимъ всѣмъ на братью жалую рубль, а что до бумаги принадлежитъ, разочтемся...»

— «Государь-господинъ...»

— «Молчи, хуже будетъ! Ступай и старайся заслужить мою милость.»

— «Удивительно!..» сказалъ Степанычъ, когда старикъ дрожащими руками подобравъ листы, вышелъ изъ комнаты. «Давно ли мы на Москвѣ, а сколько зла; и сбоку и спереди и сзади и подъ ногами, а это чистое небо все видитъ, все терпитъ, все покрываетъ! Самъ я... Но, право, у меня совѣсть покойна; знаю чего и я достоинъ, но, клянусь, не дрогну передъ казнью...»

Напрасно капитанъ-лейтенантъ успокоивалъ солдата; онъ не могъ развеселиться и съ тайною грустью пошелъ на площадь. Старикъ не обманулъ. Все было переписано и, къ удивленію Степаныча, умѣстилось на одномъ листѣ новаго клейма; по-

слуховъ хотя и не было на лицо, но подписяхъ были на мѣстахъ. Степанычъ приложилъ руку въ крѣпости и въ книгѣ; заплатилъ пошлины по таксѣ, даже ничего не прикинулъ за труды, и немало удивился, когда площадной подъячій проводилъ такого скупаго барина нижайшими поклонами. Вечеръ провели они вмѣстѣ, у постели больнаго; но въ большой избѣ неотступно пребывалъ Сергѣй и не поддавался ни на какіе соблазны Чевупкина, котораго даже не впускали въ комнату, а переговоры съ нимъ вели черезъ двери. Рано поутру на другой день Лукомкинъ откланялся начальству, получилъ подорожную и прогоны, отправилъ въ путь команду, а самъ уже ввечеру отправился съ женой въ путь-дороженьку, въ красивой московской кибиткѣ на помочахъ. Съ ихъ отъѣздомъ кончился періодъ дѣятельности Степаныча на поприщѣ публичномъ. Утро онъ проводилъ у фендриха, вечеръ дома въ бесѣдѣ съ Квинтиліанусомъ и больнымъ товарищемъ. Хозяина не приказано было пускать на глаза постояльцамъ и всѣ хитрости Чевупкина не имѣли успѣха. Эта затворническая жизнь Степаныча даетъ намъ время также отправиться въ путь и посѣтить нашу Костыльковку.

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ПРАВЕЖЪ.

Стало холодно. Русская осень хуже всякой иноземной зимы: дождь, снѣгъ, изморозь, слякоть, то

есть просто не время, а Богъ знаетъ что́ такое; день на часахъ тотъ же, да на дѣлѣ втрое длиннѣе: конца нѣтъ. И дѣлать-то нечего, особенно не зеленскимъ рукамъ. Ни охоты, ни катанья; будь разбогатъ, ничего не придумаешь. Книги... Гм! Какія тогда были книги? А впрочемъ странно, какъ это на Руси, гдѣ была письменность, Уложеніе, даже писатели, не было рѣшительно книгъ, потому что переводы, изданные по указу Царя, не могли еще интересовать деревенскихъ помѣщиковъ, и потому въ провинціи не доходили. Впрочемъ, такъ было скучно въ Костыльковкѣ отъ дождливой осени, что Иванъ Степанычъ рѣшился бы даже читать, если бъ умѣлъ, слушать, какъ другіе читаютъ, если бъ были книги, но, увы, книгъ, какъ сказано, не было. Сидоръ пересказалъ всѣ сказки, какія зналъ, раза по три; Груша не знала ни одной сказки, а та, что́ разсказывала, была нестерпимо скучна. Слезы, да попреки, да тоска, которую Иванъ Степанычъ не могъ ничѣмъ разогнать. И самъ-то онъ, какъ отпустилъ Степаныча, сталъ не тотъ. Пуганая ворона куста боится. Чуть заслышитъ стукъ колесъ, прячется. Да и какимъ радостнымъ гостямъ быть въ Костыльковку! Изъ городской чиновности ни одна душа не смѣла заглянуть въ прежнее Эльдорадо. Только одна Меланья Ивановна почти регулярно разъ въ недѣлю навѣщала Костыльковку. Она заѣзжала сюда по дорогѣ въ монастырь, который стоялъ за Кудимовкой, и обыкновенно жаловала поздно ввечеру. Переночевавъ, отправлялась чуть свѣтъ на богомолье, а на

возвратномъ пути изволила полдничать и къ вечеру появлялась въ провинціи. Такъ какъ мы находимся нынѣ въ губерніи, то, по настоящему, намъ и дѣла никакого нѣтъ до провинціальныхъ нашихъ знакомцевъ; но полнота того требуетъ, чтобы увѣдомить читателя объ одномъ весьма важномъ обстоятельствѣ, возмутившемъ нашу провинцію. — Въ послѣдній разъ, какъ воеводиха проѣзжала на богомолье, сообщила она Костылькову важную новость. «Вчера,» такъ говорила она: «передъ вечернями, мы только-что встали ото сна, Максимъ спросилъ квасу. Принесли брусничнаго, моего издѣлія: то есть, не квасъ, а малина; Максимъ только-что нацѣдилъ кружку; гляжу: облизывается, снаровляется какъ бы повкуснѣе выпить; вдругъ — застучало что-то у окна. Драгунъ вошелъ. Я такъ и обмерла. Думаю: — Ну, что ни есть безъ меня дуракъ отпустилъ глупаго; вѣрно за Максимомъ... Подалъ драгунъ указъ. Максимъ читаетъ покойно; ну, думаю, не о немъ; онъ у меня такой трусъ, что руки бы задрожали. Прочелъ и сказалъ драгуну: — Ступай въ канцелярію и я туда прійду. Драгунъ и пошелъ. Я кричу: Ну! — А онъ: — Попались, ребята! Галунчикова не жаль, такъ-себѣ мошенникъ, да и ненадежный, а Лукичъ мастеръ своего дѣла; безъ него прійдется самому все справлять. — Да куда же ихъ?.. — Никуда. Отставить и впредь никуда во всей провинціи не принимать... — За что? — Э, когда бы было написано, я бы и объявилъ. Ну, надо пойти въ канцелярію, позвать

виновныхъ и губернаторскій указъ объявить. Одного не пойму, за что́ имъ опала, а мнѣ милость. Похваляетъ мое усердіе... Къ чему? Я, признательно, только къ тому усерденъ, что́ моимъ интересамъ и супругѣ моей Меланьѣ Ивановнѣ угодно... Это онъ, знаешь, Иванъ Степанычъ, на тебя намѣкалъ...

— «Ну, что жъ,» перебилъ Костыльковъ: «и отставили?..»

— «Отставили.»

— «Что жъ, больно огорчились?»

— «Куда! Перекрестились и сказали: слава Богу.»

— «За что?»

— «Видно, не одной отставки ожидали...»

— «Что́ жъ они теперь дѣлать станутъ? Помрутъ съ-голода?»

— «Э, какъ бы не такъ. Мало ли они на своихъ мѣстахъ сидѣли? Знали, что́ скользко и что́ нужно, приберегли. Съ голода? Не таковскіе. Поѣдутъ въ другую провинцію, въ другую губернію, гдѣ ни ихъ, ни о нихъ не знаютъ, поищутъ воеводу по-себѣ и одурачатъ. Ну, голубчикъ, пусть ихъ преподаютъ, лишь бы ты былъ цѣлъ. Ужъ какъ мнѣ дорого обошлось уломать Максима! Больно хотѣлъ послать тебя на службу, да я какъ приняла его по-своему; до кочерги дошло; ну, да помогъ Богъ управиться: на своемъ поставила. Максимъ и теперь все побаивается. То и дѣло вздыхаетъ, а тутъ еще и земскаго коммиссара изъ губерніи прислали; сержантомъ былъ въ пол-

ку, такъ самъ подумай, какой съ нимъ трудъ будетъ. Да все трынь трава; сладимъ, лишь бы ты, мой голубчикъ, здравствовалъ...»

Костыльковъ вздохнулъ. И было изъ-за чего. Положеніе его становилось невыносимымъ; воеводиха одна чего стоила; Степанычъ не шелъ съ ума; и Маланна не разъ являлась ему во снѣ и что-то ужасное разсказывала; да и Груша явно ненавидѣла его; и воли-то прежней не было. Онъ не охотно оставлялъ хоромы свои, чтобы не повстрѣчаться съ предателемъ, и Сидоръ доносилъ, что люди по-своему всякой вздоръ толкуютъ. Откупился отъ службы дорогою цѣною Иванъ Степанычъ. Были у него и друзья, не безъ того: крѣпкій медъ, вино заморское, наливки и настойки; съ ними онъ мыкалъ свое горе; поутру спалъ до обѣда; послѣ обѣда до ужина, и въ короткое время натура Ивана Степаныча стала жаловаться на коварныхъ друзей. Виноватъ. Позабылъ. Еще другъ былъ у Костылькова; но, по званію, Сидоръ не смѣлъ вступаться въ домашнюю жизнь барина. Любя его по привычкѣ, онъ однако же ухищрялся по-своему; затѣялъ карты, жмурки, веревочку; перевелъ дворовыя посидѣлки въ барскія хоромы. Ивану Степанычу больше всего нравились жмурки; онъ нещадно жарилъ жгутомъ Дуняшку, дочку Сидора, которая, надѣясь на заслуги отца, умѣла защищаться противъ костыльковскихъ замашекъ. Странное, безотчетное уваженіе къ старому Сидору спасало Дуню отъ послѣдствій такой дерзости, но за то въ жмуркахъ никто такъ часто

не попадался подъ завязку и не получалъ такихъ искренныхъ ударовъ, отъ всей души и отъ всей руки. Дуня оттерпливалась и отмалчивалась, надѣялась когда-нибудь тѣмъ обезоружить мстителя.

Въ этотъ несчастный вечеръ мѣра терпѣнія ея, однако же, исполнилась. Неловкій ударъ жгута пришелся по рукѣ въ такомъ мѣстѣ, что Дуня не выдержала, сорвала платокъ и зарыдала.

— «Богъ тебя накажетъ!» сказала она, и въ то же время запыхавшись вбѣжалъ конюхъ.

— «Разбойники!» закричалъ онъ...

— «Гдѣ?» вскрикнули всѣ.

— «Версты двѣ отселѣ, не больше.»

— «Ты какъ ихъ завидѣлъ?..»

— «Я былъ у тетки, у Евдокимовны, за недугомъ. И полечить не успѣла. Нагрянули. Она въ оврагъ ушла, а я, на коня, да и отъѣхалъ. Гляжу издали: собралось ихъ, примѣрно, больше сотни; куда! Пошли по нашей дорогѣ. Куда же имъ быть, какъ не въ Костыльковку?..»

Костыльковъ совершенно растерялся, но Сидоръ немедленно распорядился; что̀ подороже, прибрали; казну, которая отъ разныхъ растратъ поуменьшилась значительно, а осеннимъ доходомъ еще не пополнилась, частію забралъ самъ, частію передалъ дочери, и не слушая Костылькова, скомандовалъ: «Въ лѣсъ, на провинцію!..» Едва они вышли въ улицу, какъ въ верстѣ услышали странный выстрѣлъ, какого никто изъ костыльковскихъ жителей въ жизни своей не слыхивалъ. Только одинъ Сидоръ догадался въ чемъ дѣло и закричалъ:

— «Смирно! Это пушка! Видно, конюхъ съ болѣзни царскихъ людей за разбойниковъ признялъ... Нечего намъ спѣшить. Уйти успѣемъ. Не людей имъ надо, а добычи. Женскій полъ! ступай въ лѣсъ. Старикъ Кирилла пускай идетъ съ ними: а мы притаимся за плетнями; разбойники, такъ спрячемся и когда взойдутъ на усадьбу, мы уйдемъ; а если они отъ царскихъ людей бѣгутъ, дадимъ отпоръ; своротятъ и Костыльковка уцѣлѣетъ. Слышишь! Опять пушка! Не у воровъ же арматы водятся! А если бъ и у воровъ, такъ въ чистомъ полѣ безъ нужды тѣшиться не будутъ. Слышишь! пальба! и стрѣляютъ складно. Хватай колья изъ забора, становись на отпоръ. У кого вещи есть, передай бабамъ. Женскій полъ! оставайся! Съ нами крестная сила! Смирно!»

Стало тихо, какъ передъ бурей. Вдали слышны были выстрѣлы и крики смерти, отчаянья, команды и тому подобныя всякія восклицанія. Густой толпой, хотя и въ безпорядкѣ, бѣжало до ста человѣкъ прямо на Костыльковку. Гарнизонъ Сидора съ бабами не простиралъ и до пятидесяти человѣкъ, хотя изъ конюшенъ, анбаровъ, кухни и сторожекъ пришли къ нему немалыя команды; но одна изъ нихъ была весьма важная. Это псарь съ своими ратниками. По его свистку высыпали псы авангардомъ и бросились на встрѣчу гостямъ: то были отлично обученыя гончія, которыя у страстнаго начальника и въ Костыльковкѣ исправляли двѣ службы... Напоръ ихъ былъ такъ значителенъ, что удержалъ толпу на мгновеніе; тутъ псарь не выдержалъ;

сталъ кричать и весь гарнизонъ вмѣстѣ съ бабами произвелъ такой крикъ и гамъ, что разбойники, оглушенные пушечными выстрѣлами, и неожиданною встрѣчей военной команды, были увѣрены, что въ плетняхъ костыльковскихъ ожидала ихъ засада, но, не выждавъ сигналу, преждевременно подняла тревогу. Въ страхѣ толпа разбрызнулась на обѣ стороны и побѣжала цѣликомъ по полямъ, кто налѣво, кто направо. Но военная команда, видно, была хорошо знакома съ мѣстностью и драгуны поспѣшили отрѣзать бѣгущихъ отъ луговой стороны. Сидоръ, угадавъ диспозицію, вышелъ изъ плетней и потянулся къ прудамъ, чтобы не впустить татей въ усадьбу. Сраженіе было сообща такъ хорошо разъиграно, что изъ шайки разбойниковъ, въ которой, какъ оказалось, было около трехъ сотъ человѣкъ, не ушло и двадцати. Много было побито картечью, много холоднымъ ружьемъ; но бо́льшая часть взята военноплѣнными. Храбрость заразительна. Не только костыльковскіе парни, но даже бабы въ огородѣ захватили одного разбойника, больше изъ страха, чѣмъ изъ ратной доблести. Какъ бы то ни было, сраженіе кончилось уже на улицѣ между плетней. Военная команда по сигналу стала собираться къ мосту, перекинутому черезъ ручей у самой усадьбы, и Костыльковъ поспѣшилъ въ хоромы, чтобы поскорѣе спрятаться отъ опаснаго глаза и спрятать женщинъ, которыхъ онъ считалъ въ неменьшей опасности. Но опасенія его въ этомъ смыслѣ были совершенно излишни. Вы легко догадаетесь,

что начальникъ военной команды былъ унтеръ-лейтенантъ Лукомкинъ, а начальница Малаша. Они не могли не узнать Костыльковки и когда вагенбургъ, гдѣ въ московской повозкѣ своей находилась и капитанша, подошелъ къ мостику, и Лукомкинъ и Малаша, будто условясь, закричали: Стой!

— «Ни шагу дальше!» сказалъ капитанъ. «Господа офицеры, ко мнѣ!»

И къ нему подошли два лейтенанта, четыре унтеръ-лейтенанта, нѣсколько фендриховъ и артиллерійскій штыкъ-юнкеръ, — весь штабъ небольшаго корпуса, составленнаго изъ разныхъ гарнизонныхъ остатковъ, тридцати драгуновъ, полуроты Карамзина Полка и вольницы, собранной по пути съ деревень и селъ.

— «По нѣкоторымъ конъюнктурамъ,» сказалъ капитанъ: «мы не должны входить въ эту усадьбу. Почему рекомендую вамъ, перевязавъ какъ слѣдуетъ полоненниковъ, идти обратно къ рѣкѣ, для того, что разбойники могутъ, въ секурсъ своимъ, сдѣлать второй дессантъ въ томъ же пунктѣ. Экспедиція требуетъ поспѣшности. Ступайте!»

— «Ну, душа моя,» сказалъ онъ женѣ: «ты слышала приказъ. Надѣюсь, одобряешь...»

Малаша схватила руку его и съ жаромъ, обливаясь слезами, стала цѣловать ее. — Сидоръ, не смотря на то, что уже порядочно смерклось, узналъ ее и не вытерпѣлъ, подбѣжалъ и спросилъ по привычкѣ:

— «Ты ли это, Малашка?..»

Сильная пощечина отъ капитанской руки была отвѣтомъ на невинный вопросъ.

— «За что́ ты его бьешь?» сказала Малаша. «Я, Сидоръ, я. Подойди но мнѣ! Спасибо тебѣ за старое время. Только ты и любилъ меня въ этой Костыльковкѣ; только тебя, да твою Дуняшу любила я между этимъ дряннымъ народомъ. Что́ она, бѣдная?.. Полно, старикъ, не отвѣчай! Боюсь твоего отвѣта. Скажи ей, что горемычная Малаша теперь капитанша, благодаритъ Бога за себя и молится за нее!..»

— «И Богъ спасаетъ ее твоими молитвами...»

— «Право? Постой, Сидоръ, можетъ быть...»

— «Маршъ! Труби маршъ!» закричалъ капитанъ. Послѣ, Сидоръ, послѣ, можетъ быть, завтра я доскажу тебѣ, что укажетъ Малаша... Прощай, старикъ, и я у тебя въ долгу. Поклонись барину.»

Войско тронулось въ походъ Сидоръ, забывшись, пошелъ возлѣ повозки, разговаривая съ Малашей; и если бы она ему не напомнила, гдѣ онъ, Сидоръ бы, вѣроятно, проводилъ Малашу до главной квартиры. Остановился Сидоръ; войско прошло, а онъ все-еще стоялъ въ раздумьи.

«Сидоръ, Сидоръ!» раздавались крики по всей усадьбѣ.

— «Здѣсь!» громогласно гаркнулъ старикъ и поплелся на привычную службу. Въ хоромахъ онъ нашелъ одного Костылькова, который съ примѣтною радостью прогуливался по комнатѣ и тянулъ медъ.

— «Ушли! А? Ушли! Спасибо! Костыльковку отстояли, да и благодарности не требовали. Видно, что не приказные... — Ну, Сидоръ, на-радости хлѣбни-ка меду.»

— «Виноватъ. Не пью.»

— «Что ты, раскольникъ, что ли?»

— «Нѣтъ, съ-молоду матушка твоя, царство ей небесное, Марья Саввишна, къ трезвости пріучила...»

— «За то батюшка, Степанъ Ѳедоровичъ отъ чарки не отвѣкивался. . Мужское дѣло пить и любовь вести, а прочая — бабій промыселъ. Выпей!»

— «Не могу. И если бъ у меня былъ такой голосъ и чинъ, чтобы вамъ совѣтъ сказать, сказалъ бы я и вамъ, Иванъ Степанычъ: бросьте бражничать, наткнемся на бѣду. И Нафнутію мы тогда съ пьяныхъ глазъ вопались. Сказалъ бы я...»

Костыльковъ задумался; на лицъ у него показалась кручина, которая вольно ходила по душѣ его и ничѣмъ не могъ онъ ни отогнать, ни заглушить ее. Душа человѣческая, ужъ въ который разъ тебя сравниваютъ съ міромъ Божіимъ; и правильно, ей-ей, правильно. Да и я еще разъ повторю это сравненіе. Какъ въ Божьемъ мірѣ быть бурѣ, замолкнутъ птицы, спрячутся люди и звѣри; нѣтъ веселья; въ воздухѣ тяжело и душно, а бури гдѣ еще! далече! Такъ и въ душѣ нашей. И завтрашнее горе, и завтрашнее веселье сказываются сегодня. Призадумался Костыльковъ. Сидора это молчаніе ободрило и онъ продолжалъ:

— «Сказалъ бы я тебѣ, Иванъ Степанычъ:

женись; уходишься; отъ зла отстанешь; пойдутъ дѣти; съ ними сладка и забота; пустъ свѣтъ, а станетъ полонъ.»

— «Жениться! А! Жениться!» (Костыльковъ будто воскресъ.) — «Мнѣ жениться? Изъ чего? Чтобы жена у меня всякую забаву отняла? Чтобы за ея глазами, я уже и на другія не смотрѣлъ. Гдѣ такую невѣсту возьмешь?»

— «Невѣстъ нынче много, жениховъ мало: всѣ на службѣ. Вотъ только изъ костыльковскихъ дачъ выѣдешь, пошли волости разныхъ помѣщиковъ. Красавицъ сколько! Ты знаешь, что нашъ край богатъ женскою красотой. Ты знаешь, что въ черномъ народѣ у насъ ни одного урода нѣтъ; а дворянки...»

— «Дворянки? Ты, Сидоръ, изъ ума выжилъ. Была у меня такая, что будь ко мнѣ поласковѣе, женился бы; и теперь есть такая, да тоже неласкова... Дворянки! — Не я ужъ буду въ моемъ добрѣ хозяинъ; ты и меня воеводой Буруновымъ хочешь сдѣлать! Нѣтъ, Сидоръ! Пожалуй, коли ужъ безъ жены жить нельзя, такъ я женюсь, да на своей, чтобы моей волѣ помѣхи не было. Женюсь на твоей Дуняшѣ...»

— «Помилосердуй, Иванъ Степанычъ, что ты хочешь дѣлать?...»

— «Ужъ я знаю, что я хочу сдѣлать. Говорю тебѣ, такова моя воля, и конченъ. Позови невѣсту...»

— «Не смогла она отъ твоихъ побоевъ... лежитъ...»

— «Кого любишь, того и бьешь... Пей, старикъ, за мою невѣсту. Ну!»

— «Ужъ если долженъ я выпить, изволь, только не за эту глупую свадьбу, а за мою добрую капитаншу, за Меланью Ивановну! Знатная вышла барыня! Многая ей лѣта!...»

— «Малаша, что ли? А? Гдѣ ты ее видѣлъ?»

— «На мосту костыльковскомъ, между ратными людьми...»

— «Развѣ этотъ офицеръ опять здѣсь?»

— «Капитаномъ сталъ и всею командой заправляетъ. Приказалъ тебѣ кланяться. Наказалъ ждать его въ Костыльковку завтра...»

— «Завтра! ..»

И Костыльковъ опять призадумался. Бурей металo мысли его. Рука сама собой хватала кружку съ медомъ. Сидоръ безпрестанно подливалъ и Костыльковъ опьянѣлъ.

— «Си...доръ... Ду...ня...на...» бормоталъ онъ.

Сидоръ, поддерживая его, провелъ въ опочивальню и съ трудомъ могъ раздѣть. Костыльковъ уснулъ и Сидоръ вздохнулъ свободно. Недолго спалъ старикъ. Безпокойные сны тревожили его всю ночь. Утромъ онъ не приказалъ отворять ставней; запретилъ ходить возлѣ барскихъ оконъ; нѣсколько разъ собирался сказать Дуняшѣ, что задумалъ подъ хмѣлью Иванъ Степанычъ... и не рѣшался. — Лукомкинъ выручилъ старика. Онъ пріѣхалъ съ десятью драгунами.

— «Здравствуй, Сидоръ. Что Иванъ Степанычъ?»

— «Почивать изволитъ!»

— «Поздненько. Мы и подождемъ. — Ну, что тутъ у васъ хорошаго дѣлается?...»

— «Да гдѣ тутъ у насъ быть хорошему!»

И Сидоръ разсказалъ, какъ Костыльковъ задумалъ овладѣть его Дуняшей.

— «Не сможетъ, бѣдная; году не проживетъ; а ему это и съ руки будетъ. Такъ подумай, господинъ капитанъ, каково-то отцу...»

— «Авось горю поможемъ. Буди его и подай ко мнѣ. Я его приму въ руки по-своему.»

Долго ждать пришлось Лукомкину; наконецъ Костыльковъ вышелъ, блѣдный отъ страха, но со всѣми признаками вчерашнихъ излишествъ.

— «Здравствуй, Иванъ Степановичъ!»

— «Здравствуйте, не знаю какъ васъ кликать...»

— «Изволь, я, пожалуй, и титулъ мой повторю, коли ты въ мѣсяцъ съ хвостикомъ позабыть успѣлъ...»

— «Какъ мѣсяцъ! Да я васъ не видалъ почитай три мѣсяца. Въ августѣ изволили быть здѣсь, а теперь уже ноябрь...»

— «А на Москвѣ?»

— «Что на Москвѣ?»

— «Полно, Иванъ Степановичъ, какъ тебѣ не стыдно! Семенъ, Романовъ сынъ, Лукомкинъ, капитанъ-лейтенантъ Карамзина Полка, а гвардіи семеновской унтеръ-лейтенантъ, ужъ не такая опять ничтожная пѣшка, чтобы забыть...»

— «Да я васъ не забылъ...»

— «А забылъ только, видно, про должокъ. Денежки-то брать умѣли, а пришелъ терминъ, такъ и на Москвѣ не были...»

— «Деньги, какія деньги?»

— «О, да это изъ рукъ вонъ! Ты кто такой?»

— «Да вѣдь вы, Семенъ Романовичъ, знаете кто я такой...»

— «Я, братъ, деньги и самъ беру, и другимъ даю, да никогда про то не забываю. Деньга счетъ любитъ. Кто не бережетъ копѣйки, говоритъ нашъ великій государь, тотъ самъ не стоитъ рубля. Такъ вотъ и все тутъ. Подай мои деньги, и кончено.»

— «Да какія деньги! Ради Бога, что вы тутъ городите? Только страхъ нагоняете. Такія шутки непристойно шутить...»

— «Ахъ, ты скряга этакой! Такъ ты и не знаешь какія деньги? Не сотня какая! Какъ на Москвѣ бралъ, такъ не торговался.»

— «Я! На Москвѣ! Да я на Москвѣ отродясь не былъ!»

— «Такъ ты не Костыльковъ?»

— «Тьфу ты притча какая! Да растолкуйте, пожалуйте, чего вы отъ меня хотите?»

— «Такъ ты не Костыльковъ?»

— «Нѣтъ; не Костыль... только, право, вѣдь вы лучше меня знаете...»

— «Да кто васъ разберетъ! Такъ, видно, Иванъ Степанычъ съ Москвы не вернулся...»

— «Нѣтъ, не вернулся.»

— «А! Ну, такъ дѣло другое! Мы и безъ него

обойдемся! Деньги свои доправимъ. Ну, а ты кто?...»

— «Я?»

— «Ну, да...»

— «Я не я! Я другой! Сидоръ, какъ зовутъ того? Я, право, не письменный, въ столъ положилъ, такъ и лежитъ...»

— «Что? Ты уже и не письменный! Пожалуй, такъ не ты эту заемную крѣпость подписывалъ?»

— «Какую крѣпость?»

— «А вотъ эту.»

— «Не я!...»

— «Ну, не ты, такъ не ты. Да ты кто?»

— «Право, не знаю кто я. Вотъ сейчасъ Сидоръ справится. Ну?»

— «Тамъ прописано,» сказалъ Сидоръ, входя съ бумагой: «Ванька Ломжинъ!»

— «Ну, что же, ты Ванька Ломжинъ?»

— «Я Ванька Ломжинъ!»

— «Тебя-то мнѣ и нужно... Приказчикъ, что ли?»

— «Управляющій всѣми отчинами...»

— «Тѣмъ лучше. Разсказывать долго, а я лучше прочту: Слушай!»

Се азъ, Иванъ, Степановъ сынъ, Костыльковъ, занялъ есми у капитана-лейтенанта, гвардіи Семеновскаго Полка унтеръ-лейтенанта, у Семена, Романова сына, Лукомкина на всякой нашъ расходъ, что намъ въ Москвѣ и въ Питербурхѣ живучи, чѣмъ сытимъ быти, три тысячи рублевъ, денегъ московскихъ ходячихъ, прямыхъ, безъ приписи, септемврія отъ двадесять-осьмаго числа, октобріа по двадесять-осьмое жъ число нынѣшняго семьсотъ-осемьнадесятаго году, до того сроку

безъ росту; а въ тѣхъ деньгахъ заложилъ есми ему, Лукомкину, отчину свою въ.... уѣздѣ въ кудимовскомъ погостѣ Старую Усадьбу съ пашнею, и съ сѣнными покосами и съ лѣсомъ и съ рыбными ловли и съ бобровыми гоны и съ перевѣсьи и со всѣми угодьи, что къ той отчинѣ бывало изстари по тяглу, куды ходила соха и коса и топоръ, по старымъ межамъ, какъ было изстари, и какъ по межевальной памяти досталась та отчина отцу моему Степкѣ, Ѳедорову сыну, Костылькову, отъ прежняго тоя отчины помѣщика Степки же, Петрова сына, Полоскова. А заплатить мнѣ тѣ деньги или приказчику моему Ванькѣ Ломжину въ срокъ нынѣшняго года октобрія въ двадесять-осьмое жъ число безо всякія волокиты. А будетъ я тое отчины на тотъ срокъ не выкуплю, которой въ сей записи писанъ, и на ту отчину будетъ ся закладная и купчая, безъ выкува. А будетъ я, или Ванька Ломжинъ, учнетъ чинить сей закладной и купчей какую помѣху, то воленъ онъ, Лукомкинъ, съ того Ваньки Ломжина править сію запись по Уложенью, безъ подставы другихъ людей моихъ. А та у меня отчина, окромя ему, Лукомкину, не продана, ни заложена и по душѣ ни въ которой монастырь, ни церкви, ни въ данные, ни въ рядные, ни въ закладныхъ денежныхъ, и хлѣбныхъ, ни въ чемъ ни у кого не написана, ни въ какихъ крѣпостѣхъ не укрѣплена. А на то послухи: Кирилла, Александровъ сынъ, Чевушкинъ, да Семенъ, Михайловъ сынъ, Бузина, да Иванъ Григорьевъ, да Игнатей Патракіевъ, да Юрій, Антоновъ сынъ, Лошаковъ. А сю закладную запись писалъ московскій площадной подъячій Аниспмъ Абрамовъ, лѣта 1718, сентемврія въ 28 день. — Язъ, Иванъ, по сей закладной, деньги занялъ, и отчину заложилъ и руку приложилъ.

— «Тутъ опять идутъ послусьи руки...» заключилъ Лукомкинъ, и, сложивъ бумагу, спряталъ въ карманъ...

При объявленіи, что денегъ взято три тысячи, Костыльковъ возопилъ: «Три тысячи! Іуда!» Но при дальнѣйшемъ чтеніи онъ только по временамъ восклицалъ: «Господи! Боже праведный!» и тому подобныя молитвенныя выраженія. Когда Лукомкинъ кончилъ, Костыльковъ схватилъ себя за волосы и кричалъ во все горло: «Подлогъ! Разбой!»

— «Ванька!» грозно сказалъ Лукомкинъ: «давай деньги! Или...»

— «Не дамъ, хоть зарѣжь, и усадьбы не дамъ, не сплутуете, не удастся; обличатъ и тебя и Степаныча, по суду разъищутъ, казнятъ...»

— «Ужъ только не меня. Я знать не знаю, кто изъ васъ Костыльковъ, кто Ломжинъ, кто вотчинникъ, кто приказчикъ: мнѣ мои деньги всегда вернутся по законамъ, а ты себѣ какъ тамъ хочешь, хоть всю голову оборви, ничего не поможетъ. Ну, Ванька!»

— «Да я же не Ванька! Вотъ тебѣ! Я Костыльковъ...»

— «Можетъ быть! За глаза деньги занимали. Приказные подъячіе приносили мнѣ костыльковскія бумаги; тамъ и стольникъ Колычевъ и губернаторъ руки приложили, такъ мнѣ вѣры не имѣть нельзя... А если ты Костыльковъ, такъ ты и плати или давай Старую Усадьбу, а не отдашь, въ судъ! Справимся! Впередъ не бери денегъ, не давай записей, коли нечѣмъ платить...»

— «Провались ты...»

— «Тише! За безчестье и всѣми своими отчинами не отдѣлаешься, холопъ поганый!»

— «Я холопъ?»

— «А кто же ты? Коли ты Костыльковъ, покажи бумагу, а что ты Ванька Ломжинъ, въ томъ есть уже бумага. Ну, въ послѣдній разъ спрашиваю: платишь?»

— «Нѣтъ!»

— «Ну, такъ не сердись, если тебя выведутъ передъ воеводскую канцелярію и побоями станутъ мой долгъ править. Другаго за себя не поставишь: такъ и въ записи сказано... Прощай!»

Лукомкинъ уѣхалъ.

— «Что́ вы надѣлали, Иванъ Степанычъ и мнѣто ничего не сказали? Не стыдно ли? Подумайте, что́ тутъ будетъ?»

— «Ничего не будетъ! Воеводиха выручитъ. Втюрилась въ меня по́-уши. Пусть же теперь и отстаиваетъ, баба проклятая! Ужъ лучше бы я пошелъ служить!»

— «И точно лучше!»

— «Ты, харя, какъ смѣешь разсуждать! Туда же лѣзетъ съ совѣтами. Стоитъ, молчитъ, а еще письменный!

— «Да какъ же мнѣ говорить, когда вы сами отъ себя отреклись...»

— «Опять умничать! Довольно! Что́ безъ времени тужить. Воеводиха уладитъ, а пока что́ будетъ, подавай сюда Дуняшу. Хочу съ нею перемолвить...»

— «Иванъ Степанычъ!»

— «Не могу! Сердце одолѣло, а какъ теперь

расходился, такъ ничѣмъ не уймешь. Ступай, а не то худо будетъ...»

— «Иванъ Степанычъ!»

— «Кончено, говорю, и не измѣню своего слова.»

— «Ванька!» сказалъ Сидоръ значительно: «Иванъ Степанычъ на Москвѣ...»

Костыльковъ оторопѣлъ.

— «Вотъ въ этой бумагѣ, что́ у меня въ рукахъ,» продолжалъ Сидоръ: «вразумительно написано, что Иванъ Степановичъ поѣхалъ на службу царскую, а тебя, Ваньку Ломжина, оставилъ свои отчины вѣдать. Онъ нашихъ животовъ и тѣлесъ хозяинъ, а ты за нашею доброй службой смотри и господскихъ холопей обижать не изволь! А мы свою службу честно правимъ; и если ты отъ моей дочки не отстанешь, то я пойду, всю дворню соберу и волю Ивана Степаныча всѣмъ объявлю. Почемъ мы знали, что ты не Иванъ Степанычъ, а Ванька Ломжинъ?»

Костыльковъ сѣлъ на стулъ и безсмысленными глазами смотрѣлъ на Сидора. Старикъ съ бумагой стоялъ чинно и смирно, потупивъ глаза въ землю.

— «То́-то же, Иванъ Степанычъ! .» опять началъ старикъ: «Понались въ бѣду неисходную, а бѣсовщина съ ума неидетъ. Богъ казнитъ за Меланью. Не вѣрили вы мнѣ, что она не крѣпостная ваша; не слушали, что матушка вамъ заповѣдала, умирая, беречь Малашу, что сестру и отчій грѣхъ очистить... Пріемышъ! Такъ! Безъ рода, безъ племени. Принесли ихъ на усадьбу двоихъ, мальчика и дѣвочку. Въ ту же ночь, какъ принесли,

мальчикъ пропалъ. Больно сердился Степанъ Ѳедоровичъ, людей избилъ, погоню разослалъ, не нашли и слѣда. Ужъ, если бъ въ этихъ дѣтяхъ не сидѣла тайность, Степанъ Ѳедоровичъ и не подумалъ бы заботиться о нихъ. Видно, было неладно. Матушка, кажись; знала правду, да память мужа берегла. Рано умерла Марья Саввишна; не такъ бы пошло... И васъ-то она съ Малашей какъ родныхъ вела; не ребенкомъ же безпонятнымъ васъ оставила: по семнадцатому году; можно было помнить завѣтъ. И въ тѣ проклятыя дожинки, когда сломалъ васъ нечистый на грѣхъ, сколько словъ истратилъ глупый Сидоръ, сколько слезъ пролилъ и молился, вашей матушкѣ, молился... Не помогло... Пришла казнь Божія!

— «Сидоръ! Сидоръ! Что же намъ дѣлать теперь?..»

— «Покориться волѣ Божіей! И съ того начать, что послать кудимовскому попу указъ, чтобы пересталъ молотить на гумнѣ; крестьяне ему вымолотятъ. А то на что похоже, на Покрова въ церкви службы не было; попъ съ причетниками озимую съялъ. Много, много, во весь годъ три службы отправлено; люди безъ церкви живутъ, а оттого, что баринъ туда никогда не ходитъ. По-моему для церковниковъ укажи міру работать, а то, правду сказать, и имъ-то ѣсть нечего будетъ, когда сами должны и вспахать, и засѣять, и снять; а міру-то что стоитъ? Въ одинъ день больные сдѣлаютъ, чѣмъ попъ съ причетниками въ три мѣсяца. Погостъ больной. Такъ укажи, Иванъ Степанычъ,

церковь открыть... Вотъ хоть бы завтра воскресный день...»

— «Хорошо, хорошо, Сидоръ... Все сдѣлаю... А про Дуняшу, такъ ты меня не выразумѣлъ; хочу жениться...»

— «А я не хочу. Непристойно. А если захочешь на свое ломить, такъ и простись съ Сидоромъ павъки.»

— «Ну, благо, благо! Вели заложить таратайку; я самъ въ Будимовку, къ попу поѣду. Отслужу молебенъ; авось бѣда минетъ...»

Поѣхалъ Костыльковъ въ Будимовку. Вернулся довольно поздно и къ удивленію замѣтилъ, что на усадьбѣ никого не было видно; даже некому было принять таратайки. Костыльковъ кричалъ, звалъ; напрасно. Нечего дѣлать; соскочилъ онъ съ таратайки, возжи отъ лошадей привязалъ къ крыльцу; вошелъ въ хоромы. Тамъ сидѣли Лукомкинъ, новый земскій коммисаръ, и еще два коммисара.

— «Вотъ онъ, Ванька Ломжинъ!» сказалъ Лукомкинъ.

— «Ванька Ломжинъ!» сказалъ земскій коммисаръ весьма покойно: «закладная крѣпость господина твоего читана тебѣ или нѣтъ?..»

— «Читана!» поблѣднѣвъ отвѣчалъ Костыльковъ.

— «Подай межевальную память на отчину Старая Усадьба.»

— «У меня никакихъ бумагъ нѣтъ... Я не отдамъ Старой Усадьбы; она...»

— «Послушай, Ванька!» перебилъ коммисаръ: «Сего числа подана въ судъ заемная сія крѣпость, признана судомъ исправною, а мнѣ указано привести немедля въ исполненіе. А если ты хочешь долгу моему препкодить, такъ я поступлю по Уложенію, по главѣ X, по пункту 204, который въ указѣ семъ мнѣ даномъ, прописанъ. Тутъ сказано:» «А на правежѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ бити до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ съ должники раздѣлаются.» А какъ по пункту тоя же главы 261 рѣчено, что имъ или людямъ ихъ стоять на правежѣ во сте рублѣхъ мѣсяцъ, а какъ господинъ твой за себя указалъ на правежъ поставить тебя, Ваньку Ломжина, безъ всякой подставы, то я и беру тебя, Ваньку Ломжина, и представлю въ судъ, и тамо передъ судомъ прикажу бить нещадно, покамѣстъ съ должники не разсчитаешься, или до учета по сту рублей за мѣсяцъ... Вотъ тебѣ указъ, и поѣдемъ. Да и чудно, что ты не за свое добро стоишь! Есть деньги, плати; нѣтъ денегъ, отдавай Усадьбу; а побоевъ, молокососъ, немного перенесешь, и господинъ тебѣ не скажетъ спасибо...»

— «Да помилуй!..»

— «Да что́ я, судъ, что́ ли? Дѣло простое. Крѣпость налицо. Толковать нечего. Указъ и написали. А я коммисаръ — не Галунчиковъ. Я солдатъ. Что́ приказано, то я чиню со всякою исправностью, какъ доброму солдату надлежитъ. Ну, Ванька! я съ тобою чиниться не буду. Поѣдемъ, а не то повезу...»

— «Да какъ же это воевода ничего не говоритъ на такое...»

— «Да что тутъ воеводѣ за дѣло? Не по его части. Онъ сторона. Судъ рѣшитъ, земство правитъ..»

Уныніе овладѣло Костыльковымъ. Онъ сталъ горько плакать. Коммисаръ разсердился.

— «Да ты, видно, продувной; думаешь разжалобить стараго солдата! Говорю тебѣ, ѣдемъ! А господа коммисары опечатаютъ твои бумаги и доставятъ въ судъ, а потомъ и къ хоромамъ привѣсятъ печати, чтобы паче чаянія добру хозяйскому, пока ты будешь стоять на правежѣ, не учинилось какого ущерба. Ну!..»

— «Дѣлайте что хотите! Я на все согласенъ!.» сказалъ Костыльковъ, рыдая, и бросился въ кресла.

— «Давно бы такъ! Давай деньги!»

— «Денегъ столько нѣтъ.»

— «Такъ давай бумаги.»

— «Спросите у Сидора.»

— «Коммисаръ, спроси!»

Сидоръ, утирая слезы и всхлипывая, принесъ межевальную запись.

— «Ну, теперь, ты, плакса, старикъ, поди прикажи лошадей подавать, и Ванька съ нами поѣдетъ.»

— «Увольте!..»

— «Нельзя. Надо вводъ справить. Ты долженъ быть налицо и на отводной руку приложить, и отъ господина капитана и унтеръ-лейтенанта крѣпость съ помѣтою принять.»

— «Я не умѣю писать...»

— «Такъ я за тебя распишусь. Такъ ли, господа коммисары?»

— «Совершенно такъ... Только Ванькѣ надо быть налицо и межу обойти...»

— «Лошади готовы!..» рыдая сказалъ Сидоръ, и всѣ отправились въ путь.

Объѣхали всю границу, повѣрили межи, и наконецъ прибыли къ Старой Усадьбѣ поздно ввечеру, когда совершенно смерклось. Живописный видъ представился глазамъ ихъ. У разложенныхъ по всему берегу рѣки огней ужинали команды. Въ кружалѣ шла музыка и пѣсни, а въ хоромахъ вездѣ горѣли огни. Въ главномъ покоѣ, весьма обширномъ, накрыто было къ ужину; штабъ корпуса давно уже собрался туда, но никто не прикасался къ явствамъ, ожидая командира.

— «Ну, вотъ теперь распишемся на отводѣ и дѣлу конецъ. Такъ ли, господа коммисары?..»

— «Совершенно такъ.»

— «А какъ писать?»

— «На отводѣ были, а потомъ руки...»

— «Кому прежде?»

— «Новому владѣльцу.»

Лукомкинъ подписался.

— «Ну, теперь за тебя, а какъ зовутъ?»

— «Право, забылъ.»

— «Ванька, Сидоровъ сынъ, Ломжинъ...» подхватилъ Лукомкинъ.

— «Ну, вотъ я черкнулъ. Теперь, кажется, вамъ, господа коммисары?»

И тѣ расписались. Лукомкинъ сдѣлалъ помѣту на крѣпости и подпесъ Костылькову.

— «Ну, Ванька, вотъ тебѣ крѣпость! Не хочешь ли запить горе заморскимъ?..»

— «Захлебнись ты, окаянный!» съ бѣшенствомъ сказалъ Костыльковъ, и уѣхалъ въ Костыльковку.

—

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ПРОМАХИ.

О, Квинтиліанусъ! Что, если бы ты читалъ нашу настоящую, не греко-славяно-латинскую, а галло-германо-русскую литературу! Какимъ бы ты былъ ужаснымъ львомъ! Куда нынѣшнимъ нашимъ брадатымъ, сквознымъ зефирамъ Невскаго Проспекта, противу тебя, о Квинтиліанусъ! Ты ходилъ въ длинномъ черномъ зипунѣ, съ стоячимъ воротникомъ; изъ двѣнадцати пуговицъ на груди твоей пребывало въ цѣлости иногда двѣ, а иногда и одна; гвоздей въ сапоги вбивать было нельзя; даже гвоздей сапожныхъ въ лавкахъ не продавали. Какимъ чудомъ выдерживала твоя обувь, когда ты въ училище съ урока или изъ училища на урокъ умѣлъ дѣлать кругъ, версты въ двѣ, — старыя версты, которыя вмѣщали въ себѣ нынѣшнихъ четыре. Только твоя ученость могла изобрѣтать возможности для невозможнаго. И въ этотъ путь у скольких калачниковъ ты умѣлъ даромъ покупать калачи; въ скольких лавкахъ успѣвалъ ты отвѣдывать бакалею вдвойнѣ и ртомъ и карманомъ; по этому эллиптическому пути сколько у тебя бы-

ко любовникъ разной статьи и степени! Какъ умѣлъ ты располагать свои амуры съ такимъ искуствомъ, что иногда двѣ сосѣдки черезъ стѣнку не имѣли повода къ ревности; но паче всего удивляетъ меня проворство твое, когда ты являлся за Донскимъ Монастыремъ на кулачномъ бою; конечно, ты не принималъ участія въ побоищѣ, и весьма благоразумно: рубцы ратные могли бы тебя поссорить съ отцемъ префектомъ. Нѣтъ, туда влекла тебя ненасытимая страсть къ зрѣлищамъ и римской исторіи. Ты видѣлъ въ нашихъ московскихъ бойцахъ римскихъ гладіаторовъ и борцевъ... О, львы вѣка сего! О, Квинтиліанусъ!

Но какъ историкъ, какъ приверженецъ своего героя, я ужасно сердитъ на тебя, о Квинтиліанусъ. Пиши я романъ, сказку, я тотчасъ бы выключилъ тебя изъ списка дѣйствующихъ лицъ, — за то, что я теперь, поневолѣ, противъ всякаго желанія долженъ разсказывать. Романистамъ хорошо. Возьмутъ-себѣ, выдумаютъ небывалое лице, справятся съ книжками, выпишутъ изъ нихъ красоты тѣлесныя и всякія душевныя добродѣтели, набьютъ ими своихъ героевъ и пустятъ на позорище. Чтецы, а паче чтицы умилены до слезъ: романъ въ чести до другаго романа, а въ томъ романѣ герой опять лексиконъ красотъ и добродѣтелей или наоборотъ. Счастливцы! Вамъ дозволены крайности. А мнѣ, историку, указано говорить сущую правду и описывать не идеальныхъ людей, а такихъ, какъ они были: добрыхъ не безъ зла, и злыхъ не безъ добра. Постой же, Квинтиліанусъ, когда

я выучусь французскому языку, напишу изъ тебя повѣсть и напечатаю съ политипажами, лубочными картинками нынѣшняго вѣка. А теперь, о Квинтиліанусъ, ложись въ исторію!

Уже мѣсяцъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ Квинтиліанусъ посѣщалъ Степаныча почти каждый вечеръ. Прошли они грамматику, которая хотя и называлась словенскою, но въ существѣ была латинская. Но этого Степанычъ не могъ замѣтить; и надо правду сказать, мало онъ ею и занимался, а больше упражнялся въ чтеніи книгъ и рукописей, которыя учитель доставалъ ему разными средствами. И это было любимое препровожденіе времени Степаныча. Товарищъ его, Жатый, выздоровѣлъ, явился на смотръ, признанъ годнымъ и отправился на окончательный смотръ въ Петербургъ въ военную коллегію. Не будь Квинтиліануса и книгъ, по вечерамъ пришлось бы умереть со скуки. Но въ мѣсяцъ чего не перечтешь, и всѣ запасы Квинтиліануса, годные для Степаныча, истощились. Дочитывалъ онъ послѣдній запасъ: «Θеатропъ или позоръ нравоучительный,» и съ горестью посматривалъ на свою библіотеку, которая по части исторіи, географіи и богословіи рѣшительно могла быть признана полнѣйшею. Всѣ книги, изданныя на русскомъ языкѣ до 1719 года, въ собачьихъ переплетахъ, стояли на трехъ полкахъ въ той компатѣ, гдѣ прежде жилъ Жатый. Дочитывалъ Степанычъ, дочитывалъ и, наконецъ, дочиталъ.

— «Кончено!» сказалъ онъ со вздохомъ, и

опять посмотрѣлъ на свою библіотеку. «Что бы почитать изъ стараго, что не такъ въ памяти удержалось? Самуила Пуфендорфа или Боронія? Квинта-Курція или Дезидерія Эразма?... Господи! Сколько на свѣтѣ Твоемъ знанія и ученія, и одна память все то удержать можетъ. Все это прочелъ и вѣдаю, будто самъ изобрѣлъ, въ своей головѣ... Дивно! А что должно быть въ Петербургѣ! Тамъ-то, я чай, книгъ всякихъ!...»

Пересматривая со свѣчей дорогихъ и нѣмыхъ собесѣдниковъ, Степанычъ вынулъ небольшую книжицу и сталъ читать вслухъ:

Благовѣрнѣйшій, пресвѣтлѣйшій царь,
Многихъ царствъ и княжествъ правый государь!
Пречестнымъ вѣнцемъ благоувѣнчанный,
Всѣмъ православнымъ яко солнце данный,
Да намъ свѣтити яснѣ добротами
Яко же солнце свѣтлыми лучами.
Велій есть свѣтъ твой, тьму одолѣваетъ,
Мракъ безвѣрія весьма отгоняетъ.
Адамантъ въ златѣ нѣсть толико красенъ,
Яко вѣрою духъ твой свѣтло ясенъ.
Бога во Троицѣ ты едина чтиши,
И должный поклонъ любезно твориши,
Подъ нозѣ главу ты смиряя,
Со смиреніемъ крѣпость соблюдая.
Что либо сану царству приличествуетъ,
То святая ти душа державствуетъ.
Доброты гнѣздо положиша въ тебѣ,
Во сердцѣ твоемъ живутъ яко въ требѣ.
Навходоносоръ не такъ живяше.
Аще и скипетръ въ десницѣ держаше.
Тьмою невѣрства бѣ онъ помраченный,
Веліемъ чудомъ едва просвѣщенный.
Къ тому гордости въ сердци исполнися,

Всѣхъ боговъ паче самъ быти возмнися.
Образъ свой людямъ повелѣлъ бѣ чтити,
Не послушавшихъ въ пещи спалити.
Трiе отроцы во огонь повержени,
Но отъ ангела цѣло сохранени,
Имъ же царь чудомъ къ вѣрѣ приведеся,
Честь же отрокамъ велика дадесе.
Что комидiйно мы хощемъ явити,
И аки само дѣло представити,
Свѣтлости твоей и всѣмъ предстоящимъ,
Княземъ боляромъ вѣрно ти служащимъ,
Во утѣху сердецъ, здрави убо зрити
А насъ въ милости своей сохранити.

(Посемъ, да играютъ.)

— «Знатный предисловецъ; хороша и комидія. Должно-быть въ лицахъ дѣйство весьма пріятно для глазъ!»

Въ эго самое время, послышался обычный стукъ у воротъ. Въ большой комнатѣ Сергѣй кого-то окликнулъ, и въ опочивальню вошелъ Квинтиліанусъ.

— Ивану Степановичу здравія, долгоденствія и всякой книжной мудрости Ѳеофрастъ Квинтиліанусъ нижайше желаетъ...»

— «И тебѣ того же!»

— «Ну, ужъ мнѣ можно бы и еще пожелать кое чего.»

— «А чего бы напрiкладъ?»

— «Денегъ! Завелось у меня отъ твоей щедрости рублей пятокъ. Всѣ спустилъ...»

— «Потерялъ?»

— Потерялъ, только не обронилъ.»

— «Украли?»

— «Украли, только на глазахъ подъ личиной честнаго манира.»

— «Да скажи толкомъ...»

— «Проигралъ.»

— «Какъ проигралъ?»

— «А какъ деньги проигрываютъ? Или въ зернь или въ карты...»

— «Бога ты не боишься! Вѣдь это грѣхъ во-первыхъ, а во-вторыхъ, на деньги запрещено играть указомъ; для забавы, если нечего дѣлать, ну, пожалуй, поиграй, а то въ деньги!..»

— «Господинъ мой милостивый! Кто же безъ грѣха? А запретный плодъ слаще. Я, не хуже твоего, инаку іерополитику знаю, даромъ-что еще не философъ; но кого единожды въ жизни не соблазнитъ вино, игра, а паче женщина! Дивуюсь тебѣ зѣло.

Статенъ и пригожъ,
Съ Аполлономъ схожъ;
По богатству Крезъ,
Силой Геркулесъ,
А тебѣ ничто
Жены, зернь, вино!!..

«Убей меня, а не разумѣю такой жизни. И отчего такъ оно устроено! Отчего ты не на моемъ, а я не на твоемъ мѣстѣ! Умѣлъ бы я управиться съ дарами Божіими. Проигралъ я послѣдніе пять рублей; не тужу; побѣжалъ къ портнихѣ Θеклѣ и утѣшился. Сладкой бо елей вливаетъ жена въ горечь жизни и усладитъ то, чего безъ ея помощи не проглотишь.»

— «Ты чудакъ, Квинтиліанусъ! Развѣ мнѣ скучно на свѣтѣ?»

— «А развѣ и весело? Отвѣчай напрямки, не мудрствуй! Захотѣлъ бы ты всю жизнь такъ прожить, какъ теперь живешь?...»

— «Боже сохрани!»

— «Вотъ видишь...»

— «Хотѣлъ бы я посмотрѣть на чужія царства; хотѣлъ бы взглянуть на величайшаго изъ великихъ, кого, благодаря тебѣ и твоимъ книгамъ, я разумѣю не по слуху и указу, а сердцемъ и разумомъ; хотѣлъ бы послужить ему на полѣ чести, какъ рыцарю пристойно, потому что дворянскій санъ есть не иное что̀, какъ чинъ рыцарскій; хотѣлъ бы себя въ баталіяхъ отличить, наукой славнымъ учинить, оставить отчизнѣ о себѣ память добрую и умереть за царя и отчизну...»

— «И только?»

— «Кажется, только.»

— «Скажи лучше: только кажется, а на дѣлѣ еще многаго бы пожелалъ, и пожелаешь. Богъ не создалъ человѣка, чтобъ быть ему одному; тамъ ужъ мудрствуй, не мудрствуй, а подойди къ тебѣ молодая, смазливая баба, всѣ книги бросишь, да за нею пойдешь. Я тебѣ разсказывалъ же притчу о знатномъ философѣ Аристотелесѣ: какъ баба осѣдлала его... Природно, весьма правда! Такъ и съ нами бываетъ...»

— «Ты, видно, позабылъ другую комидію, которую самъ дѣйствіемъ являлъ въ новосіяющихъ славено-латинскихъ Аѳинахъ.»

— «Которая комидія?»

— «А «Ужасная измѣна сластолюбиваго житія въ пиролюбцѣ и Лазарѣ изображенная»...?

— «И ты позабылъ, что это зрѣлище дѣйствіемъ явлено при запустныхъ пированіяхъ отъ благородныхъ великороссійскихъ младенцевъ. Понимаешь ли, милостивый господине? Въ запу́сты, то есть, о святкахъ; *младенцы*, тогда мы были младенцы. И зрѣлище было явлено іероглифически, то есть образнѣ... Такъ-себѣ, притча — и только. Древніе были поумнѣе насъ; въ нашихъ московскихъ Аѳинахъ нѣтъ такой мудрости, какая греческимъ Аѳинамъ ex cathedra признается. Римляне полсвѣтомъ обладаніе имѣли, а у нихъ Ars amandi, то есть, штука любви была книгой представлена. Овидіусъ Назо, то есть, съ Носомъ или Носатикъ, такъ искусительно это дѣло описалъ, что я на память заучилъ, да жаль, что ты по латыни не разумѣешь. На гражданскій россійской языкъ еще нѣтъ тому дѣлу толкованія, но за то вышли только что изъ печати Метаморфозы того же аутора или превращенія въ лицахъ, — дѣло, удивленія всякаго достойное. Не могъ я тебѣ принести. Зернь способы мои истощила... Пусть завтра... Ну, прости милостивый господине, боюсь опоздать: не рано; префектъ и такъ говоритъ, что я у тебя засиживаюсь...»

— «Жаль, что не у меня, а у зерныщиховъ..: И деньги были бы цѣлы и мнѣ было бы не такъ скучно. Что́ я напрокладъ буду дѣлать?»

— «Ага! Вотъ видишь! Будь любовишка, такъ

разогналъ бы скуку, освѣжилъ бы голову и съ новой силой принялся бы за работу.»

— «А сегодня» спросилъ Степанычъ: «нельзя уже той книжицы искупить?»

— «Типографія заперта. Есть, правда, у товарища, да онъ безъ денегъ не отдастъ, потому что философы риторамъ не вѣрятъ.»

— «А что стоитъ?...»

— «Полтина.»

— «Ну, такъ вотъ что, Квинтиліанусъ, я съ тобою пошлю конюха, а ты искупи и отдай ему ту книжицу... Вотъ тебѣ деньги!»

— «Да ужь дай и мнѣ полтину на разживу...»

— «Изволь! Тебѣ я не жалѣю; ты же меня всякимъ добромъ усердно снабжаешь...»

И Квинтиліанусъ отправился. Степанычъ, не имѣя что дѣлать, закинулъ себѣ руки на спину и сталъ ходить въ большомъ покоѣ взадъ и впередъ. Задумался онъ не на шутку.

— «Охъ, Иванъ Степанычъ...» сказалъ Сергѣй, неотлучный стражъ тайника, въ которомъ хранилась гербовая бумага: «Заучитесь вы до того, что у васъ умъ за разумъ зайдетъ...»

— «Богъ помилуетъ. А что, Сергѣй, хозяинъ пересталъ проситься въ покои?»

— «Пересталъ, какъ я ему дверьми носъ прищемилъ. Теперь только какъ со двора идетъ, такъ къ крыльцу своротитъ, да опомнится и пойдетъ себѣ дальше.»

— «А что, онъ все еще въ банѣ живетъ?»

— «Въ банѣ. Только ему нынче плохо прихо-

дится. Какъ пошли холода, стали топить: дымно; у дѣвушекъ глаза разболѣлись.»

— «Право? Такъ ужъ не опросталъ ли имъ дома? Да жаль. Удобенъ, въ сторонѣ стоитъ, ни откуда никакого шума. Никто чужой не забредетъ. Тепло... Ну, да завтра ты мнѣ напомни...»

Принесъ конюхъ Овидіуса. Съ жадностію схватился Степанычъ за Метаморфозы; нѣсколько страницъ уже поразили его сладостными впечатлѣніями... Бросило его въ жаръ... Глаза воспалились... Онъ не могъ читать дальше. О, Квинтиліанусъ! Не сказалъ бы Степанычъ спасибо за эту книгу, если бы зналъ... Но не будемъ измѣнять историческому тону. Впередъ! Мечты зароились въ разогрѣтомъ воображеніи... Степанычъ не могъ ихъ унять; погасилъ свѣчу, хотѣлъ насильно уснуть; не тутъ то было; еще хуже; нужно же было Метаморфозамъ попасть въ руки ему тогда, когда онъ уже прочелъ такъ много и могъ понимать языкъ боговъ, хотя и въ ужасномъ переводѣ. Но всему есть конецъ; и мечты устали, улеглись; Степанычъ заснулъ, но сны не отходили отъ его изголовья, потому что онъ въ этотъ вечеръ не поужиналъ, а пустота въ желудкѣ, какъ извѣстно, пища для сновидѣній. Одинъ изъ этихъ сновъ былъ вѣщій. Этотъ вѣщунъ до того растревожилъ Степаныча сладостными ощущеніями, что онъ проснулся. — Проснулся; на дворѣ уже свѣтало; Сергѣй возился въ большой комнатѣ съ платьемъ; конюхи водили лошадей на водопой; а Чевушкинъ стоялъ у колодца и уныло глядѣлъ на окна своего

дома... Неизвѣстно, какая причина разжалобила Степаныча. Онъ кликнулъ Сергѣя и приказалъ позвать Чевушкина. Старикъ со всѣхъ ногъ бросился къ дому и не успѣлъ Степанычъ улыбнуться, какъ Чевушкинъ стоялъ уже передъ нимъ и кланялся.

— «Давненько мы не видались, хозяинъ!»

— «Давненько, ваше высокоблагородіе!»

— «Лишній титулъ. Ну, а что, разсчелся ли съ тобою Сергѣй?»

— «До полушки.»

— «Безобидно?»

— «Щедрости твоей мѣры нѣтъ; одно меня убиваетъ и спать не даетъ: за что погрузилъ еси меня въ опалу и немилость и на ясные глаза свои не допущаешь? Не токмо я, жена и дѣти мои глаза себѣ выплакали.»

— «Врешь, любезный: дымъ выѣлъ. Я и послалъ за тобой по этой причинѣ. Домъ твой для меня черезчуръ обширенъ. Съ меня двухъ этихъ покоевъ довольно; а два другіе и свѣтлицу можешь получить въ свое распоряженіе.»

— «Чѣмъ изъявлю благодарность мою? Хотѣлъ давно бить челомъ, хотя объ одномъ покоѣ, да Сергѣй грубо не допущалъ меня и отвращалъ побоями.»

— «Врешь, любезный, не о томъ хлопоталъ ты, не туда наровилъ; да всегда хорошо имѣть кое-что въ закладѣ. Ты самъ приказный, такъ лучше меня это знаешь. Ну, такъ съ Богомъ! Крыльцо, что отъ воротъ — твое. Крыльцо, что

отъ сада — мое. Дверь отъ твоихъ покоевъ я запру съ моей стороны, а ты какъ волишь!»

— «Въ благополучіи моемъ...»

— «Перестань болтать! Ступай!»

Чевушкинъ съ низкими поклонами отретировался; въ столовой на одномъ мѣстѣ маленько остановился-было, да заслыша, что Степанычъ выходитъ, бросился вонъ.

Степанычъ вернулся отъ фендриха очень рано; въ карманѣ у него покоилось письменное свидѣтельство, что онъ, драгунъ Костыльковъ, окончилъ полный курсъ пѣхотной и конской службы, и къ той и другой равно способенъ. Сергѣй увѣдомилъ его, что приходилъ разсыльщикъ отъ стольника Колычева и звалъ его въ канцелярію. Радостно побѣжалъ Степанычъ въ Кремль, въ полной драгунской формѣ. Въ канцеляріи нашелъ онъ большое собраніе военныхъ чиновъ; всѣ они, и даже самъ стольникъ, почтительно стояли передъ высокимъ, статнымъ генераломъ, который имъ что-то разсказывалъ. Колычевъ, примѣтивъ Степаныча, обратился къ генералу и сказалъ:

— «А! Вотъ мой рекрутъ. Костыльковъ, подойди!»

Степанычъ со всею аккуратностью тогдашней выправки подошелъ къ Колычеву и подалъ свидѣтельство.

— «Благо, благо!» сказалъ стольникъ и передалъ бумагу генералу.

— «Очень радъ и весьма кстати!» сказалъ генералъ. «Жалую тебя, Костыльковъ, въ корпора-

лы; быть тебѣ въ томъ чинѣ при Степанѣ Яковлевичѣ до тѣхъ мѣстъ, какъ усмотрѣно будетъ. Старайся и трудись! Ступай!»

Дисциплина не позволяла изъявить радости; хотя лицо его выражало сильное удовольствіе, но фендриховы уроки были въ памяти. Онъ отдалъ генералитету респектъ и отошелъ въ отличной исправности. Не зная кто и за что его пожаловалъ, онъ и не любопытствовалъ о такихъ пустякахъ; побѣжалъ домой; сообщилъ свою радость Сергѣю, Сергѣй конюхамъ, конюхи Чевушкину, Чевушкинъ домочадцамъ и за дверьми зашумѣла такая нескромная радость, что Степанычъ догадался, во-первыхъ, что сосѣдки уже переѣхали, во-вторыхъ, что сосѣдки очень жалуютъ своего постояльца и нимало на него не сердятся за то, что онъ чуть-было не ослѣпилъ ихъ въ дымной банѣ. Степанычъ притихъ, взялъ въ руки Метаморфозы и сѣлъ между окномъ и дверью, за которою радовались сосѣдки. Подите, разгадайте человѣка! Вчера ему было такъ скучно; Овидіусъ совершилъ съ нимъ такое дивное превращеніе! Сегодня Овидіусъ сталъ скученъ, а на сердцѣ было весело. Конечно, чинъ тутъ много значилъ, но не мало участвовали и сосѣдки.

О, Квинтиліанусъ!

Хотя двери запирались очень плотно, но по свойству голосовъ ли сосѣдокъ, или слуха Степаныча, онъ могъ разобрать каждое слово.

— «Знатно!.. (Это былъ голосъ Анфизы Карловны). Прекрасно! Одинъ мѣсяцъ и капралъ! Этакъ

одинъ годъ и капитанъ... Ну, Груня, я пойду на кухню, а ты здѣсь убери. Соня, ступай со мной!..»

«Она одна!» подумалъ Степанычъ, и странное волненіе захватило воинскую грудь новопожалованнаго капрала. Вѣроятно, чинъ... Нѣтъ, онъ забылъ, что онъ капралъ, что онъ драгунъ, что онъ Костыльковъ; подвернись въ это мгновеніе ловкій сыщикъ, безъ всякаго труда могъ бы снять съ него личину, которую онъ носилъ такъ искусно и непринужденно... И Богъ знаетъ до чего бы достигло это волненіе, если бы не вошелъ Сергѣй съ вязанкой дровъ. Взглянувъ на барина и замѣтивъ, что онъ въ сильной краскѣ и страннаго вида, Сергѣй оступился на порогѣ, упалъ и ушибся...

— «Что съ тобой?..»

— «Ничего-съ. Вотъ что съ вами?..»

— «Ничего. Не ушибся ли?»

— «Ничего-съ. Колѣнко пришибъ, да ребро. Вамъ не дурно ли полно?..»

— «Ничего... Да какъ ничего? Ребро не свой братъ! Покажи...»

— «Ничего... Охъ! Да, право, у васъ жаръ въ лицѣ, и рука-то горитъ. Охъ!»

— «Пустяки... А вотъ ты, Сергѣй! Кстати, баня опросталась. Эй, кто тамъ?..»

— «Я здѣсь, ко всегдашнимъ услугамъ...» сказалъ Чевушкинъ, низко кланяясь: «имѣю честь и счастіе принести достодолжное нижайшее поздравленіе. .»

— «Вели истопить баню...»

— «Сейчасъ... поздравленіе съ повышеніемъ въ рангъ корпорала...»

— «Баню...»

— «Эй, Анфиза, баню!.. И желаю, чтобы столько же поспѣшно вы изволили пройти всю табель о рангахъ отъ четырнадцатаго вверхъ и до перваго...»

— «Баню, говорятъ тебѣ! Видишь, Сергѣй бѣдный какъ ушибся...»

— «Ей-Богу ничего-съ, только ребрышко...»

— «Нѣтъ, ужъ я этого не позволю. За твою вѣрную службу, чтобы я... Нѣтъ, Сергѣй! Нѣтъ ли у тебя, Чевушкинъ, уголка потеплѣе и поспокойнѣе, гдѣ бы мнѣ Сергѣя уложить, пока баню истопятъ?..»

— «Помилуйте, какъ не быть! Въ кухнѣ на печи... а тѣмъ временемъ баню истопятъ...»

— «А въ банѣ вели моимъ конюхамъ водкой его вытереть.»

— «Да, да, грѣтою водкой, да еще съ мыломъ...»

— «А послѣ бани лежать смирно, до тѣхъ поръ, пока я самъ встать тебѣ не позволю...»

— «И не трогаться, и не раскрываться...»

— «Помилуйте!» возопилъ Сергѣй. «Да я почитай здоровъ.»

— «Слушаться, Сергѣй!»

— «Воля ваша!»

И Сергѣй поникъ, насильно поддерживаемый усерднымъ Чевушкинымъ.

О, клейменая бумага! О, Квинтиліанусъ!

Оба были чрезвычайно обрадованы ловкимъ удаленіемъ Сергѣя на покой. Чевушкинъ, упросивъ наскоро конюховъ истопить баню, побѣжалъ къ Степанычу. Герой нашъ, хотя и былъ доволенъ своимъ одиночествомъ, но успѣлъ разсудить, что опрометчивость можетъ до того испортить дѣло, что потомъ уже нельзя и поправить. Почему онъ хотя и протянулъ руку къ двери, куда влекли его домашняя скука, Овидіусъ и Квинтиліанусъ, но, заслышавъ походку Чевушкина, онъ успѣлъ принять другую позицію и пустился въ ходьбу по комнатѣ.

— «Не изволите безпокоиться!» сказалъ Чевушкинъ. «Денька два пролежать ему прійдется, но ушибъ неопасный...»

— «Жаль мнѣ Сергѣя, да и то сказать надо, что и я остался безъ послуги...»

— «А мы на что? Дщери мои ко всякой работѣ пріучены...»

— «Зачѣмъ же ихъ безпокоить?..»

— «Э, пускай привыкаютъ и къ услужливости и къ обращенію .. Будьте благонадежны...»

Не ожидая возраженія, Чевушкинъ отправился къ домочадцамъ и объявилъ Грунѣ нарядъ на службу. Къ сожалѣнію Степаныча, онъ не могъ слышать, какое на нее сдѣлало впечатлѣніе это порученіе; только не прошло минутъ пяти шести, какъ Груня, гладко причесанная, одѣтая въ то же узкое платье, появилась у порога и стала подбирать дрова, разсыпанныя Сергѣемъ.

— «Вотъ ужъ этого, убей меня, Груня, не позволю...»

— «А кто же печку топить станетъ?..»

— «Да ужъ, пожалуй, вмѣстѣ!»

И Степанычъ, въ щегольскомъ драгунскомъ мундирѣ, подобралъ сколько могъ дровъ и перенесъ въ спальню; Груня дотащила остальныя, — и, присѣвъ, стала ихъ укладывать въ печку. Груня, какъ я уже докладывалъ, была больно хороша; а отъ скуки она показалась теперь Степанычу овидіанской красавицей, которая при малѣйшемъ содѣйствіи миѳологическихъ силъ, могла обратиться не въ дерево, не въ птицу, а въ богиню. Размѣры и соразмѣрность ея фигуры представляли возможность для этой метаморфозы...

— «Что̀ вы это, Аграфена Кирилловна, носите такое узкое платье! Оно вамъ должно быть тѣсно!»

— «А вамъ какое дѣло? Тѣсно такъ тѣсно. Не ходить же въ юбкѣ днемъ.»

— «И то правда... А я чай...»

Степанычъ запнулся и покраснѣлъ. Ученость крѣпко измѣнила его языкъ и даже характеръ. Онъ, что̀ говорится, одичалъ... Однако же онъ то и дѣло поглядывалъ на Груню такъ умильно, что другая бы просто растаяла, а Груня преспокойно сидѣла на полу и драла кору съ березы.

«Что̀ бы мнѣ ей сказать такое, сладкое?..» подумалъ Степанычъ. — «Отчего это вы такія надутыя всегда, Аграфена Кирилловна?»

— «Такъ ужъ родилась, да и веселиться не изъ чего...»

— «Что жъ вамъ скучно?»

— «Отчего жъ мнѣ скучно? Работы довольно...»

— «Охъ! отъ работы и становится скучно. Отъ нея-то и надо чинить себѣ пріятный отдыхъ.»

— «Я и отдыхаю каждый разъ, какъ покушаю.»

— «Какъ отдыхаете?»

— «Сплю...»

— «И долго?»

— «Часа два, пока не разбудятъ. Матушка-то еще дастъ поспать, а ужъ батько, такъ иной разъ чубукомъ будитъ...»

— «Что́ ты тамъ врешь, Груня!» раздалось изъ другой комнаты. Степанычъ выскочилъ и глазамъ его представилось занимательное зрѣлище. Старикъ вынулъ изъ-подъ пола уже нѣсколько дестей клейменой бумаги, и потянулся за остальною. Услыша доносъ Груни, забылся, не утерпѣлъ и погубилъ себя... Степанычъ бросился на бумагу, столкнулъ ее ногой опять подъ полъ и, оттащивъ за ноги Чевушкина отъ люка, опустилъ половицу.

— «Ахъ, ты, воръ этакой!» сказалъ Степанычъ, горячась притворно. «Теперь мнѣ самому нужна эта бумага, а ты у меня воровать вздумалъ. Вонъ отсюда! Объявлено тебѣ, что если нога твоя будетъ въ этой комнатѣ, сейчасъ велю конюхамъ связать и тебя и бумагу и представлю въ канцелярію.»

— «Помилуй! Мое добро!»

— «Вонъ, говорятъ тебѣ!..»

— «Да и дочка, дитя, малолѣтокъ... Присмотрѣть надо...»

— «И безъ тебя присмотрятъ. Этакой скряга! И платья не пошьетъ дитяти, какъ слѣдуетъ... И чубукомъ бьетъ...»

— «Да откуда я денегъ возьму?.. А чубукомъ не бью! Какъ разбилась у меня трубка, я и курить пересталъ. И табакъ сталъ дорогъ. Куда намъ бѣднымъ людямъ до прихотей; такъ какъ же я ее могу бить, когда я не курю?»

— «Пошелъ вонъ! Поди сейчасъ въ ряды и пошли ко мнѣ торговца съ женскимъ платьемъ.. Пускай принесетъ шапки, кунтуши, бостроги и юбки нѣмецкія, клейменыя, на рость Груни. У меня служитъ, а отъ тѣсноты твоего воровскаго платья чуть дышетъ. Пойдешь ли ты?..»

— «Иду! Иду! Груня, пойдемъ!

— «А ей зачѣмъ по городу таскаться?

— «А какъ же ей примѣрить?..»

— «Принесутъ. Дома примѣритъ... А я деньги заплачу...»

— «Срамъ какой! Меня всѣ купцы знаютъ...»

— «Да ты же и заплатишь, а только моими деньгами... Ну, пошелъ же, а не то бери свою Груню и прощайте; я себѣ слугу найму; а на такое мучительство смотрѣть не могу. Ступай!»

— «Смотри же, Груня!» сказалъ старикъ значительно, почесался и ушелъ... Степанычъ поспѣшилъ къ Грунѣ.

— «Видишь, Груня, какъ я о тебѣ забочусь..»

— «Спасибо. Только и отъ матери и отъ сестры мнѣ достанется, а набѣжитъ роденька, раздѣнутъ.«

— «Если позволю...»

— «Да тебѣ что за дѣло?»

— «Есть небольшое...»

— «Гляди, не въ свои дѣла не путайся!..»

— «Хочу, чтобы тѣ дѣла мои были... Ну, Груня, а за подарочекъ стóитъ поцѣловать меня... А?..»

— «Видишь, куда лѣзетъ!»

И Груня выскочила изъ комнаты такъ проворно, что Степанычъ остался Овидіемъ Назо, то есть, съ носомъ; но этотъ носъ возъимѣлъ надъ всѣмъ существомъ его магическое дѣйствіе, и потому поистинѣ могъ назваться волшебнымъ носомъ. Степанычъ кипѣлъ, дрожалъ, ноги тряслись, мысли помутились; онъ не зналъ что́ дѣлать, чѣмъ занять себя; скука выросла во всю фигуру Груни и ходила возлѣ него неотступно. Появленіе Квинтиліануса, столь для него отрадное во всякое другое время, навело на него досаду.

— «Ты зачѣмъ?» спросилъ онъ, не подумавъ.

— «А зачѣмъ же я прихожу къ тебѣ каждый день? Сегодня у насъ воскресенье. Понялъ? Ученья нѣтъ; я съ обѣдни прямо къ твоей милости; того для, что, по обычаю, накормишь и напоишь, спать уложишь, опохмѣлишь и отпустишь съ честью. Воскресный день весь твой!»

— «Жаль!» сказалъ Степанычъ.

— «А что́ жаль?»

— «Прислалъ за мной стольникъ. Я весь день не буду дома...»

— «Такъ я и безъ тебя тутъ пробавлюсь.»

— «Нельзя!»

— «Отчего нельзя?»

— «Есть резоны...»

— «Пустяки...»

— «Говорятъ тебѣ толкомъ, нельзя. И вотъ что́ я тебѣ долженъ объявить: что я уѣзжаю въ Питербурхъ и ученью нашему конецъ. Надо мнѣ тебя наградить за твое усердіе; вотъ тебѣ десять рублей, спасибо, и убирайся съ Богомъ...»

— «Да все-таки я останусь проводить тебя. Я для тебя и напутственную рѣчь скомпоновалъ, да не успѣлъ выучить; такъ я тебѣ съ пашпа прочту.»

— «Не надо.»

— «Ну, такъ помогу твоимъ сборамъ.»

— «Не нужно. Все готово. Прощай, Квинтиліанусъ. А я отъ Колычева зайду поблагодарить отца префекта.»

— «Иванъ Степанычъ!» съ чувствомъ сказалъ Квинтиліанусъ, ставъ на колѣни.

— «Что́ такое?»

— «Не погуби! Не ходи къ префекту! Уѣзжай себѣ; жаль, да нельзя инако, а все-таки къ префекту не ходи! Выну сердце мое: Онъ будетъ думать, что ты все-еще на Москвѣ учишься; я все буду ходить къ тебѣ на уроки, и не возляжетъ на меня вся тягость ига новосіяющихъ славяно-латинскихъ Аѳинъ...»

— «Хорошо, только уходи!..»

— «Гоноровое слово?..»

— «Вотъ мое слово...»

— «Прости, милостивый и всещедрый господине! Не забуду я тебя до скончанія свѣта, и какъ зададутъ пінтику, отколю въ честь твою похвальное стиховное слово, и надрукую въ типо-

графіи и опубликую... Да будетъ съ тобою Аполлонъ и всѣ девять музъ. Прощай...»

«Довольно бы и одной!» подумалъ Степанычъ, когда ушелъ Квинтиліанусъ: «Только и одна то...— Кто тамъ?»

— «Запрету ради, не дерзаю вступить въ обитель вашу...» раздался голосъ Чевушкина. «Купецъ денегъ требуетъ, а у меня ни полушки.»

— «Надо прежде видѣть товаръ...»

— «Да онъ на Грунѣ.»

— «Такъ можно посмотрѣть и на Грунѣ...»

Прошло нѣсколько мгновеній, вошла Груня, одѣтая въ красивое нѣмецко-венгерское платье. Долго и молча любовался ею Степанычъ; Груня, потупивъ глаза, стояла посреди комнаты, какъ вкопаная; Чевушкинъ глядѣлъ на нихъ въ оба черезъ полуоткрытыя двери...

— «Ну, Груня!..» наконецъ сказалъ онъ: «Пора! Купецъ дожидается...»

— «А сколько?» спросилъ Степанычъ.

— «Пятнадцать рублевъ за все.»

Безпрекословно отдалъ Степанычъ деньги Грунѣ и когда она ушла, тоска глубокая захватила его сердце... Дума за думой, и Степанычъ забылся; ему представился собственный домъ и Груня въ богатомъ нарядѣ, и дѣти малъ-мала меньше и крикъ и шумъ, а онъ уже офицеръ, онъ на службѣ и знатенъ и славенъ, и жену его зовутъ на ассамблею, о которой онъ уже читалъ въ книжкахъ. Простовата она, да онъ же въ мѣсяцъ съ небольшимъ какимъ чудесамъ успѣлъ научиться, а она,

сама молодость; у нея ума природнаго немало, поучится, станетъ въ Петербургѣ первой барыней...

Стукъ тарелокъ разбудилъ Степаныча.

— «Груня!» сказалъ онъ тихо: «буду обѣдать въ спальнѣ! Тутъ что-то свѣжо...»

Груня стала накрывать въ спальнѣ, а Степанычъ пошелъ на конюшни, взялъ конюха и посадилъ у дверей, научивъ въ чемъ будетъ заключаться его новая должность... Воротясь онъ увидѣлъ, что столъ накрытъ, и Груня ставила передъ его приборомъ какую-то горячую похлебку.

— «Что Груня, ты уже обѣдала?»

— «Нѣтъ, мы послѣ васъ...»

— «Чай, есть хочется!»

— «Еще бы! Съ утра ничего во рту не было.»

— «Такъ садись со мной...»

— «Какъ это можно!»

— «Да отчего же нельзя?..»

— «Батько увидитъ...»

— «Какъ бы не такъ! У дверей конюхъ, а на окна книги поставлю...»

— «Стыдно...»

— «И, полно, Груня! Вѣдь я тебя не съѣмъ...

— «Вы такіе добрые, да мнѣ, право, что-то неладно...»

— «А оттого, что со мною чинишься. Въ одномъ домѣ живемъ, а будто чужіе. Простота. Въ людяхъ не живала. А поглядѣла бы ты у бояръ, у богатыхъ; теперь старую глупость выкурили: теперь поняли, что женскій полъ не ниже мужскаго, а напротивъ, выше и старше, и ему

надо всякій почетъ оказывать. Что въ томъ, что въ нѣмецкое платье нарядили, а ведешь себя будто деревенщина...»

— «Что же дѣлать, когда учить некому!..»

— «Да вотъ я тебя и учу, да не слушаешься.»

— «Какъ же я не слушаюсь?..»

— «Ну, такъ садись, моя милая.»

— «Какъ вамъ не стыдно!»

— «Что не стыдно?..»

— «Да какая жъ я милая?»

— Это въ хорошей компаніи, то есть, между порядочными людьми, и боярынямъ говорится.»

— «Право? А васъ же какъ порядочной дѣвкѣ кликать надо?»

— «Мой милый...»

— «Ну, мой милый, вотъ я и сѣла. А теперь давай трескать; больно ѣсть хочется.»

— «Вотъ ужъ трескать не говорится, а кушать. Кушай, моя милая! вотъ тебѣ кусочикъ говядины получше, ты себѣ жилу взяла.»

— «Спасибо, мой милый, я тебѣ угодить хотѣла.»

— «Вотъ это любовно, очень любовно...»

— «Какъ тебѣ не стыдно, мой милый!»

— «А что моя милая?»

— «Да о любви-то зачѣмъ говорить?»

— «Да объ чемъ же доброму молодцу съ красною дѣвушкой разговаривать? Вѣдь это не заправду, а такъ, ради веселія...»

— «Не заправду?»

— «А хочешь заправду, тогда не будетъ человѣка на цѣломъ свѣтѣ счастливѣе меня...»

— «Это отчего такое счастіе?»

— «Оттого, что ты красавица и умница. Между боярышень, ужъ сколько вотъ со мною такъ обѣдали и бесѣдовали, и на любовь просились, ни къ одной сердце не легло...»

— «Ой, какъ стыдно!...» Груня закрыла глаза руками.

— «Чего же стыдно? Правда твоя, милая! Стыдно по вашей деревенской глупости. А у насъ, между богатыми людьми, гдѣ всякій разумъ живетъ, у насъ себѣ кто хочетъ съ кѣмъ, любись сколько угодно, только тайность держи!»

— «Ты ли это, Степанычъ! Я не узнаю тебя, но за то узнаю учителя. О, Квинтиліанусъ!

— «Послушай, мой милый!» сказала Груня, вскочивъ съ мѣста. «Я схожу на кухню; другое и третье кушанье принесу; а не то подумаютъ..»

Проворно вернулась Груня и съ улыбкой сказала:

— «Батюшка спрашиваетъ, что ты мнѣ тутъ говоришь?»

— «Ну, а ты, моя милая, что сказала?...»

— «Стану я ему разсказывать! Говорю: Гиль несетъ про Сергѣя, да про тебя, да шутитъ, да смѣется...»

— «Умница, Груня! Дай я тебѣ за это поцѣлую!»

— «А развѣ и это у богатыхъ водится?..»

— «Какъ же! Это главное. Ужъ какая безъ того дружба: бесѣду всегда надо подслащивать.»

— «Ну, ужъ извини, мой милый!» сказала Груня съ достоинствомъ. «Не знаю, какъ тамъ у васъ

у богатыхъ, а я, окромя жениха моего, никого не поцѣлую...»

Разговоръ прервался. Отвѣтъ Груни ошеломилъ Степаныча. Оба надулись и молчали. Ни тому, ни другой не хотѣлось ѣсть. Оба не смотрѣли другъ на друга. Само собою разумѣется, первый взглянулъ на Груню Степанычъ.

— «Ну что, моя милая?»

— «Ну, что мой милый?»

— «Ты не будешь кушать?»

— «Не хочется.»

— «И мнѣ то же!»

— «Ну, такъ я уберу.»

— «Постой!»

— «Что пустяки молоть! И такъ боюсь, не надѣлала ли я чего худаго, что съ тобою такія рѣчи завела...»

— «Простительно тебѣ, Груня, право, простительно...»

— «То есть, хочешь сказать, что я деревенщина?

Степанычъ молчалъ.

— «Пусть и деревенщина!» сказала Груня съ сильнымъ вздохомъ и въ голосѣ отозвался плачъ сердца... Степанычъ не вынесъ.

— «Что съ тобой, дорогая моя Груня?...»

— «Отстань, никому не скажу!»

И Груня ушла. Тарелки стояли на столѣ, кушанье также, но никто не приходилъ за посудой. Между тѣмъ Степанычъ въ сильномъ волненіи сталъ разсуждать и обдумывать свое положеніе. «Если

женюсь,» такъ размышлялъ онъ: «бѣды не будетъ: на службѣ прокормимся на счетъ Костылькова, а сойду со службы, у сестры найду пріютъ... И проживешь себѣ на покоѣ важно... Роденька!... Да роденьку можно и отвадить... А ужъ жены чего искать лучше. Сама невинность и краса, а умъ... умъ пустяки; теперь мнѣ извѣстно, что изъ него, будто изъ воску, лѣпи что хочешь. Кончено! Женюсь!»

Не успѣлъ онъ рѣшиться, какъ вошла Груня и съ особенною быстротою стала собирать посуду.

— «Груня!.. послушай, Груня!..»

Ни слова въ отвѣтъ.

— «Я обдумалъ важное дѣло и хотѣлъ поговорить съ тобой...»

Груня ушла съ посудой.

— «Вотъ тебѣ разъ! Видно, не на шутку разсердилась, а признаюсь, какъ я переодѣлъ ее, какъ она на часокъ неволю свою отложила, да стала будто своя разговаривать... Нѣтъ, пустяки! Женюсь!—Только, что это мнѣ сегодня такъ душно? Надо пойти прогуляться... воздуху захватить... Или не поѣхать ли поглядѣть, какъ часовню на огородѣ строятъ? Или... нѣтъ, пойду куда глаза глядятъ. Эй, конюхъ! ложись въ этой избѣ. Никого не пущай! Никого, слышишь! Хоть бы отъ меня сказывался. Никого, ровно никого!»

И, одѣвъ въ рукава красивую нѣмецкую шинель, Степанычъ отправился. Съ крыльца садоваго надо было проходить мимо оконъ сосѣдокъ. Не утер-

нялъ Степанычъ, поглядѣлъ: у окна сидѣла Груня, съ распухшими глазами; увидавъ его, она отскочила отъ окна. Степанычъ хотѣлъ уже вернуться, но побоялся показать излишнюю нѣжность и пошелъ дальше. Бродилъ онъ по Москвѣ, бродилъ въ думахъ; ничего не увидалъ онъ на улицахъ немощеныхъ, кромѣ грязи, и ужъ какъ стало смеркаться онъ сталъ думать о томъ: не пора ли воротиться и кто принесетъ ему ужинать? Или лучше и не ужинать? А то еще вмѣсто Груни кушанье принесетъ Анфиза! Пуще только разобидитъ. И не поѣшь, и не уснешь спокойно! Да все таки пора.— И Степанычъ пошелъ. Стало порядочно темно. Однако же у одного дома онъ узналъ Квинтиліануса, который съ товарищемъ пробирался въ калитку.

— «Послушай!» говорилъ онъ товарищу: «ты хорошенько осмотри зернь; на пальцахъ прежде свѣсь; а тогда уже вѣсковъ потребуемъ; а не то въ просакъ попадемся. Ну, Силенусъ, пустимся въ омутъ...»

И Квинтиліанусъ нырнулъ подъ калитку, за нимъ Силенусъ; Степанычъ, по невольному чувству, пригнулся и вошелъ за ними въ подворотню.

— «Такъ не пустятъ...» сказалъ тихо Квинтиліанусъ: «Окликнуть. Ты и отвѣчай: Охотникъ. Ну!»

Всѣ трое, одинъ за другимъ, въ той же подворотнѣ спустились въ подвалъ. Постучались. Кто тамъ? Охотникъ. Впустили. Свѣтъ такъ и брызнулъ изъ подвала. Кто тамъ? Охотникъ. Опять впустили. Кто тамъ? Охотникъ, и Степанычъ во-

шелъ въ подвалъ. Бутылки, штофы и запахъ сейчасъ объяснили Степанычу, что онъ въ «виноградной лавкѣ», которыя уже въ это время завелись на Москвѣ... Въ первой пещерѣ было мало народа, но много шума: тутъ только пили. Но за то во второй пещерѣ, стекляной посуды совсѣмъ не было; много ящиковъ было сложено въ одно мѣсто и покрыто сукномъ. Свѣчи горѣли въ обиліи, и Степанычъ невольно взглянулъ на окна или дырки и замѣтилъ, что они плотно были закрыты досками изнутри. За этимъ столомъ стояло и сидѣло человѣкъ за тридцать. Зернщикъ металъ кости, и груда серебра и золота возвышалась передъ нимъ въ видѣ верблюжьихъ горбовъ. Квинтиліанусъ не могъ видѣть Степаныча, который сталъ позади его.

Степанычъ осмотрѣлся. Тутъ были и въ старомъ платьѣ съ медалями, и въ новомъ нѣмецкомъ, и въ военномъ; бо́льшею частію молодые люди; стариковъ было однако же человѣка три да и зрѣлаго возраста не мало. По всему видно было, что люди богатые въ большомъ числѣ.

— «Полтина!» сказалъ Квинтиліанусъ и всѣ разсмѣялись.

— «Есть изъ чего руки марать!» замѣтилъ одинъ игрокъ.

— «Намъ все равно,» отвѣчалъ зернщикъ. «Ставь хоть самую мелкую, только бы серебро; вотъ ужъ мѣди не принимаемъ. Проиграла полтина...»

— «Вотъ ты съ своей полтиной только счастье портишь...»

— «У всякаго свой счетъ и своя калькуляція. Полтина!»

— «Я нейду — и я нейду...» раздалось нѣсколько голосовъ.

— «Пожалуй! Намъ все равно. Лишь бы деньги. И хорошо, что̀ не попали; выиграла полтина.

— «Три полтины!» сказалъ Квинтиліанусъ и выигралъ.

— «Шесть полтинъ!»

Выигралъ.

— «Двѣнадцать!»

— «И я иду, и я,» опять заговорили многіе и ставили серебро и золото.

— «Проиграли!»

— «А-га! Вотъ вы мое счастіе испортили,» сказалъ Квинтиліанусъ, и опять поставилъ полтину.

— «И я поставлю!» сказалъ Степанычъ, бросивъ небольшой кошелекъ съ золотомъ на столъ.

— «Милости просимъ.»

Квинтиліанусъ оглянулся и вскрикнулъ:

— «Сиди смирно! Десятая часть — на Аѳины!» сказалъ Степанычъ.

— «Выиграли!» закричалъ Квинтиліанусъ, схвативъ кошелекъ. «А сколько въ ставкѣ?..»

— «Не твое дѣло считать. Пусть кто выигралъ, тотъ и считаетъ.»

— «Да что̀ тутъ, бездѣлица!» сказалъ Степанычъ, высыпавъ на столъ золото. «Тутъ всего тридцать золотыхъ, шестьдесятъ рублей. Пожалуйте! Вотъ тебѣ на Аѳины три золотыхъ, а двадцать семь идутъ дальше...»

— «А на Аѳины?»

— «Жирно будетъ. Самому деньги нужны. Знатно: выигралъ! Пятьдесятъ четыре; вотъ тебѣ на философію четыре, а пятьдесятъ пошли дальше. Выигралъ! Знатно! Сто на сто!..»

Напрасно перемѣняли зернь; сдавали кружку компанейщикамъ. Счастіе вертѣлось на одномъ мѣстѣ и горбы верблюда изгладились до того, что подъ ними стало сукно видно. Противу ставки Степаныча въ казнѣ уже не было отвѣта. Отобравъ золотые двурублевики, Степанычъ сталъ укладывать ихъ счетомъ въ большую кожаную мошну. Игра на время прекратилась. Казначеи отошли къ сторонкѣ, совѣтовались между собою, вынимали деньги, складывались, спорили. Пока шла эта ярмарка, Степанычъ съ помощью Квинтиліануса уложилъ золото въ кошель, сказалъ шепотомъ про себя: тысяча триста, двѣ тысячи шесть сотъ, обвязалъ большой кошель малымъ и, опустивъ за пазуху, застегнулъ мундиръ.

— «Ну, теперь, серебрецо!» сказалъ онъ.

Съ необычайнымъ проворствомъ подъ руками Квинтиліануса и Силенуса вырастали столбики въ двадцать рублей, и устанавливались рядкомъ: оказалось рублей серебряныхъ и эфимковъ тысячу пять сотъ съ чѣмъ-то. Одинъ проигравшійся дворянинъ предложилъ Степанычу пустые свои кожаные мѣшки.

— «Тутъ много моего серебра...» сказалъ онъ. «Пусть и мѣшки мои идутъ за рублевиками...»

— «Не беру даромъ!»

— «Пожалуй, дай что ни есть на разживу, авось отыграюсь...»

— «Бери сколько хочешь...»

— «Десять рублей. Больше не возьму...»

— «Какъ волишь! Ну, 2,600, да 1,530, всего 4,130! Ну, братъ, приходится счетъ уравнять; тридцать рублей на Аѳины, а сто на ставку...»

Квинтиліанусъ не выдержалъ и поцѣловалъ у Степаныча руку.

— «Товарищъ!» сказалъ онъ тихо Силенусу: «не печалься! Твоимъ счастьемъ все это сталось, такъ и все пополамъ.»

Между тѣмъ у казначеевъ образовалась порядочная груда одного золота. Это были запасные капиталы содержателей зерни. Но, увы, фортуна, видно, заснула на плечахъ Степаныча. Сто рублей перетянуло въ его карманъ еще тысячу золотыхъ. Остальное забрали дольщики. Мелкій остатокъ отъ выигрыша, простиравшійся до ста рублей, опять пожалованъ былъ на Аѳины. Тутъ уже и Силенусъ сталъ цѣловать руки у Степаныча. Игра кончилась! Казначеи объявили, что они послали еще за деньгами. Но это не удержало игроковъ и компанейщики съ горестью видѣли какъ Аѳины потащили за Степанычемъ мѣшки съ серебромъ.

— «Ну, Квинтиліанусъ! Наказалъ я зернщиковъ хуже полиціи...»

— «Да и плутяги же! Фальшивыя кости!»

— «Какъ же я выигралъ?»

— «Да вотъ тотъ дворянинъ, что продулся,

взялъ тѣ кости, да и растолокъ ногами. Крику было вчера надѣлали, да, ба! костей нѣтъ, а другихъ сдѣлать не успѣли, а тутъ и попались. И сегодня бы не попались, кабы ты игрой игралъ, а то заломалъ вдвое съ такого гигантическаго нумера; семь, восемь разъ прошелъ et consummati sunt. За то спасибо и мы съ Силенусомъ богачами стали. Вѣдь у насъ почитай по сту рублей у каждаго.»

У воротъ Степанычъ остановилъ ихъ. Позвалъ конюховъ, приказалъ принять мѣшки, простился и вошелъ въ свою комнату. Но только-что вошелъ, какъ тяжкая тоска поднялась съ глубины души пуще прежняго. Робко приказалъ онъ спросить ужинать — и, къ удивленію, та же Груня принесла ему на подносѣ водки, холоднаго поросенка и капуна съ огурцами. Странное противорѣчіе замѣтилъ онъ въ лицѣ ея. Глаза были заплаканы, а уста улыбались.

— «О чемъ ты плакала, Груня?»

— «Я? Чего мнѣ плакать?»

— «А глазки-то?..»

— «Отъ дыма! Соня чуть насъ всѣхъ не уморила; чадъ такой...»

— «Ну, пускай и чадъ! Богъ съ тобою, Груня! Куда же ты?»

— «Чего же тебѣ еще? Кажется, тутъ все подано...»

— «Тебя мнѣ надо, Груня! Твоей любви... твоей руки...»

— «Прощай! Мнѣ и слушать непристойно. Ес-

ли не отстанешь, такъ не увидятъ меня ни отецъ, ни мать...»

— «Что ты, Груня, что ты, моя милая! Я поутру еще хотѣлъ сказать тебѣ, что я уже порѣшилъ, если тебѣ не будетъ противно...»

— «Что ты тамъ выдумалъ такое? Полно бѣдную дурачить.»

— «Хочу жениться, Груня! Видитъ Богъ, хочу жениться!»

— «На комъ?» съ трепетомъ, едва слышно спросила Груня.

— «На тебѣ, душа моя, Груня ненаглядная!»

Груня зашаталась и упала бы, если бы въ подобныхъ случаяхъ не подоспѣвали, и всегда кстати, услужливыя объятья...

— «О, не солги!...» шептала она между безчисленныхъ и страстныхъ поцѣлуевъ. «Не убей меня, несчастную; не переживу...»

Но страстный Степанычъ рѣшительно не давалъ ей говорить; она сама рѣшилась прекратить это звонкое объясненіе и не безъ труда вырвалась изъ рукъ его, оправилась и сѣла.

— «Милый мой! Боже, что если я ослышалась...»

— «Нѣтъ, Груня! То моя крѣпкая и непреложная воля! Но!...»

— «Что но?.» И Груня затрепетала.

— «Вотъ что... Я женюсь на тебѣ, это такъ вѣрно, какъ то, что мы здѣсь сидимъ съ тобой. Но твой отецъ и вся твоя роденька не должны знать объ этомъ. Ты не знаешь, кто твой

отецъ; онъ выдастъ за меня Груню, но ограбитъ ея мужа; даромъ онъ не отдастъ тебя... Другое, хотя у меня денегъ пропасть, но вѣдь на однѣхъ деньгахъ не далеко уйдешь. А по отчинамъ у меня идетъ теперь тяжба. Какъ только получу вѣсточку, что все благополучно кончено, тогда мы на вѣкъ спокойны... Еще, душа моя...»

— «Постой, мой милый! Намъ теперь не слѣдъ о такихъ дѣлахъ говорить. Право, я такъ что-то на меня косо поглядываютъ... Завтра я улучшу времечко, чтобы намъ потолковать безъ опаса... Прости!»

Видно, фортуна все-еще спала на плечахъ Степаныча: и тутъ легкая побѣда, и тутъ неожиданная удача. Онъ схватилъ перо и бумагу, и началъ высчитывать свадебные расходы и разныя издержки на обзаведеніе въ Петербургѣ. Поздно заполночь бесѣдовалъ онъ съ цыфрами и улегся въ самыхъ пріятныхъ мечтахъ и надеждахъ. Не смотря на обаянье всѣхъ чувствъ, онъ не забылъ уложить конюха на люкѣ, который теперь для него казался дороже и важнѣе выигрыша, потому что водъ этою половицей лежалъ магнитъ, могущій въ нужномъ случаѣ охладить въ Чевушкинѣ всякій избытокъ горячности и удержать его отъ всякой опасной выходки... Потушивъ свѣчу, Степанычъ еще долго не могъ уснуть, какъ это всегда случается послѣ такихъ огромныхъ успѣховъ и въ игрѣ и въ любви; но за то утромъ, конюхъ почти насильно разбудилъ Степаныча.

— «Что тебѣ надо?»

— «Барынина принесла закуску... Да ужъ скоро и обѣдать пора.»

Можно себѣ представить, съ какой поспѣшностью Степанычъ вскочилъ и одѣлся.

— «Проси барынину!» сказалъ онъ, приглаживая волоса. «Груня! Душа моя!..»

— «Тише! Конюхъ! Сегодня... въ обѣдъ... Прости!» пролепетала Груша, поставила на столъ завтракъ и ушла.

День не шелъ, а тянулся безконечно. Съ Метаморфозами въ рукахъ сидѣлъ Степанычъ у дверей, которыя вели къ сосѣдкамъ, и загадочныя слова Груни разрѣшились. То было двадцать первое ноября, день, въ который празднуютъ Входъ во храмъ Богородицы, и множество имянинъ. Въ тотъ же день были имянины Марьи Ильиничны, жены бывшаго дьяка и начальника Чевушкина. И дьякъ и подъячій долго служили вмѣстѣ, дѣлили братски радость и горе; въ одно время построили себѣ дворы — и въ одинъ день пострадали отъ губернаторскаго указа: были отставлены отъ службы съ безчестіемъ. Казалось, служебное ихъ поприще кончилось. Но не такъ былъ дьякъ, не таковъ и подъячій; оба находили занятія, оба не только пропитывались, но и умножали впрокъ казну свою; за то и держались они въ мирѣ, любви и дружбѣ и по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ цѣлой семьей навѣщали другъ дружку; тогда скупость изгонялась изъ той обители, гдѣ даже домашніе нуждались въ необходимомъ. Шелъ пиръ горой допоздна и оба, и дьякъ и подъячій, хотя и въ

будни пили-себѣ чарку, если она приходилась на чужой счетъ, но ужъ въ этотъ день доходили до излишества; жены подражали мужьямъ; и обыкновенно многочисленные домочадцы приводили родителей домой не безъ усилія. А ужъ въ имянины эти дружескіе пиры были еще богаче, хотя ни у дьяка, ни у подъячаго никогда на имянины не приглашались чужіе. Впрочемъ, надо и то замѣтить, что праздновались большимъ пированіемъ имянины только отца и матери, а дѣтскія изъ календаря исключались; да и зачѣмъ ихъ баловать? Съ тѣхъ поръ какъ дьякъ познакомился съ подъячимъ и обратно, не прошло ни одныхъ имянинъ безъ пирушки. И Чевушкинъ съ вечера уже приготовлялся къ празднику, то есть, не ужиналъ, не завтракалъ, постился, жилъ надеждами; примѣру его слѣдовала и вся семья.

— «Пора, пора!» говорилъ онъ, одѣваясь въ самое лучшее свое платье... *Свое*, это такъ только говорится, а оно Чевушкину вовсе не принадлежало, а состояло у него подъ закладомъ года два и по спискамъ числилось проданнымъ: — «Ну, что же вы?...»

— «Да вотъ Груня что то нехороша...» сказала Анфиза.

— «Что съ нею?»

— «Да съ самаго утра, какъ встала, я сейчасъ подмѣтила, что плохо. Блѣдная такая. То въ жаръ, то въ холодъ ее бросаетъ. Еще на имянинахъ надѣлаетъ хлопотъ.»

— «Экое дурище, право! Нужно тебѣ очень

хворать. Что жъ для тебя варить особо, что ли? Матери стряпать въ имянины Марьи Ильинишны, дрянь этакая!..»

— «Да это что? Я обѣдъ для господина капрала изготовила; только подать. Такъ пусть она прежде подастъ; что останется, покушаетъ, да и ложится въ постель...»

— «Не могу, маменька, ноги не держатъ! Пусть отнесетъ Соня, а я слягу. Совсѣмъ изломало...»

— «Вотъ тебѣ разъ!» закричалъ старикъ. «Этакъ ты и меня безъ обѣда оставить хочешь. Теперь себѣ ложись, а какъ капралъ ѣсть захочетъ и прилетъ за обѣдомъ, изволь, сударка, встать, отнести что слѣдуетъ и тогда ужъ спи себѣ. А намъ тебя не дожидаться...»

— «Кирилла Александровичъ!» сказалъ вошедшій конюхъ: «пожалуй! Баринъ спрашиваетъ...»

— «Сейчасъ! А что бы васъ всѣхъ не легкое! Того гляди еще пошлетъ куда-нибудь; опоздаемъ... Ну, хоть вы проворнѣе одѣвайтесь...»

Чевушкинъ ушелъ и воротился очень довольный. Удружилъ! Ай да удружилъ! Ушелъ къ Колычеву; говоритъ, тамъ и обѣдать будетъ, тамъ и вечеръ проведетъ. И ты то же, Анфиза! Право, не знаю изъ чего ты спѣшишь всегда! Ну, зачѣмъ ты кушать ему не спросясь готовила? Сирячь къ завтрему. А Груня, ты — больная; въ ротъ ничего не можешь взять; ложись; укутайся хорошенько и спи! Ну, пойдемъ!

— «Ложись, ложись!» крикнула Анфиза, очень

довольная болѣзнью дочки. «А я твоимъ кунтушомъ и шапкою щегольну...»

— «Ужъ оно бы лучше Сонѣ..?» замѣтилъ старикъ.

— «Да что́ она, невѣста что ли, али женихи тамъ будутъ?.. Ну, пойдемъ! Прощай, Груня!»

— «Прощай, дочка!»

— «Прощай, сестрица!»

Время было обѣденное. Степанычъ, прогулявшись въ ближнихъ улицахъ и примѣтивъ издали, что хозяева ушли, бѣгомъ пустился домой. Приказалъ запереть ворота и калитку, и безъ спроса не пускать никого на дворъ, хотя бы то былъ самъ хозяинъ.

— «Это потому я дѣлаю,» сказалъ онъ дежурному конюху: «чтобы и вы могли всѣ отдохнуть ради праздника, да потѣшить больнаго Сергѣя. Вотъ вамъ денегъ... Купите себѣ вина или лакомства какого. Только глядите, чтобы ворота...»

— «Вѣтеръ не пройдетъ! Не изволь бояться, а за милость благодарствуемъ.»

Степанычъ заперся изнутри и подошелъ къ дверямъ хозяйскимъ.

— «Груня!»

— «Душа моя! Не знаю какъ быть! Не могу къ тебѣ выйти! Кунтушъ мать захватила...»

— «Какіе тутъ счеты между женихомъ и невѣстой!» сказалъ Степанычъ и отворилъ двери.

— «Ай, какъ стыдно!»

— «Когда ты перестанешь стыдиться?»

— «Не могу, не могу! Подай мнѣ вонъ хоть

этотъ платокъ, что виситъ на веревочкѣ... Ну, теперь ступай-себѣ, я сейчасъ выйду... Ну, вотъ и я... Ахъ, душа моя! Мы одни! Теперь душѣ моей воля; теперь-то наговоримся, мой ненаглядный!»

Гдѣ тутъ много говорить! Особенно въ началѣ свиданія... Но я такъ неискусенъ въ изображеніи человѣческихъ слабостей, что и этотъ послѣдній промахъ Степаныча совершенно предоставляю воображенію читателя.

О, Квинтиліанусъ!

—

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Конъюнктуры и концерты.

Дни точно деньги: бѣгутъ изъ-подъ пальцевъ, такъ что и не видишь; и не поймаешь! — И давно ли, кажется, Степанычъ на Москвѣ? а уже въ Антоновыхъ огородахъ между Москвою и загороднымъ селомъ государевымъ встали три зданія, и чтобы не простудиться отъ наступавшей зимы, надѣли шляпы изъ лубья. Не удивляйтесь такой скорости. Кромѣ Кремля и Китая, по всей Москвѣ запрещено было каменное строеніе, потому что строили на Невѣ новый царскій домъ, цѣлую столицу, и каменьщики были тамъ нужны. Москвѣ до времени позволено было тѣшиться деревянными постройками. Не смотря на то, лѣсъ въ Москвѣ и плотники были очень дешевы. Всѣ поджидали разрѣшенія класть каменные дома и пепелища представляли странный видъ улицъ, составленныхъ изъ однихъ заборовъ... Прошла недѣля съ тѣхъ поръ, какъ Сте-

панычъ сдѣлалъ послѣдній промахъ. Чевушкина съ ногъ сбили; онъ то и дѣло ѣздилъ на Антоновъ огородъ и дальніе за разными порученіями. Чевушкинъ весьма былъ доволенъ довѣренностью Степаныча; покупалъ мебель для новаго дома и богадѣльни, утварь для часовни, замки, крючки, и такъ далѣе. Въ эту недѣлю около двухъ тысячъ рублей было издержано Степанычемъ, а двѣ тысячи не шутка въ тѣ блаженныя времена, когда на рубль можно было прожить мѣсяцъ. Всѣ полученныя отъ Костылькова деньги, изъ которыхъ онъ двѣ трети отдалъ сестрѣ, израсходовались; изъ новоприобрѣтенныхъ также изошло не мало, такъ что у него осталось только одно золото, что́, по разсчету нашему, превышало еще четыре тысячи рублей. Крезово богатство! Для иного — капиталъ на всю жизнь и значительный. За невѣстами подвѣнечнаго давали тогда по тысячѣ, по пяти сотъ и это называлось *знатнымъ* приданымъ. Такъ при расходахъ въ двѣ тысячи рублей изъ чужаго кармана, конечно Чевушкинъ не могъ не быть весьма счастливымъ человѣкомъ; а стараясь придать трудамъ своимъ высшее значеніе, онъ за бездѣлицей пропадалъ всегда очень долго; а Степанычу и Грунѣ того только и нужно. Анфиза съ Соней на кухнѣ, а Груня то и дѣло услуживаетъ постояльцу, который съ нѣкотораго времени сталъ прихотливъ до невѣроятности. Десять разъ въ день ѣстъ; то ему не любитъ: Анфиза не смѣй говорить въ своей комнатѣ; Анфиза же не любила играть въ молчанку: возьметъ Соню и пойдетъ на кухню толковать

съ Сергѣемъ, который никакъ не могъ понять, чѣмъ и зачѣмъ онъ боленъ. Позволялось ему отъ заботливаго барина вставать съ печи и прогуливаться по кухнѣ, но отнюдь не выходить никуда, подъ строжайшимъ гнѣвомъ и опалой. Только во всемъ домѣ и оставалась одна Груня, и то потому, что Степанычъ безпрестанно встрѣчалъ надобность въ послугѣ; то пить хочетъ, то свѣчку затушитъ, то трубку закуритъ...

Трубку?

Да-съ! Трубку. Иванъ Степанычъ завелъ трубку, по совѣту Аграфены Кирилловны, потому что она съиздѣтства знала, какъ эта вещь выгодна для частыхъ отлучекъ. Словомъ, весь домъ вверхъ дномъ пошелъ. А Груня также не хуже Степаныча раскапризничалась. Никому спуска не было, ни сестрѣ, ни матери: даже самому Чевушкину она изъявила двукратно непослушаніе и ускользнула отъ чубука одинъ разъ крикомъ, возмутившимъ сонъ постояльца, а другой разъ бѣгствомъ въ его апартаменты. Чевушкинъ нашелъ бы случай для расплаты, но Степанычъ своими порученіями отнималъ у него почти все время. Не смотря на всю медленность дѣйствій будущаго тестя, домъ на огородахъ былъ конченъ и внутренней отдѣлкой; хоть сейчасъ переѣзжай! Степанычъ такъ и располагалъ приступить къ свадьбѣ какъ можно скорѣе, но поджидалъ письма отъ сестры и указа ѣхать въ Петербургъ. Чтобы не подвергнуться затрудненіямъ, онъ намѣревался даже не говорить ничего тестю, взять Груню, обвѣнчаться

и уѣхать въ Петербургъ. Аграфена Кирилловна, не уважая и не любя отца, одобряла проектъ своего милаго муженька, какъ она уже называла Степаныча и, вѣроятно, имѣла на то свои причины.

— «Видишь, женочка моя!» говорилъ Степанычъ, покойно обѣдая съ нею вмѣстѣ съ одной тарелки: «думаю такъ сдѣлать. Переѣду на свой московскій дворъ. Теперь у меня тамъ все въ порядкѣ. Приготовлю все, что̀ нужно къ свадьбѣ, послуховъ, и все какъ водится; пріѣду съ тестемъ проститься; сяду въ колымагу, да за уголъ и отъѣду. Ты будто за дѣломъ какимъ къ сестрамъ пойдешь, да въ колымагу, и поминай какъ звали; а если намъ отсюда бѣжать, такъ что̀ онъ скажетъ?... А теперь я скажу: Я не кралъ, а она сама ушла, въ полномъ умѣ и возрастѣ. Я у тебя и не жилъ тогда. И еще, пожалуй, вотъ что̀ можно сдѣлать: какъ обвѣнчаемся, я тебя и спрячу въ Питербурхѣ, никому не покажу. Онъ засуетится; доносъ подастъ, жалобу; а я скажу: я почемъ знаю, куда дѣвалась! Да ужъ сладимъ, лишь бы онъ прежде времени не смѣкнулъ...»

— «Да ужъ какъ муженёкъ съ твоей головой не сладить...»

— «Только гляди же, никому не говори.»

— «Да кому же я скажу? Ты знаешь, я и въ своей семьѣ, что̀ чужая. Не знаю за что̀ не любятъ....»

— «За то, что̀ больно хороша...»

— «Ну, ужъ ты, шутникъ этакой! Такъ кому же я скажу? Былъ и у меня сердечный дружокъ,

свояченица Вѣрочка; поплакала я объ ней не мало...»

— «А что, умерла?»

— «Нѣтъ. На харчахъ у насъ съ матерью жила; да какъ ты пріѣхалъ, онъ, барынней ради, всѣхъ родныхъ со двора согналъ, и ногой не велѣлъ къ намъ. Въ одинъ день кругомъ осиротѣли...»

— «А не хочешь ли ты Вѣрочку съ собой взять? Будете себѣ жить припѣваючи...»

— «Ахъ, ты, ангелъ мой! Ну, наградилъ же меня Богъ муженькомъ. Вотъ-то жизнь будетъ!..»

— «Кто-то идетъ!..» сказалъ Степанычъ и Груша вынырнула изъ его комнаты въ свою, гдѣ никого не было. Конюхъ за дверьми возгласилъ: «Разсыльщикъ!» И вошелъ огромный солдатъ съ приказаніемъ немедленно явиться къ Колычеву.

— «Сейчасъ буду!»

Степанычъ потребовалъ квасу и по этому случаю успѣлъ проститься съ Груней.

— «Ну, молодецъ!» сказалъ Колычевъ: «давненько я тебя не видѣлъ. Что дѣлалъ хорошаго?»

— «Книги читалъ...»

— «И чужія деньги считалъ.»

— «Я?»

— «Не запирайся. На всей Москвѣ только всего одинъ драгунъ изъ дворянъ и есть, что ты. Богатый человѣкъ, а воровскимъ манеромъ хочешь богатство свое умножить! Былъ добрыхъ регулъ человѣкъ, самъ доправлялъ всякое зло, а теперь зернщикомъ сталъ. Стыдно!»

— «Ваше превосходительство...»

— «Молчи и слушай! Всякая игра на деньги Богу противна и указами запрещена. Двойное преступленіе. По доносу явствуетъ, что ты въ томъ поганомъ гнѣздѣ не пилъ вина, велъ себя говоровымъ образомъ. Это похвально и вину твою нѣсколько умаляетъ. Но все-таки ты повиненъ суду...»

— «Въ первый и въ послѣдній разъ!»

— «Я сказалъ: молчать и слушать! За этимъ-то я тебя и позвалъ, чтобы взять съ тебя шляхетское слово впередъ къ такому грѣху и криминалу не прилѣпляться.»

— «Охотно.»

— «Опять! Ты, видно, забылъ чему тебя училъ ѳендрихъ. Дисциплина не апробуетъ, чтобы ты рѣчь мою перебивалъ. Я тебя выручилъ изъ бѣды. Я поручился, что тотъ воръ и зерыщикъ былъ не ты, хотя докладно зналъ, что ты.»

Колычевъ, покраснѣвъ, продолжалъ:

— «Я солгалъ! Я!.. Понимаешь ли ты, неблагодарный, какое я имѣю еще упованіе на твою поправу!.. Чувствуешь ли ты, молокососъ, всю важность моего поступка? Колычевъ солгалъ! Помни же это и храни втайнѣ. Тебя не тронутъ! Но говорю тебѣ: чтобы это было въ послѣдній разъ. Теперь объяви мнѣ, что могло тебя соблазнить къ такому ужасному грѣху? Отвѣчай! Теперь я спрашиваю.»

— «Скука, ваше превосходительство!.» твердо отвѣчалъ Степанычъ.

— «Я такъ и думалъ. Недостатокъ добраго компанства, затворническая жизнь не по вѣку; радъ я, что другаго мотива въ томъ не было. А развѣ у тебя на Москвѣ нѣтъ никого знакомаго?»

— «Какіе мои знакомые? Всѣхъ ихъ я передалъ въ руки господину оберъ-полиціймейстеру. Вѣкъ не забуду вашего великодушія, что самъ къ нему въ канцелярію не попался...»

— «Помни, Иванъ! Я солгалъ! Окупи мою ложь достойными дѣлами. А чтобы въ тебѣ истлить дурное сѣмя, надо тебя познакомить съ домами, гдѣ бы ты доброму образцу и хорошей конверсаціи могъ обучиться. Чтеніе, одно безъ приклада, безплодно. Кстати, я иду въ гости теперь въ такой домъ, гдѣ тебѣ бывать можно, но помни и при семъ случаѣ, что домъ сей — отмѣнной важности и при добрыхъ качествахъ молодаго хозяина будетъ въ большомъ почетѣ. Подай мнѣ книжникъ: вонъ на столѣ лежитъ. Поѣдемъ!»

На Пречистенкѣ возвышались каменныя хоромы окольничаго Словцева. Ворота, которыя такъ недавно были заперты, раскрылись и цѣлый день пропускали искреннихъ, ложныхъ утѣшителей. У крыльца стояла траурная колымага; цугъ лошадей, шляпы у кучеровъ, платье, все было покрыто трауромъ; на крыльцѣ встрѣтилъ Колычева и Степаныча привратникъ, также одѣтый въ печальное платье.

— «Дома Боря?» спросилъ Колычевъ.

— «Борисъ Петровичъ съ Ольгой Петровной только-что съ прогулки вернуться изволили.»

Вошли. Большая палата, загроможденная золотою мебелью, обита была черным сукном отъ пола до потолка; позолота также была закрыта, но просвѣчивала сквозь крепъ... Не успѣлъ Степанычъ осмотрѣться и подивиться богатству комнатнаго убранства, какъ къ нимъ въ преображенскомъ мундирѣ вышелъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати съ печальнымъ, но прекраснымъ лицемъ.

— «Степанъ Яковлевичъ! Благодѣтель!» воскликнулъ онъ: «сами изволите трудиться...»

— «Здравствуй, Боря! По лицу твоему вижу, что прискорбенъ еси по дѣдушкѣ.»

Слезы показались на глазахъ Бориса.

— «Подумай ты самъ, умница...» продолжалъ Колычевъ, положивъ руку на плечо хозяину. «Чуть не столѣтній вѣкъ прожилъ; сына и двухъ дочерей, да матушку твою схоронилъ. Въ натурѣ свой порядокъ есть, его же не прейдеши, и смущеніе и скорбь излишній ея — грѣхъ. Покойный со мной ладилъ, за то, что я старину его конфузилъ, но я его душевно респектовалъ и любилъ....»

— «Это онъ всегда самъ говаривалъ. Правда, больно онъ противъ новостей возставалъ, но опять же и неучами насъ не оставилъ.»

— «Знаю, знаю, Боря, и похвалю твою любовь къ нему, но всему мѣсто и время; вотъ ужъ четыре недѣли прошло; можно скорбѣть, да не надрываться. Ну, Боря, когда же въ Петербургъ?..»

— «Когда укажете!»

— «Странно это! Отчего, если любишь кого, безъ себя отпустить не хочешь! А мнѣ еще дѣла будетъ на недѣлю; а тебѣ?..»

— «Я уже все исправилъ и готовъ ѣхать хоть завтра. И признаюсь, желалъ бы въ путь поскорѣе, потому что сестра въ этихъ хоромахъ изноетъ съ тоски. А тамъ у нея есть тётки двѣ; при нихъ и оставлю; забавы, праздники... разсѣется...»

— «Очень благоразумно и согласно съ указомъ. Дивіёръ вотъ ко мнѣ пишетъ: (Колычевъ вынулъ письмо,) что на послѣдней ассамблеѣ у свѣтлѣйшаго, государь изволилъ замѣтить, что мало русскихъ дамъ, потому что Колычевъ изъ Москвы въ Петербургъ только мужчинъ отправляетъ. Конечно, поручи мнѣ государь и дамъ по смотру отправлять, снялъ бы я сидней много въ Москвѣ. И, право, удивляюсь! Какую тутъ онѣ могутъ партію сдѣлать, когда всѣ женихи въ Петербургѣ? Вотъ налицо два молодца; Колычевъ ихъ забралъ, да и шлетъ въ Петербургъ. Рекомендую тебѣ, Боря: богатый помѣщикъ Иванъ Степановъ Костыльковъ. Люби его и жалуй!..»

— «Радъ знакомству. Милости просимъ хлѣба соли откушать, когда время...»

— «Покорно благодарствую! Ради стараться!» смутясь, отвѣчалъ Степанычъ.

И Колычевъ и Боря улыбнулись солдатскому отвѣту. Степанычъ пуще и пуще приходилъ въ замѣшательство.

— «Ну, Боря! поди скажи Олинькѣ, что я хо-

чу ее видѣть, проститься, потому что отъѣзду вашему не хочу долѣе препкодить.»

— «Степанъ Яковлевичъ! Да будетъ ли пристойно?»

— «Видно, Боря, ты еще больно хорошо помнишь дѣдушкины сказки. Какъ же ты это Олю въ Петербургъ повезешь съ такимъ предразсужденіемъ! Я не буду пропоновать, чего не слѣдуетъ...»

— «По мнѣ, пожалуй, только не знаю, какъ сестра...»

— «Скажи ей, что Колычевъ послѣднее время удѣляетъ, лишь бы повидаться съ дѣтьми своего друга, а вашего покойнаго родителя.»

Борисъ ушелъ.

— «Вотъ видишь, какъ надо быть человѣку шляхетскаго рода и доброй эдукаціи. Послѣднимъ Боря и Оля мнѣ обязаны. Я старика уломалъ обучить ихъ нѣкоторымъ знаніямъ. Я, подъ рукой, умѣлъ ихъ наклонить къ нынѣшнему времени. Остальное довершитъ практика. Вотъ и Оля... Здравствуй, моя красавица!..»

Красавица? Значитъ второй нумеръ Аграфены Кирилловны. Вотъ тутъ я ужъ совершенно втупикъ стану. Не знаю, какъ вывернусь. Помоги хоть ты, Квинтиліанусъ! Но, увы, всѣ твои риторическія фигуры не годятся для истинно піитическаго созданія. Ольга Петровна... Конечно, она объемомъ и въ половину не была велика противъ Груни; это было какое-то пуховое, нѣжное существо; дунуть страшно: того гляди улетитъ;

станъ, ручки, ножки, головка, все такого мелкаго калибра, а ростомъ не малая; но таково свойство стройной прелести; въ одной громадности нѣтъ изящества, вы меня извините! Но дайте этой громадѣ — соразмѣрность, тогда не отведете глазъ, точно такъ же, какъ вотъ теперь Степанычъ — потерялъ военный строй, языкъ, память и смотрѣлъ, смотрѣлъ, смотрѣлъ...

— «Что́, дитя мое!» сказалъ Колычевъ. «Подними глазки, обрадуй привѣтливымъ словомъ...»

И поднялись длинныя черныя рѣсницы, изъ-подъ нихъ выглянуло цѣлое небо голубыхъ глазъ. Право, это не фигура, а совершенная истина. Ангельскую кротость и доброту обильно проливали очаровательные взоры. Она взглянула и на Степаныча; краска легкая пробѣжала по бѣлому, какъ мраморъ, лицу, а Степанычъ, покраснѣвъ какъ ракъ и въ смущеніи полагая, что на обязанности его лежитъ сдѣлать привѣтствіе, вытянулся и отдалъ воинскій респектъ. Ольга Петровна улыбнулась; по кротости улыбки Степанычъ принялъ ее за признакъ одобренія и плавалъ въ восторгѣ...

— «Что́ вы, Степанъ Яковлевичъ, уѣзжаете?» сказала она. — И бѣдному Степанычу показалось, что небесные гласы пронеслись въ воздухѣ...

— «Нѣтъ, Олинька, не я, ты должна ѣхать, потому что Боръ нельзя тутъ долѣе оставаться: въ полкъ давно его требуютъ; да я защищалъ его... Теперь уже нельзя и не должно отнѣкиваться.»

— «Мнѣ ѣхать? Отсюда, гдѣ жили батюшка, матушка, дѣдушка, добрый нашъ дѣдушка...»

И Ольга расплакалась до того, что ей сдѣлалось дурно. Колычевъ простился съ нею наскоро; обѣщалъ завтра заѣхать и вышелъ.

— «Костыльковъ!» раздалось изъ прихожей, и тогда только вспомнилъ Степанычъ, что онъ пріѣхалъ съ Стольникомъ.

— «Ну, что?» спросилъ Колычевъ съ улыбкой, усѣвшись въ колымагѣ.

— «Что-съ?»

— «Понравились тебѣ мои дѣтки?..»

— «Какъ же не понравиться!..»

— «Старайся походить на нихъ въ кондуитѣ, а разума и ученія у тебя не меньше. А чтобы ты тутъ, въ этой Москвѣ, не прилипъ опять къ какому грѣху, такъ я и тебя отправлю, какъ только изготовишься. Хоть завтра приходи въ канцелярію: подорожная будетъ готова. Пожалуй, я тебѣ и цидулу дамъ къ Дивіеру... Ну, теперь прощай!» сказалъ Колычевъ уже на крыльцѣ, и Степанычъ отправился домой.

Страшный вечеръ, страшная ночь; за одинъ промахъ прогремѣла гроза изъ устъ Колычева, за другой прочелъ онъ казнь въ глазахъ Ольги и осужденіе на вѣчную, вѣчную муку. О! не надо быть больнымъ мудрецомъ, чтобы отличить признаки истинной, сильной любви, отъ горячки вожделѣній. Конечно, впечатлѣніе, произведенное Ольгой на Степаныча, было окончательное Изъ-подъ этого ярма не выскакиваютъ; но въ началѣ тягость его не такъ замѣтна; надо постороннихъ обстоятельствъ, чтобы раздуть это пламя, а ихъ было

довольно; новыя подоспѣли кстати. Конюхи проѣзжали лошадей Степаныча, чтобы не застоялись, и по этому случаю ворота были отперты; никѣмъ незамѣченный, онъ прошелъ на крыльцо; конюхъ, стороживший клейменую бумагу, видно не выспался, и у порога на попонѣ спалъ сномъ сладкимъ. Степанычъ и его не разбудилъ; тихо вошелъ онъ въ покои; заслышавъ въ сосѣдней комнатѣ довольно громкій разговоръ, опомнился, и подкравшись на цыпочкахъ къ завѣтнымъ дверямъ, сталъ прислушиваться.

— «Ахъ, душа моя, Вѣрочка, какъ бы мнѣ тебѣ успѣть разсказать все, пока отецъ воротится!»

— «Да ужъ, кажется, Груня, ты все разсказала. Выходишь замужъ за богача, ѣдешь въ Петербургъ, берешь меня съ собой, чего же больше? Тутъ все есть и для твоего и для моего счастія.»

— «Ну, не говори, все...»

— «Какъ не все? Вѣдь онъ же молодецъ собой?»

— «Такъ-себѣ! Конечно, недуренъ, да ужъ куда ему противъ того красавчика, что мы черезъ щелку въ трактирѣ лѣтомъ видѣли.»

— «Ахъ, милаша какой! А, можетъ быть, мы и его въ Петербургѣ увидимъ...»

— «Угадчица! И у меня то же на умѣ. Я только молчу... А и мой, говорю тебѣ, ничего, такъ-себѣ. Ахъ, Вѣрочка, если бы ты видѣла какъ я его ловила, какъ лукомъ глаза себѣ натирала; какъ... Да что разсказывать!.. На какую хитрость не пойдешь, глядя на старшихъ сестеръ; и безъ

радости вѣкъ проживешь, и на рукахъ у такого отца останешься, что ни ѣсть, ни пить, ни одежи, ни постели, да еще побои, да попреки: зачѣмъ замужъ не выходишь! А какой дуракъ изъ такого гнѣзда жену возьметъ, и кому онъ насъ показываетъ? Ты вѣдь не чужая, сама все видѣла и слышала, каково намъ жить. А потомъ безчестіе только наживешь, вонъ какъ сестра Глафира. Съ суда, съ обидчика за нея отецъ деньги правилъ. Ты, Вѣрочка, знаешь, что въ нашемъ возрастѣ и безъ того замужъ хочется; да еще при такомъ житьѣ: такъ тутъ разбирать не станешь, за кого; лишь бы замужъ. И говорю тебѣ, что онъ такъ-себѣ. Любить его, не люблю, а терпѣть могу...»

Вотъ что называется между небомъ и землею очутился Степанычъ. Ангелъ кротости и доброты явился ему сегодня, а теперь онъ понялъ, какимъ пламенемъ сверкали сѣрые глаза Аграфены Кириловны.

«Договаривайте! договаривайте!» подумалъ онъ: «разсчитаемся.»

— «Ну, Вѣрочка, какъ же ты думаешь, умно я эту кашицу заварила?»

— «Какъ расхлебаешь? А на разумъ твой у меня большая надежда.»

— Хоть и сладко мнѣ быть съ тобою, да чтобы дѣла не испортить, уходи, Вѣрочка! Какъ намъ ѣхать прійдется, я тебѣ дамъ знать: вѣдь не за горами!»

— «Спасибо, душа моя!... А когда же ты думаешь?...»

— «Да чай на дняхъ. Да и долго-то ждать страшно. Знаешь, нечего отъ тебя грѣха таить... Ахъ, Боже мой, кажется, отецъ пріѣхалъ. Зачѣмъ онъ, этотъ капралъ глупой, двери заперъ... Постой, я впередъ пойду... Нѣтъ, слава Богу, это не онъ! Уходи, Вѣрочка, проворнѣе!»

Холодный потъ катился по челу Степаныча; но бываютъ и благодѣтельные удары судьбы: они будятъ въ насъ благоразуміе. Степанычъ горько улыбнулся и въ душѣ проклялъ Квинтиліануса. Ему сталъ ясенъ весь путь этой глупой страсти и онъ невольно радовался, что обманъ открылся вовремя. Одно его печалило и безпокоило. Онъ сталъ на ряду съ Костыльковымъ: онъ былъ соблазнителемъ невинной дѣвушки, которую даже оправдывалъ и желаніями молодости и положеніемъ въ такой семьѣ. Смеркалось. Степанычъ разбудилъ конюха и приказалъ подать огня. Груня съ веселою улыбкой прибѣжала со свѣчей. Степанычъ едва умѣлъ скрыть свое негодованіе.

— «Когда ты успѣлъ воротиться, дорогой муженекъ?...»

— «Только нынѣ. Усталъ ужасно... Принеси ужинать: намъ надо съ тобой слова два перемолвить...»

— «Знаю, знаю, объ чемъ! Ахъ, ты этакой, право! Ну, ставь столъ; я сейчасъ вернусь...»

Въ этомъ антрактѣ Степанычъ на скорую руку отсчиталъ кучу золотыхъ, положилъ ихъ въ особый кошелекъ и спряталъ въ карманъ... Конюхъ громогласно произнесъ за дверьми:

— «Разсыльщикъ! Письмо принесъ!...»

— «Подай! Видно, указъ и подорожная...»

Но къ удивленію и радости, распечатавъ, узналъ, что это письмо отъ Лукомкина.

«Посылаю въ губернію рапортъ о новомъ ловѣ,» писалъ Семенъ Романовичъ: и ухватился за эту оказію, чтобы извѣстновать тебѣ, что я воровъ изловилъ многое число; съ Ванькой Ломжинымъ раздѣлался по-своему. Денегъ онъ мнѣ не выдалъ; такъ я по нашему концерту вошелъ во владѣтельство Старою Усадьбой, чему большой секурсъ учинилъ бывшій у меня фендрихомъ — нынѣшній земскій комиссаръ. Спору было много, да все устроилось. Живемъ пока дома, потому что поджидаемъ воровскаго десанту. Хоромы холодны на-смерть; живемъ въ одномъ покоѣ всѣ, а въ большой избѣ офицеры; починяю, какъ по времени могу. Новостей никакихъ нѣтъ, только развѣ та, что Ванькѣ твоему смерть хотѣлось жениться. Прощай, коли хочешь, пиши съ этимъ же посланцемъ. Онъ долженъ къ Николину дню вернуться. Твой преданный рабъ, Семенъ Лукомкинъ.

«Жена тебя обнимаетъ, благодаритъ и Богу за тебя молится. Что твоя часовня? А жена хочетъ ту церковь опять поставить лѣтомъ, которая была на Усадьбѣ. — Пиши! Прощай, до свиданья!»

— «Что это ты читаешь?» спросила Груня, входя съ ужиномъ.

— «А то письмо, что я тебѣ говорилъ!..»

— «Ну, что?...»

— «Плохо! Надо ѣхать не въ Петербургъ, а въ деревню!»

— «Надолго?»

— «Нѣтъ!»

— «Ну, куда не шло; поѣдемъ. А оттуда въ Петербургъ?»

— «Разумѣется.»

— «А долго просидимъ въ деревнѣ?...»

— «Да съ мѣсяцъ...»

— «Ну, что̀ дѣлать. А, можетъ быть, тебя не отпустятъ?..»

— «Не могутъ. Такая нужда. Меня же Колычевъ знаетъ... Погоди маленько, Груня. Мнѣ надо отповѣди написать...»

И Степанычъ сѣлъ къ столу, написалъ два письма, коротенькія; уложилъ въ одинъ конвертъ, запечаталъ и приказалъ позвать солдата.

— «Здравствуй! Когда ты уѣдешь?»

— «Не уѣду, а пойду какъ укажутъ; чай, завтра отпишутся.»

— «Ну, такъ вотъ, любезный, возьми-ка и это письмецо да отдай его Семену Романовичу!»

— «Слушаю-съ!»

— «А это тебѣ за труды.»

— «Покорно благодарствую.»

— «Ну, и все.»

— «Счастливо оставаться.»

— «Теперь мы одни, Груня: Сядемъ. Говорить немного. Ты ужъ почти все знаешь. Завтра я переѣду на свой огородъ. Послѣ завтра пріѣду проститься. А тамъ на мѣсяцъ въ деревню... Вотъ и все тутъ. Ахъ, я хотѣлъ тебя попросить, Груня. Припрячь, пожалуй, гдѣ-нибудь у себя эти деньги. Я ихъ нарочно отдѣлилъ для свадебнаго подарка; такъ все равно пусть у тебя будутъ...»

— «Что это, золото?»

— «Чистое...»

— «И такая пропасть!»

— «Пять сотъ золотыхъ, тысяча рублей...»

У Груни духъ захватило отъ такого нумера; она не могла смотрѣть на золото не прищурясь.

— «И это мое?»

— «Будетъ. Ахъ, Боже мой, какъ я усталъ. Мнѣ не ѣсть, а спать хочется. А завтра еще сколько хлопотъ! Того гляди не успѣешь.»

— «Такъ лучше ложись, муженекъ...»

— «Да, да, прощай Груня!»

— «Видно умаялся, что и поцѣловать меня забылъ.»

— «Ахъ, да, прощай! Богъ съ тобой! Прощай!»

Груня ушла.

— «Навѣки! Богъ да проститъ тебя — и меня грѣшнаго!»

И Степанычъ повалился ницъ передъ образомъ и долго молился однѣми слезами, горькими, горькими... Мало по малу облегчалась грудь его; когда онъ легъ и потушилъ свѣчу, сонъ поспѣшилъ ему на помощь, но уже не тотъ лукавый сонъ, который смутилъ его послѣ Квинтиліануса и Овидіуса; не побѣда надъ Грушей снилась ему;— нѣтъ, онъ служилъ, какъ вѣрный рабъ, другой богинѣ и во снѣ понималъ, что онъ наяву неловко опозналъ и принялъ за Діану дородную Вакханку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

РЕЗОЛЮЦІЯ.

— «Ну, Сидоръ!» сказалъ Костыльковъ, такъ утвердительно, что несчастный слуга вздрогнулъ, предвидя къ чему клонится рѣчь: «теперь уже не отмолишься. На праздникъ я хочу уже быть женатымъ. Нѣтъ другаго исхода моей зазнобѣ. Ты видишь, я совсѣмъ одѣтъ; въ Будимовку къ попу уже посланъ гонецъ; все готово; лошади заложены; свадебный поѣздъ мой на тридцати лошадяхъ, ступай за Дуняшей...»

— «Иванъ Степанычъ! пусть лучше не будетъ этой свадьбы...»

— «По-мнѣ, пожалуй! На волѣ Дуняши; кажется, ужъ этой милости для тебя довольно. Ступай, потолкуй съ ней, срока полчаса...»

— «Господи! спаси меня и помилуй!» сказалъ Сидоръ и хотѣлъ уже идти, какъ раздался стукъ экипажа и въ комнаты вошла воеводиха.

— «Вотъ тебѣ разъ!» воскликнулъ Степанычъ забывшись. Ему показалось страннымъ, что воеводиха, которая поутру еще, на возвратномъ пути съ богомолья, завтракала въ Костыльковкѣ, успѣла къ ночлегу опять вернуться къ нему и разрушить сладостный сонъ его горячихъ надеждъ. Но удивленіе и ужасъ его возросли, когда воеводиха объявила ему о причинѣ своего пріѣзда.

— «Пропали мы!» завопила она. «Сидоръ! Ступай вонъ. Пропали! Закатилось наше солнышко. Поручикъ твой погубилъ насъ всѣхъ... Максимъ мой безъ меня проболтался...»

— «Что́ такое?»

— «Ахъ, Господи! Я этого и разсказать не съумѣю докладно; пятое, черезъ десятое разсказала мнѣ Палашка. Вчера, какъ мы тутъ съ тобою ворковали, пожаловалъ къ Максиму старый его знакомецъ московскій, закадышный. Обрадовался Максимъ первому своему злодѣю. Тотъ ему разскажи, что́ поручикъ твой на Москвѣ сдѣлалъ, а Максимъ, тетеря, давай дѣло маслить, чтобы концы въ воду свести, да и научилъ его на мою голову...»

— «Да что́ такое?»

— «Да ужъ я побила Палашку, зачѣмъ недокладно подслушала. Знаю только, что бѣда, потому что знаю этого крючка окаяннаго; сто Лукичей и Ѳомокъ его мизинца не стоютъ... Это злодѣй первой статьи. Сорокъ лѣтъ плутовствомъ занимался... Господи, ѣдетъ кто-то! Что́, если это онъ? Спрячь меня, Ваничка, самъ спрячься!.. Идетъ!..»

— «Дома ли господинъ Иванъ Степановичъ Костыльковъ?» спросилъ кто-то на крыльцѣ.

— «Дома!» отвѣчалъ хоръ конюховъ, которые должны были везти въ Будимовку свадебный поѣздъ.

— «А куда идти?»

Видно, тѣ же конюхи указали дорогу, и въ большую избу вошли Чевушкинъ и Аграфена Кирилловна.

— «Здравствуй, дорогой зять!»

— «Здравствуй, муженёкъ мой милый!»

И Костыльковъ, какъ мячикъ, переходилъ въ объятія то отца, то дочери.

— «Стой! Погоди! Не души! Что вы ко мнѣ привязались? Что́ вамъ надо?..»

— «Батюшка! Да онъ, кажется, насъ не признаетъ, а, кажется, свѣта довольно..»

— «Шутитъ, шутитъ, дочка! Онъ это оторопѣлъ отъ радости; не думалъ, что мы такъ скоро по указу его явимся. Ну, Иванъ Степанычъ! Каково поживаешь?..»

— «Да, мой ангелъ! Каково ты поживаешь?»

— «Да что́ вы, бѣлены объѣлись, или отродясь уже такіе, что ли? Я васъ знать не знаю...»

— «Ахъ, я несчастная! Батюшка, онъ не признаетъ насъ! Измѣнщикъ!»

И Груня упала на софу, будто въ обморокъ.

«Ну, пусть теперь отецъ раздѣлывается...» подумала Груня: «а этотъ куда лучше того поганаго самозванца. Этотъ, просто, яблочко. Боже! Что, если воеводская наука не удастся? Я опять въ дѣвкахъ останусь! И тогда уже никто, никто не посватается. Шила въ мѣшкѣ не утаишь!..» Такъ думала Груша, а между тѣмъ Чевушкинъ разъигрывалъ свою роль.

— «Знать не знаешь!» воскликнулъ онъ съ негодованіемъ. «Подумай, Иванъ Степанычъ, что́ ты это говоришь! Неужели ты думаешь, что ты въ Костыльковкѣ какъ въ нѣкой фортеціи, и что я тебя судомъ отсюда не добуду?..»

Чевушкинъ взялъ свѣчу и поднесъ ее къ лицу Груши, которая все-еще лежала на софѣ, зажму-

рясь. Костыльковъ такъ и вспыхнулъ. Мы видѣли, что Аграфена Кирилловна могла и не Костылькова закабалить своею красотой. Больно понравилась она ему съ перваго раза; но все-таки онъ не могъ понять въ чемъ дѣло.

— «Что?» продолжалъ Чевушкинъ въ рукахъ со свѣчей. «Такъ ты ее не знаешь?»

— «Нѣтъ.»

— «Ты не обѣщалъ на ней жениться?»

— «Нѣтъ!»

— «А это что? Посмотри. Это не твоя рука?»

— «Нѣтъ!»

— «По суду съищется. Это не ты писалъ?»

— «А что́ тутъ написано?»

— «Не знаю.»

— «Не помнишь? Изволь, изволь, я про́чту... Груня, подержи свѣчку: надо очки вынуть...»

И Аграфена Кирилловна благоволила, отложивъ обморокъ, встать и держать свѣчку... Само собою разумѣется, что слезы не придаютъ больной прелести самому прекрасному лицу: кислая физіономія искажаетъ самыя нѣжныя черты, но и улыбка была бы въ этомъ случаѣ не кстати. Все это Аграфена Кирилловна успѣла сообразить съ дивною быстротою; освѣтила себя весьма искусно, и уставила свои сѣрые глазки на Костылькова съ такимъ милымъ выраженіемъ любви и нѣжнаго упрека, что Иванъ Степанычъ таялъ яко воскъ отъ лица огня, а Чевушкинъ читалъ тихо и протяжно:

Любезный Кирилла Александровичъ! Поводовъ не объясняю, потому что некогда за дѣлами. Полюбилъ я

красавицу дочь твою всемъ сердцемъ моимъ и помышленіемъ. Полюбила и она меня не на-животъ, а насмерть. Далъ я ей слово жениться и хочу сдержать мое слово. Не могу съ вами и проститься за недосугомъ. Сейчасъ уѣзжаю въ Костыльковку, имѣніе мое, лежащее и прочее. Пожалуйте, пріѣзжайте туда и вы съ дочкой. Хочу съиграть свадьбу, у себя дома, а на дорогу деньги я оставилъ Грунѣ. Покорный сынъ Иванъ Костыльковъ.

— «Ну, что, понялъ?..» заключилъ Чевушкинъ.

— «Понять-то я понялъ, только...»

И Костыльковъ почесался.

— «Послушайте, Иванъ Степанычъ!» сказалъ Чевушкинъ, кротко взявъ за руку Костылькова. «Присядемъ безъ горячности... Что вы будто бы не Костыльковъ, такъ это сущій вздоръ. Мы на этотъ счетъ уже имѣли экспликацію съ моимъ старинымъ другомъ и ученикомъ, Максимомъ Ивановичемъ. Сущность дѣла вотъ въ чемъ. Или вы Костыльковъ, или вы не Костыльковъ. Буде не Костыльковъ, то — есть другой Костыльковъ. Я такъ поверну дѣломъ, что у васъ ни одной души, ни одной пяди земли не останется. Если вы не женитесь на Грунѣ, то мнѣ ужъ пощады никакой и никому давать непристойно. Груня останется всторонѣ, а я подамъ доносъ прямо въ Военную Коллегію. Что изъ того будетъ, извѣстно, а если не извѣстно, то доношу, что того самозванца обличатъ, объявятъ по артикулу безчестнымъ, шпицрутеномъ и въ каторгу, а тебя лишатъ отчинъ, честнаго имени, да въ придачу ошельмуютъ, какъ въ послѣднемъ указѣ изображено. Буде

же ты и Костыльковъ, то по артикулу 176 и толкованію къ оному, хотя бы я о неявкѣ твоей и не донесъ, то все-таки подлежишь тюремному заключенію и церковному покаянію. То, если бы того самозванца и вздумали и за мою обиду доправили, тогда уже ты никогда не можешь быть Костыльковымъ и ни въ какой судъ отъ тебя, будто отъ Костылькова, челобитья не примутъ. Такъ вотъ, Иванъ Степанычъ, экспликація послѣдняя; я больно и настаивать не буду. Во всякомъ случаѣ мы съ Груней въ убыткахъ не будемъ, тѣмъ паче, что у насъ есть нѣкоторое подозрѣніе, что буде откажешься отъ женитьбы, то окажется у насъ вскорости и другое право на нѣкую часть твоего достоянія. Если мы идемъ на мировую, то по человѣколюбію больше, а также и по пріязни моей къ Максиму, наконецъ и по несклонности моей къ суднымъ волокитамъ, коихъ, какъ гражданинъ смирный и добрый, отъ души не терплю. Ну, вотъ тебѣ все. Извольте объявить резолюцію.»

— «Вижу всю истину словъ твоихъ, Кирилла Александровичъ: самъ на себя наложилъ руки.»

— «Если будешь зятемъ моимъ, даю тебѣ слово, что̀ съ нѣкоторымъ денежнымъ сикурсо́мъ поѣду въ Петербургъ, сдѣлаю тебя безо всякаго шума опять Костыльковымъ, и уволю благовидно отъ службы. Максимъ не умѣлъ дѣла уладить. Самъ теперь кается. А тутъ уже будетъ намъ общій интересъ опустить отъ этой оказіи концы въ воду. И я это сдѣлаю такъ гладко, что поручикъ твой и не спохватится. Онъ же будетъ одинъ въ

ответъ. А ты будешь правъ кругомъ. Вотъ моя рука! Ну, теперь объявляй резолюцію...»

— «Неужто ты меня выручишь?»

— «Постой!.. Чтобы уничтожить всякое сумнительство, я тебѣ разскажу, какъ сдѣлаю. Ты подашь въ Военную Коллегію доношеніе, что во время отсутствія твоего, нѣкто Ванька Ломжинъ, такъ, кажется, мнѣ Максимъ сказывалъ...»

— «Такъ.»

— «Снесъ у тебя фамильныя бумаги, и явясь въ провинцію къ воеводѣ, объявилъ себя твоимъ именемъ, и что по тѣмъ документамъ выдано ему, Ванькѣ, проѣзжее письмо и съ тѣмъ письмомъ пришелъ онъ въ Костыльковку, забралъ отъ имени твоего казну и то и другое, будто для твоихъ послугъ и ушелъ Приписавъ сіе воровству и разбою, ты не искалъ виновнаго, но увѣдомясь нынѣ о нахожденіи его на службѣ подъ твоимъ именемъ, снести таковаго безчестія не можешь, и прочая. За нездоровіемъ же не явясь на смотръ, нынѣ отъ недуга получивъ исцѣленіе, немедля на службу выѣзжаешь и прочая А на службу не поѣдешь по другимъ поводамъ... Его, голубчика, арештуютъ, а на справку пошлютъ къ воеводѣ, а Максиму я оставлю подробную инструкцію. Ты и шагу изъ Костыльковки не сдѣлаешь. Я постою за моего зятя; а ты...»

— «А я — я ужъ не знаю, что со мною будетъ, когда у меня въ домѣ приметъ начало такая барыня, какъ твоя Аграфена Кирилловна ..»

— «Вотъ тебѣ и резолюція! Обнимитесь, мои дѣти любезные...»

Въ объятіяхъ Аграфены Кирилловны Костылковъ былъ совершенно доволенъ своею резолюціей и приложилъ къ дѣлу печать продолжительнаго поцѣлуя.

— «Батюшка! Что медлить, что откладывать мое благополучіе! Лошади готовы. По нѣкоимъ причинамъ и попъ теперь въ Будимовкѣ поджидаетъ молодыхъ...»

— «Явственное благословеніе свыше. Ну, однако же, отецъ-то у васъ есть, а надо бы кого за мать посадить...»

— «Чего же лучше. Воеводиха проѣздомъ на богомолье у меня остановилась.»

— «Меланья Ивановна! Экъ она нынче богомольна стала! Правда, у нея и грѣшковъ-то немало...»

— «Не тебѣ считать, Кирилла Александровичъ...» сказала воеводиха, выходя изъ засады, и боясь, чтобы Чевушкинъ и на сей счетъ не пустился въ экспликацію.

— «Не до счетовъ теперь, матушка Меланья Ивановна. Бью тебѣ челомъ, будь моимъ дѣтямъ матерью...»

— «Я всегда любила Ивана Степаныча какъ сына... и готова услужить ему на послѣдяхъ...»

— «Спасибо за резолюцію...»

Уѣхали. Обвѣнчались. Воротились... и нашли неожиданнаго гостя, Максима Ивановича... Поднялся пиръ стараго костыльковскаго времени. Всѣ

были довольны, даже Сидоръ и Дуняша... Только одна воеводиха сидѣла какъ на иголкахъ. Отойдя на покой, и она утѣшилась, но за то Максимъ Ивановичъ больно опечалился, такъ что и на другой день видны были слѣды его тяжкой скорби. Утро вечера мудренѣе, говоритъ пословица. Костыльковъ былъ что-то невеселъ; за то Чевушкинъ и Груня вполнѣ были счастливы. И тесть и новая хозяйка съ жадностью обозрѣвали достопримѣчательности резиденціи. Меланья Ивановна оказалась больною и утащила Максима Ивановича въ провинцію. На прощаньи, уже изъ колымаги сказала она Костылькову:

— «Погоди, голубчикъ, положу я тебѣ другую резолюцію!» — И уѣхала.

— «Вретъ!» сказалъ Чевушкинъ испуганному зятю. «Гдѣ-таки бабѣ перевершать приговоры московскаго подъячаго. Съ нимъ и воевода не сладитъ. Пойдемъ писать челобитную...»

Чевушкинъ ушелъ. Иванъ Степанычъ, повѣся голову, стоялъ какъ вкопаный на послѣдней ступенькѣ крыльца и не чувствовалъ мороза.

— «Барыня кличетъ...» — доложилъ Сидоръ. Костыльковъ повиновался, но съ тяжкимъ вздохомъ. Неизвѣстно почему, онъ былъ очень недоволенъ резолюціей второй части своей исторіи.

ДВА ИВАНА, ДВА СТЕПАНЫЧА,

ДВА КОСТЫЛЬКОВА.

—

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

—

СТОЛИЦА.

—

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

СТАРАЯ ДОРОГА.

Ѣду! Ѣду изъ Москвы въ Петербургъ; ѣду на долгихъ, потому что мы съ Степанычемъ люди приватные; хотя онъ уже и состоитъ въ драгунахъ, но къ какому именно полку принадлежитъ, того ни онъ, ни я, ни стольникъ Колычевъ, ни генералъ, пожаловавшій его въ капралы, не знаемъ, и не гадаемъ: это рѣшитъ Военная Коллегія, а мы себѣ пока ѣдемъ на долгихъ и весьма завидуемъ пассажирамъ, которымъ досталось на долю счастіе ѣхать по казенной надобности, слѣдственно на ямскихъ подводахъ и лошадяхъ. Мы бы могли поѣхать ближайшею дорогою, на Тверь, да узнали на Москвѣ, что по этому тракту не указано ѣздить даже курьерамъ, и почтовые станы разставлены на Волоколамскъ, Ржевъ и Старую-Русу; слѣдственно тутъ и болѣе жизни, и болѣе удобствъ;

перспективная же дорога отъ Москвы, прямо въ Петербургъ, будто выстрѣлилъ, была только въ проектѣ; въ нѣкоторыхъ однако же мѣстахъ уже рубили просѣки. Впрочемъ у Степаныча, какъ читателю извѣстно, были лошади важныя, костыльковскія, неутомимыя. Снѣга еще не было; морозы также небольно прижимали дорогу; и послѣ небольшаго попаса, ночью, въ часу третьемъ, Степанычъ улегся спать на лучшемъ постояломъ дворѣ Волоколамска, потому что на станціи, не только приватнымъ, но и казеннымъ пассажирамъ ночевать было негдѣ. И теперь путешествовать по матушкѣ Россіи не совсѣмъ ладно, а въ тѣ времена, да еще на долгихъ, можно было умереть со скуки. Но скучаетъ обыкновенно тотъ, кому думать не о чемъ, а у Степаныча и такъ голова болѣла и отъ Груни, и отъ Оли, и отъ Костылькова, и отъ Колычева. Смѣсь чувствъ и надеждъ калейдоскопомъ вертѣлась въ воображеніи Степаныча, во всю стоверстную дорогу отъ Москвы до Волоколамска: но за то на мѣстѣ сонъ сладостный вознаградилъ его за тайныя мученія духа. Онъ проснулся поздно, когда уже на дворѣ стоялъ большой свѣтъ, и Волоколамскъ ожилъ къ своей бѣдной, однообразной дѣятельности. Передъ окнами кричали торгаши и предлагали Степанычу московскіе кумачи и набойки. Степанычъ всталъ; Сергѣй спросилъ, не прикажетъ ли закладывать лошадей?

— «Пусть поотдохнутъ!» отвѣчалъ Степанычъ грустно. «Чего спѣшить?»

И конечно, чего спѣшить, когда ему очень хо-

рочно было извѣстно, что Борисъ Петровичъ также вчера разполагалъ выбраться изъ Москвы и получилъ отъ Колычева такое же проѣзжее письмо, какъ и Степанычъ.

— «Кстати,» продолжалъ онъ: «я осмотрю городъ. Знаешь ли, Сергѣй, что Волоколамскъ знатный городъ и знакомитъ въ гисторіи?»

— «Не знаю.»

— «Тутъ короля Жигимонда воеводы Карамышевъ и Чемесовъ такъ отчесали, что радъ былъ убраться отсюда...»

— «А мнѣ какое дѣло!»

— «И я прежде такъ думалъ, а теперь у меня сердце бьется, какъ вспомню, какъ и гдѣ росла наша слава и доброе имя. Ты, Сергѣй, закуску приготовь, а я пойду, поищу, гдѣ тутъ мѣсто Полкй; тамъ вражій станъ стоялъ...»

Вышелъ Степанычъ на улицу, и уныніе запало въ его душу. На возвышеніи торчала полуразрушенная земляная крѣпость, къ которой съ той и этой стороны прилегали плохіе посады. Правда, Воскресенскій соборъ, недавно перестроенный, напоминалъ московскіе храмы, но ужъ зато церкви на посадахъ едва были замѣтны. Почернѣвшія маковки темнѣли въ двухъ трехъ мѣстахъ и пугали зрителя своею ветхостью. Мосты и на Городкѣ и на Вѣсовкѣ походили на огромныя рѣшета, и горе тому, кто считалъ звѣзды, проходя по ихъ истлѣвшимъ доскамъ. Были будни, а это липаетъ и нынѣ русскіе города всякой жизни; была въ тотъ день пятница; даже бани были заперты, тѣмъ па-

че ворота обывательскихъ дворовъ. Скоро осмотрѣлъ Степанычъ всѣ достопримѣчательности города: видѣлъ и Полкй, то есть. паннюю подъ замерзшей зеленью озимой ржи, пришелъ и домой, и купилъ по дорогѣ что-то, лишь бы отвязаться отъ цѣпкихъ ходячихъ магазиновъ: и закусилъ... Всѣ поводы къ мѣшкотѣ истощились, и Степанычъ уѣхалъ.

Неудобства на постоялыхъ дворахъ, трудность достать хорошую пищу, возраставшіе морозы, все побуждало Сергѣя и конюховъ торопиться, и въ воскресенье, послѣ вечерень, поѣздъ застучалъ по бревенчатой мостовой города Ржева. Тутъ было повеселѣе. И народу побольше и строеніе почище, и Волга, правда, нисколько непохожая на себя двѣсти, триста верстъ далыне, да все-таки Волга-матушка. Хотя уже было темненько, хотя поѣздъ и остановился на Князь-Дмитріевской Сторонѣ, но Степанычъ не утерпѣлъ, отправился къ рѣкѣ и нашелъ на берегу толпу народа, который какъ будто о весьма новомъ и небываломъ событіи разсуждалъ: станетъ ли въ эту ночь Волга, или нѣтъ? Степанычъ очень былъ доволенъ, что рѣка примѣтно покрывалась густымъ льдомъ; это естественное препятствіе утѣшало его совѣсть, и ночь проведена была въ отличномъ спокойствіи и веселіи; да, онъ и спалъ какъ-то весело; но утромъ всѣ надежды разрушились... Сергѣй, приказавъ закладывать лошадей, разбудилъ Степаныча, и объявилъ, что поромъ скоро перестанетъ ходить. Надо спѣшить переправой.

— «Не могу, Сергѣй!» сказалъ Степанычъ «Мнѣ что-то не здоровится. Притомъ и Ржева-то я не видалъ. .»

— «Увидите въ другой разъ...»

— «Ахъ ты, Сергѣй, Сергѣй! Да знаешь ли ты, что гетмана Жолкѣвскаго тутъ отразили съ большимъ урономъ...»

— «Да когда это было! А вотъ теперь мы сами въ полонъ сядемъ дней на пять! Вѣдь мы не куда ни есть на прогулку, а на службу ѣдемъ! Вѣдь съ насъ Военная Коллегія взыщетъ, на отговорки не посмотритъ; да и какъ тутъ отговоришься, когда другіе позже насъ выѣхали, а пріѣдутъ раньше.»

— «А кто эти другіе?»

— «Да вотъ теперь на поромъ ставятъ повозки Словцевскія; почитай цѣлымъ днемъ послѣ насъ изъ Москвы выѣхали...»

— «Словцевы?»

— «Ну, да! Словцевы! Ихъ плотъ первый, я имъ ради вашего покоя уступилъ; говорю пусть его выспится; а второй намъ, а ужъ третьяго Волга чай и не пропуститъ: ледъ такой; затираетъ и плоту ходъ...»

— «Да что́ ты это, Сергѣй, право, на мой сонъ смотришь, когда у насъ нужда служебная! Проворнѣе закладывать!»

— «А перекусить не хочешь?»

— «Куда тутъ перекусывать, когда Волга затираетъ.»

И въ три мига былъ готовъ Степанычъ; еще

конюхи не успѣли управиться, какъ онъ уже былъ у пристани, гдѣ та же толпа разсуждала о томъ же. Плотъ возвращался, съ трудомъ, пробиваясь между льдинъ; воротился въ самое то время, когда къ пристани подъѣхали Костыльковскія повозки.

— «Ну, ѣхать, такъ ѣхать!» закричалъ Степанычъ. «Ставь повозки!»

— «Нельзя!» сказалъ староста: «больно стынетъ. Посереди рѣки замерзнешь.»

— «Вздоръ! Еще успѣемъ!»

— «Успѣвай-себѣ какъ знаешь, а ужъ мы не повеземъ.»

— «Да я васъ въ судъ! Вы взялись перевезти, такъ и перевезите!»

— «Мало ли чего! Почемъ мы знали, что такая стужа захватитъ?»

— «Да я тебя!!..»

— «Полно, баринъ, горячиться! Вотъ благо коммиссаръ идетъ на пристань. Уйметъ онъ вашу милость крикуновъ съ хвостиками; еще и не служилъ, а ужъ покрикиваетъ, будто шведскаго генерала въ полонъ взялъ. Погоди, вотъ тебѣ коммиссаръ...»

Но каково же было удивленіе, когда въ лицѣ коммиссара Степанычъ узналъ нашего добраго знакомаго, Галунчикова... Коммиссаръ же издали кричалъ: «Не пускать! Нѣтъ ѣзды!» Но когда спустился къ рѣкѣ и увидѣлъ Степаныча, оторопѣлъ, снялъ шляпу и не зналъ какъ привѣтствовать гостя.

— «А, Ѳомка!» закричалъ Степанычъ: «Такъ это ты здѣсь земскій комиссаръ?!..»

Галунчиковъ подошелъ къ Степанычу на самую ближайшую дистанцію и произнесъ тихо:

— «Иванъ Степанычъ! не погубите! Я уже не земскій комиссаръ, чтобы этому Бурунову, олуху и лентяю, добра не было. Учинилъ упущеніе, а съ меня взыскали, и вины не объявили; я и выскочилъ изъ должности и, ради хлѣба куска, сталъ комиссаромъ на пристани.»

— «Мнѣ до всего этого дѣла нѣтъ! Вели, Ѳомка, меня сейчасъ перевезти на ту сторону, а не то я въ твои дѣла и здѣсь вмѣшаюсь...»

— «Самъ перевезу, Иванъ Степанычъ, будь благонадеженъ! Подавай плотъ, ставь повозки!..»

Съ необыкновенною поспѣшностью уставили повозки, порóмъ поплелъ съ величайшимъ трудомъ, но предусмотрительный Галунчиковъ запасся въ одно мгновеніе и баграми и ломами, и плотъ пробивался хотя съ усиліемъ, но успѣшно. Волга въ этомъ мѣстѣ нешироко и съ небольшимъ въ часъ Степанычъ былъ уже на той сторонѣ. О прошедшемъ и поговорить не успѣли. Оба какъ-будто спѣшили разстаться. Степанычъ не разспрашивалъ; Галунчиковъ не любопытствовалъ, хотя не безъ интереса поглядывалъ на колымагу, лошадей и капральскій мундиръ Степаныча. Простились тоже на скорую руку; на Князь-Ѳедоровской Сторонѣ Степанычъ не хотѣлъ и останавливаться, боясь, чтобы Галунчиковъ отъ людей чего не свѣдалъ, и пустился въ путь-дороженьку, а Ѳома Ильичъ

остался на пристани, какъ доброму коммиссару слѣдовало. Разстались. Добрые кони понесли поѣздъ и тогда только, сидя въ колымагѣ, Степанычъ опомнился. Гдѣ же Словцевы? Чай они остановились на этой сторонѣ лошадей кормить. Не обождать ли ихъ? Да какъ же поджидать ихъ въ открытомъ полѣ?.. И въ самомъ дѣлѣ, морозъ крѣпчалъ, сѣрое небо обѣщало снѣгъ... Можно обождать и на привалѣ... Такъ нѣтъ же, и тутъ неудача. Видно Словцевъ больно спѣшилъ на службу: въ каждой деревушкѣ, а ихъ тутъ очень мало, Степанычъ находилъ слѣдъ своихъ знакомцевъ, но вездѣ опаздывалъ; къ вечеру перваго дня сталъ идти снѣгъ; на другой день была уже порядочная порóша; а когда поѣздъ достигъ Осташковскихъ Патріаршихъ Слободъ, окрестъ дороги установилась зима; рѣки и озера, которыя поменьше, заснули подъ ледяно-снѣжнымъ одѣяломъ надолго. Стало скучно, хотя въ этомъ болотномъ отечествѣ Волги и Двины и никогда не бываетъ весело. Старикъ Селигеръ-Озеро съ своими многочисленными дѣтьми, разбросанными отъ него не въ дальнемъ разстояніи, наполнялъ воздухъ своимъ влажнымъ дыханіемъ; сыро, туманно; а зима для этого края, что́ солнце: отвердитъ, просушитъ и станетъ эта земля похожа и на другія русскія земли. Не знаю каковъ нынѣшній Осташковъ, городъ, да еще и уѣздный; а тогдашнія Патріаршія Слободы, хотя и были обнесены земляным валомъ, но внутреннимъ строеніемъ не отличались отъ селъ, и даже многимъ уступали имъ. Во всѣхъ слобо-

дахъ былъ только почтовой станъ, да монастырская гостинница. Отъ гостинницы получался доходецъ, который едва ли не превышалъ прибылей съ рыбныхъ ловель Селигера съ дѣтьми. Тутъ всегда было полно, въ какое время угодно. И хотя было довольно поздно, когда въ Осташковскія слободы пріѣхалъ Степанычъ, въ гостинницѣ еще горѣли огни, шевелились люди. Повозки не могли укрыться на дворѣ гостинницы и стояли на дорогѣ обозомъ.

— «Мѣста нѣтъ...» сказалъ кто-то Сергѣю.

— «Да гдѣ же на ночь пристать?»

— «Гдѣ пристать? Въ гостинницѣ. Можешь лошадей у повозокъ покормить, а господа отдохнутъ въ сборной избѣ.»

— «Да нельзя ли,» спросилъ Степанычъ: «у крестьянъ или у другихъ обывателей?..»

— «Попытайся, коли пустятъ. На то отъ вѣка стоитъ запретъ: окромя гостинницы, проѣзжихъ не принимать. Не изволь трудиться, пожалуй въ избу, а стужа неважная, лошади не замерзнутъ, а поѣдешь въ путь, отогрѣются.»

— «А люди?»

— «Люди! На то есть черная изба; въ очередь будутъ грѣться.»

— «Да какъ же это можно! Вѣдь это прижимка!»

— «Какъ волишь! Не хочешь, поѣзжай откуда пріѣхалъ! А намъ уже указа старшихъ переступать не слѣдъ.»

— «Нечего дѣлать!» со вздохомъ сказалъ Сте-

панычъ, и вылѣзъ изъ колымаги. Наказавъ Сергѣю занять въ колымагѣ его мѣсто, обѣщалъ прійти на смѣну, какъ только осмотрится въ избѣ и закажетъ ужинъ. Въ сборной избѣ Степанычъ нашелъ нѣсколько человѣкъ порядочно одѣтыхъ и сердце у него забилось: между ними сидѣлъ Борисъ Петровичъ Словцевъ и, слушая разсказы какого-то проѣзжаго, дремалъ преисправно. Онъ и не замѣтилъ вошедшаго; за то ораторъ тотчасъ обратилъ на него вниманіе и свое и собесѣдниковъ.

— «Съ пріѣздомъ, товарищъ!» сказалъ онъ. «Скоро изба, что боченокъ со снятками будетъ! Благо, что женскаго пола только одна штука; будь двѣ, такъ и соснуть было бы негдѣ. Не покой, а конурка... За то ужъ харчей, какихъ хочешь, проси! Соленой рыбы — есть: вяленой — горы; сушеной — гибель; копченой — видимо-невидимо; только свѣжей нѣтъ; погоди до завтра, изловятъ. Эй! цѣловальникъ, настоячки!..»

— «Я уповаю,» сказалъ Степанычъ тихо: «что сосѣдство женскаго пола поставляетъ каждаго въ долгъ хранить нѣкую тихость..»

— «Можно бы,» отвѣчалъ ораторъ: «еслибъ было гдѣ прилечь, да соснуть, а то на такомъ стулѣ, что безъ полотна и спинки, не задремлешь, а на столѣ не растянешься; да и страшно: того гляди, подумаютъ, что жареное, да и скушаютъ... Эй, цѣловальникъ, настоячки!..»

— «Оно-то правда, что и сѣсть негдѣ, только я ужъ положилъ себѣ регулой, сѣсть на ноги то-

му, кто болтаетъ; ему, видно, спать не хочется, такъ пусть меня качаетъ, да сказкой тѣшитъ...»

Собесѣдники посмотрѣли съ любопытствомъ на Степаныча и съ улыбкой на оратора. Эта улыбка и настойка подстрекнули самолюбіе незнакомца.

— «А позволь спросить, съ кѣмъ это привелось мнѣ говорить?..»

— «Не мнѣ отвѣчать, а тебѣ; ты меня зацѣпилъ. Я никогда съ незнакомымъ въ дискуссію не вступаю; а если кто меня аттакуетъ, я ему не покажу тыла, а наступлю на горло и заставлю сдаться на аккордъ .. Защищайся! Я наступаю!»

Громкій хохотъ разбудилъ Бориса; онъ со сна смотрѣлъ съ удивленіемъ на собесѣдниковъ. Степанычъ дѣйствительно собирался наступать, то есть, сѣсть незнакомцу на колѣни, отъ чего тотъ какъ могъ защищался, повторяя: «Чего ты ко мнѣ привязался! Отстань! Чего тебѣ надо?»

— «Чтобъ ты молчалъ, когда другіе отдыхать хотятъ...»

— «Да я молчу...»

— «Замолчишь, какъ ротъ замуру́ю...»

— «Право, закричу!»

— «Право, побью! Я воинскій человѣкъ; мнѣ подраться ни почемъ...»

— «Помилуй!»

— «Вотъ это дѣло иное! Гляди же, сиди смирно, а не то... А, Борисъ Петровичъ, извините, что разбудилъ; за то ужъ теперь извольте дремать на покоѣ. Такая будетъ тихость, что муху заслышите...»

— «Отложите попеченіе! Мнѣ ни почемъ! Съ такой дороги, подъ громъ заснешь; да вотъ сестра бѣдная...»

— «А что Ольга Петровна?»

— «Плохо. Насилу, на великую, съ старыми хоромами разсталась. Дай Богъ довезти до Петербурга. Спѣшу, будто на почтовыхъ.»

— «Да, я замѣтилъ. Изволили выѣхать позже меня, а въ Останковскія Слободы прибыли раньше.»

— «А вы почемъ знаете, что я выѣхалъ позже?»

Степанычъ смутился.

— «Такъ, случайно!» отвѣчалъ онъ. «Мнѣ сказали въ канцеляріи нечаянно, въ разговорѣ, между прочимъ... А знаете ли, ѣсть смерть хочется...»

— «Попроси, завтра послѣ обѣдень подадутъ,» началъ-было незнакомецъ.

— «Опять!..»

— «Да, вѣдь я тихо ..»

— «Ни тихо, ни громко! Тебя не спрашиваютъ. А какъ полагаете, Борисъ Петровичъ, завтра въ путь-дороженьку?..»

— «Да какъ ѣхать? Говорятъ ямщики, что на почтовомъ стану, будто два три переѣзда еще можно кое-какъ на колесахъ, а тамъ ужъ никакъ; самъ не знаю что дѣлать...»

— «Закурить съ-горя трубку...» — сказалъ незнакомецъ и принялся за табачный снарядъ.

— «Помилосердуйте!» перебилъ Борисъ. «Моя больная сестра, если заслышитъ такое зловоніе...»

— «Пусть заткнетъ носъ, а тутъ каждый хозяинъ, и этого никто мнѣ запретить не можетъ...»

— «Ой ли?» сказалъ Степанычъ. «Ужъ и никто!»

— «Не извольте стращать, господинъ драгунъ; даромъ-что Слободы, да тутъ есть начало постарше насъ. Можно и пожаловаться. Если я стерпѣлъ одну обиду, такъ ужъ и самъ не знаю почему. Положимъ, громкая рѣчь спать мѣшаетъ, а ужъ табакъ — дымъ и только, и благовонный дымъ; самъ Государь куритъ. Такъ ужъ мнѣ никто не указъ.»

— «Справедливо!» прибавилъ другой собесѣдникъ. «Всякой дворянинъ, одинъ другому не указъ; не говори, не кури, не спи, — и Богъ вѣсть, чего не выдумаютъ!»

— «Истинная правда!» замѣтилъ третій. «Если бы я зналъ, что тутъ такое принужденіе, ужъ лучше бы на почтовомъ станѣ всю ночь прогулялъ...»

Степанычъ съ ужасомъ видѣлъ, что незнакомецъ, ободренный рѣчами собесѣдниковъ, нещадно набивалъ свою трубку изъ огромнаго мѣшка; безъ малаго четверть фунта уже погрузилась въ эту гигантскую трубку; Степанычъ къ тому же замѣтилъ, не безъ ужаса, что табакъ былъ черкаскій, то есть, малороссійскій бакунъ, и легко вообразилъ себѣ, какой смрадъ оскорбитъ нѣжные нервы Оденьки.

— «А развѣ на почтовый станъ пускаютъ?» спросилъ онъ торопливо.

— «Съ деньгами всюду пустятъ. Тужъ же смотритель на стану харчи держитъ и денежному гостю радъ...»

— «Ну, такъ знаете ли что?» сказалъ Степанычъ, ухвативъ незнакомца за руку, которая уже несла трубку къ свѣчѣ. «Пойдемте на станъ! Что намъ за охота ссориться изъ пустяковъ! Лучше подружески разопьемъ смотрительскій погребъ — на мой счетъ!»

Нахмурясь слушали пассажиры рѣчь Степаныча, но заключеніе разморщило ихъ лбы.

— «Ну, господа, кто знаетъ дорогу, тотъ указывай; только объ одномъ прошу, выйдемъ безъ шума! За то ужъ на стану оглушимъ смотрителя....»

— «И жену его,» прибавилъ незнакомецъ. «Правду сказать, для этого надо по-малой-мѣрѣ цѣлый полкъ такихъ драгунъ, какъ его милость... Ну, идти, такъ идти. За мной!..»

— «До свиданія, Борисъ Петровичъ!» сказалъ Степанычъ, уходя послѣдній. «Будьте покойны! Раньше утра вы не увидите этихъ буяновъ.»

— «Чувствую вашу услугу и благодарствую.»

Ушли. На стану господствовала мертвая тишина. Степанычъ опечалился.

— «Ну, а что, если не пустятъ?» спросилъ онъ съ грустью.

— «Чуръ не мѣшаться!» отвѣчалъ незнакомецъ. «Я въ Осташковскихъ Слободахъ уже третій день пробавляюсь. Нечего въ Петербургъ спѣшить: успѣю наслужиться; да еще того гляди запрячутъ, за зимнимъ временемъ, за военной льготой, какое ни есть другое дѣло исправлять... Нѣтъ, умная голова изъ дня десять сдѣлаетъ; къ тому же тутъ

въ Слободахъ есть гдѣ и чѣмъ время убить; вотъ только ночью дѣться негдѣ, а на стану безъ сна ночевать дорого приходится. Ну, вотъ мы у пристани.»

Незнакомецъ постучался въ окончину довольно порядочной избы съ большимъ крытымъ дворомъ. Послышался шорохъ, что́ означало пробужденіе отъ крѣпкаго сна; вслѣдъ за тѣмъ раздался и женскій голосъ:

— «Кого тамъ опять нелегкая принесла?»

— «Свои, Аникичъ, свои!» кричалъ незнакомецъ.

— «Опять этотъ бражникъ, полуночникъ этакой; на алтынъ выпьетъ, а весь домъ на ноги подыметъ. Не пускай его Аникичъ!»

Но Аникичъ все-таки поднялъ окно и спросилъ:

— «Что́ тебѣ надо?»

— «Что́ намъ надо, Аникичъ? Водочки, настоячки, наливочки, пивца, медку, запеканочки, перекусочекъ и лицезрѣнія вашего и драгоцѣнной сожительницы, Василисы Онисимовны...»

— «Ну-ка, Василиса!» громко и бодро сказалъ Аникичъ. «Огня!»

— «Да не пускай ты этого алтынника...»

— «Онъ не одинъ; больше десятка народа; прибыточно поѣдятъ и выпьютъ; ну-ка, подымайся, полно нѣжиться...»

— Ну, ужъ тутъ понѣжишься! Цѣлую ночь возиться изъ копѣйки...»

Дальнѣйшаго разговора нѣжныхъ супруговъ раз-

слушать было нельзя, потому что Аникичъ впустилъ дворянъ на дворъ.

— «Держись за меня!» сказалъ незнакомецъ. «Я дорогу знаю; не то въ потмахъ не туда зайдешь. Бережно! Лѣсенка! Пригни голову: потолóка низкая; крестись направо: тамъ образа... Ну, вотъ и свѣту Василиса Онисимовна пожаловать изволила. Что же вы это, Василиса Онисимовна, черезъ щелку свѣчу подаете; сами къ намъ не выглянете; только бѣлую ручку кажете?»

— «Поди ты, безстыдникъ этакой! Стану я изъ-за тебя срамиться... Чай опять пришелъ на алтынничекъ настойки попросить.»

— «Нѣтъ, матушка, этотъ разъ онъ на полтинникъ выпить собирается...» сказалъ Степанычъ.

— «Да если-то у него, у голыша, полтинникъ въ мошнѣ?»

И разговоръ прекратился; стали мѣста забирать; усѣлись. Коммиссаръ съ сѣдою головой и съ сѣдыми усами стоялъ передъ ними въ нагольномъ тулупѣ, подпоясанный ручникомъ съ красными окайминами, и ждалъ приказаній.

— «Ну, Аникичъ!» сказалъ Степанычъ: «что у тебя есть?»

— «Да чего изволишь? Есть рыба разная, какую задумаешь.»

— «Опять рыба!» перебилъ незнакомецъ.

— «А ты» сказала изъ-за дверей Василиса: «за алтынъ хочешь теленка скушать. Заплати, будетъ и телятина, и индюшка холодная, и солянка съ огурцами, и похлебка изъ потрóховъ, али окрошка,

буженина, али студень, смолость, сальникъ, юражная каша, оладьи, али блинцы какіе; пожалуй и варенецъ заквашеный, яичница выпускная. Про Василису на Москвѣ и на Петербургѣ знаютъ, да тѣ только, кто за ѣду деньги платитъ, а не нарамыжники продувные, что всякую сласть задарма хотятъ имѣть...»

— «Ужъ и задарма, Онисимовна!»

— «Да перестаньте ссориться!» сказалъ Степанычъ. «Что у тебя есть получше, Онисимовна, то и подавай; на мой ладъ буженины бы, да солянку...»

— «И я...»

— «И я...»

— «Ну, а изъ питей для начала перечной!..»

— «Перечной! Перечной!..»

— «А потомъ меду по кружкѣ на брата.»

— «Важно!»

— «А потомъ наливки, вишневки или рябиновки...»

Тутъ мнѣнія раздѣлились, но Степанычъ разрѣшилъ весьма остроумно.

— «Ну! такъ вишневки и рябиновки, и той и другой!»

— «Мудро!» закричали всѣ, и враги стали друзьями.

Аникичъ пошелъ за провіантомъ, а незнакомецъ пригнувшись сказалъ:—«Теперь съ хозяевами что хочешь дѣлай: такихъ жадныхъ я не видывалъ. Я подъ рукою у крестьянъ Осташковскихъ разспрашивалъ, такъ про Василису такого мнѣ поразска-

зали, что и меня охота взяла съ ней завести дружбу... Куда! Я у нея и алтынникъ, и то и другое.»

— «Бѣдность до всего доводитъ...» сказалъ со вздохомъ Степанычъ.

— «Ты про меня, что́ ли, говорить изволишь?»

— «Нѣтъ, про Василису...»

— «Бѣдная! Да знаешь ли, вотъ и года нѣтъ, какъ сюда московская дорога пошла; тутъ одно время и проѣзду не было, такъ всего-то можетъ-быть восемь какихъ мѣсяцевъ, а Василиса на себя самый лучшій ловъ на большомъ озерѣ сняла; а теперь цѣлое озеро одна торгуетъ... Погляди сколько заплатишь! По-мо́ему лучше впередъ договориться.»

Степанычъ послушался благоразумнаго совѣта, и какъ только Аникичъ вошелъ съ перечной въ комнату, Степанычъ спросилъ о цѣнѣ каждой статьи и объявилъ на все безобидную цѣну. Открылся перекрестный огонь черезъ двери; изъ своего ретраншамента Василиса осыпала ихъ ругательствами и насмѣшками за скупость, но ничто не помогло. Такса была постановлена; и по этой таксѣ она предвидѣла, что заработаетъ не одинъ рубль; согласилась, а для утвержденія договора принуждена была оставить засаду и выйти къ гостямъ. Правду сказать, не смотря на костюмъ, не совсѣмъ благовидный, потому что онъ состоялъ изъ овчинной шубы, покрытой однако же шерстяною матеріей, да изъ головной повязки шелковаго существа и вида, но нѣсколько замасленой, Василиса показалась всѣмъ гостямъ очень миловидною женщиной;

противу Аникича, она была не жена, а дочь, потому что ей было подъ-тридцать, не больше. Но жеманство дѣлало не совсѣмъ пріятнымъ выраженіе лица, и особенности сѣрыхъ глазъ, которые такъ и бѣгали отъ одного гостя къ другому, свободно, и, казалось, вели втихомолку какой-то тайный разсчетъ.

Когда всѣ сказанные яства и напитки уставились на столѣ, Степанычъ обратился къ Аникичу и попросилъ, чтобы онъ послалъ кого съ приличнымъ трактаментомъ къ людямъ его. Число слугъ Степаныча увеличило въ нему уваженіе всѣхъ, особенности же хозяйки; она такъ и разстаяла, глядя на молодца драгуна, почти вытолкала Аникича для удовлетворенія воли гостя, а сама со всеусердіемъ стала прислуживать, безпрестанно извиняясь, что по времени въ такомъ черномъ видѣ...

— «Правду сказать,» говорила она: «и умаялись мы сегодня. Кульеръ за кульеромъ; этакая зима; чай въ одну Сибирь сегодня послано до пяти указовъ; важныхъ персонъ проѣхало немало и въ Питеръ и въ Москву, а самому важному и лошадей не хватило. Всего-то у насъ десять подводъ...»

— «А куда же этотъ важный дѣвался?»

— «Приставъ на подворьѣ въ Слободахъ; гдѣ ему въ нашей избѣ ночевать...»

— «А какъ зовутъ, не знаешь?»

— «Какъ не знать? Румянцевъ, гвардѣянскій маіоръ, ближній царскій слуга. Онъ, почитай,

каждый мѣсяцъ проѣзжаетъ. Большой человѣкъ, только такой суровый! Ужъ чего, кажется, кто со мной ласково не разговаривалъ: и генералы и тайные, и морскіе и всякіе; самъ свѣтлѣйшій сколько со мною толковалъ и премилостиво, а этому я не помню что̀ сказала, а онъ: — Пошла, баба, прочь! Ты коммиссаръ, что̀ ли?—Коммиссарша.— Ну, такъ ступай въ кухню, да вари щи для проѣзжихъ, а глупой рѣчью своей не наскучай. — Я еще что̀-то сказала, а онъ: Пошла вонъ!—Я ужъ со стыда и непомню что сдѣлала. Ушла, кажется, и весь вечеръ проплакала. Ни отъ кого такого стыда не доставалось...»

Аникичъ воротился.

— «Ну, я спокоенъ теперь...» сказалъ Степанычъ. «Приступимъ къ меду. Василиса Онисимовна, дѣло ночное и зимнее, не откушаешь ли и ты съ нами?...»

— «Какъ это можно! Что̀ вы это затѣваете! Въ ротъ хмѣльнаго не беру. Вотъ пускай Ефимъ Аникичъ за меня.»

— «Ефимъ Аникичъ самъ-собою, а Василиса Онисимовна сама-собою, а то и пить не стану.»

— «Право, стыдно...»

— «Не выпьешь, захвораю...»

— «Борони Господи! Да я про твое дворянское здоровье, что̀ хочешь выпью...»

— «Спасибо!»

— «Охъ, какая милостивая!» подхватилъ незнакомецъ. «Даромъ что баба, а смѣкаетъ, въ какомъ колоколѣ больше серебра...»

— «Полно тебѣ, лизунъ, лгать на меня...» сказала Василиса, положивъ руку на плечо незнакомцу. «Ты и шутки отъ правды распознать не умѣешь! А что́ же муженьку-то моему не изволите?»

— «Да ужъ онъ выпилъ, а хочетъ еще, пожалуй!»

— «Да онъ меду не жалуетъ; если бъ милость ваша приказали запеканки черкаской подать. На Руси такого напитка и дѣлать не умѣютъ; я нарóкомъ научилась; да ужъ и запеканка! Прикажешь, господинъ драгунъ?»

— «Попрошу...»

И Василиса съ удивительнымъ проворствомъ принесла какой-то необыкновенно огромный сосудъ и сама стала разливать черкаскую запеканку. Это, была, просто малороссійская варенуха, съ ужасными пропорціями пряностей, но отмѣннаго вкуса. Въ кружку Степаныча она налила самую малость, но за то всѣмъ другимъ, въ томъ числѣ и мужу, отпустила полныя порціи, возъимѣвшія немедленное дѣйствіе... Только и слышно было: «Сласть, не питіе! Надиво! Сахарная водка! Золотыя ручки варили!» А коммиссаръ, какъ только допилъ свой пай, возъимѣлъ намѣреніе поставить кружку на столъ, но, къ удивленію, замѣтилъ, что столъ ходитъ будто маятникъ; онъ къ нему, а столъ отъ него: рука съ кружкой и пройдетъ мимо; коммиссаръ и поклонится, держась за спинку деревяннаго стула, на которомъ сидѣлъ незнакомецъ; безъ умолка разсказывала, какъ она дѣлаетъ запеканку, какъ научилась этому секрету и

сколько отъ этого напитка дохода. Въ промежуткахъ рѣчей, она подливала то тому, то другому.

А коммиссаръ съ кружкой все кланялся, да кланялся, наконецъ поставилъ кружку на голову незнакомцу и хотѣлъ отойти; но запеканка была такъ хороша, что онъ не могъ двинуться и двухъ шаговъ; повалился и захрапѣлъ.

— «Вотъ пьяница!» сказала Василиса. «Съ одной кружки одурѣлъ. Надо пойти, да дворъ запереть, не то еще чиновный какой набѣжитъ.»

— «Ну, что?» спросилъ Степанычъ собесѣдниковъ.

— «Золотые...» отвѣчалъ незнакомецъ недвижно, но досказать уже не могъ; глаза сомкнулись; другіе и того не могли вымолвить, и спали со всеусердіемъ.

— «Что, спятъ?» спросила Василиса, возвращаясь. «Видно съ мороза ихъ разобрало. Вотъ только ты одинъ и молодецъ, господинъ драгунъ...»

— «Заснулъ бы и я, да не хочется! Боюсь за нихъ... да и нельзя проспать зари.»

— «Такъ зачѣмъ спать, коли не хочется?.. Можешь и такъ посидѣть. Ужъ я про случай не засну. Неравно наѣдетъ почта...»

— «А если наѣдетъ?»

— «Да вѣдь это не почтовая изба; это наше жительство; мы гостей можемъ принимать какихъ угодно, а станъ на другой сторонѣ двора; тамъ солдатъ спитъ; проѣзжіе туда входятъ. Не изволь бояться; они насъ не обезпокоятъ. А за Аникича я постою. А ты грамотный?»

— «Грамотный.»

— «Ну, такъ и запишешь въ книгѣ лучше Аникича. Да гдѣ и кому въ такую ночь и быть? Объ этой порѣ кто до Катицъ, али до Боголюбскаго добрался, такъ и радъ, что отъ стужи притонъ нашелъ...»

— «Скажи пожалуй, Онисимовна, какъ того говорятъ ямщики, какова теперь на Питеръ дорога?»

— «Какова? Да чай завтра уже изъ нашихъ слободъ на колесахъ не поѣдешь, а за озерами, слышно, давно зима стала. А ты въ Питеръ изволишь пробираться?..»

— «Въ Питеръ.»

— «Какъ же ты это на колесахъ? Ты и въ три недѣли не доползешь, а вотъ бы у насъ денекъ пожилъ: мы бы тебѣ всѣ повозки на полозья поставили. Такъ многіе дѣлаютъ; оно не дешево, да ужъ за то выгода какая...»

— «На полозья?»

— «Да, на полозья! А ты бы у насъ поскучалъ. Я тебѣ правду скажу: тутъ не объ одномъ тебѣ, а и о себѣ разсуждаю. Жизнь наша тутъ, не приведи Господи, скука и полно; мужварье самое простое; гостей тма; да что въ нихъ? Вотъ все этакіе шишиморы: не съ кѣмъ умнаго слова перекинуть; отъ скуки я хозяйкой такой стала; передъ временемъ состарѣлась... Поглядѣлъ бы ты на меня годковъ пять тому назадъ; сестра моя что́ была противъ меня, а поди — что́ надѣлала!!..»

— «А кто же сестра твоя?..»

— «Про то Богъ одинъ знаетъ... Сама я послѣ увидѣла, что опростоволосилась; на мундиръ и на мѣсто польстилась. Старика моего въ капральскомъ чинѣ коммиссаромъ сдѣлали: солдатъ кормить, съ земли солдатскій хлѣбъ собирать; я сватовству его, дура, и обрадовалась; вышла замужъ, барыней буду жить, а вонъ тутъ сестра и пошла въ гору; хорошо, что не я; повалилась, бѣдняга съ крутой горы; да пока въ счастіи была, меня бы тоже за настоящаго барина выдала. А добрая Фроня, пока могла, меня не забывала: большой у меня достатокъ, да не отъ стана, какъ говорятъ мои злодѣи. Да что, я на нихъ плюю! Да что объ этомъ толковать! Что ты мнѣ, пасторъ, что ли? А оставайся у насъ денекъ для того, что ловчѣе поѣдешь. Въ эту стужу ужъ развѣ рыбнымъ ловомъ забавиться. Развѣ на рѣчкѣ Селижаровкѣ, версты двѣ отсюда, вотъ, если останешься, пожалуй, можешь потѣшиться; что твоя соколиная охота, что на медвѣдя полеванье! А ужъ обѣдъ какой бы заварила; ахнулъ бы!.. А думаешь, что корысти ради! Даромъ, убей меня Богъ, даромъ!»

Степанычъ былъ въ весьма затруднительномъ положеніи. Онъ видѣлъ, что эта женщина не спроста себѣ Василиса Онисимовна; хотя она объяснялась по-русски бойко, но въ выговорѣ попадались странныя ударенія, которыя можно бы было отнести къ устройству органа, если бы слово «пасторъ» не возбуждало другихъ подозрѣній. Степанычъ тотчасъ это замѣтилъ.

— «Ты не Русская?» спросилъ онъ.

— «Стала по-неволѣ Русская. Гдѣ тутъ найдешь пастора и кирку?..»

— «Такъ ты Нѣмка?»

— «Шведка. Изъ-подъ Выборга, да насъ съ сестрой въ полонъ забрали малышами; провозились мы долго на кухнѣ боярской... Потомъ... Ну, да что тебѣ до старой жизни моей за дѣло! Теперь и говорить страшно...»

— «Охъ, Василиса Онисимовна! Жажда мучитъ; что, если бъ медку?»

— «Посиди маленько, мигомъ принесу.»

И Василиса воротилась съ флягой, покрытой мхомъ и плѣсенью. То былъ старый, крѣпкій медъ; но Степанычъ знакомъ былъ съ этими тузами старинныхъ русскихъ погребовъ, и не боялся встрѣчи. Притомъ же и умыселъ тутъ другой былъ; Степанычъ безъ труда уговорилъ миловидную хозяйку откушать стараго меда и развязалъ ея языкъ на тайную исповѣдь; въ пустыхъ словахъ и такъ не было недостатка.

— «Такъ вотъ что!» сказалъ онъ послѣ нѣсколькихъ пустыхъ рѣчей. «Ты Нѣмка, то есть Шведка, а сестра твоя-то гдѣ же?»

— «Сестра? Эхъ, ты мой красавецъ! Съ ними я и ближе сходилась, да этого не сказывала. Что ваша дружба? Да еще на дорогѣ на больной, да въ стужу, на этомъ пустырѣ болотномъ. Вотъ и этотъ шарамыжникъ съ дружбой ко мнѣ подъѣзжалъ. Знала я, чѣмъ отдѣлаться.»

— «Ну, а сестра твоя?»

— «Сестра! Говорятъ будто оправдана, отъ суда отпущена; да полно, правда ли? Не всякой знаетъ, не у всякаго спросишь. Того гляди и меня потянутъ. Не такихъ, какъ я, на простыхъ телѣгахъ съ солдатами въ Питеръ провезли...»

— «А что́ же сказать твоей сестрѣ, если я ее въ Питеръ увижу?..»

— «Увидишь? Далъ бы то Богъ!.. Скажи ей, что я... нѣтъ, лучше ничего не говори; а то она, пожалуй... Нѣтъ, все-таки сестра; чай теперь самой ѣсть нечего, а прежде сколько народа на ея счетъ кормилось. Вотъ одной мнѣ сколько она разнаго добра и денегъ переслала. Нѣтъ, скажи ей, пусть ко мнѣ ѣдетъ; — право, при добромъ случаѣ... Да ужъ пусть только ѣдетъ, пусть свое добро беретъ, подѣлимся.:..»

Послѣдняя выходка весьма расположила Степаныча къ Василисѣ. Онъ даже взялъ ее за руку съ участіемъ. Вотъ это, Иванъ Степанычъ, вы напрасно сдѣлали. И Василиса спѣшила воспользоваться чувствительностію Степаныча. Но колокольчикъ разрушилъ ихъ бесѣду; становой солдатъ съ пассажирской половины стучался у дверей и докладывалъ, что надо прописать почту.

Василиса приняла бумагу, а Степанычъ исполнилъ должность коммиссара. Когда Василиса понесла бумагу обратно, Степанычъ съ великимъ усиліемъ разбудилъ товарищей, разумѣется, которыхъ могъ, и далъ имъ опохмѣлиться... Одинъ опять заснулъ, и еще крѣпче, но за то двое вскочили,

какъ встрепаные. Одинъ изъ этихъ двухъ героевъ былъ незнакомецъ.

— «Что, красотка?» сказалъ онъ Василисѣ, когда та вошла и, всплеснувъ руками, остановилась у порога. «Ты не спишь?»

— «Заснешь, когда этакіе бражники въ домъ заведутся; утро брежжетъ, а они пьянствуютъ.»

— «Утро!..» заворчалъ Аникичъ, котораго ногой прилежно будилъ незнакомецъ. «А? Кто тамъ пріѣхалъ?»

— «Почта...»

— «Почта?»

Аникичъ поднялся и, сидя на полу, протиралъ глаза обѣими руками.

— «Почта!» ворчалъ онъ. «Ну, подай ей запеканки, и пускай спать ложится... Постой, давай пропишу въ постели. Евсей, на, отнеси подорожную...» Но, вмѣсто подорожной, подъ руки ему попалась кружка; взялъ онъ ее, повертѣлъ и сказалъ:

— «Притча! ни дать ни взять, такъ меня огорошило въ Нѣмечинѣ. Очнулся, гляжу, Нѣмецъ лежитъ. Видишь, думаю себѣ, нашелъ перину. Пошелъ вонъ, говорю, нейдетъ; вотъ я тебя! хотѣлъ его столкнуть, анъ рука у меня вся въ крови. Шведъ поганый пулей испортилъ. Насилу кровь замазали, да рану залечили. А знатно спалось. Э! да что это? Я на полу? Ужъ не пьянъ ли я былъ вчера?..»

— «Маленько!»

— «Это что? Гости! Ахъ, честные господа,

подшутили вы надъ старикомъ небережно... Василиса!»

— «Что́ тебѣ надо?» отвѣчала хозяйка изъ другой комнаты.

— «Поди-ка, помоги мнѣ встать!»

— «Не я тебя поила, не я и подымать стану, а мнѣ спать хочется; и такъ за тебя должность твою приходится править. Своего дѣла полны руки...»

— «Ну, такъ вотъ же я самъ всталъ! Ну, а гдѣ же почта?»

— «Уѣхала...»

— «Такъ зачѣмъ же ты меня будила?»

Отвѣта не было. Степанычъ разсчитался, заплатилъ и за послѣднюю флягу, и ушелъ съ незнакомцемъ.

— «Что?» сказалъ послѣдній. «Чай сейчасъ въ колымагу, да и въ путь?»

— «Нѣтъ, хочу повозки на полозья поставить; а это займетъ немало времени.»

— «Прихоти боярскія, товарищъ; да у кого много денегъ, тамъ почему жъ не блажить! Вотъ бы мнѣ попались деньги въ руки, я построилъ бы себѣ домъ на колесахъ и ѣхалъ бы изъ Москвы въ Питеръ шагомъ. Тутъ у меня въ дому и кухня, и погребъ, а келарь — я самъ. Ну, ѣхалъ бы надиво!»

— «Да прежде бы для такой повозки и дорогу самъ устроилъ.»

— «Съ деньгами вездѣ дорога. Не могу сказать, я и теперь ѣду весело, да съ оглядкой. Вотъ ужъ изъ Москвы, почитай, три недѣли, а выдалъ только три рубля.»

— «Дешево.»

— «Вездѣ есть добрые люди. Въ Старой Русѣ, чай, еще веселѣе! Сведу знакомство: ѣсть дадутъ, пить — попрошу. Лошадь только дорого стоитъ: на этихъ проклятыхъ постоялыхъ безъ совѣсти деругъ. Больше лошадь обойдется, чѣмъ ѣздокъ...»

— «А ты верхомъ, что ли!..»

— «Видишь, что выдумалъ! Зимою! Нѣтъ, на подводѣ, да ужъ и ѣду знатно. Запрягу, да и ну погонять арапникомъ; оно, знаешь, и грѣетъ, и до привала скорѣе доберешься. Я отъ мѣста до мѣста шибко ѣду, за то ужъ на мѣстѣ не спѣшу. Гдѣ люди, тамъ хорошо. А ужъ дорогой на деревья безъ листьевъ смотрѣть — спасибо. А теперь еще покойнѣе поѣду, и лошади легче будетъ. Въ Осташковскихъ Слободахъ промѣнкаю, пока зима станетъ. Телѣгу у меня торгуетъ пономарь; дешево даетъ, да все-таки за эту цѣну и сани купишь и лишнихъ деньковъ пять-шесть въ дорогѣ проживешь.»

— «Да что, развѣ у тебя такъ мало денегъ?»

— «Мало не мало по-моему. На годъ хватитъ. А тамъ можетъ увернусь отъ войсковой службы; въ приказъ посадятъ, а въ приказахъ изъ песка деньгу дѣлаютъ... Умная голова вездѣ найдется. Правда, соблазнилъ ты меня вчера пиромъ, а то бы я зашибъ съ этой нѣженки рубль другой...»

— «Съ какой нѣженки?»

— «Вотъ съ этого, что табачнаго дыма не жалуетъ...»

— «А какъ же бы ты зашибъ?»

— «Да ужъ отъ перваго облачка ему бы дурно стало; онъ бы и сталъ проситься. Заплати! Рубль. — Мало. Подымай выше! — Пять полуполтинниковъ. — Мало. Пуфъ — опять облако... Три полтинника. — Пуфъ — туча! — Два рубля! — Давай!»

Степанычъ остановился и поглядѣлъ съ презрѣніемъ и досадой на спутника.

«Онъ такъ не отвяжется!» подумалъ Степанычъ. «Да и Василиса слишкомъ много разсказала и про сестру и про себя. — Послушай, товарищъ, какъ тебя зовутъ?»

— «Памфилъ, Памфиловъ сынъ, Уточкинъ, московскаго уѣзда. Ну, Что́ дальше?»

— «Какъ ты думаешь, Памфилъ Памфилычъ, вѣдь Василиса Онисимовна хочетъ съ тобою помириться...»

— «Ну, что́ дальше?»

— «Знаешь ли, счастливецъ?.. Нѣтъ, не скажу... Зачѣмъ тебя мучить?»

— «Благодѣтель, скажи! Ради Бога, скажи! Право, я, съ досады на нея, хотѣлъ только саннаго пути дождаться и уѣхать.»

— «Видишь что́... Нѣтъ, ты не утерпишь, проболтаешься...»

— «Да что ты это, право? Что я, сорóка, что ли?»

— «Да, впрочемъ, проболтаешься, тебѣ же хуже. Обѣщалъ я ей помирить тебя съ нею. Говоритъ она, что ты дуракъ большой, тупой пень...»

— «Это она все говоритъ?»

— «Да, да еще, что слѣпой...»

— «Вотъ ужъ это неправда...»

— «Я ему, говоритъ, и глазами, и на пальцахъ показываю, а онъ, все не понимаетъ; Авакичъ-то ревнивъ; у него и команда есть, того гляди и мнѣ и ему кости изломаетъ.»

— «Да какъ онъ смѣетъ?»

— «Онъ бы, олухъ этакой, — это она говоритъ, — поѣхалъ рыбу у меня на озерѣ покупать; дѣло иное...»

— «Это она говоритъ?»

— «Она.»

— «А на что́ мнѣ рыба?»

— «А на что́ ей ты, коли не хочешь ея резоновъ уважить Обѣщалъ я ей помирить съ тобою, обѣщалъ къ ней на Селижаровку тоже за рыбой поѣхать, да прежде хотѣлъ съ тобой поговорить...»

— «Я, пожалуй, поѣду, только на что́ мнѣ рыба?»

— «Экой чудакъ! Рыба — только претекстъ, то есть, будто причина, а рыбы тебѣ совсѣмъ покупать не надо.»

— «Если такъ, сейчасъ ѣду...»

— «Нѣтъ, не сейчасъ, а вотъ какой у насъ аккордъ. Ты придешь и скажешь: — Ну, господинъ Костыльковъ сегодня не ѣдетъ, отложилъ походъ, собирается на Селижаровку послѣ обѣдень, здѣшняго рыболовства посмотрѣть... — а самъ заложи свою повозку, да на мѣсто. А я ужъ буду тамъ. Хотъ и некогда, да благо на полозья надо повозки ставить, такъ пока люди управятся, мы и вернемся.

Только гляди, не отставай... А впрочемъ какъ хочешь; если согласенъ, то ступай сейчасъ; не мѣшкай; а не изволишь, все-таки ступай и объяви, что Костыльковъ хотѣлъ-было на Селижарову поѣхать, да что-то стало не здоровиться, отложилъ до завтраго...»

— «Такъ ты завтра ѣдешь?»

— «Раньше не управлюсь.»

— «Такъ ты съ охвата къ Аникичу поѣдешь грѣться?»

— «Разумѣется.»

— «Экая благодать!.. Ну, товарищъ, съ разу угадалъ, что ты за птица. Прощай!»

— «Дай Богъ только этой птицѣ улетѣть вовремя,» прошепталъ Степанычъ, и съ трепетомъ вошелъ въ гостинницу.

Ночью новыхъ гостей не прибыло, и потому Борисъ Петровичъ весьма спокойно выспался, всталъ и прислушивался, спитъ ли сестра; та закашляла; Борисъ Петровичъ вошелъ къ сестрѣ, въ самое то время, когда Степанычъ явился въ большую избу.

— «Что, душа моя, ты такъ и не спала?..»

— «О, нѣтъ! Какъ ушли эти гости, я уснула такъ сладко, будто у дѣдушки; теперь только проснулась; грудь подавилъ такой дурной сонъ...»

— «И, полно! Сейчасъ и дурной! Что́ же тебѣ снилось?..»

— «Да чего на умъ не взойдетъ! Помнишь ли ты драгуна, что́ привозилъ къ намъ Колычевъ...»

— «Ну!»

— «На насъ напали разбойники, а онъ давай боронить, выстрѣлилъ, я и проснулась...»

— «Сонъ на яву, моя милая! Драгунъ-то здѣсь, онъ-то, ради твоего покоя, постояльцевъ вчера изъ больной избы увелъ; что́ онъ съ ними сдѣлалъ — не знаю, только ни одинъ не вернулся...»

— «Такъ это онъ! Видишь, душа-то и спитъ, а все видитъ. А скоро мы поѣдемъ?»

— «Да хоть сейчасъ. Пойду, людей разбужу. Пусть поваръ что ни есть тебѣ горячаго состряпаетъ, а пока лошадей заложатъ.»

Борисъ Петровичъ вышелъ.

— «А, вы ужъ здѣсь? А гдѣ же наши злодѣи?»

— «Спятъ на стану; сюда не пожалуютъ; только я пришелъ милости твоей совѣтъ подать. Поставь всѣ свои повозки на полозья: дальше на колесахъ не поѣдешь; снѣгу въ одну ночь на аршинъ навалило... А что́ Ольга Петровна?»

— «Слава Богу! Да какъ же это сдѣлать? На полозья?..»

— «Вы мало, видно, ѣзжали, такъ ужъ позвольте мнѣ и вашими и своими повозками распорядиться.»

— «Право, не знаю, чѣмъ я заслужилъ такую аттенцію...»

— «На всей Москвѣ васъ знаютъ и респектуютъ. Къ тому же Степанъ Яковлевичъ особенную къ вамъ любовь имѣетъ, а Степанъ Яковлевичъ, мнѣ все одно, что отецъ родной.»

— «То же и мнѣ. Такъ будемъ же друзьями!»

— «Гонеръ такой я постараюсь заслужить добрыми актами. А теперь позвольте къ отъѣзду сдѣлать аншталтъ, чтобы можно отъ сихъ мѣстъ скорѣе абшидъ взять, понеже операція возьметъ немало времени.»

— «А я пока приготовлю завтракъ, отъ котораго мой добрый господинъ не откажется.»

— «Пріемлю такія рѣчи за похлѣбство и служить буду.»

Степанычъ поспѣшилъ въ Слободы, отъискалъ между монастырскими людьми и крестьянами сана наго дѣла художниковъ. Чуть не ярмарка стала передъ гостинницей; спорили, толковали долго, наконецъ сторговались и принялись за дѣло, цѣлой компаніей, на акціяхъ, потому что Степанычъ, хотя и заплатилъ дорого, но на одномъ условіи, чтобы послѣ обѣдень все было готово. Уладивъ столь важную статью, Степанычъ воротился въ гостинницу, гдѣ Борисъ Петровичъ и его поваръ показали съ хорошей стороны и свою дѣятельность. Столъ былъ покрытъ синей скатертью съ золотыми разводами. Въ углу стоялъ погребецъ съ водками и винами, на полу другой съ серебряной посудой, которая изъ погребца была уже вынута и расположена на столѣ. Кушанье было холодное; но какъ-только Ольга Петровна вышла изъ своей невзрачной спальни, поваръ въ золотой мисочкѣ принесъ горячую уху изъ свѣжей рыбы, которую досталъ чуть свѣтъ за немалыя деньги. Но до ухи ли теперь, когда вышла на сцену Ольга Петровна! Болѣзненный румянецъ игралъ на очаровательномъ

личикъ, которое будто восковая маска выглядывало изъ-подъ теплой шапочки, опушенной черною лисицей; кунтушъ также былъ обложенъ дорогимъ мѣхомъ; ноги, на которыя въ первыя минуты только и смѣлъ смотрѣть Степанычъ, были обуты въ теплые сапоги, шитые золотомъ.

— «Вотъ, Оля, скажи спасибо господину, что сну твоему просторъ сдѣлалъ...»

— «Очень благодарна.»

— «А теперь озаботился господинъ и о твоемъ дорожномъ покоѣ; мы ѣдемъ на саняхъ...»

— «Какъ? Въ открытыхъ?»

— «Нѣтъ! Въ нашихъ же повозкахъ, только онѣ, по его милости, на сани станутъ.»

— «И это будетъ совершенно удобно...» осмѣлился вымолвить Степанычъ, и покраснѣлъ до ушей.

— «Очень благодарна! Что же вы ничего не кушаете?..»

— «Наѣлся на почтовомъ станѣ. Нельзя было самому не ѣсть, когда товарищей угащивалъ. А смѣю доложить, отмѣнный почтовой станъ. Коммиссаръ есть... и коммиссарша, красавица... И знаете ли, что̀ я узналъ, она сестра...»

Тутъ только Степанычъ вспомнилъ, что едва ли было прилично разсказывать далѣе при такой невинной дѣвушкѣ, — запнулся и не зналъ что̀ сказать.

— «Чья же она сестра?» спросила Оленька простодушно.

— «Одной богатой особы,» отвѣчалъ Степанычъ: «но никакъ не могъ добиться какой. А могу доло-

жить, что мѣсто это прекрасное. Тутъ озеръ безъ счета; Селигеръ, самое большое, еще не замерзло; лѣтомъ должно быть очень хорошо...»

Передавать весь разговоръ Степаныча съ дипломатическою точностью, значило бы томить читателя скукой, потому что нѣтъ ничего пошлѣе какъ всѣ эти разговоры при начинающихся знакомствахъ. Теперь еще пересыплютъ готовыми фразами и составятъ винегретъ изъ глупостей и пустяковъ; а въ то время при грубости языка и нравовъ и при недостаткѣ образованія — отъ такого разговора хоть бѣги. Но это для насъ; а для собесѣдниковъ время прошло весьма пріятно; и не замѣтили, какъ отошла обѣдня и поѣзды изготовились въ дорогу. Степанычъ вызвался ѣхать впередъ и приготовлять привалы и ночлеги. Онъ уже хотѣлъ сѣсть въ колымагу, какъ къ самой гостинницѣ на легкихъ саночкахъ, чуть не на салазкахъ, на деревенской, но бодрой лошадкѣ, подъѣхала Василиса Онисимовна и остановилась передъ носомъ Степаныча.

— «Ну, я на охватъ!» сказала она тихо. «Ты не здѣшній, дороги не найдешь. Славный день стоитъ; послала я на рѣку всѣхъ моихъ наймышей; будетъ ловъ знатный... Чтобъ злаго людскаго языка не тѣшить, такъ ты, спустя мало времени, возьми съ гостинницы проводника и пріѣзжай на Карасій Носъ, что у Сиговской Мельницы...»

И Василиса понеслась во всю деревенскую рысь своей лошадки. Степанычъ оглянулся и успокоился. Словцевы еще надѣвали шубы и не выходили изъ го-

стинницы. Возлѣ также никого не было; никто не могъ слышать, о чемъ говорила Василиса. Да и Василиса не была похожа на собесѣдницу прошедшей ночи. На ней была высокая чернаго мѣха шапка, и шуба, покрытая тонкимъ сукномъ; подпоясана она была пестрымъ широкимъ кушакомъ, а на рукахъ теплыя рукавицы. Морозъ разрумянилъ ее, и, въ другомъ положеніи, я не ручаюсь за Степаныча: полетѣлъ бы онъ на Карасій Носъ на всѣхъ своихъ повозкахъ; но теперь съ особенною радостью бросился въ колымагу, какъ-будто ушелъ отъ лютаго звѣря, крикнулъ: «пошелъ!» и костыльковскіе кони понеслись по берегу Селигера. Въ нѣсколько часовъ обогнули они разныя озера, изъ которыхъ одни уже замерзли, другія собирались замерзнуть, и такъ какъ изъ Останковскихъ Патріаршихъ Слободъ выѣхали довольно поздно, то безъ привала стали на ночь на Демьянскомъ Погостѣ. Чудеса, какъ подумаешь: и эти Слóободы и этотъ погостъ теперь города. Правда, въ Демьянскѣ и теперь двѣ церкви и пятнадцать лавокъ, а все-таки городъ; есть присутственныя мѣста, есть и училище, а во-время-оно не было ни одной лавки, но за то харчевня и станъ уже и тогда сообщали Демьянску нѣкоторое значеніе между окрестными деревнями. Ночевать рѣшительно было негдѣ. На станъ не пускали, потому что тамъ на ночлегѣ остановился какой-то офицеръ гвардіи, а ужъ этого было довольно, чтобы не впускать на станцію погрѣться даже курьеровъ. Степанычъ осмотрѣлъ всѣ крестьянскіе дома, но не нашелъ ни одного годнаго

для покойнаго помѣщенія Оленьки. Хотя и почтовой домъ не былъ особенно отъ другихъ отличенъ, однако жъ все-таки по крайней мѣрѣ въ немъ не было таракановъ и другаго насѣкомаго войска, могущаго лишить сна поэтическую дѣву. По разсчету Степаныча черезъ нѣсколько минутъ должны были подъѣхать и Словцевы. Въ отчаяньи онъ ворвался на станъ силою и такимъ наглымъ поступкомъ разбудилъ офицера.

— «Что́ за шумъ?» спросилъ тотъ. «Стой на мѣстѣ, кто бы ты ни былъ, а то у меня пистоль въ рукѣ; повалю какъ барана! Говори, что́ тебѣ надо?..»

— «Извольте быть покойны, ваше благородіе!» сказалъ Степанычъ твердымъ голосомъ. «Пистоль себѣ-держите, только дуломъ внизъ, чтобы невзначай не выпалило, а тогда уже извольте меня выслушать. Я адрессуюсь къ вамъ, какъ къ благородному рыцарю и кавалеру. Вы можете ночь проспать гдѣ прійдется... Чай, подъ шведскими пушками сыпали?»

— «Случалось.»

— «А благородной дѣвицѣ знатнаго рода́ такихъ оказій не могло прилучиться.»

— «Справедливо.»

— «Осмотрѣлъ я всѣ здѣшніе дома: и войти такой дамѣ нельзя. Только сія одна комната для почлега удобна. Не смѣю имѣть сумленія, что гвардіи царской офицеръ окажетъ дамѣ решпектъ и комнату свою уступитъ...»

— «Истинно такъ! Огня!»

Пока подали свѣчу, офицеръ вскочилъ, надѣлъ верхнее платье и приказалъ позвать денщика.

— «Ну, вотъ я и готовъ!» сказалъ онъ, собирая со стола свой кошелекъ и часы. «Солдатскіе сборы коротки. Признаюсь, думалъ-было хоть эту ночку поспать, да не приводится, такъ и не нужно...»

— «А издалече изволите ѣхать?»

— «Да безъ малаго двѣ тысячи верстъ, моря не считая.»

— «Откуда же это, осмѣлюсь спросить?»

— «Изъ Астрахани, любезный!.. А вотъ что худо. Кажется, я въ прошедшую ночь ухо приморозилъ. Ужъ теперь до Петербурга ночью не поѣду. Срокъ мнѣ къ девятому декабрю: успѣю .. Андрюшка! Убери чемоданъ, шубу и пистоли. Ну, молодецъ, такъ гдѣ же твоя боярышня?»

— «Сейчасъ будутъ.»

— «Ну, такъ я себѣ пойду! Эй, коммиссаръ, нѣтъ ли у тебя уголка какого?»

— «Да вы напрасно, ваше сіятельство, безпокоиться изволите. Господа ѣдутъ на вольныхъ подводахъ. Я ихъ на станѣ не пущу.»

— «А какъ ты смѣешь! Я ихъ на свое мѣсто пускаю, а самъ если негдѣ, на улицу лягу...»

— «Зачѣмъ на улицѣ! Тутъ, вѣроятно, два апартамента, какъ и на другихъ станахъ.»

— «Нѣтъ! Тутъ вотъ покой для проѣзжающихъ, а тамъ моя конурка.»

— «А ты холостъ?» спросилъ Степанычъ.

— «Холостъ.»

— «Ну, такъ мы всѣ мужчины къ тебѣ на по-

стой, а Ольга Петровна здѣсь помѣстится, а за то и на твою долю перепадетъ что̀ ни есть...»

— «По мнѣ пожалуй; только какъ размѣститесь.»

— «Э, не твое дѣло... А, вотъ и наши!»

Степанычъ со свѣчей поспѣшилъ на встрѣчу *своимъ*, ввелъ Ольгу Петровну въ покой; къ ней вошла горничная. Стали вещи какія нужно выносить, поваръ ужинъ стряпать; а мужчины по проекту Степаныча разсѣлись на кровати, столѣ и стулѣ коммиссара.

— «Ну, ужъ, молодые люди!..» сказалъ князь. «Какъ угодно, а я вамъ кровати не дамъ. Выгналъ ты меня изъ хорошаго покоя, такъ ужъ уступи кровать. Охъ! Далеко, больно далеко... И время такое скверное, да и дѣло нелучше. Вы изъ Питера?..»

— «Нѣтъ, въ Питеръ на службу.»

— «Похвально. И, кажется, охотой...»

— «Ото всей души.»

— «Похвально! Да, чай, теперь война ужъ скоро кончится. Не задумалъ ли Государь противъ Персіи чего? Знатный край! Я объ немъ въ Астрахани много наслышался.»

— «А что̀?..» спросилъ Борисъ. «Правда ли это, что про Бековича разсказывали?..»

— «А что̀ тебѣ разсказывали?»

— «Будто со всѣмъ войскомъ погибе...»

— «Охъ, правда! Да грѣхъ и его корить; Богъ посѣтилъ его такою печалью, отъ которой и не такой умъ отуманится. Все шло какъ по маслу.

Мудрая мысль Царева была такова, чтобы торговый путь открыть въ Индію, отъ нея же другія царства обогащаются; отрасль купечества по разнымъ азіятическимъ царствамъ и провинціямъ навсегда укоренить. И Бековичъ былъ на это дѣло годенъ; вошелъ къ Хивинцамъ знатно; малою силой большую низложилъ; изъ Хивы обыватели съ пожитками убирались: такой страхъ на нихъ нагналъ! Вдругъ — гонецъ прискакалъ, письма привезъ: жена съ дѣтьми на Волгѣ потонула... Онъ и руки врознь; разсудокъ отняло. Коварный ханище послалъ къ нему мира просить; повѣрилъ Бековичъ, поѣхалъ, да и не воротился. Ну, это бы еще ничего; умирай, когда оступился, а вотъ ужъ это худо, что Франкенбергу со всѣмъ войскомъ указы послалъ, чтобы по квартерамъ разошлись; все войско погубилъ. Говорятъ, въ яму посадили голаго, а въ той ямѣ клещни и клопы ядовитые. Говорятъ, пить не давали; эка важность! Одна смерть, могъ до нея лишній день дотерпѣться. Зналъ я Бековича коротко, и полагаю, что потеря фамиліи разумъ помутила. Иначе быть не могло.»

Хотя офицеръ былъ еще въ молодыхъ лѣтахъ, но разсказъ его вселялъ въ обоихъ нашихъ солдатовъ какое-то невольное уваженіе. Подали ужинать. Борисъ Петровичъ сталъ приглашать и князя.

— «Чужой человѣкъ и дома связываетъ, а пуще на дорогѣ; къ тому же я не голоденъ, и смерть спать хочу.»

Борисъ со Степанычемъ почтительно выпили и

когда воротились, князь спалъ сномъ крѣпкимъ. Бережно вошли они, потушили свѣчу и какъ могли умостились, Борисъ на стулѣ, а Степанычъ на столѣ, подложивъ подъ голову коммиссарскія бумаги.

Встали рано, потому что князь поднялся до свѣта. Часы его съ репетиромъ исправно доложили ему, что уже пять часовъ. Борисъ Петровичъ, не смотря на убѣжденія Степаныча, разбудилъ черезъ двери сестру, поднялъ людей, накормилъ ее, за недостаткомъ провіанта, какою-то горячей кашицей съ масломъ, и въ путь. Степанычъ, замѣтя, что князю подали сани ямскія, предложилъ ему свою колымагу. Князь принялъ охотно предложеніе, потому что ухо его безпокоило, а до срока онъ за глаза могъ поспѣть въ столицу. Причина ранняго отъѣзда была та, что отъ Демьянска до Старой-Руси ровно негдѣ было ночевать, а числилось старымъ счетомъ шестьдесятъ верстъ, то есть, нынѣшнихъ вдвое. Надо было поспѣть въ городъ хоть поздно. Успѣли пріѣхать послѣ полуночи, и опять уѣхали со свѣтомъ часу въ восьмомъ, къ тайному неудовольствію Степаныча, который не могъ осмотрѣть соляныхъ старорусскихъ варницъ. Изъ Старой-Руси была уже знатная зимняя дорога по прибрежью Ильменя, значительно сокращавшая разстояніе до Новгорода, гдѣ уже заночевали побарски, сравнительно съ прежними ночлегами. Странно и не совсѣмъ ловко началось это дорожное знакомство, но въ Новгородѣ всѣ были уже какъ родные. Степанычъ развернулся, языкъ его сталъ

простъ и забавенъ; ухватки потеряли прежнюю угловатость, а бесѣды во время переѣздовъ съ княземъ дополняли многими свѣдѣніями библіотеку его памяти. Особенно важны были тѣ изъ нихъ, которыя относились до Россіи, Петра, сановниковъ, политики и другихъ современныхъ вопросовъ. Хотя въ Новгородѣ спали такъ долго, что разбудилъ всѣхъ благовѣстъ къ обѣдни, но когда Борисъ Петровичъ приказалъ закладывать лошадей, Степанычъ рѣшительно возсталъ противъ такой поспѣшности.

— «Борисъ Петровичъ!» сказалъ онъ съ видимымъ огорченіемъ: ужъ если не меня, такъ лошадокъ пожалѣй; шутка ли, четыреста верстъ пробѣжали! Блаженъ иже и скота милуетъ.»

— «Иванъ Степанычъ! Развѣ мало онѣ сегодня отдохнули? Да изъ чего ты такъ полюбилъ Новгородъ?»

— «Новгородъ! Да вѣдь подумай, Борисъ Петровичъ, какой это Новгородъ: вѣдь это не какой другой, а Великій! Тутъ дворъ Ярославовъ!» И началъ считать Степанычъ всѣ достопримѣчательности, чуть не всю исторію Новгорода.

— «Да ужъ развѣ ты, Иванъ Степанычъ, никогда въ свои вотчины и не поѣдешь? Ужъ этого города не минешь. Да, впрочемъ, если ужъ такая злая охота пришла, такъ оставайся, мы впередъ поѣдемъ.»

— «Вы поѣдете, а я останусь...» И въ голосѣ Степаныча было такъ много чувства: въ этихъ словахъ слышался и упрекъ и оскорбленное само-

любіе и умоляющая просьба, по видно Словцевъ не умѣлъ слушать эту музыку, и не замѣтилъ какой странный аккордъ сложили эти звуки сердца; за то изъ сосѣдней комнаты раздался голосъ Оленьки:

— «Боря!»

— «Вотъ пойдемъ лучше къ сестрѣ...»

— «Пойдемъ!» печально сказалъ Степанычъ.

— «Боря!» сказала Оленька, покраснѣвъ порядочно: «мнѣ ужасно дурно; то въ жаръ, то къознобъ кидаетъ... Что мнѣ дѣлать?»

— «Вотъ тебѣ разъ! А я почемъ знаю! Вотъ видишь, Иванъ Степанычъ, не даромъ сердце мое чуяло бѣду; такъ и зналъ: расхворается гдѣ-нибудь въ захолустьѣ; никакой помощи.»

— «Новгородъ великій — захолустье! Да тутъ врачи показались раньше, чѣмъ на Москвѣ; тутъ во время Ганзы...»

— «Да то, когда было... а теперь...»

— «Вотъ увидишь, я объѣзжу, десятокъ достану.»

— «Ни одного не нужно!..» сказалъ съ улыбкой вошедшій князь. «Прикажи искупить сушеной малины, да въ постель; до вечера выпотѣетъ Ольга Петровна и какъ рукой сниметъ. Это отъ долгаго пути запростудилась; пожалуй, и я для компаніи пить буду...»

— «И я,» сказалъ Степанычъ.

— «Нѣтъ, ужъ вы, Иванъ Степанычъ...» съ улыбкой перебила Оленька; «вы ступайте, погуляйте по Новгороду, а вечеромъ и намъ разскажете. А я даю слово, что до вечера здорова буду.»

Степанычъ не прекословилъ, побѣжалъ осматривать городъ, наказавъ людямъ, чтобы его къ обѣду не ждали, но еще накрывали на столъ, когда Степанычъ возвратился съ кислой миной.

— «Ну, вотъ видите,» сказала Ольга: «и я раньше выздоровѣла, и вы раньше воротились. Ну, что же Новгородъ?»

— «Это не тотъ Новгородъ. Долженъ быть другой. Окромя постилы и кабаковъ ничего нѣтъ...»

— «Новгородъ Великій!» воскликнулъ съ улыбкой князь.

— «Великая деревня!»

— «А Софійскій Соборъ?»

— «Одинъ только и остался; Ярославова двора и слѣдовъ нѣтъ, а въ Мареиныхъ хоромахъ портные на мужиковъ зипуны шьютъ!!.. Поѣдемъ, Борисъ Петровичъ!»

— «Ну, теперь поздненько. Ужъ поскучайте до утра съ нами!» сказала Оленька, и старалась развеселить Степаныча; но, увы, и ея ласковое вмѣшательство не могло утѣшить Степаныча въ упадкѣ Великаго Новгорода. Такова сила книжныхъ впечатлѣній!

—

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ВСТРѢЧИ.

Послѣ обѣдень, такъ, часу въ первомъ, большой санный поѣздъ остановился у шлагбаума, который находился на небольшомъ деревянномъ мосту, перекинутомъ черезъ Фонтанку, почти въ томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Обуховъ Мостъ. Цѣловальники объискали всѣ повозки, не исключая и колымагъ; солдаты прописали подорожные виды и, вручивъ по принадлежности, подняли заставу. Степанычъ, сгарая любопытствомъ, вышелъ изъ колымаги. Передъ нимъ или подъ нимъ лежала покрытая льдомъ и снѣгомъ Фонтанка. Мальчишки съ прибрежныхъ боярскихъ дачъ барахтались на снѣгу или скользили по очищенному льду; дома на дачахъ были безъ оконъ, потому что ихъ плотно закрывали доски, какъ и нынѣ можете видѣть, — только не на Фонтанкѣ; деревья спали-себѣ въ соломенныхъ чехлахъ; но эта загородная сторона Петербурга, при всей пустынности своей, все-таки была и больше и лучше застроена, чѣмъ тѣ кварталы, по которымъ теперь проходятъ три проспекта и множество великолѣпныхъ улицъ. Отъ дома Дюпрé до самой Мойки, Степанычъ не встрѣтилъ ни одного каменнаго зданія. Гдѣ же Питербурхъ? спрашивалъ онъ себя ежеминутно. Тутъ, видно, Лѣтній Садъ, а огородъ за садомъ. Соображеніе было основано на правильныхъ данныхъ; аллея, не улица, пролегала по нынѣшнему Вознесенскому Проспекту, а по объ стороны торчали обнаженныя и большею частію одинокія березы. Безконечная площадь за Мойкой, простиравшаяся отъ нынѣшняго Синяго до Полицейскаго Моста, навела на Степаныча досаду...

«Вотъ посады! .» подумалъ онъ. «Въ день ихъ не пройдешь; что же долженъ быть городъ!!..»

Выѣхали на Адмиралтейскую Площадь... Уви-

давъ адмиралтейскую крѣпость и за нею огромное пустое пространство, Степанычъ сказалъ громко:

— «О! это должно быть Кронштадтъ и море...»

— «Нѣтъ!» сказалъ князь изъ колымаги, заслышавъ восклицаніе. «Это адмиралтейство: тутъ корабли дѣлаютъ; можетъ быть, тутъ самъ Государь. По званію моему и рангу флота поручицкому, я долженъ тутъ выйти и явиться коменданту. Стой!..»

Степанычъ стоялъ, оторопѣвъ и выпуча глаза.

— «Искренно благодарю за рѣдкую услугу,» продолжалъ князь. «Мой домъ на Васильевскомъ строится, самъ не знаю гдѣ пристану; а вещи мои и денщика прикажи на почтовой австеріи оставить. И вамъ надо тамъ пристать, пока не найдете дома, а куда ѣхать — денщикъ покажетъ. До свиданія!»

Князь ушелъ, а Степанычъ все-еще стоялъ посреди площади и съ изумленіемъ оглядывался на всѣ стороны.

— «Да гдѣ же тутъ городъ?» закричалъ онъ во все горло, топнувъ ногою.

— «Строится,» отвѣчалъ какой-то прохожій и пошелъ дальше.

— «Строится, да гдѣ же жить?»

— «А гдѣ изволишь, баринъ,» сказалъ денщикъ съ козелъ. «На Васильевскомъ мѣстовъ довольно; построишь хорому, хоть съ эту крѣпость..»

— «Да, жить-то гдѣ?»

— «А ужъ этого не знаю, надо у старшихъ спросить...»

Мимо Степаныча пронеслись сани, запряженныя въ четыре лошади цугомъ. Кучера и лакеи были въ длинныхъ шубахъ, покрытыхъ алымъ сукномъ и въ военныхъ шляпахъ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» опять сказалъ онъ громко. «Это что́ такое?»

— «Городскіе баре въ гости поѣхали.»

— «Поѣдемъ же и мы за ними, авось они насъ до людnаго мѣста доведутъ.»

Поѣхали, но сани остановились, не доѣзжая до Лѣтняго Сада, у огромнаго зданія, около котораго кипѣлъ народъ. Вообще всей набережной этой части Невы и видомъ самой рѣки, покрытой множествомъ саней и пѣшеходовъ, которые двигались по разнымъ направленіямъ, Степанычъ остался доволенъ.

— «Это что́?» спросилъ Степанычъ.

— «Почтовой дворъ!»

— «Ну, это важныя хоромы. Если не пристать, такъ отдохнуть и осмотрѣться можно.»

Вышелъ Степанычъ и не могъ не обратить вниманія на куріозныя сани, которыя удивили его на площади. Въ нихъ сидѣла старуха, въ богатой шубѣ и нѣмецкой шапкѣ; лакеи, снявъ шляпы, стояли передъ санями, а на лѣсенькѣ, съежившись, Нѣмецъ что́-то ей докладывалъ.

— «Не бывали!» сказала старуха. «Что это они какъ раки ползутъ? Вотъ ужъ десятый разъ заѣзжаю, — нѣтъ и нѣтъ. Не случилось ли въ вояжѣ какого несчастія? Да ты, полно, такъ ли докладываешь? Ты, чай, имена-то позабылъ?..»

— «Помилуйте, ваше сіятельство, какъ позабыть? Борисъ Петровичъ и Ольга Петровна Словцевы...»

— «Такъ!»

— «Тетушка!» раздалось изъ колымаги. И Боря и Оленька выпрыгнули на улицу и подбѣжали къ санямъ.

— «Батюшки свѣты! Это вы, мои ненаглядные!» закричала старуха. «Сюда, сюда! Садитесь! Сани просторныя! Не на улицѣ же здравствоваться! Сергѣй! ты останься съ экипажемъ и проводи ко мнѣ на дворъ! Пошелъ, поѣзжай!»

И сани унеслись и унесли Оленьку и Бориса, прежде чѣмъ они успѣли оглянуться... Степанычъ стоялъ посреди улицы, пораженный будто громомъ. Въ одно мгновеніе потерялъ онъ Оленьку, съ которой такъ свыкся! Онъ и не думалъ, чтобы могъ когда-нибудь съ нею разстаться; ему казалось, что они всю жизнь будутъ ѣхать вмѣстѣ до самаго гроба, и вотъ гдѣ этотъ гробъ, этотъ низенькій, приземистый Петербургъ, эта людная пустыня, этотъ муравейникъ въ открытомъ полѣ. Всѣ хлопоты, всѣ заботы, безсонныя ночи, лицемѣрія — все пропало даромъ; даже не взглянули на Степаныча; забыли, есть ли онъ на свѣтѣ или нѣтъ. Слезы навернулись на глазахъ его, и ужъ эти слезы, вѣроятно, были больно горьки; онѣ жгли глаза своимъ ядомъ, переполнилось ими сердце, грудь! Степанычъ зарыдалъ и закрылъ лицо руками. Алый лакей ея сіятельства поглядѣлъ на Степаныча съ козелъ словцевской колымаги и гро-

могласно закричалъ: «Пошелъ на спускъ!» Словцевскій поѣздъ отъѣхалъ. Безсмысленно смотрѣлъ ему въ слѣдъ Степанычъ, а сани съ алыми кучерами были уже на той сторонѣ рѣки; въѣзжали на спускъ у австеріи, повернули мимо Троицкой церкви, скрылись за длиннымъ зданіемъ канцеляріи и Степанычъ больше ихъ не видѣлъ, потому что они въѣхали въ улицу, застроенную боярскими дворами. Казалось, не рѣка Нева, не эта снѣжная площадь, а цѣлое море-океанъ раздѣлило Степаныча съ Оленькой; голова его печально поникла; отморозилъ бы онъ себѣ носъ и уши, если бы Сергѣй не вывелъ его изъ неумѣстной задумчивости.

— «А намъ куда прикажете?» спросилъ Сергѣй.

— «А, что?..»

— «Тѣ-то уѣхали; видно, у нихъ тутъ родные есть; чай и у васъ, Иванъ Степанычъ, также въ Питерѣ родные или знакомцы водятся?»

— «У меня! Родные далече, знакомыхъ нѣтъ; поджидать меня некому; изъ чужаго дома, да въ чужой домъ, вотъ мой путь! Выросъ на огородѣ, возмужалъ въ харчевнѣ, домъ мой — постоялый дворъ; отъ стана до стана бѣги, моя жизнь! Меня-то ужъ поджидать некому...»

Такъ думалъ Степанычъ, но ошибся. Не успѣлъ онъ взойти на лѣстницу, не успѣлъ спросить у привратника куда идти, какъ знакомый голосъ раздался на улицѣ.

— «Наконецъ!» кричалъ Жатый: «Костыльковъ, а Костыльковъ!..» И Степанычъ очутился въ объятіяхъ Евгенія Николаевича.

— «Ну, братъ, лошадей заѣздилъ! Какъ осмотрѣлся я въ Питерѣ, такъ давай, что день, на почтовой дворъ ѣздить, не видать ли, не слыхать ли? Ну, любезный! Полагаю, что ты у меня пристанешь; дворъ мой большой, нанялъ у одной старухи. Сынъ ея въ Финляндіи. Помѣстительно и удобно; ото всего близко; чуть-чуть отоюда не видно. Садись со мной въ сани, а люди пускай за нами ѣдутъ. Что ты этакой дикій сталъ? Видно, Квинтиліанусъ тебя такимъ пономаремъ устроилъ. Да перестань же угрюмничать; али ты мнѣ не радъ?»

— «Ахъ, Евгеній, больше чѣмъ радъ! Въ моемъ одиночествѣ ты мнѣ Божій посолъ. Ѣдемъ, ѣдемъ! Куда хочешь вези...»

— «Ну, такъ садись! ступай домой щавкомъ, а то люди отстанутъ.»

Оставивъ денщика съ вещами князя на почтовомъ дворѣ, они поѣхали. Степанычъ насильно хотѣлъ казаться веселымъ, но крайней мѣрѣ равнодушнымъ. Это очень легко ему было сдѣлать, осыпая Жатаго вопросами насчетъ зданій, которыя въ этомъ мѣстѣ съ трехъ сторонъ окружали Неву.

— «Это что?»

— «Фортеція святыхъ апостоловъ Петра и Павла.»

— «А это, налѣво?»

— «Биржа, то есть, амбары, гдѣ корабли товаръ складываютъ. Вонъ, видишь, лодіи большущія съ мачтами торчатъ. То корабли. Тутъ зазимовали. Тутъ также боярскіе дворы рядышкомъ идутъ, а за ними церковь Преображенія князя Меншикова

и его же свѣтлости дворцы, зимній и лѣтній. Видишь, какой нарядный этотъ островъ будетъ! Вонъ съ той стороны начали больверкъ строить, то есть, такой, знаешь, оплотъ противъ воды и супостата; кругомъ всего острова обойдетъ.»

— «А какъ же островъ зовутъ?»

— «Разно. Иные Васильевскимъ кличутъ, другіе Преображенскимъ, а чаще Меньшиковымъ; тамъ и мнѣ мѣсто для двора отведутъ, и тебѣ; только надо намъ будетъ съ постройщиками нѣмецкими перетолковать, гдѣ лучше: даютъ на выборъ...»

— «Ну, а это же что?»

— «Поближе, что у крѣпостнаго моста, то австерія, то есть, знатная харчевня; тамъ многіе дворяне харчи себѣ на-домъ берутъ, а другіе туда приходятъ пропитываться.»

По странному сближенію обстоятельствъ, недалеко отъ этой австеріи въ наше время построенъ воксалъ въ новомъ саду, поблизости отъ кронверка.

— «А вотъ, за австеріей, что ты видишь мазанки стоятъ, такъ то типографія: тутъ указы друкуютъ... Вотъ тебѣ соборъ Троицкій, а налѣво ряды, гостиный дворъ.»

— «А это что за избушка?»

Жатый улыбнулся.

— «Малъ золотникъ, да дорогъ. Это государевъ дворецъ...»

— «Что такое?»

— «Голландскій Царскаго Величества домъ. Тутъ Онъ и живетъ.»

— «Да гдѣ-же тутъ жить? Гдѣ гостей принимать?»

— «Жить-то есть гдѣ, а чужихъ гостей, посланниковъ, или другаго кого, Государь въ аудіенцъ-каморѣ принимаетъ. Вотъ, видишь, какая большая. А вонъ, въ мазанкахъ, сенатъ и новыя коллегіи...»

— «А военная гдѣ?»

— «Вотъ отъ насъ первая.»

— «Ты ужъ былъ?..»

— «Былъ; да что́-то тамъ не ладно.»

— «Что жъ такое?..»

— «Тамъ два презуса, одинъ князь Ижорскій, а другой Адамъ Адамычъ Вейде. Князь не ѣздитъ. Дома сидитъ. Ходятъ слухи... Ну, а Вейде болѣзнію отговаривается. Видно, самъ, безъ князя, не хочетъ управляться. Дворяне сотнями приходятъ, да и записываются, а куда кого назначатъ, такъ ужъ развѣ послѣ Крещенья указъ выйдетъ.»

— «Ну, а это какіе богатые дворы?»

— «Тутъ-то все боярство, дворъ за дворомъ, вдоль по берегу живутъ; а другіе на Биржевой Набережной, вотъ что́ мы видѣли, а малое число на Адмиралтейской, между флотской фортеціей и почтовымъ дворомъ...»

— «А гдѣ живетъ тетка Словцевыхъ?»

— «А какъ ее зовутъ?»

— «Не знаю. Конюхи у нея алые...»

— «Э, да тутъ у многихъ бояръ прислуга въ аломъ мундирѣ, такъ не угадаешь... а Словцевы-то кто?»

— «Такъ-себѣ. Московскіе знакомцы. Такъ и мнѣ въ коллегію явиться надо?»

— «Нѣтъ, прежде къ генералъ-полиціймейстеру.»

— «Благо, у меня и письмо къ нему есть отъ Колычева.»

— «И не мѣшкай!»

Сани съ Боярской Набережной поворотили въ Дворянскую Улицу и остановились у воротъ угловаго дома.

— «Вотъ мы и дома!»

— «Когда же мнѣ ѣхать къ генералъ-полиціймейстеру?» спросилъ Степанычъ, входя въ опрятно убранную комнату.

— «Да всего бы лучше тебѣ сейчасъ поѣхать къ Девіерову. А пока изготовятъ и обѣдъ, или, хочешь, сами пойдемъ въ австерію: тамъ и чиновные бываютъ...»

Степанычъ послѣдовалъ совѣту Жатаго и явился къ Девіеру. Пріемная комната Антона Мануиловича была набита просителями. Его еще не было дома; но всѣ знали, что ровно въ два часа онъ явится и старались помѣститься поближе къ кабинету, откуда онъ выходилъ обыкновенно въ урочный часъ. Для Степаныча это зрѣлище было совершенно ново. Тутъ были и генералы, и бороды, и шитые кафтаны, и матросскія куртки. Больше всего поразило Степаныча господствовавшее здѣсь смѣшеніе языковъ. Казалось, что вавилонское столпотвореніе возобновилось и всѣ нарѣчія сошлись въ пріемную санктпетербургскаго генералъ-полиціймейстера. И въ этой толпѣ ни одного знакомаго лица. Всѣ стояли, никто не смѣлъ сѣсть, хотя кругомъ стѣнъ разставлены были ска-

мейки. Ударило два часа, и двери кабинета отворились. Девіеръ вышелъ съ двумя адъютантами. Онъ былъ еще не старъ; но сѣдина пробивалась въ черныхъ волосахъ; португальское выразительное лице его было подернуто задумчивостью. Онъ слушалъ просителей какъ-то разсѣянно, но при всемъ томъ давалъ резолюціи обстоятельныя и справедливыя. Нѣкоторыхъ уводилъ въ кабинетъ и тамъ съ ними объяснялся. Такъ какъ Костыльковъ ростомъ своимъ и дородствомъ обратилъ на себя вниманіе Девіера, то и неудивительно, что, по отпускѣ генералитета, Антонъ Мануиловичъ подошелъ къ нему, взялъ изъ рукъ письмо Колычева, распечаталъ, взглянулъ и, указавъ рукой на двери кабинета, сказалъ:

— «А! Хорошо! Пожалуй туда!»

Степанычъ вошелъ въ кабинетъ и ждалъ недолго. Аудіенція кончилась. Девіеръ воротился, сѣлъ въ кресла, написалъ нѣсколько записокъ и, отдавая адъютантамъ, сказалъ:

— «Развезите сами!.. Если князь Александръ Данилычъ будетъ спрашивать, что̀ это значитъ, скажите, что и Девіеръ не знаетъ. Такъ указано. Прибавь только, что Девіеръ не совѣтуетъ отпираться... Ступайте!»

Девіеръ бросился въ кресла, закрылъ глаза и нѣсколько минутъ просидѣлъ въ совершенномъ оцѣпенѣніи. Степанычъ, глядя на Антона Мануиловича, не смѣлъ дохнуть. «Видно,» думалъ онъ: «и ему приходится жутко, когда онъ, сердечный, этакъ мучается.» Неизвѣстно, долго ли бы про-

должался этотъ припадокъ онѣмѣнія всѣхъ чувствъ и мыслей, если бы не вбѣжала въ кабинетъ нарядно разодѣтая дама, разрумяненная морозомъ и внутреннимъ волненіемъ.

— «Антонъ, ради Бога, Антонъ!» сказала она, подбѣжавъ къ Девіеру и не замѣчая, что онъ не одинъ: «растолкуй, что̀ это значитъ? Ты долженъ знать, ты отъ меня не отдѣлаешься... Что̀ все это значитъ?..»

Девіеръ будто проснулся; будто тяжкій сонъ медленно расходился передъ глазами его мрачными тѣнями. Посмотрѣлъ онъ на нея и будто не узналъ жены своей... — «А?» сказалъ онъ такъ странно, какъ-будто откликался глухой на непонятный вопросъ.

— «Что̀ это случилось съ братомъ?» опять спросила дама.

— «Что̀ случилось!.. Ты кто?» спросилъ Девіеръ, обращаясь къ Степанычу. Тотъ назвалъ себя.

— «Повремени, сударь, въ пріемной!.. Что̀ случилось съ твоимъ братомъ? Охъ, жена! Что̀ можетъ съ нимъ случиться?.. Отцевское наказаніе — и концы въ воду... Но стыдъ великъ тѣмъ, что всѣ его дѣла станутъ публичны; завтра въ сенатѣ будетъ Государь и назначитъ коммиссію. Вспомни, жена, что это уже второе слѣдствіе надъ твоимъ свѣтлѣйшимъ братомъ, будто надъ какимъ простымъ человѣкомъ. Думаешь, у Государя не болитъ сердце?.. Богъ князю судья! А плохо кончитъ. Терпѣнію есть предѣлы.»

— «Что̀ слѣдствіе? Государь Александровыхъ заслугъ не забудетъ; Государыня не оставитъ ..»

— «Говорю тебѣ: терпѣнію есть предѣлы. Посмотри сама: то̀ ли стало время? Та ли къ нему милость царская! Бывало пишетъ къ Его Величеству: Господинъ капитанъ, доношу вашей милости, а подписывался запросто: Александръ Меншиковъ. Бывало, нужно̀ что̀, для себя ли, или для другихъ, бѣжитъ къ Государю безъ доклада. Бывало... Да что̀, мало ли что̀ бывало, а нынче къ Алексѣю Васильевичу на домъ инкогнито ѣздитъ; кланяется; Макарова своимъ милостивцемъ и благодѣтелемъ называетъ, и проситъ, чтобы Царю, и то подъ добрый часъ, про его нужду доложилъ. Частенько о дѣлахъ своихъ меня проситъ. Меня! Подумай, жена, каково должно быть нынче князю Меня! Ты моя, счастіе мое, солнышко, ты моя, но вспомни, чего ты мнѣ стоила...»

— «Вотъ ужъ велика важность, что Данилычъ съ горяча съ тобою непристойно обошелся...»

— «Непристойно! Опомнись, жена! Неужели братъ тебѣ ближе чѣмъ я! Обсѣкъ какъ мальчишку! Дамъ я тебѣ, приговаривалъ, носъ въ-гору задирать. Приставъ этакой въ родство ко мнѣ лѣзетъ; какъ у тебя языкъ на сватовство повернулся!.. И я долженъ былъ молчать, мириться, цѣловаться съ моимъ обидчикомъ. Я не могъ не обнять его: миротворцемъ былъ мой Государь, а плодомъ мира — твоя рука... Перестань, жена, жалѣю, что мужъ твой не можетъ мстить твоему брату. Повѣрь, не объ немъ грущу. О, нѣтъ! Но

мнѣ жаль Государя, моего отца и благодѣтеля. Мнѣ жаль этого величайшаго изъ земныхъ царей! Раны по сынѣ не зажили; думаешь, что это наружное спокойствіе духа, не личина?.. Что сердце отцевское неприскорбно?.. И что же, въ то самое время, ближніе Его люди, грабятъ Его подданныхъ, обогащаются втайнѣ Его достояніемъ; приписываютъ къ своимъ деревнямъ бѣглыхъ; примежевываютъ къ своимъ вотчинамъ наслѣдіе бѣдныхъ дворянъ... И это люди, выточенные изъ бреннаго дерева рукою Петра? Каково же сердцу царскому, подумай!—Умеръ бы я, положилъ бы животъ свой на колесѣ, завтра же, лишь бы снять съ Его сердца такое неокупное горе. Вотъ что крушитъ меня, жена! Я Государя чаще васъ всѣхъ вижу. — Ты была у брата?»

— «Была.»

— «Зачѣмъ ты ѣздишь къ нему, когда знаешь, что дѣло идетъ плохо? Про Государя не говорю, но другіе обвинятъ меня въ потворствѣ. А я князю льстецомъ не былъ и не буду. Ну, что же онъ?..»

— «Я его не видала. Онъ сидитъ запершись съ Соловьевымъ. Пишутъ оправданіе.»

— «Напрасно трудится. И безъ него оправдаютъ... Накажутъ другихъ, да и теперь, чай, казнятъ дьяка Лосева. А онъ между пальцевъ проскочитъ, до четвертаго раза! Не попадайся, Александръ Данилычъ! Терпѣнію есть предѣлы. Ну, душа моя, положись на милость Божію! Что же онъ? Чай, струсилъ?»

— «Говорю, не видала. Княгиня Дарья Михайловна поѣхала къ Государынѣ. Дѣти плачутъ. Весь княжій дворъ повѣсилъ голову.»

— «Ну, ступай-себѣ, жена! Все это одно пристрастіе... Бѣды больной не будетъ. Одному только вчужѣ мука.... Болитъ одно только отцевское сердце... Я Государя чаще васъ всѣхъ вижу. Не показываетъ, да оттого не легче... Ну, съ Богомъ! Дѣла пропасть...»

— «Антонъ, если можешь, помоги брату...»

— «Объ этомъ просить не надо. Прощай! Эй, сударь, пожалуй сюда!..»

Степанычъ вошелъ; вслѣдъ за нимъ въ кабинетъ безъ доклада вошелъ какой-то генералъ, среднихъ лѣтъ, отмѣнно пріятной наружности.

— «Здравствуй, Антонъ Мануйловичъ!» сказалъ генералъ. «Я на одинъ моментъ, прямо отъ Государя. Взыскалъ Онъ меня великою честью, но я боюсь...»

— «Чего, Петръ Михайловичъ? Тебѣ ли бояться, когда царево довѣріе къ тебѣ растетъ, не умаляется? А ужъ ты, да братъ твой князь Михайла Михайловичъ, Голицынскаго рода не уроните. Ну, чего же боишься ты?..»

— «Именно того и боюсь, чтобы при такомъ важномъ актѣ, какой на меня возлагается, не погрѣшить противъ юстиціи и не огорчить Государя. Я назначенъ презусомъ военнаго суда въ слѣдственной канцеляріи.»

— «Знаю.»

— «Такъ вотъ видишь, Антонъ Мануйловичъ,

князь Ижерскій и генералъ-адмиралъ должны быть арестованы по артикулу.»

— «Нельзя.»

— «Я иначе и суда не начну.»

— «Спроси у Государя самъ, а я исполнить твоей воли не могу и докладывать не стану. А съ тобою аккордую. Судъ такъ судъ, забава такъ забава. Вотъ завтра Государь у васъ будетъ, такъ и спроси...»

— «Будетъ?»

— «Неотмѣнно.»

— «Ну, такъ прощай!»

— «Ну, сударь, про тебя мнѣ писалъ Степанъ Яковлевичъ! Да еще не одинъ разъ. Ты тамъ на Москвѣ и нашею полицейскою частію занимался, и не безуспѣшно. Много я смѣялся надъ твоими проказами; только въ Петербургѣ, пожалуй, такъ не шали, а если придетъ охота, такъ у меня спросись. Я радъ тебѣ во всемъ помогать, потому что у тебя добрыя склонности... Я тебя и удержалъ для того, чтобы тебѣ сказать...»

Раздались въ пріемной шаги и кашель... Девіеръ не успѣлъ и встать съ мѣста, какъ въ комнату вошли великій канцлеръ графъ Головкинъ и подканцлеръ Шафировъ.

— «Чему обязанъ я такою великою честію?» спросилъ Девіеръ, спѣша на встрѣчу неожиданнымъ гостямъ и рукою подавая Степанычу знакъ уйти по лѣсенкѣ на верхъ.

— «Эхъ, Антонъ, ты теперь старше насъ съ

Петромъ. Мы только печальные соглядатаи дѣлъ, а ты акторъ. Отъ тебя только и можно узнать...»

— «Ваше сіятельство! не извольте ошибаться! Я вамъ напрямки доношу, что ничего не знаю...»

— «Послушай, Антонъ, сынъ мой женатъ на княжнѣ Гагариной, а дочка Петра замужемъ за его сыномъ: такъ мы не политику имѣемъ цѣлію, а судьбу тестя дѣтей нашихъ. Зачѣмъ его зовутъ къ тебѣ?..»

— «Это не секретъ и вашему сіятельству столько же хорошо извѣстно, какъ и мнѣ. Не безъ злыхъ людей на свѣтѣ. Доносы, слухи, клеветы... А! извините, ваше сіятельство! Это денщикъ Государевъ, ѣдетъ въ отпускъ. Надо ему выдать видъ. Пожалуй сюда!..»

Вошелъ денщикъ.

— «Вотъ тебѣ тутъ всякія нужныя бумаги. Можешь ѣхать. Ступай!..»

И Девіеръ, будто провожая денщика изъ комнаты, сказалъ ему тихо: «Распечатай въ Новгородѣ, а малый пакетъ въ Тобольскѣ.»

Какъ ни тихо говорилъ Девіеръ и почти въ другой комнатѣ, но Шафировъ подслушалъ.

— «Антонъ Мануиловичъ изволитъ у насъ изъ политики экзаменъ держать... Денщикъ-то ѣдетъ въ Сибирь...»

— «Да зачѣмъ ему ѣхать въ Сибирь? Туда уже посланъ довѣренный полковникъ, про котораго всѣ знаютъ, а наче свойственники князя Матвѣя Петровича. А князь Матвѣй плохо дѣлаетъ, что ко мнѣ не ѣдетъ. Государю это не понравится.»

— «Не знаю, на немъ могутъ быть основаны всѣ эти доносы...»

— «На зависти, я думаю...» отвѣчалъ Девіеръ съ притворнымъ простодушіемъ. «Не полюбилось, что у княжьихъ каретъ колеса серебромъ окованы; у княжьихъ лошадей копыта золотыя; въ московскомъ домѣ на Тверской стѣны изъ зеркалъ, а по стеклянному потолку рыбки плаваютъ. Говорятъ: губернаторъ сибирскій — такъ видно тамъ золотое дно; онъ и трудится. Вздоръ; вздоромъ и кончится...»

— «Да къ себѣ-то зачѣмъ зовешь?»

— «Завтра коммиссія откроется, такъ надо же князю, хотя для вида, явиться... Не хотѣлось бы мнѣ самому за нимъ съ командой заѣзжать... А если вотъ черезъ пять минутъ еще не пріѣдетъ, такъ я къ нему поѣду.»

— «Не трудись, Антонъ, мы его къ тебѣ пошлемъ...»

Девіеръ до крыльца проводилъ опечаленныхъ сановниковъ и, забывъ о Степанычѣ, который больше ему на глаза не попадался, сѣлъ за столъ и началъ писать. А Степанычъ?

Взойдя на лѣсенку, онъ поспѣшно отворилъ двери и нашелъ, къ удивленію, двухъ дамъ, которыя, по его заключенію, вѣроятно, подслушивали что̀ дѣлается въ кабинетѣ... Онѣ не успѣли убѣжать, потому что Степанычъ самъ слишкомъ скоро бѣжалъ отъ дипломатовъ. Очутясь лицемъ къ лицу съ дамами, Степанычъ не меньше ихъ смутился. — «Запри двери!» сказала жена Девіера ше-

потомъ. Степанычъ заперъ... А дамы отошли въ другой покой. Но скоро вернулись и спросили тихо: — «Зачѣмъ сюда пожаловалъ?..» Также тихо Степанычъ отвѣчалъ имъ: «Указано...» и показалъ на двери.

— «Да ты кто?»

— «Солдатъ.»

— «Изъ дворянъ?»

— «Изъ дворянъ.»

— «Зачѣмъ ты здѣсь?»

— «Изъ Москвы пріѣхалъ и явился по указу.»

— «Врешь.»

— «Нѣтъ.»

— «Ты, видно, поѣдешь кого арестовать.»

— «Какъ генералъ укажетъ.»

— «Нѣтъ, Вѣрочка,» сказала Девіе́рша: «у этихъ звѣрей ничего не узнаешь.»

— «Изволите напраслину взводить на меня, милостивая госпожа! Во-первыхъ, я не звѣрь; во-вторыхъ, и узнать отъ меня нечего, потому что я самъ ничего не знаю. Сегодня лишь пріѣхалъ въ столицу, ничего еще не ѣлъ, прямо пошелъ сюда, да и попался въ такую оказію, что я, чай, не раньше вечера выскочу.»

— «О, да ты долженъ быть плутъ первой руки, когда такъ гладко лжешь и не краснѣешь!»

— «Чѣмъ же вамъ доказать, милостивая госпожа? Наводить справокъ вы не станете, а мнѣ очень непріятно, что такая высокая и важная дама такъ дурно обо мнѣ мыслить изволитъ. Позвольте вамъ еще разъ доложить, что я, Иванъ,

Степановъ сынъ, Костыльковъ, пріѣхалъ сегодня на службу, и очень жаль, что сегодня. Антону Мануйловичу съ такой пѣшкой и говорить некогда, а мнѣ смертъ ѣсть хочется.»

Дамы расхохотались.

— «Такъ не хочешь ли мы тебя накормимъ?»

— «Вѣкъ не забуду милости вашей. Чарка водки да ломоть хлѣба совершенно бы меня удовлетворили.»

— «Вѣрочка, сбѣгай!..»

— «Чѣмъ же я вамъ за это отблагодарю?»

— «Тѣмъ, что скажешь, зачѣмъ ты къ мужу позванъ.»

— «Ахъ, Господи, если бы ужъ я смѣлъ быть столь кураженъ, то у васъ бы спросилъ: что это у васъ тутъ въ Петербургѣ за такое дѣлается? Всѣ въ попыхахъ... Всѣ хлопочутъ...»

— «Э, братъ! Ну, вотъ тебѣ и водка и пирогъ. Кушай на здоровье!»

— «А вы никому не разскажете?»

Дамы опять разсмѣялись. Степанычъ тотчасъ смѣкнулъ, что шутка лучшій помощникъ въ затруднительномъ разговорѣ съ дамами... Выпивъ водку и взявъ въ руки пирогъ, Степанычъ сказалъ:

— «Теперь еще одна просьба.»

— «Говори...»

— «Отойдите подальше и не смотрите на меня, а то мнѣ будетъ ѣсть конфузно, когда прекрасный полъ въ глаза смотритъ.»

— «Да мы хотимъ толковать съ тобою.»

— «А я хочу ѣсть... Такъ мы вотъ какъ сдѣлаемъ: вы отвернитесь и я отвернусь: исправлюсь въ одну минуту; вѣдь это же не цѣлая кулебяка; проглочу и давайте толковать.»

Дамы приняли предложеніе.

— «Вотъ я и готовъ. Рекомендую себя вашей протекціи.»

— «Ну, что́ же, понравился тебѣ Петербургъ?»

— «Еще бы не понравился, когда красота и всякая грація до того снисходятъ къ человѣческому бѣдствію, что голоднаго незнакомца водкой и пирогомъ подчуютъ... Не можетъ не нравиться.. Только вотъ эти суды, да... Вотъ это маленько куражъ у нрава отъимаетъ... Я себѣ-ѣхалъ въ колымагѣ, компоновалъ разные планы. Святки на дворѣ. Супоную: тутъ ассамблея, тамъ штучный огонь, тамъ банкетъ — а тутъ вотъ тебѣ и комидія о царѣ Навуходоносорѣ. Что́ запираться! Ощутилъ я нѣкій страхъ. Что́-то дальше будетъ...»

— «Э, до святокъ все перемелется и я тебя сегодня же зову на мою ассамблею. Она будетъ на четвертый день праздника. Вѣрочка, вотъ тебѣ и кавалеръ на первый менюэтъ...»

— «Что́ такое? Менюэтъ...»

— «Это такой танецъ.»

— «Покорнѣйше благодарю за честь! Я плясать не умѣю, но это не бѣда; если я артикульную мудрость пріобрѣлъ въ двѣ недѣли, то этакимъ пустякамъ выучусь въ два дня; я же не косолапый. А кто у васъ будетъ на ассамблеи?»

— «Кто? Всѣ...»

— «Какъ, цѣлый Петербургъ?»

— «Что ты это? Конечно, цѣлый, если Петербургомъ называть всѣхъ сановниковъ съ женами и дѣтьми; а окромя знатныхъ персонъ, изъ молодыхъ дворянъ всегда бываетъ штукъ десять, двадцать для танцевъ...»

— «А тетушка у васъ будетъ?»

— «У меня нѣтъ тетки. Про какую тетку ты говоришь?»

Степанычъ покраснѣлъ и увидѣлъ, что шутливость завела его въ дурное положеніе. Онъ не зналъ какъ выпутаться. Но обыкновенная изобрѣтательность его поспѣшила къ нему на помощь.

— «Это я, милостивая госпожа, съ позволенія сказать, проврался. Честь, которую оказать мнѣ изволили, до того вскружила мнѣ голову, что я вообразилъ будто я у сосѣдей по деревнямъ; такъ и про тетушку вспомнилъ. Зѣло люблю тетушку.»

— «А нѣтъ ли у нея хорошенькой племянницы?»

— «Есть, къ несчастію.»

— «Отчего же къ несчастію?»

— «Ну, ужъ этого, хоть зарѣжьте, не скажу.»

Колокольчикъ въ кабинетѣ прекратилъ бесѣду. Дамы отошли къ дверямъ другой комнаты, а Степанычъ къ кабинетному выходу... Опять раздался колокольчикъ.

«Это, видно, онъ меня кличетъ...» подумалъ Степанычъ, и вышелъ на лѣстницу.

— «Ба! ты здѣсь еще!.. Извини, сударь, совсѣмъ забылъ.»

— «Не извольте печалиться; мнѣ скучно не было; супруга ваша изволила меня усмотрѣть и удостоила дискурсомъ.»

— «И хорошо сдѣлала. Да что же это я звоню, не дозвонюсь!»

— «Позвольте я схожу, позову, кого указать изволите.»

— «Сдѣлай дружбу, кликни, кто первый попадется.»

— «Да не могу ли я исполнить вашей коммиссіи?»

— «А что́ ты думаешь! И, можетъ быть, лучше нежели всѣ мои адъютанты. Вотъ что́, любезный: садись въ мои сани; они у крыльца; поѣзжай въ адмиралтейскую фортецію и отдай это письмо коменданту. Онъ дастъ тебѣ команду: тогда поѣзжай къ князю Матвѣю Петровичу Гагарину, именемъ Государя арештуй, отвези въ адмиралтейскую же крѣпость и сдай на руки тому же комеданту. Когда все это исполнишь, пріѣзжай ко мнѣ и рапортуй.»

«Вотъ тебѣ и коммиссія!» подумалъ Степанычъ; но уклоняться отъ порученія было бы и поздно и неблагоразумно. Степанычъ взялъ письмо и поѣхалъ. Въ адмиралтейской крѣпости, гдѣ нынѣ зданіе адмиралтейства, отпустили его безъ замедленія; онъ поспѣшилъ съ своею конною командою къ князю, котораго квартиру знали всѣ, кромѣ Степаныча. Князя нашелъ онъ въ постели, окруженнаго немалымъ числомъ незнакомыхъ лицъ обоего пола. Старики, грустные, печалные, уго-

варивали князя, утѣшали. Молодые плакали навзрыдъ; изъ послѣднихъ одинъ только не могъ плакать, хотя и старался къ тому себя принудить. Лучше не скажемъ, кто былъ этотъ нечувствительный несчастливецъ, чтобы не поразить вашей чувствительности, читатель! Степанычъ, глядя на эту картину скорби и плача, самъ растрогался до того, что хотѣлъ убѣжать. Но въ эту минуту князь рѣшился; всталъ съ постели, на которой онъ лежалъ совершенно одѣтый, и сказалъ:

— «Молодой человѣкъ! Исполняй свой долгъ! Иду. Я слишкомъ, кажется, уповаю на свою невинность...»

— «На Бога! На Бога, батюшка!» съ плачемъ произнесла молодая женщина очаровательной наружности... Но князь шелъ за Степанычемъ молча и выдергивалъ руки отъ неотвязной родни.

— «Полно прощаться!» сказалъ онъ голосомъ, который уже измѣнялъ наружной твердости. «Что вы, хотите меня уморить прежде смерти?... До свиданія!»

Князь спокойно сѣлъ въ сани и поѣхалъ.

— «Это Девіеровы лошади?» спросилъ онъ дорогой.

— «Его превосходительства...» отвѣчалъ Степанычъ.

— «Кланяйся его превосходительству и благодари!» сказалъ князь съ гордымъ видомъ и съ улыбкой презрѣнія, когда выходилъ изъ саней. Только всего и выговорилъ онъ во всю дорогу.

— «Исполнилъ по указу...» сказалъ Степанычъ Девіеру, опять въ томъ же кабинетѣ.

— «Спасибо! Теперь ступай-себѣ куда хочешь. Мнѣ не до тебя!»

— «Счастливо оставаться.»

— «Да не забудь, завтра зайти въ военную коллегію и пріѣздъ свой тамо записать, а ко мнѣ приходи послѣ завтра, часу въ пятомъ утра.»

— «Слушаю-съ!»

— «Ну, попался же я! Вѣкъ не забуду!» Такъ началъ разсказъ свой Степанычъ, когда вернулся къ Жатому. Скоро и смерклось; Степанычъ послѣ дорóги уснулъ сладко. Множество впечатлѣній утомило не только память, но и сердце. Онъ не успѣлъ и вспомнить про Оленьку... Но за то на другой день съ мыслію объ Оленькѣ проснулся онъ; съ мыслью объ Оленькѣ всталъ; съ мыслью объ Оленькѣ одѣвался, и съ тою же мыслью вышелъ на улицу. Было больно рано. Чуть-чуть свѣтало, а народъ толпами валилъ по Дворянской Улицѣ къ коллегіальной площади. Степанычъ послѣдовалъ за народомъ; дошелъ до юстицъ-коллегіи, противъ которой возвышался эшафотъ, но увидавъ куда текли волны народныя, къ чему стремило ихъ любопытство, Степанычъ вздрогнулъ, и не смотря на нравы вѣка, не пошелъ умножить собою число зрителей, и вернулся. Обойдя всю Дворянскую Улицу, и набережную, онъ пришелъ къ Троицкому Собору и одинъ одинехонекъ предался молитвѣ. Не думайте, что это онъ сдѣлалъ по собственной охотѣ. Нѣтъ, я

увелъ его съ лобнаго мѣста, потому что мы съ читателемъ глядимъ на все очами нашего времени: куда намъ пріучать глаза наши, чтобы они смотрѣли на событія за полтораста лѣтъ съ той точки зрѣнія, съ какой на нихъ глядѣли современники! Къ этому никогда не принудишь родъ людской; всегда онъ будетъ разсуждать по сегодняшнему. Поэтому и всѣ исторіи, не исключая и моей настоящей, похожи на сказки. — Очень естественно, что Степанычъ не могъ разсуждать по нашему, за то по своему: онъ молился за преступниковъ, чтобы хотя на томъ свѣтѣ имъ было полегче, потому что онъ былъ увѣренъ, что преступленія земныя наказываются, но не очищаются земною казнію; что тутъ въ отвѣтѣ одно тѣло, а съ душей разсчетъ впереди. Вышелъ онъ изъ церкви и увидѣлъ, что народъ уже расходился, и толковалъ о послѣднемъ зрѣлищѣ. Желая заглушить смятенныя чувства, Степанычъ рѣшился пойти въ военную коллегію и записать, какъ слѣдуетъ, пріѣздъ свой. Но мазанки, въ которыхъ коллегія помѣщалась, были запертыя. Сторожъ объявилъ, что сегодня присутствія не будетъ, а почему, не вѣдаетъ. Степанычъ отправился ко дворцу, но тутъ все его вниманіе поглотилъ съѣздъ къ большому строенію, въ которомъ помѣщалась аудіенцъ-камора. Девіеръ съ толпою полицейскихъ чиновниковъ уже былъ на крыльцѣ. Степанычъ, замѣтя между зрителями Жатаго, пробрался къ нему и оба помѣстились такъ близко къ крыльцу, какъ только позволяла полиція. Степа-

нычъ съ величайшимъ любопытствомъ разсматривалъ пріѣзжавшихъ сановниковъ. Первый пріѣхалъ князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ. Онъ вмѣстѣ съ Апраксинымъ, Меншиковымъ и Гагаринымъ, преданъ былъ суду, но на лицѣ его сіяло спокойствіе. Онъ взошелъ на крыльце съ достоинствомъ, пожалъ Девіеру дружески руку и пошелъ въ палату. За нимъ начали съѣзжаться сенаторы, государственные чины и члены слѣдственной канцеляріи. Наконецъ раздалось въ толпѣ: «Государь, Государь!» Шапки слетѣли съ головъ и у крыльца остановились сани въ одну лошадь. Государь вышелъ изъ саней, за нимъ выскочилъ тайный его совѣтникъ и кабинетъ-секретарь Макаровъ, съ пучкомъ бумагъ подъ мышкой. На лицѣ Петра была написана глубокая скорбь; не смотря на то, Онъ ласково кивнулъ головою народу и, сказавъ Макарову: «Алексѣй, пойдемъ!» отправился въ палату. Тамъ уже всѣ сидѣли на своихъ мѣстахъ — и съ трепетомъ ожидали судію грознаго и справедливаго. Государь, занявъ мѣсто, нѣсколько времени смотрѣлъ съ грустью на собраніе и очи всѣхъ опустились долу. «Я не могу вѣрить,» сказалъ Онъ наконецъ своимъ твердымъ, звучнымъ голосомъ: «дабы хотя одинъ былъ между вами такой, кото-«рый бы отъ природнаго свѣта и искуствомъ по-«лученнаго познанія не вѣдалъ, что первыя и са-«мыя главныя отъ Бога надъ государствами и на-«родами поставленныхъ владѣтелей должности суть, «чтобъ они подданныхъ своихъ отъ внѣшнихъ не-«пріятелей защищали; второе, чтобы внутренній

«покой народовъ наблюдали, дабы всякому свое «право безъ проволочки и безъ лицезрѣнія доста- «влялось и злыя какъ высокихъ по роду и по сча- «стію особъ, такъ и послѣдняго состоянія людей «дѣла наказываемы были. Вамъ извѣстно, сколько «я со времени моего царствованія учинилъ по пер- «вому и колико достопамятнѣйшій въ разсужденіи «другаго подалъ вамъ примѣръ употребленія вла- «сти, данныя мнѣ отъ Бога въ томъ, въ чемъ я «находилъ правду и чего безопасность моего на- «рода и благосостояніе моего государства требо- «вало. Я презиралъ всѣ могущія быть въ свѣтѣ «разсужденія относительно до строгости моей въ «наблюденіи правды. Я надѣюсь, что тѣмъ утвер- «дилъ я главное мое дѣло, могущее учинить на- «родъ россійскій сильнымъ и страшнымъ, а земли «мои благополучными. Дѣло, которое мнѣ столько «трудовъ, а подданнымъ моимъ столько имѣнія «стоило, но которое однако въ первыхъ годахъ «по моей смерти пришло бы ни во что, если бы «симъ образомъ того я не отвратилъ. Учиня сіе, «время уже обуздать и продерзость тѣхъ, кото- «рымъ я провинціи моего государства и моихъ «подданныхъ ввѣрилъ и которые власть свою во «зло употребили, подданныхъ моихъ утѣснять и «потомъ и кровію ихъ обогащать себя дерзнули; и «понеже мои подданные въ настоящей нашей пра- «ведной войнѣ принуждены были мнѣ помогать «людьми, лошадьми и провіантомъ: то тѣмъ и за- «служили у меня наисильнѣйшее защищеніе про- «тиву оныхъ кровопійцевъ и сего-то ради учреж-

«даю я сію коммиссію, которая должна наистро-«жайше изслѣдовать поступки тѣхъ, коихъ имена «ей вручены будутъ, и виновнымъ учинить спра-«ведливыя наказанія. Я надѣюсь, что сіе будетъ «средствомъ къ будущему содержанію каждаго въ «предѣлахъ своея должности и въ наблюденіи прав-«ды въ поручаемомъ имъ правленіи.»

Глубокое молчаніе послѣдовало за рѣчью Государя. У многихъ на глазахъ показались слезы. Одинъ только Царь, казалось, сохранялъ невозмутимую твердость; приказалъ сенату и прочимъ чинамъ удалиться; остались только члены слѣдственной канцеляріи. Князь Петръ Михайловичъ, президусъ военнаго суда, открылъ первое засѣданіе краткою рѣчью; прочелъ списокъ обвиняемымъ государственными фискалами и объявилъ, что справедливость требуетъ арестовать не только Гагарина, но и всѣхъ другихъ, не зря на чинъ и лице. Государь не успѣлъ отвѣчать. Въ палату вошелъ Меншиковъ въ простомъ офицерскомъ мундирѣ. Въ одной рукѣ онъ держалъ ордена и шпагу, въ другой бумагу.

— «Ты зачѣмъ пришелъ сюда?» спросилъ гнѣвно Государь.

Меншиковъ упалъ на колѣни.

— «Приношу повинную голову!» сказалъ князь. «Признаю себя недостойнымъ сихъ знаковъ чести; накажи меня какъ усмотришь, но не передавай на волю моимъ злоумышленникамъ. Вотъ моя челобитная...»

— «Подай!»

Государь сталъ читать просьбу и взявъ перо, сказалъ:

— «Э, братъ! И того ты не умѣлъ написать...»

Государь поправлялъ просьбу; члены поглядывали другъ на друга съ изумленіемъ: младшій, чиномъ капитанъ, всталъ съ мѣста и сказавъ товарищамъ: «Пойдемъ!» направилъ путь къ дверямъ.

— «Куда ты идешь?» спросилъ Государь съ гнѣвомъ.

— «Домой!» безтрепетно отвѣчалъ капитанъ. «Что намъ здѣсь дѣлать, когда ты самъ научаешь преступника какъ ему оправдываться?»

Государь весьма довольно улыбнулся и сказалъ:

— «Сядь на свое мѣсто и говори, что ты думаешь.»

— «Не я думаю, ты за насъ думаешь, Государь, а мы только твою мысль исполняемъ. Мысль твоя законъ; пока другаго нѣтъ, первый святъ. По тому закону пусть секретарь прочтетъ челобитную князя вслухъ, мы будемъ слушать, а обвиненный пусть стоитъ у дверей, а когда прослушаемъ, пусть выйдетъ.»

— «Слышишь, Данилычъ, какъ должно поступать?» сказалъ Государь, и отдалъ челобитную секретарю.

Прочитано оправданіе Меншикова и указано ему выйти изъ присутствія. Тогда, начиная съ младшаго, пошли преліминарныя сужденія. Нѣкоторые признавали его достойнымъ вѣчнаго заточенія, другіе — временной ссылки; были и такіе, что осуждали князя на смерть. Презусъ нашелъ всѣ эти

сужденія преждевременными, и отложилъ приговоръ до того, пока подробнымъ слѣдствіемъ каждая статья обвиненій не будетъ положительно доказана актами и фактами: тогда уже самая сущность дѣла покажетъ и мѣру наказанія.

Государь выслушалъ всѣ мнѣнія съ удовольствіемъ, потому что видѣлъ, какими началами руководствуются избранные имъ судьи. Но одобряя побужденія, безсмертный законодатель изрекъ: «Гдѣ дѣло идетъ о жизни или чести человѣка, то правосудіе требуетъ взвѣсить на вѣсахъ безпристрастія какъ преступленія его, такъ и заслуги, оказанныя имъ отечеству и государю, и буде заслуги перевѣсятъ преступленія, въ такомъ случаѣ милость должна хвалиться на судѣ. Я вамъ напомяну заслуги Данилыча, я лучше всѣхъ васъ ихъ помню...» И Государь коротко исчислилъ рядъ подвиговъ свѣтлѣйшаго; упомянулъ, что онъ спасъ и собственную жизнь Государя, и заключилъ: «И такъ, по мнѣнію моему, довольно будетъ, сдѣлавъ ему въ присутствіи за преступленія строгій выговоръ, наказать его денежнымъ штрафомъ, соразмѣрнымъ хищенію; а онъ мнѣ и впредь нуженъ и можетъ еще сугубо заслужить оное.»

— «Мы всѣ, надѣюсь,» сказалъ капитанъ: «согласны теперь съ твоею волей, Государь. Когда онъ имѣлъ счастіе спасти твою жизнь, то, по справедливости и намъ должно сохранить жизнь его. Приступимъ теперь къ слушанію дѣла...»

Государь оставилъ аудіенцъ-камору и уѣхалъ съ Девіеромъ въ адмиралтейство. Степанычъ еще разъ

имѣлъ счастіе видѣть Государя и отправился домой очень довольнымъ. На другой день въ пятомъ часу утра онъ явился къ Девіеру.

— «Ну, благо, что пришелъ! Теперь посвободнѣе...» сказалъ Антонъ Мануиловичъ. «Жена мнѣ разсказала про знакомство съ тобою; ты у меня теперь человѣкъ свой; очень радъ. Но и тобой надо мнѣ заняться поотечески. По городскимъ сказкамъ вижу, что ты остановился у дворянина Жатаго. Что онъ? Добрый малый?»

— «Отмѣнная персона, хотя и молодъ очень...»

— «А ты больно старъ, что ли? Хотя мнѣ Колычевъ объ немъ ничего не пишетъ, но все-таки, по твоей рекомендаціи, приводи его ко мнѣ въ воскресенье кушать, а о святкахъ на ассамблею. Колычевъ зѣло также рекомендуетъ Словцева, только этотъ баричъ у меня еще не бывалъ.»

— «Ваше превосходительство извинить ему благоизвольте: порядковъ не знаетъ.»

— «Я такъ и подумалъ, и уже за нимъ послалъ.»

— «Боже ты великій, что вы сдѣлали! Въ такія критическія времена Богъ знаетъ что подумаютъ его домашніе... перепугаются.»

— «Не самому же мнѣ къ нему ѣхать!

— «Такъ позвольте я сбѣгаю и объясню...»

— «Не трудись! Чай, сейчасъ привезутъ. Вотъ, кажется, и онъ. Кто тамъ?»

— «Дворянинъ Словцевъ.»

— «Такъ и есть. Милости просимъ!»

Забилось у бѣднаго Степаныча сердце. Онъ не

смѣлъ взглянуть на Бориса Петровича, боясь встрѣтить равнодушный пріемъ. Если они могли, послѣ такихъ трудовъ, не удостоить его и простымъ спасибо, то чего оставалось ему ожидать отъ вельможнаго знакомца въ Петербургѣ, гдѣ онъ съ перваго раза попалъ въ кругъ знати и богачей? Хотя Степанычъ уже полгода почти сидѣлъ въ костыльковской кожѣ, но онъ не могъ помнить, что у него до пяти сотъ дворовъ и что по богатству едва ли онъ уступалъ Словцеву.

— «Непріятно мнѣ, любезный,» сказалъ Девіеръ: «что ваша милость указныхъ порядковъ не соблюдаетъ. Буде бы тебя не аттестовалъ такъ изрядно Колычевъ, не обошлось бы безъ приличнаго напоминовенія. Ну, Богъ съ тобой! Здравствуй! Я позвалъ васъ потому, что вы должны быть мнѣ въ Петербургѣ дѣти, какъ были Колычеву на Москвѣ. Ну, такъ садитесь, пока еще не разсвѣло и чужихъ нѣтъ. Садитесь, говорю вамъ!.. Должно мнѣ васъ наставить, какъ у насъ жить, что дѣлать и какъ себя вести. Вы тутъ, почитай, до весны пробудете, понеже съ Шведами трактація идетъ, а за зимнимъ временемъ войну погасили. Первое: прошу ходить въ церковь; на литургіи стоять благочинно, не разговаривать. Не велика важность, что не выпуская изъ церкви велю взять съ васъ по рублю штрафа за каждое слово, но важенъ стыдъ. Не худо и къ Александру Невскому на поклонъ съѣздить. Второе: тутъ въ разныхъ мѣстахъ завелись зернь и карты; за важными дѣлами мошенниковъ сихъ изловить не успѣлъ; но

примусь за нихъ сегодня же. Они больше всего подъ благовидными претекстами на пріѣзжее шляхетство нападаютъ и больно грабятъ; дѣло сіе искоренить въ день, въ два нельзя, понеже тутъ запутаны иноземцы. Такъ глядите: ото всякихъ подозрительныхъ знакомствъ и отъ вольныхъ домовъ всячески удаляйтесь, понеже юность легко красотою и виномъ въ разумѣ омрачается. Третіе: завелись тутъ попы латинскіе, іезуиты; тоже ихъ компанства остерегайтесь... Тѣмъ опаснѣе всякіе соблазны, что безъ службы отъ скуки захотите повеселиться или въ австеріяхъ погулять, тѣмъ наче, что и святки на дворѣ. Теперь долженъ я у васъ спросить: сколько за кѣмъ изъ васъ числится дворовъ?»

— «За мною — семь сотень; а за Иваномъ Степанычемъ не знаю...»

— «Такъ вы знакомы?»

— «Какъ же! Я его милости многими услугами обязанъ въ пути нашемъ сюда; искалъ его вездѣ, не могъ найти, но, благо, случай мнѣ сіе пріятство доставляетъ...»

— «Признаюсь, господа, большую вы мнѣ консоляцію доставляете своимъ разговоромъ. Желаю вамъ всякаго во всемъ успѣха и если будете такъ продолжать, я вамъ всегдашній протекторъ. Ну, такъ сколько же дворовъ за тобой?...»

— «Пять сотъ...» робко и покраснѣвъ отвѣчалъ Костыльковъ.

— «Ну, такъ Жатый богаче васъ всѣхъ. Послушайте же. По указу государеву вамъ нельзя

строиться ни на городскомъ острову, ни на адмиралтейскомъ. Извольте будовать каменные дома на Васильевскомъ. Но смотрите, чтобы понапрасно въ убытокъ не войти, и не подпасть подъ гнѣвъ Государя; довольно Ему съ этимъ островомъ и такъ огорченія. Дѣло испорчено. Я говорилъ князю, а онъ себѣ-на-умѣ. Видно, весь островъ захватить пожелалъ. Надо ему было быть подобно Веницейскому городу или Амстердаму: и въ длину и поперегъ каналы; по каналамъ строеніе. Дома построили, а каналы такіе узкіе прокопали, что ялику веслами махать негдѣ. Теперь архитектъ Гербель другой проектъ изобрѣлъ. Указано быть по тому проекту. По числу дворовъ, должны вы оба строить каменные дома на десяти саженяхъ длины на берегу рѣки—и въ два жилья; печи дѣлать съ фундамента, съ большими трубами, кровли крыть или дерномъ въ два дерна по жердямъ скалою, а не по драни или тесу, а лучше черепицею, и сіе для васъ пристойнѣе. Генерально говоря, все строеніе должно быть не по вашему нимаку, а по архитектурѣ. Для чего отъ моего имени попросите у полковника отъ фортификаціи и главнаго на Васильевскомъ Острову архитекта чертежей и моделевъ. А мѣстовъ надо вамъ просить въ юстицъ-коллегіи; только поскорѣе. Не то голыши лучшія мѣста въ складчину разберутъ. Теперь же можете дешевле искупить матеріалы и запастись всякимъ интрументомъ, съ подрядчиками концерты учинить и написать контракты. Что же принадлежитъ до гаваней надворныхъ и судовъ, какія каждому имѣть

слѣдуетъ, адрессуйтесь къ невскому адмиралу Потемкину. И сіе учинить надо зимою, понеже какъ навигація станетъ, будетъ поздно, и дороже, и еще подъ отвѣтъ попадетесь. Вотъ, видите: хотя службы у васъ пока и нѣтъ, а добрыхъ занятій много. Ну, теперь съ Богомъ! Приходите ко мнѣ въ воскресенье обѣдать... Хозяйка моя тебя, Иванъ Степанычъ, полюбила; пусть она тебя для компанства уформуетъ. Ну, съ Богомъ!..»

Молодые люди вышли.

— «Иванъ Степанычъ, тетушка питаетъ надежду, что ты съ нею отъ знакомства не откажешься...»

— «Борисъ Петровичъ, я чувствую себя недостойнымъ столь большой чести. Къ тому же больно рано: еще темно.»

— «Разумѣется, теперь она спитъ-себѣ покойно; не зайти ли намъ въ юстицъ-коллегію?...»

— «И тамъ, чай, всѣ спятъ. Да, пожалуй, зайдемъ.»

Зашли. Записали въ общей книгѣ свои требованія, узнали гдѣ живетъ Трезинъ, и вышли.

— «Все-еще темно.»

— «Зайдемъ, Борисъ Петровичъ, ко мнѣ: я познакомлю тебя съ товарищемъ моимъ, Евгеніемъ Николаевичемъ Жатымъ.»

— «Очень радъ. Я и въ нашемъ домѣ про ихъ богатый родъ много слышалъ.»

—

— «Ну, дружище, Евгеньюшка, собирайся въ походъ въ воскресенье.»

— «Куда?»

— «Къ Девіеру кушать, а о святкахъ на четвертый день къ нему же на ассамблею... А пока вотъ тебѣ господинъ Словцевъ, о коемъ я докладывалъ.»

Познакомились. Стали совѣтоваться и о домахъ и объ ассамблеѣ. Положили строиться рядышкомъ, а учиться менюэту на дому у Жатаго всѣмъ троимъ вмѣстѣ. Въ пріятныхъ разговорахъ встрѣтили они разсвѣтъ, но еще не хотѣли разстаться. Придумали осмотрѣть мѣста, гдѣ должны возникнуть ихъ будущія обители, и въ нирокихъ саняхъ, запряженныхъ тройкой, пустились на Васильевскій. Начиная отъ того мѣста, гдѣ теперь Румянцевская Площадь, вдоль по всей набережной торчали вехи, кресты и заборы.

— «Все занято!» сказалъ Словцовъ.

— «Пустяки!» отвѣчалъ Жатый. «Почитай и десятая доля не занята; это только такъ, для вида, будто строиться хотятъ. Вотъ мое мѣсто. Хотите вамъ смежныя мѣста сегодня же отдадутъ?»

— «Хотимъ, хотимъ...»

— «Ну, теперь заѣдемъ къ Трезину: чай, старикъ ужъ всталъ.»

Поѣхали. Куда всталъ! У него была уже толпа гостей и за дѣломъ и безъ дѣла. — Самъ полковникъ отъ фортификацій и главный архитекторъ Васильевскаго Острова Трезини, въ шелковомъ сюртукѣ и въ вязаномъ бѣломъ колпакѣ, объяснялъ что-то мастеру съ такими жестами, съ какими говорятъ италіянскія проповѣди. Говоря плохо

по-русски, онъ дополнялъ смыслъ своихъ рѣчей пантомимой. Мужикъ, которому онъ толковалъ, кивалъ только головой и говорилъ по временамъ: Смѣкаю, разумѣю, знаю.... Увидавъ дворянъ, Трезини указалъ имъ на двери гостиной и сказалъ: Intrate! а самъ опять занялся толкованіемъ. Въ гостиной они нашли немало гостей, и смутились весьма естественно. Господа эти изволили разговаривать на иностранномъ языкѣ. Нетрудно было замѣтить, что одинъ какъ-будто бы предсѣдательствовалъ въ этомъ комитетѣ; онъ былъ и одѣтъ чище и наряднѣе, и парикъ у него былъ съ гору, и смотрѣлъ какъ-будто съ горы на своихъ собесѣдниковъ. Этотъ, да еще другой, обратили на себя вниманіе нашихъ дворянъ; другой — своею молодостью, нѣжностью и выразительностью лица. Онъ молчалъ, но улыбка его не разъ приводила въ видимое смущеніе того, что́ смотрѣлъ съ горы.

— «Ну, попались мы...» сказалъ Степанычъ: «жаль, что я у Квинтиліануса не подъучился по латынѣ. А теперь что ты тутъ поймешь, какъ мы съ ними разговоримся?»

— «А вамъ что́ угодно?» спросилъ у нихъ по-русски человѣкъ среднихъ лѣтъ, котораго они и не замѣтили, да если бъ и замѣтили, то, вѣроятно, оставили бы безъ вниманія: такъ платье его было замаслено и даже кое-гдѣ заштопано; такъ лице его было незначительно. Но заслыша русскій языкъ, наши знакомцы обрадовались и окружили неряху.

— «Батюшка, помоги!» сказалъ Степанычъ:

«Насъ прислалъ Девіеръ къ полковнику твоему за чертежами: хотимъ дома построить себѣ на Васильевскомъ.»

— «Какой архитектуры?»

— «А кто ее знаетъ! Какое намъ до этого дѣло! Лишь бы выгодно жить, да для русской хлѣба-соли чтобы простора больше было; вотъ тебѣ и архитектура.»

— «Ну, такъ погодите же; я васъ научу. Скажите, что вы мои старинные знакомые; зовутъ меня Земцовымъ; я тоже архитекторъ; пожалуй, скажите, что такъ и Девіеру угодно; просите, чтобы планы вашимъ домамъ я сдѣлалъ: будетъ прокъ. А то эти Нѣмцы—хотятъ Амстердамъ тутъ построить, а этотъ Амстердамъ такая дрянь противу италіянскихъ городовъ, что смотрѣть не хочется. Вотъ этотъ пѣтухъ, что вы видите: это Французъ, архитектъ Леблондъ; мастеръ своего дѣла, да ужъ за то и умничаетъ, а наши-то Нѣмцы Швертфегеръ, Свитенъ, а пуще Гербель, горячатся, а осадить его не могутъ. А Микетти и Матарнови, видите, что по угламъ сидятъ, одинъ будто спитъ, а другой книжку читаетъ, — подъ носомъ смѣются...»

— «Ну, а этотъ юный птенецъ?...»

— «Это Растрелли; онъ, пожалуй, и архитектъ, пожалуй и малеръ, и скульпторъ; только еще молодъ; такъ-себѣ; мы его мало знаемъ.»

— «Что же они тутъ дѣлаютъ?»

— «Комитетъ: меня будутъ рѣзать. Проектъ италіянскаго дворца критиковать. Не я буду, пе-

репортятъ; была говядина, будетъ рыба вяленая. Вотъ и полковникъ...»

— «А, что ваша хочетъ?» спросилъ Трезини.

— «Хотимъ домá строить на Васильевскомъ,» отвѣчалъ Степанычъ.

— «Какая сорта, перва, друга, мазанкине, конъ-кирпича?...»

— «Кирпичныя. Надо плановъ и чертежей. Да мы вотъ у вашего высокоблагородія, по приказанію его превосходительства господина генералъ-полиціймейстера, пришли просить: наряди намъ на постройку стараго нашего знакомаго Земцова...»

— «А! Земцова!»

— «Да, Земцова, мы, знаешь, съ нимъ лучше можемъ разговаривать.»

— «Si, si, Земцова! Карашо... Скажи эчеленца: Земцова строитъ. Онъ больной maestro.. Довольна будишь... Adio...»

— «Господинъ полковникъ согласенъ.» сказалъ Земцовъ. «Говоритъ убирайтесь, ему некогда, теперь комитетъ, а я послѣ комитета приду къ Милле въ австерію; такъ пріѣзжайте, потолкуемъ...»

Дворяне отъ души посмѣялись дорогою надъ архитектомъ италіянскимъ и пріѣхали всѣ трое къ тетушкѣ Словцева. Княгиня уже была одѣта, уже принимала гостей. Когда Борисъ отрекомендовалъ товарищей, княгиня посмотрѣла на обоихъ искоса и сказала:

— «Молодцы, мошенники, нечего сказать. Эко ты, какъ высоко выросъ? Чай, ты до суфита хватаешь...»

— «О-го!» подумалъ Степанычъ. «На этомъ языкѣ, пожалуй, и я говорить съумѣю.»

— «Отчего ты, дурашка, въ драгуны пошелъ?»

— «Люблю, матушка-княгиня, конскую службу!»

— «А гдѣ же ты обыкъ?»

— «На полеванье, матушка-княгиня.»

— «Чай, зайцевъ гонялъ?»

— «Стану я такой холопской охотой руки марать! Нѣтъ, матушка-княгиня, у меня лисица черная водится; бобровые гоны есть; соболей подчасъ ловятъ...»

— «Что же ты это, Самоѣдъ, что ли?»

— «Есть и тамъ у меня вотчины, на ледяномъ морѣ, да ясакъ плохо платятъ.»

— «Что же ты торчишь, какъ пень? Голова заболитъ глядѣть на этакую колокольню!»

— «Матушка-княгиня! да пристойно ли намъ, молокососамъ, передъ твоимъ сіятельствомъ сидѣть! Санъ и лѣта уважать должно...»

— «Поцѣловала бы я тебя, умницу, въ самое чело, да лѣстницу принести надо.»

— «Ужъ коли такая милость твоего княжескаго сіятельства, такъ я и на колѣни стану.»

— «Ну, вамъ нескучно было дорогой, коли такой дуракъ съ вами ѣхалъ. А гдѣ мой-то дуракъ? И карлицы не вижу...»

— «Мы тутъ, тетка...» отозвалось что-то въ родѣ черепахи: «ты за стуломъ насъ не видишь, а мы съ Егоркой въ куклы играемъ...»

— «Вотъ бы и ты съ ними поигралъ.»

— «Да нѣтъ у меня куколки,» отвѣчалъ Степанычъ.

— «Ты всегда такой шутъ, али по временамъ?»

— «Печальнаго, матушка-княгиня, у каждаго въ волю. Я моею печалью ни съ кѣмъ не хочу дѣлиться; не хочу мою скуку другому на шею навязывать. У меня у самого шутовъ не мало. Тѣшился, а безъ нихъ и грустно. Какъ отстрою хоромы, — и дураковъ своихъ сюда перетащу.»

— «Ну, спасибо, что навѣстилъ меня, старуху. Прощай пока! А соскучусь, пришлю за тобой...»

— «Счастливо оставаться!..»

Степанычъ и Жатый откланялись и уѣхали.

— «Что это она?» сказалъ Степанычъ. «Видно, спѣси объѣлась?»

— «Я ужъ не понимаю, какъ ты перенесъ...»

— «Охъ, Евгеній, я-то понимаю очень хорошо, да не могу съ нею разсчитаться; мѣнаютъ; да Богъ съ нею. Теперь надо подумать кой о чемъ иномъ. Надо письма домой написать, да съ нарочнымъ отправить. Предвижу большіе расходы: домъ-то не дешево обойдется...»

И, возвратясь домой, Степанычъ принялся писать къ Бурунову, къ Костылькову и къ зятю, чтобы немедленно выслали по условію деньги, да сверхъ того малую-толику для постройки. Не успѣлъ онъ дописать писемъ, какъ прибѣжалъ алый лакей и отъ имени княгини просилъ и Степаныча и Жатаго кушать.

— «Я не пойду...» сказалъ Евгеній.

— «Э, пустяки! Скажи, будемъ!..»

И ровно въ полдень они вошли въ ту самую комнату, гдѣ поутру такъ простодушно познакомились.

— «Вотъ, видишь, племянникъ: онъ на меня не разсердился.»

— «А за что́ это, матушка-княгиня, сердиться мнѣ слѣдовало?»

— «Да вотъ, поди, спроси! Говоритъ Боря: ты моего друга обидѣла.—Чѣмъ же я его обидѣла?—Да какъ же, ты его дуракомъ и мошенникомъ угостила.—Э, батюшка, такъ мнѣ уже и съ своими краснаго слова сказать нельзя! Такъ онъ мнѣ хуже чѣмъ чужой будетъ.»

— «Гораздо хуже, матушка-княгиня. Фамильярность такая вашему сану пристойна.»

— «Умница, право, умница!

— «При васъ, сіятельнѣйшая княгиня, и болванъ съ мозгомъ станетъ...»

Такъ отозвался молодой человѣкъ, въ офицерскомъ мундирѣ, довольно красивой наружности. Но, увы, на лицѣ написано было, что красное слово онъ про себя отпустилъ и расхохотался будто ужъ ни вѣсть какъ остроумно изрекъ.

— «Полно, князекъ, меня комплиментовать! Ты, я знаю, что на рѣчи разбойникъ...»

— «А вы, матушка-княгиня, на всякое острое слово, просто, атаманъ... За то вотъ ужъ Ольга Петровна, точно коза: прыгаетъ и смѣется, а ни словечка не скажетъ...»

— «Не обыкла еще столичной поведенціи. Тутъ, въ этой нѣмечинѣ, надо дѣвкѣ большой куражъ имѣть, чтобы дурой не прослыть.»

— «Ольга Петровна,» спросилъ Степанычъ не безъ смущенія: «это про васъ, что ли, говорятъ?»

— «Про меня!»

— «Ура!» закричалъ князекъ: «вотъ и мы проговорили. Добыли-таки изъ вашего горлышка голоса...»

— «Что ты, князекъ, врешь! Пойдемъ лучше къ столу. Подавай, драгунишка, мнѣ руку, а ты, князекъ, Оленькѣ, ну, и пойдемъ. Хотѣла ко мнѣ быть сегодня Девіершa съ компаньонкой, да ужъ часъ прошелъ: видно не будетъ. Ну-ка, Полканъ-великанъ, пойдемъ...»

За столомъ неотвязный князекъ болталъ безъ умолка, не смотря на то, что княгиня не разъ напоминала ему, что онъ вретъ непристойности. Степанычъ онѣмѣлъ, Оленька тоже; изрѣдка только поглядывали они другъ на друга и каждый разъ краснѣли, вздыхали, хотя и блаженствовали. Это было первое объясненіе въ любви. Послѣ обѣда встали и пошли сидѣть въ цвѣточную. Князь помялся, покривлялся немного и уѣхалъ.

— «Богатъ,» сказала княгиня: «а послѣ тетки княгини Анны Никитишны еще будетъ богаче. Нельзя сказать, чтобы онъ глупъ былъ: природнаго ума довольно; да разбаловался въ казармахъ; оттого иной разъ такъ у него и рѣчь неладно выходитъ... А богатъ! Вотъ женихъ. Почитай первый. Ужъ за то кто его къ себѣ залучитъ въ семью

не хочетъ! Отъ невѣстъ отбою нѣтъ; такъ его за носъ и ловятъ...»

— «Ужъ, чай, не онъ, а невѣста у него съ носомъ будетъ...» замѣтилъ Степанычъ. «Признаюсь, никакого деликатства...»

— «Тетушка!» перебилъ Борисъ: «а намъ сегодня мѣста отвели подъ дома.»

— «А ты и взялъ?..»

— «А какъ же?»

— «Чушка ты этакой, право! Прежде надо невѣсту сыскать, а ужъ потомъ съ невѣстой уладиться, какъ дому быть. Ну, да и то сказать, пойдутъ теперь ассамблеи, что̀ день, до самой масляной, такъ я тебѣ всѣхъ невѣстъ, а Оленькѣ всѣхъ женихов укажу. Принесла я вамъ на каждаго по дюжинѣ. Выбирайте!»

Оленька затрепетала, а Степанычъ, который спрятался за широкими листьями старыхъ акубъ, чуть не задохся отъ этой новости; но все-таки замѣтилъ движеніе Оленьки. Да и какъ не замѣтить, когда она сидѣла тотчасъ за деревьями; онъ могъ бы подслушать, какъ забилось ея сердце, если бы старуха не болтала.

— «Невѣсты у меня хороши, да все не то, что̀ женихи: на подборъ, и родомъ, и дородствомъ, и вотчинами. Есть изъ чего выбрать! Ну, теперь ступайте себѣ, убирайтесь: дремота одолѣваетъ. Оля! а пока я спать буду, ты у меня посиди. Мнѣ одной скучно...»

Старуха зажмурилась. Молодые люди стали выходить на цыпочкахъ. Степанычъ послѣдній. Онъ

оглянулся. Полный слезъ и любви взоръ Оленьки провожалъ его... Какого же лучше вамъ объясненія?

—

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

АССАМБЛЕЯ.

— «Ну, вотъ я принесъ. Такъ, кое-что набросалъ карандашикомъ!» сказалъ Земцовъ, входя съ обычною поспѣшностью въ покой, гдѣ наши молодые тріумвиры покойно отдыхали въ кожаныхъ креслахъ, а Степанычъ курилъ трубку, къ которой уже привыкъ изъ любви къ неблагодарной Грунѣ: «Малина, не домики, и вотъ что̀ хорошо, что̀ всѣ три дома чинятъ ансамбль; изъ трехъ выйдетъ ландшафтъ, будто большой дворецъ какой, а не тутъ-то было. Три дома, съ тремя дворами, съ тремя гафами и службы у каждаго свои. Che bella architettura! А?.. Послушайте, кто изъ васъ хозяинъ?»

— «Я,» сказалъ Жатый.

— «Такъ прикажи подать водочки. Съ горя дерну.»

— «А какое же у тебя горе?»

— «Да раскритиковали въ пухъ! Говорятъ, никуда не годится! Одинъ толкуетъ: для Петербурга больно нарядно, а другой бѣдно; тотъ: слишкомъ по-итальянски, а этотъ голандщина! Ободрали у меня всѣ орнаменты; нагишомъ безъ службъ, безъ крыльевъ пустили *). Я плюнулъ и пошелъ

*) Дворецъ построенъ и нынѣ находится въ Лѣтнемъ Саду; но проектъ Земцова значительно былъ измѣненъ должностными архитекторами.

вамъ домъ строить. Поглядите! А все-таки водочки не несутъ...»

— «Несутъ! Не бойся, землякъ! Ну, и никто за тебя не вступился?..»

— «Нѣтъ, полковникъ имъ сказалъ учтиво, что «Земцова карашо» а тотъ-то, графчикъ, тотъ не утерпѣлъ, отпустилъ имъ словцо; чай не сварятъ. Говоритъ: конечно, для Питера это будетъ черезъчуръ нарядно, потому что кругомъ мы всѣ весьма неавантажно строимъ. Леблондъ нахохлился; тѣ тоже на дыбы, а графъ поклонился и ушелъ. А знаете, онъ скульпторъ какой важный! Я и не вѣдалъ. По дорогѣ къ вамъ, заходилъ я его благодарить за комплиментъ; гляжу: Государь на пьедесталѣ стоитъ; больно похожъ; а другая статуя его величества—конная, тоже хороша. Стоячая будетъ на Васильевскомъ противъ каменныхъ коллегій *), а другая на лугу **). Мастеръ! За его здоровье! Ну, такъ поглядите же на свои дома.»

Тріумвиры съ удовольствіемъ разсматривали небольшой рисунокъ и восхищались общимъ видомъ зданія, искусно слѣпленнаго изъ трехъ домовъ. Земцовъ объяснялъ рисунокъ и въ антрактахъ попивалъ водочку.

— «Ну!» спросилъ Жатый: «а что́ будетъ стоить?»

— «По смѣтѣ—или безъ смѣты?..»

---

*) Не поставлена, и куда дѣвалась неизвѣстно.

**) Эта конная статуя нынѣ находится на площади Инженернаго Замка.

— «Что́ за вопросъ?»

— «Весьма важный. Нашъ цѣхъ такой. Мы вотъ отколемъ смѣту — и выйдетъ сто рублей, я говорю прикладно. Пошли строить, обошлось тысячу,—а все по смѣтѣ; не отступлено ни на шагъ...»

— «Отчего же это?»

— «Отъ смѣты. Оно, видишь, тутъ секретецъ есть, кунстштюкъ. Вы добрые ребята; что васъ обижать, только не обижайте же и меня. Что это у васъ за дурацкіе такіе графинчики? Вѣдь я не какой заморскій резидентъ. Что вы меня дразните: принесли водки, будто на пробу. Прикажи заправду подать! Такъ лучше безъ смѣты. Я вамъ съ глазомѣра скажу: каждому домъ обойдется тысячъ въ пять, а всѣмъ тремъ въ восемнадцать...»

— «Это что́ опять?..»

— «Опять кунстштюкъ! Да вы добрые малые, за ваше здоровье! Такъ и быть, наряжайте на меня строгій присмотръ, изберите пристава, тогда вамъ дома́ обойдутся тысячъ въ десять каждый...»

— «Еще...»

— «Еще кунстштюкъ! Вотъ это сосудъ, нашему сѣверному хлѣбному вину приличествующій. И хороша водочка, право, хороша. Чѣмъ это она заправлена? А я васъ научу настойку дѣлать; право, ручку поцѣлуете... Ну, ребята! ничего мнѣ не нужно. Честные вы люди, сами за труды пожалуете, а сплутуете, Богъ съ васъ взыщетъ. Строю вамъ дома́ экономически. Дайте мнѣ только сподручника, чтобы закупалъ матеріалы тамъ, гдѣ я ему укажу, такъ вамъ весь этотъ дворецъ

всѣмъ тремъ обойдется тысячъ въ двѣнадцать. Хотите? Идетъ? По рукамъ! А кто ко мнѣ въ коммиссары идетъ?»

Степанычъ, видя, что товарищи молчатъ и робко на него поглядываютъ, сказалъ:— «Ну, пожалуй, я!»

— «Ну, коммиссаръ, такъ выпьемъ же съ тобою черезъ руку!»

— «Выпьемъ!»

— «Ура! Теперь полно! Стыдно до остатка выпивать! Холопы будутъ трунить... А водка знатная!.. Ну, такъ что́ же мы теперь дѣлать будемъ?»

— «Плясать!»

— «Какъ, плясать?»

— «А вотъ ждемъ берейтора Фрика.»

— «Да что́ вы, лошади, что ли?»

— «Да что́ ты будешь дѣлать, коли онъ и лошадей и людей плясать учитъ. Другаго нѣтъ. Правда, есть тутъ мадама Гопъ, да какъ же намъ у женщины учиться? Не ладно; да она и по-русски еще не обыкла, а берейторъ чешетъ, какъ на своемъ языкѣ.»

— «Эхъ, какіе вы это, право! Кто вамъ такой консиліумъ далъ?...»

— «Трактирщикъ Милле,» сказалъ Жатый: «когда я ходилъ къ нему, чтобы тебѣ адрессъ нашъ оставить.»

— «Ну, послушайте же, дѣти мои! Фрикъ, я теперь вспомнилъ, учитъ; правда и недорого беретъ: за урокъ по гривнѣ съ брата; все такъ; да

учитъ только бѣдныхъ дворянъ; а вамъ нельзя; для тона надо мадаму взять. Вы этакіе чудовые ребята; онъ васъ выучитъ по лошадиному; баричи смѣяться будутъ. Нельзя!»

— «Да вотъ, видишь, мы-то не хотимъ публично танцовальной экзерціи дѣлать; хотимъ выйти какъ будто насъ дома уже обучили...»

— «Такъ велите подать мнѣ сани.»

— «Зачѣмъ сани?»

— «Затѣмъ, что я съѣзжу къ мадамъ Гопъ и аккордъ сдѣлаю... А, можетъ быть... Ну, да только сани...»

Земцовъ снарядился и поѣхалъ. Не прошло и получаса, явился берейторъ Фрикъ и конюхъ съ дудилкой. Дворяне дали ему полтинникъ и объявили, что уже нужды въ немъ не имѣютъ. Онъ поклонился и ушелъ; но въ прихожей повстрѣчался съ мадамъ Гопъ, которая, въ сопровожденіи Земцова и лакея въ толстой шинели, уже направляла шаги свои въ гостиную.

— «А, du verfluchte!.. Ты у меня хлѣбъ отнимаешь! Вотъ я тебя!... Конюхъ, нагни-ка ее...»

Мадамъ Гопъ прижалась къ печкѣ и во все горло кричала: «Gewalt!... Zur Hülfe!...»

— «Я тебя, этакая! Танцклассъ выдумала; дѣвушекъ завела для плясу... А?... Ухитрилась на всякій соблазнъ... И сама къ холостымъ парнямъ ѣздитъ... Вотъ я тебя... Конюхъ!»

И мадамъ безъ сомнѣнія подверглась бы сильному наказанію за разныя танцовальныя злодѣйства, если бы тріумвиры, съ помощью Земцова,

не вытолкали и берейтора и конюха на дворъ, и не отдали приказанія своимъ людямъ продолжать проводы тѣмъ же порядкомъ... Мадамъ Гопъ сдѣлалось дурно, но по совѣту Земцова, ей поднесли чарку вина и она ожила. Танцмейстерша была среднихъ лѣтъ и пріятной наружности. Плутовскіе глаза и коварная улыбка не внушали къ ней довѣрія. Но о душевныхъ ея качествахъ вовсе не нужно было знать тріумвирамъ; они сдѣлали ей комплиментъ; она присѣла; подала знакъ своему слугѣ; тотъ изъ-подъ шинели вытащилъ скрыпицу, и сталъ строить...

— «Скоро! скоро,» сказала она, схвативъ за руки Борю и Жатаго: «у мене сей день танцъ-кляссе... Господа пріѣдетъ. Скоро... Становись! А третій?.. Пара нѣтъ...»

— «Есть, мадама, есть: вотъ у меня за даму...»

И Степанычъ, схвативъ Земцова, сталъ противъ товарищей.

— «Вотъ тебѣ и пословица...» съ хохотомъ сказалъ Земцовъ: «Пляши, враже, якъ панъ каже». Не думалъ я сегодня менюэтъ выплясывать; да слажу; въ этомъ танцѣ отъ мыслете большой разницы нѣтъ. Авансе!»

Первый урокъ былъ непродолжителенъ, за недосугомъ танцмейстерши. Борисъ сговорился съ нею насчетъ ученія и сестры. Мадамъ Гопъ взяла по полуполтиннику съ особы; требовала и съ Земцова узаконенной платы.

— «Я не ученикъ...» отвѣчалъ Земцовъ, утом-

ленный до одышки: «я компанія. Безъ меня самой бы пришлось стать за пару...»

— «И очень було бы пріятно...»

— «Я за него заплачу́...» сказалъ Степанычъ. «Изволь, мадамъ, полтину... потому что съ этакимъ косолапымъ возни много.»

Мадамъ Гопъ требовала проводника, потому что боялась, не сѣлъ ли гдѣ берейторъ въ засаду.

— «Я не поѣду...» сказалъ Земцовъ: «мнѣ и здѣсь хорошо. А если нападетъ берейторъ, такъ я первый уйду. Никакихъ дракъ не жалую...»

— «А я такъ люблю подраться...» подхватилъ Степанычъ: «я васъ, мадама, провожу...»

— «Ich danke, schöner Cavalier!»

Поѣхали. Мадамъ Гопъ жила за городомъ, то есть, на Литейной, около тѣхъ мѣстъ, гдѣ теперь идетъ лѣвая сторона Шпалерной Улицы. Нанимала она загородный дворъ умершаго какого-то дворянина. Хозяинъ, видно, былъ не бѣденъ, какъ увидимъ. Дорогой мало разговаривали, и отъ стужи и отъ того, что Степанычъ вовсе не умѣлъ по-нѣмецки, а мадамъ Гопъ мало говорила по-русски. Но когда въѣхали на дворъ, мадамъ Гопъ предложила зайти къ ней обогрѣться.

«Отчего же и не зайти!» подумалъ Степанычъ и вылѣзъ изъ саней. Хотя еще было довольно свѣтло на дворѣ, однакожъ ставни въ домѣ заперты; свѣчи горѣли въ прихожей; зала была освѣщена великолѣпно, и тутъ Степанычъ обратилъ вниманіе, какъ на убранство стѣнъ, обитыхъ прекрасными обоями и украшенныхъ висячими канде-

лабрами, такъ и на гостей. То были красивыя дѣвушки, разодѣтыя, можно сказать, роскошно и нарумяненныя до-нельзя: двѣ или три толковали непотомъ по угламъ съ молодыми франтами, а прочія попарно прогуливались подъ-ручку взадъ и впередъ по залѣ, ожидая начатія танцевъ.

— «Просимъ быть какъ будто дома!» сказала мадамъ Гопъ, и сама исчезла.

«Ну,» подумалъ Степанычъ: «важное заведеніе; я не знаю отчего это Боря не захотѣлъ ѣхать со мной. Тутъ гораздо веселѣе, и ужъ каждая изъ этихъ обучающихся барышень, вѣрно, поворотливѣе нашего архитекта...»

— «Что это вы задумались?» спросила одна изъ дамъ, мимоходомъ. «Видно собираетесь плясать, да не знаете съ кѣмъ?...»

— «Нѣтъ. Я плясать не буду. Погляжу только, и уѣду...»

— «Куда?»

— «Домой.»

Барышня разсердилась и ушла съ подругой. Но на смѣну ей подоспѣла другая пара. Но такъ какъ одна изъ двухъ обратилась къ Степанычу съ нѣмецкимъ діалектомъ, то онъ извинился на пантомимѣ и отошелъ. Въ это самое время двери отворились и вошла мадамъ Гопъ съ молоденькой дѣвочкою, которой было не больше пятнадцати лѣтъ.

— «Вотъ, рекомендую, моя дочка!» сказала Гопъ, подводя дѣвушку къ Степанычу.

— «Очень радъ познакомиться!» отвѣчалъ онъ,

разсматривая эту нарядную и прелестную куколку. Она была одѣта въ коротенькое платьице изъ глазетной кисеи; атласный голубой шпензеръ, по швамъ съ золотомъ, обвивалъ тонкій станъ ея; кунтушъ на ней былъ зеленый бархатный; на полахъ по угламъ шитыя звѣзды; опушка соболья; а на головѣ шапочка съ четырехугольнымъ донышкомъ и кутасикомъ изъ крупнаго жемчуга. Лицо было отмѣнно пріятно и въ рѣзнительную противоположность съ барышнями — ослѣпительной бѣлизны. Глазъ не было видно, потому что рѣсницы порядочной длины были опущены. При всей красотѣ, это лицо было такъ безжизненно, какъ будто у бальзамированнаго трупа. Неподвижны были всѣ черты и таже неподвижность царствовала во всей фигурѣ ея; она шла будто автоматъ, не шевеля ни головой, ни руками.

— «Вотъ вамъ моя Леночка...» сказала мадамъ Гоцъ, и пошла на встрѣчу новымъ гостямъ.

«Что́ жъ я буду съ нею дѣлать?» подумалъ Степанычъ: — «Сударыня, вы будете плясать?..»

— «Буду...» едва ворочая губами, прошептала Леночка.

— «Съ кѣмъ?»

— «Съ кавалеромъ...»

— «(Вотъ тебѣ и отповѣдь). А съ какимъ?»

— «Съ богатымъ ..»

— «(Еще лучше). А какъ его зовутъ?»

— «Не знаю.»

— «(Вотъ тебѣ и дискурсъ). А гдѣ же онъ?»

— «Тутъ въ залѣ...»

Степанычъ оглянулся и увидѣлъ, что мадамъ Гопъ разговаривала съ высокимъ, статнымъ мужчиной, въ огромномъ парикѣ. По пріемамъ можно было думать, что эта пожилая персона изъ богатыхъ господъ. Около него торчало нѣсколько человѣкъ разнаго вида и возраста. Послѣ краткаго разговора, особа подошла къ Леночкѣ: «Подрастай, моя милая! Что ты все-еще такая приземистая? На; вотъ я тебѣ конфитуры привезъ....» Такъ говорилъ онъ, а самъ съ ногъ до головы осматривалъ Степаныча. «Посмотримъ! Увидимъ!» такъ заключилъ онъ, и пошелъ въ другую комнату... Толпа мужчинъ за нимъ послѣдовала. «Пойти и мнѣ посмотрѣть, что за птица!» подумалъ Степанычъ. Но двери были заперты. Мадамъ Гопъ бѣгомъ спѣшила отвести его отъ заповѣдныхъ дверей, однако же онъ успѣлъ разслушать нескромное восклицаніе: «Что за зернь! Мужицкая игра! Подай карты!..» Будто кто обжегъ Степаныча; онъ такъ и отскочилъ отъ дверей и столкнувшись съ хозяйкой, чуть было не опрокинулъ ее...

— «Чего вы перепугались?» спросила она.

— «Ничего; вотъ вы, мадама, больше моего перепугались, и заговорили по-русски очень чисто... Прощайте! Не забудьте пріѣхать къ намъ пораньше...»

И безъ оглядки, Степанычъ бросился изъ танцкласса. Воротясь домой, онъ не нашелъ уже Бориса. Земцовъ преспокойно спалъ на кожаномъ диванѣ; а Жатый съ заплаканными глазами слу-

малъ разсказъ какого-то незнакомца, который и самъ между рѣчей утиралъ слезы.

— «Иванъ, мой другъ...» рыдая завопилъ Жатый и бросился къ нему на грудь.

— «Что такое?»

— «Я сирота! Ея не стало!..»

— «Кого?»

— «Матушка скончалась! Теперь я круглый сирота! Только ты мнѣ на этомъ свѣтѣ и остался!..»

— «Евгеній Николаевичъ!» съ упрекомъ сказалъ незнакомецъ.

— «Отпусти вину! Съ горя обмолвился! Друзья мои!.. О, зачѣмъ ты вынесъ меня изъ пожара? Я жилъ только для нея, я хотѣлъ принести ей утѣшеніе, и не успѣлъ...»

— «Полноте, Евгеній Николаевичъ! Не гнѣвите Бога! Наталья Сергѣевна отошла такъ покойно, съ молитвой за васъ. Не боюсь за сына, говорила она передъ смертью, добрыхъ качествъ его ничто и никто не испортитъ. Не оставь его только ты, Моисей Семенычъ, добрымъ совѣтомъ. Я не отвѣчалъ. Я заплакалъ...»

И всѣ трое заплакали. Насилу на великую, убаюкали горе Евгенія; уложили его спать, а сами сѣли ужинать больше для порядка, чѣмъ по желанію. По неволѣ разговорились. Степанычъ узналъ, что Моисей Семенычъ былъ дальній родственникъ Жатыхъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ повѣренный во всѣхъ дѣлахъ.

— «Другой бы...» говорилъ Моисей Сергѣевичъ: «больно обрадовался такому случаю. Матушка оста-

вила ему за тысячу дворовъ богатѣйшаго имѣнія, въ самыхъ лучшихъ провинціяхъ, да наличности столько, что я въ опасныхъ мѣстахъ выпрашивалъ, для проводовъ воинскую команду. Алмазовъ однихъ сколько; жемчугъ — мѣшками; денегъ — сундуки огромные... Добрый сынъ! Онъ и не посмотрѣлъ, что́ я ему привезъ. Какъ начали таскать кладь изъ повозокъ, сердце у него замерло: догадался бѣдный въ чемъ дѣло... И первое время страшно было смотрѣть на него...»

Отужинали. Улеглись. Раньше всѣхъ поутру проснулся Земцовъ.

— «Эге! Гдѣ это я?» сказалъ онъ, осматривая комнату. «Видно... Ахъ, да, вспомнилъ! Пора къ должности. Чай, полковникъ четырехъ мужиковъ уже обучилъ архитектурѣ, а я тутъ себѣ нѣжусь. Не ладно! Всѣ спятъ. Этакъ и закусить не дадутъ... На тощакъ изволь идти въ чертежную. Въ карманѣ — ни алтына. Милле, злодѣй — прекратилъ кредитъ. Ну, что тутъ настоитъ дѣлать!..»

Жатый не спалъ. Уважая покой другихъ, онъ мучился въ тихомолку. Заслыша монологъ Земцова, онъ накинулъ халатъ и вышелъ въ гостиную.»

— «Слышу про бѣду твою,» сказалъ онъ: «я могу тебя ссудить деньгами...»

— «Можешь? Спасибо. Только у меня дурная привычка: не люблю скоро отдавать. У меня страсть имѣть хорошихъ кредиторовъ. Да отчего же ты такой заплаканный? Не побилъ ли тебя кто?»

Жатый объявилъ причину скорби.

— «Знатно!» воскликнулъ Земцовъ. «Утѣшься! Деньги твои пропадутъ не даромъ. Карандашъ и бумагу!..»

— «Ты рехнулся, дружокъ.»

— «Карандашъ!»

— «Нѣтъ у меня карандаша.»

— «Перо и чернилы.»

— «Что́ ты хочешь дѣлать?»

— «Монументъ твоей матушкѣ. Я еще не пробовалъ моей штуки по этой части... Перо и чернилы! А гдѣ схоронили?..»

— «Въ деревнѣ на погостѣ.»

— «На горѣ?»

— «Да.»

— «Открытое мѣсто?»

— «За пять верстъ видно...»

— «Знатно! Церковь деревянная?»

— «Деревянная...»

— «Знатно! Церковь сломать, а на ея мѣстѣ, надъ могилой твоей матушки, воздвигнуть каменный храмъ со склепомъ, человѣкъ на тридцать, гдѣ бы могъ лежать ты, и жена твоя, и дѣти, и внуки, правнуки...»

— «Мысль твоя мнѣ нравится. Черти́, компонуй; не жалѣй денегъ...»

— Не жалѣть? Знатно!.. Такъ ужъ не построить ли намъ дѣвичій монастырь въ память покойницъ?»

— «О, я готовъ.»

— «И я готовъ, да вспомнилъ препятство.»

— «Что́ такое?»

— «Монастырей больше строить не указано. А дѣвичьихъ тѣмъ паче. Теперь и монахинь поменьше станетъ. Раньше сорока лѣтъ постригать не велѣно. Ну, такъ храмъ, да за то ужъ храмъ!..»

Земцовъ сталъ чертить; эта работа крайне заняла Евгенія. Степанычъ и Моисей Семеновичъ весьма обрадовались этому случаю и на-повалъ хвалили Земцова. Но пришелъ Борисъ Петровичъ — и всѣ вспомнили о причинѣ сходки.

— «Горе мое не должно мѣшать обязанностямъ!» сказалъ Евгеній. «Государю угодно, чтобы мы всѣ, дворяне, обучались не только наукамъ полезнымъ, но и пріятнымъ штукамъ. Посылайте за мадамъ Гопъ.»

— «Ахъ, ты, умница!» воскликнулъ Степанычъ. «Не ожидалъ я отъ тебя такой мудрости! Не по лѣтамъ. Дай, я тебя поцѣлую. Сани!»

На этотъ разъ Степанычъ послалъ своего Сергѣя. Мадамъ Гопъ явилась. Не хотѣли Земцова отрывать отъ работы, и Степанычъ сталъ въ пару съ танцмейстершей. Шутка за шуткой, Степанычъ заставилъ ее говорить по-русски. Это возбудило общее любопытство и Гопъ призналась, что она хотя и Нѣмка, однакожъ родилась въ Москвѣ; матушка выучила ее тогдашнимъ употребительнымъ танцамъ, а когда этой мудрости стали обучать и Русскихъ, то мадамъ Гопъ, по совѣту мужа своего, который именовался медикомъ, притворилась круглою Нѣмкой изъ Вѣны и объявила о себѣ, что она первая танцорка цесарскаго двора; мужа убили въ сраженіи, и она должна про-

питывать себя и трехъ дочерей уроками. Само собою разумѣется, что при этой исповѣди музыкантъ не присутствовалъ, а собесѣдники дали слово не выдавать ея тайны. Послѣ урока, Борисъ Петровичъ повезъ мадамъ Гопъ къ сестрѣ, а Степанычъ поѣхалъ съ Земцовымъ къ полковнику, котораго онъ долженъ былъ увѣрить, что Земцовъ пришелъ въ чертежную такъ поздно за нездоровьемъ. Возвращаясь назадъ и проѣзжая мимо юстицъ-коллегіи, Степанычъ замѣтилъ, что у столба съ навѣсомъ, на небольшой складной лѣсенкѣ, стоялъ сенатскій солдатъ и приклѣивалъ большой листъ.

— «Стой!» сказалъ Степанычъ. «Что ты тутъ дѣлаешь, служба?..»

— «Что дѣлаю? Что слѣдуетъ. Видишь, указы приклѣиваю.»

— «Новые?»

— «Да ужъ, разумѣется, не старые. Видишь, святки на дворѣ: такъ надо же каждому знать, какъ тѣшиться долженъ... Вотъ дай только Господи успѣть вездѣ: шутка обойти столько мѣстовъ по такому морозу!..»

— «А развѣ такъ много мѣстовъ?»

— «Да нынче, какъ столбы эти выдумали, такъ мѣстовъ меньше, а ходьбы больше. Бывало, свою часть обойдешь, на воротахъ черезъ два двора приклеишь, и ступай спать; а другой на Васильевскомъ ходитъ, а третій на Адмиралтейскомъ, а иной разъ вдвоемъ; а теперь одинъ всѣ три острова обойди; приклеивай по столбамъ тутъ, на Гостиномъ, по-

томъ на Мытномъ, что́ за крѣпостью, потомъ на Васильевскомъ въ трехъ мѣстахъ; у боярскихъ хоро́мъ, да на двухъ плѣщадяхъ; потомъ маршируй въ Новголанію, оттолѣ противу адмиральтской крѣпости, да у Почтоваго двора, а потомъ день и лежи безъ ногъ. Благо, коли по пути, иной зввака листокъ купитъ; такъ зайдешь обогрѣться гдѣ у знакомаго цѣловальника, а иной разъ и такъ проходишь.»

— «А ты развѣ продаешь указы?»

— «А отчего же не продавать, когда есть лишніе? Исикуторъ всегда выдаетъ пять-шесть листовъ больше про случай; когда иной въ наклѣйкѣ испортится, такъ чтобъ въ запасѣ было: этихъ ужъ и не доправляетъ...»

— «А есть у тебя сегоднишній лишній?»

— «Есть.»

— «А что́ возьмешь?»

— «Что́ дашь, такъ и спасибо. Не торгъ какой, да и не я дѣлалъ.»

— «Ну, вотъ тебѣ гривна...»

— «Не давай! Больно много! Неровенъ часъ, выпью лишнее. Ну, была, не была. Отъ счастья грѣхъ бѣгать. Вотъ тебѣ указъ...»

Любопытно было Степанычу знать, какъ о святкахъ указано народу тѣшиться, но каково же было удивленіе и радость Степаныча, когда онъ выразумѣлъ содержаніе указа. Прочитавъ его раза два три, онъ послалъ просить къ себѣ Бориса Петровича. Тотъ, полагая, что дѣло важное, поспѣшилъ въ домъ Жатаго, а этотъ домъ, не забудьте, стоялъ на углу Дворянской Улицы и Болярской Набереж-

ной. Дворъ княгини былъ у малой канавки, проведенной изъ Невы къ Гостиному Двору на той же набережной: рукой подать, такъ близко. Степанычъ встрѣтилъ его торжественно.

— «А читали вы, Борисъ Петровичъ, Девіерской указинъ?»

— «Какой?»

— «Евгеній Николаевичъ, а вы, читали?»

— «Нѣтъ!»

— «Ну, такъ извольте садиться и слушать. Я стану докладывать: для насъ это дѣло отмѣнной важности. Слушай!

Ассамблея — слово французское, котораго на русскомъ языкѣ однимъ словомъ выразить невозможно, но обстоятельно сказать: вольное, въ которомъ домѣ собраніе или съѣздъ; дѣлается не для только забавы, но и для дѣла; ибо тутъ можетъ другъ друга видѣть и о всякой нуждѣ переговорить, также слышать что гдѣ дѣлается, также и забава. А какимъ образомъ оныя ассамблеи отправлять: то опредѣляется ниже сего пунктомъ, понамѣсть въ обычай войдетъ.

1) Въ которомъ дому имѣетъ ассамблея быть, то надлежитъ письмомъ или инымъ знакомъ объявить людямъ, куда всякому вольно придтить, какъ мужескому полу, такъ и женскому.

2) Ранѣе пяти или четырехъ часовъ не начинается, а далѣе десяти пополудни не продолжается.

3) Хозяинъ не повиненъ гостей ни встрѣчать, ни провожать, ни подчивать, и не точію вышеписанное не повиненъ чинить, но хотя и дома не случится онаго, нѣтъ ничего; но только повиненъ нѣсколько покоевъ очистить; столы, свѣчи, питье употребляемое въ жажду, кто попроситъ, игры на столахъ употребляемыя.

4) Часы не опредѣляются, въ которомъ. быть, но кто въ которомъ хочетъ, лишь бы не ранѣе и позжѣе положеннаго времени; также тутъ быть столько, кто похочетъ, и отъѣхать волент, когда хочетъ.

5) Во время бытія въ ассамблеѣ вольно сидѣть, ходить, играть, и въ томъ никто другому препкодить или унимать, также церемоніи дѣлать вставаньемъ, провожаньемъ и прочимъ отнюдь да не дерзаетъ, подъ штрафомъ великаго орла, но только при пріѣздѣ и отъѣздѣ поклономъ почтить должно.

6) Опредѣляется, какимъ чинамъ на ассамблеи ходить, а именно: съ вышнихъ чиновъ до оберъ-офицеровъ и дворянъ, также знатнымъ купцамъ и начальнымъ мастеровымъ людямъ, также и знатнымъ приказнымъ; тожъ разумѣется и о женскомъ полѣ, ихъ женъ и дѣтей.

7) Лакеямъ или служителямъ въ тѣ апартаменты не входить, но быть въ сѣняхъ, или гдѣ хозяинъ опредѣлитъ; также въ австеріи когда, и въ прочихъ мѣстахъ будутъ балы или банкетъ, также не вольно вышеписаннымъ служителямъ въ тѣ апартаменты входить, кромѣ вышеозначенныхъ мѣстъ.

— «Прочти-ка еще разокъ...» сказалъ Боря. «Кажется, если не ошибаюсь, тутъ есть для насъ невыгодное слово...»

Степанычъ сталъ читать. На шестомъ пунктѣ Боря остановилъ его.

— «Вотъ, видишь, — намъ-то и нельзя: сказано съ вышнихъ чиновъ до оберъ-офицеровъ, а мы солдаты.»

— «Вижу, Борисъ, что ты законовъ читать не умѣешь. До оберъ-офицеровъ и дворянъ. Мы не оберы, однако же дворяне, только вотъ загвоздка. Въ какомъ платьѣ? Чай, подъ претекстомъ

дворянъ, намъ и одежу надо имѣть партикулярную... Спрошу завтра у Девіера. Пусть извинитъ. Потревожу его превосходительство.»

И точно. Сидя за столомъ, почти на самомъ концѣ, вмѣстѣ съ товарищами, Степанычъ не зналъ еще правила, что въ гостяхъ у важныхъ персонъ надо пить по крайней мѣрѣ въ половину противъ того, что пьешь келейно у себя или у задушевныхъ. Примѣръ хозяина и другихъ гостей еще болѣе убѣждалъ Степаныча, что отнѣкиваться было бы непристойно. Девіеръ, у котораго и было только свободнаго времени, что за обѣдомъ и то по воскресеньямъ, развеселился, и сталъ компаніи разсказывать про московскіе подвиги Степаныча. Гости смѣялись, а дамы, — которыхъ было не мало, въ томъ числѣ и двѣ тогдашнія знаменитости, — съ живымъ любопытствомъ поглядывали на героя московскихъ исторій. Двѣ знаменитости, сказалъ я. По истинѣ обѣ заслуживали и уваженія и вниманія. Варвара Михайловна Арсеньева, родная сестра княгини Дарьи Михайловны Меншиковой, конечно, была и приземиста и горбата; но обширностью ума и свѣдѣній превосходила всѣхъ тогдашнихъ русскихъ дамъ. Разговоръ ея былъ въ высшей степени пріятенъ; совѣты — благоразумны, и не разъ спасали великолѣпнаго Ижерскаго князя. Другая была извѣстна своею поразительною красотой, даже за предѣлами Россіи. То была генеральша Балкъ, жена эльбингскаго коменданта и статсъ-дама царицы. Не смотря на то, что ей было уже весьма за тридцать лѣтъ, рѣдкій могъ

отвести по доброй волѣ глаза отъ этого очаровательнаго лица, и Степанычъ глядѣлъ-себѣ на нея въ оба, будто на картину великаго мастера.

— «Вотъ, посмотримъ теперь...» сказалъ въ заключеніе Девіеръ: «каково-то онъ будетъ управляться съ Шведами...»

— «Э, ваше превосходительство,» не запинаясь отвѣчалъ Степанычъ: «бородъ-то у нихъ нѣтъ, такъ надо снимать головы...»

— «Храброму не мѣшаетъ быть скромнымъ,» замѣтила Варвара Михайловна.

Это замѣчаніе укололо Степаныча, и рана болѣла тѣмъ чувствительнѣе, что и вино ее разжигало.

— «Я учился многому, милостивая госпожа,» отвѣчалъ онъ: «но еще не приступалъ къ наукѣ притворства. Сказалось, что̀ думалось; а хвастью не почту, если доложу, что въ случаѣ дессанта, какъ Его Величество учинить супонуетъ, и если придется брать Штокгольмъ, то ужъ, съ вашего позволенія, я далъ себѣ шляхетское слово — первый въѣхать въ столицу шведскаго царства.»

— «Да ты этакъ, пожалуй, и англійскій флотъ въ ничто обратишь.»

— «Если бы представалъ случай, отъ такого пассажа никакъ бы не отказался. Въ наше время доказано, что многое невозможное, возможнымъ бываетъ...»

Варвара Михайловна посмотрѣла на Девіера; тотъ кивалъ парикомъ одобрительно. Генеральша Балкъ сочла приличнымъ и отъ себя кое-что прикинуть.

— «Остается» сказала она: «еще одна побѣда для вашихъ будущихъ трофеевъ: женщины.»

— «Если у нихъ будете вы, милостивая госпожа, генералъ-фельдмаршаломъ, то мужчины всегда баталію проиграютъ и сдадутся на аккордъ съ болыною радостью...»

— «Да это декларація по формѣ!» подхватила хозяйка.

— «Нечего объявлять о томъ, что́ всему свѣту явно. Глаза у каждаго есть и адмировать красоту каждому дозволено...»

— «Особенно за обѣдомъ, при добромъ винѣ...» лукаво замѣтила Варвара Михайловна.

— «Быль молодцу не укора. Вино, — говоритъ Горацій, — вотъ ужъ теперь не упомню собственныхъ его словъ,— вселяетъ смѣлость на правду, и я осмѣлюсь выпить еще одинъ кубокъ въ честь вашего великаго и остраго разума...»

— «Молодецъ!» громогласно сказалъ Девіеръ: «Да онъ, я чай, и великаго орла не убоится.»

— «Орелъ чѣмъ больше, тѣмъ лучше, а чѣмъ больше врагъ, тѣмъ пріятнѣе викторія.»

— «Э, да онъ у насъ на ассамблеяхъ займетъ почетное мѣсто...»

— «Ассамблея — для дамскаго пола, обѣдъ и всякая трапеза — для мужской бесѣды; остальное время — для службы и науки. Только одно насъ безпокоитъ. Не вѣдаешь, какъ намъ быть на ассамблеяхъ. Въ указѣ ничего не сказано. Въ нашихъ чинахъ...»

— «Можете быть въ приватномъ костюмѣ.»

Обѣдъ кончился. Варвара Михайловна пригласила нашихъ тріумвировъ посѣщать и ее; генеральша Балкъ хотѣла сдѣлать то же, но посовѣстилась, боясь, чтобы выходка Степаныча не послужила поводомъ къ толкамъ. — Разошлись довольно рано. Прошло еще нѣсколько дней... Степанычъ возился съ Земцовымъ. Закупалъ матеріалы... Между тѣмъ били сваи; укрѣпляли берегъ, не смотря на морозы. Каждый день Степанычъ, уходя изъ дома и возвращаясь, проходилъ мимо оконъ княгини, но не видалъ Оленьки. Каждый день вмѣстѣ съ Борисомъ учился у мадамъ Гопъ, спрашивалъ о здоровьѣ тетушки и сестры... Слава Богу! — былъ всегдашній отвѣтъ, но въ домъ его не звали, а безъ зова и причины онъ не смѣлъ туда явиться. — Жатый грустилъ понрежнему. Комнаты, экипажи, людей, лошадей, все убралъ въ черное; по цѣлымъ часамъ просиживалъ надъ рисункомъ и планами храма и отъ ассамблей и отъ другихъ удовольствій, которыя должны были оживить Петербургъ о святкахъ, рѣшительно и положительно отказался. Наступили и рождественскіе праздники Степанычъ отъ обѣдни въ Троицкомъ Соборѣ поѣхалъ прямо къ княгинѣ. Но его не приняли, указали расписаться на грифельной доскѣ мѣломъ. Княгиня была еще у обѣдни въ своей домовой церкви, куда посторонніе не допускались.

— «Я лучше завду попозже...» сказалъ Степанычъ.

— «Не извольте трудиться. Въ первый день принимаютъ только генераловъ.»

— «Ну, такъ завтра...»

— «Завтра женскихъ гостей день.»

— «Ну, такъ послѣ завтра.»

— «Послѣ завтра сами поѣдутъ къ первымъ персонамъ, а кушать изволятъ у свѣтлѣйшаго. Тамъ казенный столъ будетъ...»

— «И Борисъ Петровичъ...»

— «Какъ можно-съ! Только княгиня. Тамъ только министерія обоего пола бываетъ и заморскіе баре; больше никого. Ни одного гостя меньше полковничья чина...»

— «Ну, городокъ! Тутъ, я вижу, на всякой день урядъ положенъ. Прощай!»

— «Ну, праздники!» шепталъ Степанычъ, выходя отъ княгини. «Что-то она, моя сердечная, отъ скуки будетъ дѣлать! Будто въ сундукъ заперли. Вотъ тебѣ и столица!...»

Правда. Первые три дня праздниковъ прошли, протянулись, проползли черепахой. Степанычъ, помня совѣты Девіера, не заходилъ никуда; работы на островѣ остановились. Земцовъ тоже пропалъ. Борисъ только въ первый день забѣжалъ къ нему на одну минуту, и больше не являлся. Всѣ мазанки съ присутственными мѣстами и ряды заперлись. До восьмаго января нигдѣ ни присутствія, ни торга не было, опричь маркитантовъ и харчевниковъ. И тѣ торговали только послѣ обѣденъ, до зори. Наступилъ наконецъ вожделѣнный четвертый день. Если бы онъ имѣлъ тѣло, Степанычъ расцѣловалъ бы его. По совѣту мадамъ Гопъ, рано утромъ прибылъ съ адмиралтейской стороны парикмахеръ

испанскаго резидента и снарядилъ Степанычу на головѣ цѣлую гору искуственныхъ локоновъ. Такъ какъ надо было приноравливаться къ лицу, то операція производилась не на болванѣ, а на собственной головѣ Степаныча. Онъ просидѣлъ въ парикѣ все утро, и обѣдалъ въ парикѣ, и съ такою осторожностью, что едва-едва поворачивалъ головою. Благодаря добрымъ совѣтамъ танцмейстерши, наканунѣ была сдѣлана подробная репетиція менюэту въ костюмѣ. Наконецъ ударило четыре часа. Степанычъ бережно вынулъ изъ кармана указъ и прочелъ пунктъ второй.

— «Пора!» сказалъ онъ громко. «Колымагу! А пока подадутъ, надо еще разъ указъ прочесть, чтобы промаха не дать.»

Прочелъ. Подали колымагу. Нельзя ѣхать. Парикъ на аршинъ выше колымаги. Подавай сани. По счастію Жатовскіе были заложены. Да какъ же ѣхать въ саняхъ безъ шляпы и безъ шубы? И та и другая испортятъ парикъ. Нечего дѣлать. Сѣлъ онъ въ сани, прикрылся шубой будто одѣяломъ и поѣхалъ. У крыльца верховые и пѣшіе драгуны разгоняли толпу любопытныхъ. Два фонаря освѣщали площадку передъ домомъ. Въ сѣняхъ было больше тридцати лакеевъ. Драгуны тотчасъ отогнали прочь и лакея и сани. Всѣ комнаты были ярко освѣщены; вездѣ на столахъ разставлены шашки, шахматы, кребсъ, триктракъ, рулетки и даже карты. Въ одной комнатѣ между двухъ горокъ, уставленныхъ серебряною посудой, на прилавкѣ, закрытомъ голландской салфеткой, рядыш-

комъ стояли графины и бутылки; въ другой комнатѣ на такомъ же прилавкѣ фрукты, но немного, а больше финики, винныя ягоды, изюмъ, варенья, постилы, цукаты, орѣхи и даже пряники. Въ залѣ на деревянномъ возвышеніи стояло шесть человѣкъ музыкантовъ; они преспокойно пили пиво и громко смѣялись.

«Хорошо же,» подумалъ Степанычъ: «что я пріѣхалъ первый: всѣхъ увижу, до единаго. Пойду, сяду противъ дверей.»

Первый послѣ Степаныча пріѣхалъ статный, высокій, но уже немолодой купецъ въ богатомъ кафтанѣ и огромномъ парикѣ. За нимъ мебельщикъ Мессино, съ женою и дочерью. Спустя немного Калужскій фабрикантъ полотенъ и бумажныхъ товаровъ, Гончаровъ. Тутъ и повалила толпа гостей, составлявшая странную смѣсь придворныхъ, военныхъ, статскихъ, купцовъ, приказныхъ, мастеровыхъ и моряковъ. Правила ассамблей строго соблюдались. Никто ни кому не кланялся; разговаривали, играли, пили, ѣли; наконецъ загремѣла музыка и Степанычъ съ печальнымъ сердцемъ поспѣшилъ въ залу, вспомнивъ, что онъ хозяйкой пожалованъ въ кавалеры ея компаньонкѣ. Въ залѣ, къ особенному изумленію, онъ нашелъ многихъ гостей, которыхъ не видалъ у входа; то были генералы и знатныя лица. Они, окруживъ хозяина, тихо между собою разговаривали. Степанычъ оглянулся. Вотъ и Варвара Михайловна, вотъ и госпожа Балкъ; возлѣ нея стояла дивной прелести дѣвушка, лѣтъ пятнадцати; черты лица громко докла-

дывали, что это была дочь госпожи Балкъ, или та же госпожа Балкъ, только шестнадцать лѣтъ тому назадъ... «Вотъ чудо красоты!» невольно произнесъ Степанычъ. «Э, да въ этомъ Питербурхѣ есть на кого посмотрѣть... Поглядимъ дальше... Боже мой!» Шагахъ въ десяти, не больше, княгиня, Оленька и Борисъ разговаривали съ хозяйкой, которая и сама принадлежала къ числу большихъ красавицъ. Очень естественно, что Степанычъ сказалъ: «Боже мой!» и перепугался. Оленька смотрѣла на него такъ пристально, съ такою сильною грустью, почти съ упрекомъ; и это весьма естественно: зачѣмъ онъ смотрѣлъ на другихъ и не примѣчалъ Оленьки? Степанычъ до того смутился, что, забывъ правила ассамблей, подбѣжалъ къ княгинѣ и Оленькѣ и давай раскланиваться.

— «Провинился!» закричалъ маршалъ ассамблеи. «На казнь!»

— «Кто провинился?» спросилъ Степанычъ, оторопѣвъ.

— «Да ужъ никто какъ вы...» подхватила хозяйка. «Видно, вспомнилъ про свою тетушку... Экой стыдъ! Добро бы купецъ какой! Что съ вами сдѣлалось? А еще хвалился, что правила наизустъ знаетъ! Кто это васъ опеломилъ? Изъ чего вы стали поклоны бить?...»

— «Что, дурашка, дошутилося? Еще и ассамблея не началась, а ты уже вотъ и подъ штрафъ попалъ.»

— «Что жъ за бѣда, накажутъ, умнѣе буду. Я же не выросъ подъ пляесовую музыку. Впервые

пришлось мнѣ такія чудеса увидѣть, такъ и простительно, что регулу забылъ; и забылъ больше оттого, что кого уважаешь, то невольно спѣшишь аттенцію свою показать. Съ праздникомъ, матушка княгиня, поздравить васъ дерзаю. И васъ, Ольга Петровна...»

— «Э, да онъ съ вами уже знакомъ...» сказала хозяйка: «а я хотѣла вамъ его презентовать и просить принять въ вашу протекцію.»

— « Ну ужъ матушка, этакой козырь самъ себѣ уторитъ дорожку...»

— «Посторонись!» громогласно сказалъ маршалъ, жезломъ легонько устраняя гостей. «Прими, преступникъ, казнь отъ руки моея.»

За маршаломъ на большомъ серебряномъ подносъ лакей несъ огромную кружку великаго орла..

— «Не изволь отпѣкиваться; впередъ регламентъ памятуй!..»

— «А съ чѣмъ она, съ водкой или съ виномъ?» спросилъ Степанычъ, и маршалъ смутился.

— «Какъ съ водкой! Да сюда цѣлый кабакъ войдетъ.»

— «Такъ съ виномъ?»

— «Разумѣется, съ добрымъ венгерскимъ.»

— «Экой вздоръ! Потчуютъ, а говорятъ будто наказываютъ!»

И Степанычъ взялъ въ обѣ руки кружку, приноровился, произнесъ «За здоровье дамскаго пола!» и вынилъ въ одинъ прикладъ... Молодежь ахнула, старики почесались, а княгиня смотрѣла на него въ-оба и ожидала, что онъ такъ и свалится. Но

Степанычъ поставилъ кружку на мѣсто, вынулъ платокъ, обшитый кружевами, отеръ губы и лобъ, и сказалъ хозяйкѣ: «Пора плясать...»

Если бы въ наше время кто оказалъ подобный героизмъ, дамскій полъ цѣлой Европы отказался бы отъ общества такого человѣка, а тогда подвигъ Степаныча возвысилъ его не только въ глазахъ мужчинъ, но и женщинъ.

— «Экая натура!» воскликнула княгиня. «Бѣсъ, прости Господи! Да ты, чай, ни сгоришь ни утонешь!.. Оленька, а? каковъ? Только и разберетъ же тебя, погоди... Ты бы пошелъ на морозъ, освѣжился, этакой Голіафъ, право...»

— «Разбираетъ, матушка княгиня, охота поплясать, да вотъ хозяюшка, видно, кого поджидаетъ.»

— «Хотѣлъ быть Государь, да вотъ ужъ шестой часъ. Ни ѣдетъ, ни шлетъ.»

Вдругъ раздалась музыка менюэта; въ то же время Девіеръ подошелъ къ женѣ и сказалъ:

— «Государь приказалъ безъ него начинать. Къ нему съ конгресса курьеръ прибылъ, очень важный...»

— «Ну, богатырь, бери Вѣрочку, посмотримъ каково твои ноги съ венгерскимъ виномъ управятся...»

Начались танцы. Степанычъ проплясалъ менюэтъ на славу; княгиня такъ и ходила за нимъ слѣдомъ и все повторяла: «Колдунъ! Экая притча! Чешетъ, какъ по маслу ..» Правда, плясалъ-то онъ хорошо, да на сердцѣ у него было неладно, по-

тому что Оленька изволила плясать съ князькомъ, и очень умильно выдѣлывала свои партіи. Кончили. — Степанычъ опять подошелъ къ княгинѣ.

— «Послушай ты!..» сказала она. «Видно ты съ орла-то оналѣлъ, что̀ ты это все ко мнѣ, да ко мнѣ подходишь? Знаешь ли, что это не годится.»

— «Будто, матушка-княгиня, вы это ужъ и за-правду болтаете. Я пришелъ Ольгу Петровну на второй менюэтъ просить.»

— «Губа не дура! Да она уже на второй приторгована. Совѣтую, Оля, присмотрѣться: правда, онъ ни княжаго, ни графскаго рода, да онъ умомъ своимъ и графомъ и княземъ будетъ; и богатъ: голодатъ не будете. А вотъ третій идетъ. Это самая чистая знать; вотъ если бы онъ честь тебѣ сдѣлалъ... Да отойди же, драгунъ! Чего застишь!..»

— «Я хотѣлъ просить хоть на третій.»

— «Ну, хорошо, третій Оля съ тобой пропляшетъ. Ну, ступай съ Богомъ! Подходитъ, Оля, подходитъ! Держись прямо, въ глаза гляди. Полно, будто деревенщина какая, мнѣ стыда не дѣлай!»

— «Позвольте вамъ пропоновать ангажеманъ на менюэтъ...»

— «Прошена, князь; уже дала абшидъ по одному. Что̀ мухи льнутъ. Такая докучная кавалерія, нѣтъ отбоя.»

— «Не удивительно. Съ такими грасами и въ такомъ возрастѣ!.. Такъ на третій...»

— «Ну, ужъ такъ и быть, только для васъ, князь...»

— «Тетушка... Вы уже дали слово...»

— «Драгуну? Э, обождетъ! Ему все одно третій или десятый. Ты ужъ въ это дѣло не мѣшайся! Моя должность рукою твоею диспононать.... Извольте, князь, на третій.»

У Оленьки на глазахъ проступили слезки, да нечего дѣлать; дѣвушки тогда не могли располагать своимъ выборомъ, даже въ танцахъ. Одно ее нѣсколько утѣшило. Второй менюэтъ Степанычъ не танцовалъ ни съ кѣмъ; только смотрѣлъ на Оленьку. За то она какъ будто бы его не замѣчала. Пришла очередь и къ третьему. Степанычъ пришелъ за дамой вмѣстѣ съ княземъ.

— «Погоди, батюшка!..» сказала ему княгиня. «Ты ужъ будешь съ нею выплясывать четвертый. Тутъ есть постарше тебя. Отправляйтесь, князь; пляшите на здоровье.»

Менюэтъ начался; Степанычъ стоялъ возлѣ княгини и разсуждалъ о неизвѣстной темѣ.

— «Ну, что́ же ты, дурашка, на танцорокъ не смотришь?»

— «Матушка-княгиня, вы меня больно обидѣли.»

— «Я?.. Да съ чего ты это взялъ?..»

— «А этотъ баричъ обидѣлъ меня не на животъ, а на смерть; жалѣю, что всякая дуэль запрещена, и я принужденъ поколотить его безъ всякой дуэли...»

— «Это за что́?»

— «За то, что онъ видѣлъ, кому былъ прежде третій менюэтъ обѣщанъ, а пошелъ плясать на

чужомъ мѣстѣ, будто такъ и слѣдуетъ... Погоди, дружокъ, отплачу я тебѣ по-свойски...»

— «Да, ты ужъ совсѣмъ охмѣлѣлъ...»

— «Да, по неволѣ охмѣлѣешь ото всякихъ обидъ и грубостей, коими меня безъ всякаго права осыпаютъ... Я дворянинъ; родомъ, можетъ быть, постарше инаго другаго; я могу уважить болтовню какой старухи съ норовомъ, но гонора моего шляхетскаго и дворянской амбиціи никому ранить не позволю.»

— «Да, что́ ты, драку здѣсь затѣваешь, что́ ли?»

— «Здѣсь? Да, что̀ я, пьянъ, что́ ли! Здѣсь, я изъ деликатства не выйду, но въ своемъ мѣстѣ и въ свое время проучу этого господина, съ усердіемъ, равнымъ моей обидѣ...»

— «Послушай! Да тебя посадятъ въ острогъ.»

— «Прошу извинить! Я дѣло мое отдамъ на судъ дворянъ и уже съ обидчикомъ раздѣлаюсь по общей резолюціи. Жалѣю только, что ваше имя тутъ замѣшано будетъ...»

— «Осрамишь, право осрамишь! Выкинь ты эту дурь изъ головы. Я прошу тебя...»

— «А зачѣмъ же вы ему передо мной преферансъ отдали?»

— «Зачѣмъ? Затѣмъ, что ты у меня свой, домашній, сыну моему пріятель: думала, не обидишься; да и кто знаетъ, за что́ ты взъѣлся на меня и на князя?..»

— «Увидите, что и дворяне по-мо́ему судить станутъ.»

— «Да, какъ же тебѣ нестыдно! Видишь, ка-

кой ты злой! А я думала, что ты добрый! Ну, перестань же дуться; и такъ на насъ начинаютъ озираться... Вотъ и Оленька... Ступай плясать...»

— «Не хочу.»

— «Ну, я же тебя прошу. Не срами!.. Ступай, ступай!»

— «Да еще музыка не играетъ...»

— «Ничего, стань въ позицію, такъ и начнутъ, а то еще кто изъ важныхъ подвернется...»

— «Угодно вамъ, Ольга Петровна?»

Какъ иногда непріятный случай ведетъ за собой самыя пріятныя послѣдствія! Во время менюэта можно разговаривать, но только по донъ-жуановски, урывками. Теперь же княгиня сама дала и случай и время поговорить на покоѣ, пока становились пары и улаживался весь комплектъ менюэта.

— «Какъ это,» спросила Оленька. «Вы не хотѣли со мной плясать?..»

— «Я былъ обиженъ...»

— «И я не меньше...»

— «Чѣмъ это, Ольга Петровна?»

— «Многимъ...»

— «Вы мнѣ не скажете?»

Молчаніе.

— «Не правда ли, прекрасная ассамблея?.. Весело...»

— «Гораздо скучнѣе, чѣмъ было въ Новгородѣ. То есть, для меня! А для другихъ очень весело.»

— «Отчего же вы такъ думаете? Можетъ быть, и другимъ тутъ скучно. А на васъ скуки

не замѣтно. Вы такъ прилежно смотрѣли на костюмы.»

— «Я?»

— «Можетъ быть, мнѣ показалось. Не правда ли, какъ хороша эта дѣвица, что̀ съ Лопухинымъ въ кругъ стала.»

— «А который это Лопухинъ?»

— «А вотъ морской лейтенантъ. Не правда ли чудо красоты?»

Степанычъ вспомнилъ свое восклицаніе и этотъ признакъ ревности его обрадовалъ.

— «Будто уже никто не смѣй быть красавицей, если одна хороша. Но должно благодарить Бога, что та одна лучше всѣхъ.»

— «Кто же эта одна? Наталья Ѳедоровна? Не правда ли? И надо сказать, пара! Вы знаете, Наталья Ѳедоровна Балкъ помолвлена съ Лопухинымъ?»

— «Очень пріятно слышать. Да по склонности или нѣтъ?»

— «Да это видно, что по склонности. Сейчасъ замѣтно...»

— «А скажите, какія у склонности примѣты?»

— «Подите! Вы это сто разъ лучше меня знаете...»

— «Охъ, нѣтъ! Къ несчастію!»

— «Къ несчастію? Такъ вы уже успѣли полюбить въ Питербурхѣ?»

— «До Питербурха...»

Оленька вздрогнула, и замолчала.

— «До Питербурха я былъ счастливъ: я видѣлъ ее часто.»

— «Перестаньте! Начнемъ меняться...»

— «Ваша рука горитъ...»

— «Мнѣ дурно...»

— «Отойдемъ!»

— «Нѣтъ! Въ танцѣ пройдетъ.»

— «Неужели мой разговоръ оскорбилъ васъ, Ольга Петровна? Неужели я не долженъ былъ...»

— «Ради самого Бога, замолчите!» сказала шепотомъ Оля, невольно пожавъ руку Степаныча.

— «Да когда же мнѣ говорить съ вами, когда меня и на глаза къ вамъ не пускаютъ? Развѣ черезъ Бориса Петровича...»

— «Боже васъ сохрани! Вы меня погубите! Онъ... вы его не знаете. Онъ уже успѣлъ заразиться спѣсью тетушки; ему снится... Что это? Музыка началась и остановилась...»

Точно... Музыка замолкла. Девіеръ вошелъ въ кругъ, образованный танцорами.

— «Господа!» сказалъ онъ: «Государь не будетъ. Да и намъ едва ли пристойно веселиться. Конечно, врагъ нашъ и супостатъ. Онъ бы насъ не пожалѣлъ, если бы удалось побѣдить; все такъ. Но мы... Извѣствую вамъ, господа, что Карла Двѣнадцатаго, короля шведскаго, не стало!»

Какой-то странный гулъ потрясъ залу. Окна задрожали. Смѣсь ощущеній не могла иначе обнаружиться. Не радость, а какое-то изумленіе и состраданіе были написаны на всѣхъ лицахъ. Не стало врага могучаго, не стало Карла Двѣнадцатаго! Съ кѣмъ же теперь бороться? Для личной храбрости умалилась честь сражаться со Шведами,

для дипломатовъ облегчились пути къ трактату, хотя онъ уже былъ близокъ къ концу... Даже дамы пріуныли: имъ пріятно было въ мужьяхъ и сыновьяхъ видѣть побѣдителей Сѣвернаго Александра.

— «Уважимъ память знаменитаго героя...» продолжалъ Девіеръ: «и вмѣсто веселія надъ его гробомъ, почтимъ врага нашего молитвой за него же. Теперь уже все кончено!»

Гости, молча, стали разъѣзжаться. Степанычъ и Оленька все-еще держались за руки и, пораженные незапною вѣстью, по невольному чувству прижались другъ къ другу. Разлучила ихъ княгиня.

— «Поѣдемъ. Не о чемъ плакать...» сказала она: «да не пристойно вслухъ и радоваться...»

Не успѣлъ Степанычъ оглянуться, какъ уже княгини и Словцевыхъ въ залѣ не было. Тутъ только онъ замѣтилъ, что почетнѣйшіе гости и пріѣхали и уѣхали другимъ выходомъ. Но съ него было довольно. Сердце его плавало въ восторгѣ. Онъ позабылъ, что онъ себѣ капралъ, не больше; онъ считалъ себя наравнѣ съ министрами и сановниками и безъ всякой церемоніи сталъ въ небольшой кружокъ ихъ. Тамъ, чиновникъ нашего аландскаго посольства, который привезъ извѣстіе о смерти Карла Двѣнадцатаго, разсказывалъ подробности этого событія.

— «Упорствомъ жилъ,» говорилъ онъ: «и умеръ отъ упорства. Гдѣ-таки въ декабрѣ крѣпости осадою брать! Солдаты отъ стужи какъ мухи валятся, а никто не пикнетъ, потому что король самъ

тутъ; спитъ себѣ на морозѣ; солома подъ бокомъ, на спинѣ епанча. Напослѣдяхъ выкинулъ штуку. Пять дней не ѣлъ, не пилъ; не отъ немочи, а по охотѣ. Чудеса, да и полно! Ночью пошелъ траншеи осматривать; съ нимъ только и были два Француза, Мегрѐ и Сегіѐ; онъ нагнулся, чтобы работу лучше высмотрѣть, а тутъ съ баттареи картечью такъ и хлещутъ. Задѣло Онъ только вздохнулъ, да и душу Богу отдалъ. Да и тутъ еще за шпагу рукой ухватился. Природа уже такая! Тѣ къ Карлу; нѣтъ Карла; ядрышко въ правый високъ стукнулось. Полуфунтовое, а этакого короля насмерть повалило. Глазъ одинъ совсѣмъ выскочилъ, да и другой съ мѣста отступилъ. Послали за Гессенцомъ. Тотъ его велѣлъ втихомолку подъ плащемъ къ себѣ принести. Отъ солдатъ смерть его подъ секретомъ держали, потому что Гессенцу хотѣлось женѣ своей, а Карловой сестрѣ, престолъ обезопасить, да пронюхали; и война съ Датчаниномъ пока кончилась.»

— «Ну, что же теперь съ Герцомъ будетъ?.. Бѣдный, этотъ министръ... Король ему не больно довѣрялъ, а народъ его не сносилъ...»

— «На Аландѣ слышно, что его захватили въ Штокгольмѣ...»

— «Ну, а какъ же, вы сами Государю докладывали? Или тутъ былъ кто?»

— »Много было: графъ Головкинъ, баронъ Шафировъ и другіе. Всѣ къ его превосходительству на ассамблею собирались. Ея величество при мнѣ уже прислала спросить скоро ли ѣхать? Я подалъ

Государю письмо отъ Остермана. «Что новаго?» спросилъ его величество.... Я отвѣчать не смѣлъ. Гляжу, сталъ читать письмо, глаза впередъ вышли, читаетъ, читаетъ... Слезы такъ и потекли по лицу... Дочитали и, подавая графу Головкину бумагу, изволили тихо промолвить: «Ахъ, братъ Карлъ! Какъ мнѣ тебя жаль!..»

Наступило молчаніе, довольно продолжительное; кто-то первый вздохнулъ; всѣ, будто условясь, разомъ вздохнули, и разошлись искать своихъ шляпъ.

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

БАНКЕТЪ.

Слѣдствіе продолжалось. Но Меншиковъ и Апраксинъ, которые до того, лишенные шпагъ, сидѣли дома и не выѣзжали никуда, получили дозволеніе выйти изъ домашняго ареста. Наступала уже масляница; переговоры съ Швеціей на Аландѣ хотя и продолжались, но Великій Государь безошибочно видѣлъ, что надо министерскія разсужденія подкрѣпить краснорѣчіемъ арміи и флота, и приступить къ военнымъ приготовленіямъ. Масляница, спрашиваете вы? Да, масляница. Прошло около двухъ мѣсяцевъ и счастливый Степанычъ сталъ несчастнѣйшимъ въ мірѣ человѣкомъ. Во-первыхъ, объясненіе съ Оленькой на ассамблеѣ было такъ коротко и неопредѣлительно! Во-вторыхъ, Борисъ Петровичъ совсѣмъ отсталъ отъ Степаныча. Къ ужасу послѣдняго, Борисъ Петровичъ изволилъ

письменно увѣдомитъ, что онъ, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, долженъ строить домъ на Адмиралтейскомъ Острову, а отъ Васильевскаго отказаться. Степанычъ и Земцовъ взбѣсились, но Жатый принялъ постройку на себя, съ тѣмъ, чтобы достать на чье-либо имя дозволеніе изъ юстицъ-коллегіи. Моисея Сергѣевича сдѣлали подставнымъ хозяиномъ. Въ-третьихъ, Степаныча никуда на ассамблеи не приглашали, даже Девіеръ о немъ забылъ. Въ досадѣ онъ пошелъ въ Военную Коллегію и съ помощью монетъ, выхлопоталъ себѣ назначеніе поступить въ дессантное войско, которое должно было сѣсть на корабли эскадры генералъ-адмирала и выйти на берегъ въ Швеціи. Это отчаянное дѣло произведено было по секрету. Даже Евгеній ничего не зналъ объ этомъ. — Неисходную тоску и скуку Степанычъ разгонялъ на строеніи, гдѣ, можно сказать, служилъ Земцову каменнымъ мастеромъ. Оленька съ ума не шла, да что прикажешь дѣлать? Всѣ пути видѣть ее, говорить съ нею, были прерваны. Наступила масляница. По Невѣ, съ музыкою и пѣсенниками разъѣзжали въ саняхъ, большими и малыми партіями, личины; въ первый день была ассамблея у одного вельможи, на второй день у другаго. Степанычъ стоялъ у подъѣздовъ въ толпѣ гостей, видѣлъ алыхъ лакеевъ, видѣлъ какъ изъ кареты выползала княгиня и выпархивала Оленька, да ба! Хоронъ виноградъ, да киселъ! На третій день, рано утромъ, Степанычъ былъ у обѣдни въ соборѣ Исаакія Далматскаго. Эта церковь стояла тог-

да на берегу рѣки, тамъ почти, гдѣ приходится уголъ сенатскаго зданія. Послѣ обѣдни пошелъ онъ посмотрѣть на строеніе, единственное его развлеченіе и утѣху; только-что ступилъ онъ на ледъ рѣки, какъ увидѣлъ, что прямо на него ѣдетъ странный поѣздъ, — странный по своему великолѣпію. Низкая карета, сдѣланная наподобіе вѣера, какъ изъясняются современники, издали блистала позолотой. Степанычъ посторонился; мимо его прошли скороходы; за ними лакеи въ богатой ливреѣ; потомъ верхомъ, въ синихъ суконныхъ кафтанахъ, обложенныхъ мѣхомъ, а по нимъ золотыми позументами, проѣхали музыканты. Пажи также въ синемъ, но бархатномъ платьи, галопировали на красивыхъ коняхъ. Тогда уже медленной рысцой, на шести лошадяхъ, цугомъ, тянулась оригинальная карета; на дверцахъ сіялъ золотой гербъ, а на имперіалѣ огромная княжеская корона. Шесть каммергеровъ или или бѣжали по обѣ стороны кареты; одинъ изъ нихъ держался за ручку дверецъ. Лошади были въ сбруѣ изъ малиноваго бархата, съ золотыми бляхами. Степанычъ посмотрѣлъ въ карету: тамъ сидѣли три дамы и одинъ мужчина въ нарядномъ парикѣ. Одна изъ дамъ была Варвара Михайловна. Увидавъ Степаныча, она вскрикнула: — Ахъ, Господи! и стала что-то разсказывать мужчинѣ. Карета проѣхала. Шествіе заключилось драгунскимъ эскадрономъ. Степанычъ догадался, что это проѣхалъ Меншиковъ съ семействомъ, и долго еще любовался великолѣпіемъ поѣзда. На строеніи онъ не

нашелъ ни архитектора, ни пристава, ни работниковъ; походилъ онъ по этимъ пустыннымъ кучамъ кирпича и бревенъ, и воротился домой еще грустнѣе. — Чтобы не мучить Жатаго своею тоскою, Степанычъ притворился усталымъ и легъ будто отдохнуть. Не прошло и часа, какъ одинъ изъ этихъ бархатныхъ пажей, съ которыми онъ повстрѣчался на Невѣ, безъ доклада вошелъ въ комнату.

— «Кто тутъ изъ васъ дворянинъ Костыльковъ?»

— «А тебѣ на что?»

— «Ты, что ли?

— «Ну, я.»

— «Пожалуй сегодня на банкетъ къ его свѣтлости князю Ижерскому, въ зимній его домъ, въ шесть часовъ пополудни, приватно, то есть, не въ мундирѣ..»

— «Что ты, это мой голубчикъ, дурачишь меня?»

— «Стану я дурачиться. Князь, выходя изъ кареты, наказалъ отыскать тебяи приказъ его свѣтлости объявить. Да еще не все. Быть тебѣ въ зимній княжой домъ. У швейцара спросить господина Соловьева, княжаго маршала. Тотъ тебя къ Варварѣ Михайловнѣ проведетъ, а она уже тебя князю презентовать будетъ, въ малыхъ апартаментахъ. Ну, да тамъ тебя уже научатъ. Прощай!..»

— «Постой, голубчикъ! На тебѣ полтинникъ на орѣхи... за труды твои!..»

— «Дуралей! и я самъ такой же дворянинъ, какъ и ты, а чиномъ, чай, постарше.»

— «Вотъ ужъ и постарше! Я капралъ.»

— «А я гвардіи сержантъ... Прощай!»

— «Вотъ тебѣ разъ! Верховой мальчишка, — гвардіи сержантъ, дворянинъ! Ну, да я его за эту вѣсточку полковникомъ бы сдѣлалъ...»

И пошли хлопоты, пуще прошлогоднихъ. Въ четыре часа Степанычъ былъ совсѣмъ готовъ; въ шесть часовъ вступилъ въ пустыя сѣни зимняго княжескаго дома и ахнулъ. Лѣстница была уставлена благоухающими цвѣтами и залита свѣтомъ разноцвѣтныхъ фонарей и замаскированныхъ огней съ реверберами. На поворотахъ или площадкахъ огромныя зеркала обращали этотъ цвѣтникъ въ безконечный садъ. Облитый золотомъ швейцаръ, съ булавою въ рукахъ, какъ маятникъ, ходилъ взадъ и впередъ по сѣнямъ. Взглянувъ на Степаныча, онъ даже не остановился, а сухо спросилъ только: кого надо?

— «Господина маршала! Я здѣсь по указу его свѣтлости...»

— «Ступай по этому коридорчику. Кажется, они еще въ канцеляріи съ братцемъ.»

Робко отворилъ Степанычъ двери; вползъ тихо, неслышимо въ первую комнату и остановился, разсуждая: идти ли ему дальше или ждать тутъ. Разговоръ въ другомъ покоѣ съ перваго слова поглотилъ вниманіе Степаныча.

— «Чевушкинъ въ Питербурхѣ! Быть не можетъ! Ты ошибаешься, братъ?»

— «Я тебѣ не говорилъ бы, если бы его не видѣлъ и не принялъ моихъ мѣръ.»

— «Что же ты съ нимъ сдѣлалъ?..»

— «Хорошо, что онъ еще не успѣлъ ни съ кѣмъ видѣться. Ѣдетъ онъ себѣ на доброй тройкѣ въ крытыхъ саняхъ. Я ѣхалъ за городъ. Гляжу: онъ! Стой! Кирилла Александровичъ! — Батюшка, отецъ и благодѣтель! Знаешь, какъ онъ всегда... — Откуда это? — Изъ дома, изъ Москвы... — А гдѣ пристанете?—Еще не знаю.—Э! такъ я вамъ у чужихъ стоять не позволю. Мало ли мы съ вами дѣлишекъ-то обработали... Словомъ, взялъ я его къ себѣ... Напугалъ его, что будто его въ Питерѣ ищутъ... Увѣрилъ, что черезъ князя, я его выручу. — Давай я его допытывать... Онъ такую гиль понесъ, что упаси Господи. Что дворянинъ его обидѣлъ, что дворянинъ не дворянинъ, а другой есть, что отъ того другаго онъ привезъ просьбу въ Военную Коллегію... Вижу, что вретъ. Ясно, что его по нашему дѣлу изъ Москвы слѣдственная канцелярія выписала.»

— «Ну, а наше-то дѣло?»

— «Извѣстно, чѣмъ кончится. Кого-нибудь обвинятъ, а князя оправдаютъ »

— «И, братъ... обвинятъ-то насъ. Я имѣю сильное подозрѣніе, что на насъ вину сложатъ.»

— «Какъ это можно?»

— «Ну, ужъ я не такъ простъ, смѣкаю, и тоже принимаю свои мѣры. Книги для оправданія нашего, записки князя и письма, все собрано и

припрятано. Насъ арестуютъ въ первый день поста. Вспомни мое слово.»

— «Братъ, ты знаешь, что мы съ тобою въ этомъ дѣлѣ ни въ чемъ неповинны; развѣ въ томъ, что на Москвѣ черезъ этого дурака дѣйствіе производили. Не приложу ума, какъ бы къ нему привязаться и упрятать подалыше, хоть на время...»

— «Я вамъ помогу!» сказалъ Степанычъ, съ поспѣшностью входя въ канцелярію. Соловьевы перепугались.

— «Будьте покойны! Я не предатель, да и продать васъ не за что. Я ничего такого не слышалъ, а дошло только до моихъ ушей знакомое прозвище... Чевушкинъ, кажется, говорили вы?»

— «Да, Чевушкинъ, московскій подъячій.»

— «Ну, а вы меня не выдадите?»

— «Нѣтъ! Вотъ тебѣ икона, а вотъ тебѣ крестъ.»

— «Ну, такъ вотъ что! Не знаю, за чѣмъ зоветъ меня его свѣтлость...»

— «Да ты кто?»

— «Костыльковъ.»

— «Ахъ, Боже мой! Такъ говори же проворнѣе. Варвара Михайловна уже спрашивала...»

— «Да я вамъ скажу коротко и ясно. У него есть точно челобитная въ Военную Коллегію. Я долженъ получить ее нераспечатанною, а за то я вамъ выдамъ такой секретъ, что Чевушкина безъ слѣдствія сошлютъ въ Сибирь. Ну, да послѣ условимся, а теперь дѣлайте со мною, что указано...»

— »Пойдемъ! Братъ, обожди меня здѣсь...»

Вышли опять въ сѣни и отправились въ апартаменты Варвары Михайловны. — Степанычу показалось, что они прошли съ версту; такъ обширенъ былъ зимній домъ Меншикова съ пристройками. Варвара Михайловна сидѣла въ своей цвѣточной, одна-одинехонька, и при десяткѣ свѣчъ, висѣвшихъ надъ нею въ фарфоровой раковинѣ, читала книжку.

— «А!» сказала она, положивъ книгу. «Давно бы пора. Скоро балъ начнется. Соловьевъ, узнайка, поди, гдѣ братецъ... А, ты, молодецъ, гдѣ ты это запропалъ?»

Степанычъ молчалъ.

— «Можетъ-быть секретъ; такъ ты прости женскому любопытству; только мнѣ странно показалось, отъ чего тебя нигдѣ не видно.»

— «Не зовутъ.»

— «Вотъ что! Да ты, полно, не посватался ли на княжой племянницѣ? Видно, что такъ. Она этого не любитъ. Пятую племянницу выдаетъ замужъ по своей волѣ...»

— «Выдаетъ?.. То есть хотите сказать...»

— «А-га! Хочу сказать, что и Оленьку за Лукича прочитъ, а князь Лукичъ куда простоватъ! Будетъ тетушкѣ во всемъ послушенъ... Да нѣтъ ли у васъ чего съ Оленькой? Она, бѣдная, на глазахъ вянетъ...»

— «Господи!»

— «Княгиня говоритъ, что отъ ассамблей и баловъ... однако же, слава Богу, насъ не мало

здѣсь бабьяго пола: никто еще отъ забавъ не померъ. Вотъ мужчинамъ отъ великаго орла достается; похварываютъ. И про тебя пошла вѣсть, что не смогъ...»

— «Я?.. Это клевета! Я плясалъ до послѣдей...»

— «Ну, да людская молва, что морская волна; Ничѣмъ не уймешь. Вижу, тутъ интрига... Разрушай себѣ толки, какъ умѣешь; замѣтивъ твой умъ и увидавъ, что ты отъ орла не померъ, я рѣшилась познакомить тебя съ братомъ; доставить тебѣ протектора и руководителя, какъ слѣдуетъ. Ты можешь далеко пойти, можешь быть полезенъ Государю и отечеству. Вотъ мои виды. Объясняюсь откровенно.»

— «Его свѣтлость въ малыхъ апартаментахъ.» сказалъ Соловьевъ.

— «Никого нѣтъ?»

— «Только дѣти.»

— «Ну, пойдемъ!»

Варвара Михайловна позвонила. Явился нарядный пажъ. Она подала знакъ рукою и пажъ пошелъ впередъ, отворяя двери одну за другою. Всѣ корридоры были освѣщены: всѣ лѣсенки обиты мягкими коврами. Вступили въ малые апартаменты, и глаза Степаныча помутились. Золотые карнизы какъ-будто тяготились дорогóю ношею шелковыхъ занавѣсокъ; обои сверкали золотомъ и серебромъ; пóла будто не было: персидскій коверъ, чтó резина, такъ и подымалъ Степаныча. Мраморные столы между оконъ такъ и кряхтѣли подъ

тяжестью заморской бронзы; все это освѣщалось фонаремъ съ расписными стеклами. Но великолѣпнѣе и любопытнѣе всего были обитатели этихъ очарованныхъ палатъ. Князь Александръ Даниловичъ, генералъ-фельдмаршалъ, санктпетербургскій генералъ-губернаторъ, первый президентъ Военной Коллегіи, и старшій членъ всѣхъ высшихъ управленій въ государствѣ, хотя еще и не былъ сенаторомъ, казалось, и наружностью своею соотвѣтствовалъ своему сану. Огромный парикъ не закрывалъ выразительнаго и веселаго лица; черезъ плечо у него была андреевская лента, на груди — звѣзда и еще два иностранные ордена; онъ покойно сидѣлъ въ креслахъ и на колѣняхъ качалъ своего пяти-лѣтняго сына. Князь Александръ Александровичъ былъ въ преображенскомъ мундирѣ и чертами лица напоминалъ отца. На богатой бархатной софѣ сидѣла супруга князя, Дарья Михайловна, обнявъ семи-лѣтнюю дочь свою, княжну Александру; а старшая княжна, Марья Александровна, была уже невѣстой, и безъ чиновъ смѣялась и шутила съ графомъ Сапѣгою, нареченнымъ женихомъ своимъ. Въ этой комнатѣ была только одна чужая дама, графиня Софья Карловна Скавронская, родная племянница Императрицы; она также была молода и прекрасна,—и также смѣялась и шутила съ польскимъ любезникомъ, не предвидя, что нареченный женихъ княжны Маріи, по волѣ этого самого Меншикова, будетъ ея мужемъ Когда Варвара Михайловна вошла въ комнату, всѣ встали; смѣхи, шутки затихли.

— «Вотъ, ваша свѣтлость, я привела вамъ моего рекрута. Прошу любить и жаловать.»

— «Удивляюсь, что такъ поздно знакомлюсь съ тобою...» сказалъ князь, глядя прямо въ глаза Степанычу, что весьма было удобно, потому что герой нашъ ростомъ былъ двухъ аршинъ двѣнадцати вершковъ, точно такъ же какъ и Меншиковъ. «Въ какомъ полку?» продолжалъ князь.

— «За отсутствіемъ вашей свѣтлости, коллегія меня въ полкъ еще не назначила. Я пока вольный драгунскій капралъ.»

— «Капралъ? Кто же тебя пожаловалъ?..»

— «Генералъ какой-то на Москвѣ, проѣздомъ въ прошломъ году, по рапорту стольника Колычева...»

— «Ну, этотъ генералъ и насъ жалуетъ.»

— «Нѣтъ, ваша свѣтлость! Государя я имѣлъ счастіе видѣть, и не опознался бы...»

— «Можетъ-быть... Можетъ-быть. . Каждый генералъ-аншефъ въ малыхъ чинахъ жаловать можетъ. Я буду завтра въ Военной Коллегіи и разсужу о тебѣ.»

— «Ваша свѣтлость! Осмѣлюсь доложить, что я уже записался въ десантъ.»

— «Похвально. Такъ я тебя и назначу, согласно желанію.»

— «Смотри же!» подхватила Варвара Михайловна: «не забудь про Штокгольмъ...»

— «Рцы слово твердо...» отвѣчалъ Степанычъ непринужденно. «Особенно же теперь, когда я милостью такихъ персонъ не по заслугамъ взысканъ, мнѣ надо и за старое время учинить заслуги.

— «Такихъ обязывать пріятно!» сказалъ князь съ улыбкою, и потрепалъ Степаныча по плечу.

Двери отворились. Пажъ доложилъ: — Статсъ-дама Балкъ, и дѣйствительно, она вошла съ дочерью.

— «Здравствуй, князь. Дѣло идетъ на ладъ. Вся фамилія сейчасъ къ тебѣ будетъ.»

— «А Государь?» спросила Варвара Михайловна.

— «Будетъ попозже. Дописываетъ комерцъ-коллегіи регламентъ.»

— «Ну, такъ ступай же ты съ моимъ пажемъ,» сказала Степанычу Варвара Михайловна: «онъ тебя проводитъ въ аванъ-залъ, гдѣ тебѣ и быть до открытія бала...»

Видъ парадныхъ комнатъ поразилъ Степаныча не на шутку. Все, что̀ онъ въ жизни своей видѣлъ, не могло идти въ сравненіе съ этими покоями. Штофные обои аванъ-зала уже обратили на себя его вниманіе, но эффектъ возрасталъ по мѣръ того какъ онъ осматривалъ внутреннее убранство княжескаго дворца. Цѣльныя венеціанскія зеркала, люстры изъ разноцвѣтныхъ хрустелей съ золотыми и серебряными вѣтвями; штучные полы, а столы изъ деревянной мозаики, но такъ искусно сдѣланы, что птицы и растенія, изъ разноцвѣтнаго дерева выложенныя, походили нѣсколько на настоящихъ. Онъ заглянулъ и въ залу... Гобелены испугали его: сначала онъ думалъ, что это живые люди и соблазнился ихъ костюмомъ; но, примѣтивъ ихъ неподвижность, лошадей, и пейзажи, онъ догадался, что это картины, которыми Земцовъ совѣтовалъ

украсить гостиную тріумвирскаго дома. Мебель также понравилась Степанычу; стулья всѣ съ высокими рѣзными спинками были украшены гербами князя, точно такъ же надверники и наоконники аванъ-зала. Тутъ уже много было гостей, но купцевъ и ремесленниковъ уже не попадалось; въ аванъ-залѣ толпилась молодежь, въ залѣ дамы и высшіе сановники. Главное вниманіе Степаныча было обращено на дамъ; онъ искалъ и нашелъ Оленьку; нашелъ и перепугался. Она была очень блѣдна, и примѣтно похудѣла; чинно сидѣла Оленька возлѣ княгини, а та болтала съ какимъ-то вельможей и держала его за манжеты рукава. Видно, чтобы не ушелъ. Въ то же время позади Степаныча завязался разговоръ, который интересовалъ его не меньше Гобеленовъ и Оленьки.

— «Что, князь? Можно поздравить тебя?..»

— «Нѣтъ еще. Не идетъ на ладъ. Прикидывается будто не любитъ меня, знаешь, чтобы помучить, а куда не любить! Я подкупилъ горничную; та говоритъ, что по ночамъ обо мнѣ плачетъ. Пойди, пойми ихъ племя...»

— «А что, князь? Чай вы сегодня отколете алеманнъ?»

— «Да съ кѣмъ? Невѣста не умѣетъ, а съ другими не хочу: и такъ отъ ревности чахнетъ.»

— «Я еще не видалъ, какъ пляшутъ.»

— «Съѣзди къ Гопнѣ: тамъ наши дорогія кумушки знатно выплясываютъ.»

— «А что слышно про Леночку?»

— «Бросилъ. братецъ, бросилъ. Что ты будешь дѣлать! Что даромъ деньги бросать! Совсѣмъ отсталъ.»

То былъ князь Лукичъ, то былъ женихъ. назначенный княгинею Оленькѣ Каково было Степанычу слушать и не смѣть вмѣшаться въ разговоръ, уничтожить врага, отомстить за бѣдную дѣвушку и за себя!

Громъ музыки и новость зрѣлища отвлекли Степаныча отъ князька; онъ помѣстился почти въ самыхъ дверяхъ аванъ-зала и пожиралъ глазами новую картину. Отворились огромныя двери изъ малыхъ апартаментовъ; вышло шесть пажей, за ними шесть каммеръ-юнкеровъ, шесть каммергеровъ, оберъ-гофмейстеръ, наконецъ Императрица съ двумя Цесаревнами, за нею царевна Прасковья Іоанновна; тогда уже Дарья Михайловна съ нѣкоторыми дамами, князь Ижерскій и толпа царедворцевъ. Государыня привѣтливо поговорила съ нѣкоторыми дамами и сѣла на приготовленномъ мѣстѣ. Открылся польскій; мужчины изъ аванъ-зала вступили въ залу и подняли всѣхъ дамъ, за исключеніемъ самыхъ дряхлыхъ старухъ. Напоромъ толпы Степанычъ очутился въ залѣ и, не найдя для себя пары, воротился въ аванъ-залъ. Онъ едва успѣлъ воротиться. Польской нагналъ его и потянулся мимо, безконечной вереницей, въ другіе покои... Почти на самомъ концѣ цѣпи—шла Оленька въ парѣ съ какимъ-то нѣмецкимъ резидентомъ, увидѣла Степаныча, вскрикнула, и чуть не упала безъ чувствъ. Резидентъ умѣлъ ловко выдвинуть

ее изъ ряда и посадилъ на стулъ уже съ помощью Степаныча. Она скоро пришла въ себя.

— «Вы живы? Вы здоровы? Вы не ушиблись?» торопливо спрашивала она.

— «Я ничего не понимаю.»

— «А я понимаю все... Постойте! Она васъ не видала? Не показывайтесь ей на глаза... Спрячьтесь, если можно... Но къ чему? Не надо... Напротивъ того! Ступайте! Я еще не прошена ни на одинъ танецъ.. Пойдемъ, догонимъ польскій...»

И, схвативъ за руку резидента, она утащила его чуть не бѣгомъ.

Степанычъ рѣшился-было войти въ залу, но на порогѣ благоговѣніе къ Императрицѣ остановило его; онъ осмѣлился войти въ залу тогда уже, когда польскій черезъ малые апартаменты воротился и кавалеры стали раскланиваться съ своими дамами.

Оленька подошла къ тетушкѣ прежде чѣмъ Степанычъ. Князь догналъ ее и просилъ на первый менуэтъ.

— «Я уже прошена...» отвѣчала Оленька, такъ весело, непринужденно, что любо-дорого было смотрѣть на нея. «Вотъ мой кавалеръ!» — И Оленька подала руку Степанычу, кивнула головкой изумленной тетушкѣ, и ушла на мѣсто.

— «Какъ?.. Что?..» громко спросила смущенная княгиня. «Чтобы я позволила...»

— «Государыня изволитъ васъ спрашивать, княгиня!» сказалъ ей каммеръ-юнкеръ Монсъ, братъ генералыни Балкъ. «Пожалуйте!»

Княгиня отошла, а молодые люди, въ ожиданіи музыки, стоя на своемъ мѣстѣ, стали бесѣдовать.

— «Растолкуйте, Ольга Петровна, что̀ все это значитъ?»

— «Васъ уморили, Иванъ Степанычъ, тетушка и мой братъ. Къ чести Бориса скажу: эта ложь ему дорого стоила. Видѣли вы его сегодня?»

— «Нѣтъ.»

— «Скройте, что вы знаете объ этой дурной шуткѣ; иначе ему будетъ очень стыдно. Но перестанемъ объ этомъ. О, я съ вами теперь совершенно согласна: этотъ городъ...»

— «Договаривайте, Ольга Петровна! Не забудьте, что, можетъ быть, Промыслъ мнѣ подарилъ этотъ благополучный моментъ, чтобы опять отнять счастіе надолго...»

— «А вы счастливы?»

— «Теперь комплетно. Только бы васъ видѣть, слушать вашихъ рѣчей...»

— «И я тоже...» шепотомъ, дрожа, проговорила Оленька. Рука ея какъ живая рыбка трепетала на рукѣ Степаныча.

— «Что тоже? Не мучьте меня... Скажите!..»

— «Неужели еще не все сказано?..»

Раздалась музыка, но, къ удивленію нашей четы, то былъ не менюэтъ.

— «Это, видно, новый танецъ... Отойдемъ въ сторону...»

Отошли какъ разъ въ противоположную сторону той, гдѣ сидѣла княгиня. Напрасно тетушка заглядывала во всѣ стороны: ихъ не было видно.

Тетушка хотѣла пробраться на другую сторону; круги танцующихъ и толпа стѣсненныхъ зрителей ее не пропускали. Она вытягивалась, становилась на цыпочки; все напрасно; а они-себѣ спокойно бесѣдовали, если блаженство любви можно назвать спокойствіемъ. Долго ли признаться и произнести вѣчныя клятвы? Минутное дѣло; за то и вѣчность этихъ клятвъ — иногда мгновеніе. Кончился алеманнъ. Принялись за менюэтъ и Степанычъ отвелъ Оленьку на мѣсто.

— «Гдѣ это пропадала?..»

— «Тише, тетушка, на насъ смотрятъ.»

— «Еще бы не смотрѣли на дѣвку, что сама драгуномъ стала! А ты, батюшка, отваливай, не смѣй къ намъ на десять шаговъ подходить...»

Степанычъ поклонился и отошелъ, не желая подать повода къ какой-либо непріятной сценѣ. Въ аванъ-залѣ онъ нашелъ большую перемѣну въ публикѣ: прежде тутъ тѣснилась молодежь; теперь сюда перебрались старики и толковали о дѣлахъ. Степанычъ отошелъ къ окну, чтобы не мѣшать ихъ бесѣдѣ; но они не чинились, особенно князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ.

— «Такъ васъ можно поздравить, князь?» спросилъ его кто-то.

— «Съ чѣмъ тутъ поздравлять? Узнавъ, кого Государь назначилъ въ слѣдственную комиссію, я за себя былъ столько же спокоенъ, сколько нынѣ за другихъ опасаюсь. Когда мнѣ сегодня объявили, что я невиненъ, я поклонился секретарю и сказалъ: «Я это зналъ, дружокъ, прежде те-

бя. Прощай! Со старыми новостями въ гости не ѣздятъ.» Чай, секретарь питалъ надежду, что я его за такую вѣсть золотомъ осыплю.»

«Государь!» раздалось за дверьми, и черезъ мгновеніе вошелъ въ аванъ-залу Петръ, съ печалью на лицѣ; но, увидя князя Долгорукова, весело улыбнулся, прямо подошелъ къ нему, обнялъ и поцѣловалъ.

— «Спасибо!» сказалъ Государь.

— «За что, Ваше Величество?»

— «За то, что ты невиноватъ! Велика моя о тебѣ радость, но есть и великая печаль.»

— «Что́ случилось, Государь?»

— «Борисъ въ Москвѣ помре! Гдѣ Данилычъ?»

И Государь вошелъ въ залу. Никого не безпокоя, онъ дошелъ до Императрицы, молча взялъ за руку князя и увелъ въ малые апартаменты.

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Императорская фамилія недолго пробыла на балѣ; вслѣдъ за нею уѣхала и княгиня, притворясь больною; Степанычъ, оставивъ засаду, также ушелъ и отправился въ домъ Соловьева, который находился недалеко отъ зимняго дома князя Меншикова, за церковью Преображенья, на нынѣшнемъ университетскомъ дворѣ. Маршалъ еще не воротился съ бала, но братъ его уже былъ тамъ и ходилъ по комнатѣ въ глубокой задумчивости.

— «Ну, что балъ?» спросилъ онъ, какъ-будто просыпаясь отъ тяжкаго сна.

— «Манифичный! Чудо свѣта!» отвѣчалъ Степанычъ.

— «А! это ты? Ну, что́ намъ дѣлать съ Чевушкинымъ?..»

— «Пожалуй мнѣ трехъ или четырехъ смѣтливыхъ драгуновъ, подорожную на подводу и я его пошлю къ Нарышкину въ Москву, какъ криминала, дѣлающаго фальшивую бумагу разныхъ штемпелей, съ наличными доказательствами и документами. Разумѣется, надо отъ генералъ-губернатора бумагу, драгуна и подорожную... Только помни крестъ и слово...»

— «Неужели ты говоришь правду?»

— «Отвѣчаю головой; только если хотите успѣха, то я не долженъ быть замѣшанъ въ этомъ дѣлѣ ни на волосъ. Я все сдѣлаю, только...»

— «Ты не знаешь Соловьевыхъ! За вѣрность они и терпятъ. Ну, посиди же здѣсь. Я схожу въ канцелярію, доложу князю и — за дѣло!»

Больше часа просидѣлъ Степанычъ какъ на иголкахъ. Его мучили двѣ думы, недостойныя сходиться въ одной головѣ: Ольга и Чевушкинъ. Наконецъ оба Соловьевы воротились съ бумагами и драгунами.

— «Теперь все въ порядкѣ!» сказалъ Степанычъ, посмотрѣвъ бумаги. «Пріѣзжайте черезъ часъ домой и все уже будетъ кончено.»

— «Еще разъ повторяемъ тебѣ: не шути!»

— «Еще разъ повторяю вамъ: помните крестъ и слово!»

Степанычъ сѣлъ въ свои сани и, въ сопровож-

денiи драгуновъ, поскакалъ на почтовый дворъ, взялъ подводу, воротился на Васильевской Островъ, драгуны указали ему дворъ другаго Соловьева. Степанычъ, поставивъ одного на караулъ у воротъ, съ двумя другими вошелъ въ хоромы; именемъ князя Ижерскаго приказалъ вести себя къ Чевушкину, который спалъ сномъ сладкимъ, не ожидая грозы. Не успѣлъ Чевушкинъ проснуться, какъ уже былъ связанъ по рукамъ и ногамъ; вся эта мгновенная операцiя была произведена въ темнотѣ ночи, безъ свѣчей.

— «Обыщите его съ ногъ до головы!..» сказалъ Степанычъ не своимъ голосомъ. «Опричь рубахи не оставляйте на его тѣлѣ ни креста, ни иконы, а что́ найдете, принесите ко мнѣ. Ведите! Огня!..»

— «Слово и дѣло!» закричалъ Чевушкинъ отчаяннымъ образомъ.

— «Коли всякой мошенникъ станетъ кричать: «слово и дѣло», а команда высшихъ государственныхъ персонъ будетъ слушать, то въ преображенскомъ приказѣ мѣста не хватитъ, а воры размножатся, яко черви и другiя гады...»

— «Слово и дѣло!» ревѣлъ Чевушкинъ.

— «Завяжите ему глотку. Ну, ведите его въ сѣни... Огню!»

— «Головой отвѣчаете, господа! Повторяю: слово...»

Но Чевушкинъ не могъ кончить. Завязали ему ротъ и не повели, а понесли въ сѣни; между тѣмъ сонный лакей притащилъ свѣчу.

— «Поставь, и съ Богомъ!» сказалъ Степанычъ, и принялся обыскивать. Подъ подушкой нашелъ онъ маленькую кожаную сумку, со снуркомъ, для удобства ношенія на груди; въ комнатѣ былъ сундучекъ съ внутреннимъ замкомъ, и платье Чевушкина. Развязавъ сумку, Степанычъ нашелъ запечатанный пакетъ въ Военную Коллегію, также запечатанное письмо на имя Степаныча, съ адресомъ: «Ванькѣ мошеннику, подъ чужимъ прозвищемъ Костылькова въ Питерѣ проживающему. «Покайся, воръ окаянный!» Все это было написано рукою Сидора на обвертышѣ. Третья бумага въ сумкѣ — была проѣзжее письмо, выданное Буруновымъ его же провинціи помѣщику, отставному за ранами, маіору Кирилкѣ, Александрову сыну, Дятлову, а не Чевушкину.

«Хитро!» подумалъ Степанычъ. «Физіогноміи его въ Питерѣ не знаютъ, а имячко, чай, въ сенатѣ и коллегіяхъ сторожа вѣдаютъ.»

Вошелъ драгунъ.

— «Ну, что, нашли?..»

— «Ничего; ровно ничего.»

— «Что же онъ говоритъ?»

— «Что онъ станетъ болтать, когда языкъ завязали! Мычитъ себѣ подъ-носъ.»

— «Ну, возьми платье и бережно одѣньте его, и шубу напяльте и шапку; и глаза завяжите, про случай. Кто хочетъ изъ васъ съ нимъ въ Москву прогуляться?»

— «Коли на то власть у тебя есть, такъ мнѣ бы сподручно: у меня тамо и отецъ и жена...»

— «Ну, такъ ты и поѣдешь. Только проворнѣе! Вели-ка здѣшнимъ людямъ топоръ подать.»

Принесли топоръ. Степанычъ скололъ съ сундука крышку и... о радость!.. Сундукъ былъ преисполненъ клейменой бумагой, а въ боковомъ ящикѣ покоились штемпеля и какая-то машинка, да нѣсколько свертковъ съ золотыми. Степанычъ позвалъ драгуна. Вмѣстѣ съ нимъ пересчиталъ листы клейменой бумаги и деньги; приладилъ и гвоздями приколотилъ крышку; обвязалъ веревкой и потребовалъ сургуча и печати. Лакей указалъ на письменный столъ и тутъ только Степанычъ замѣтилъ, что Чевушкинъ содержался въ кабинетѣ Соловьева. Приложивъ печати, Степанычъ присѣлъ къ письменному столу, взялъ листъ бумаги и написалъ: «Выемка. Февруарія 26-го дня 1718 года. Пообыску, учиненному по приказу санктпетербургскаго генералъ-губернатора, при ворѣ и фалшивомъ дѣлателѣ клейменой бумаги Кирюшкѣ Чевушкинѣ, найдены того рукодѣлія воровскіе штрументы, семнадцать тетрадей клейменой воровской бумаги, четыреста девяносто два золотыхъ двурублевыхъ, да мелкою ходячею деньгою два полуполтинника, гривенникъ и полушка стараго битья; да съ обыска есть слѣдъ, что на Москвѣ у вора Чевушкина, на дому его, что̀ у Варварскихъ Воротъ, въ большой палатѣ подъ седьмой половицей отъ садовыхъ дверей, есть складъ тоя же бумаги; да про то его воровское ремесло отставной дьякъ Трофимъ Бердышъ и площадной подъячій Анисимъ Абрамовъ чаятельно вѣдаютъ, а если не вѣдаютъ,

то про жизнь и поведенцію его, вора Чевушкина, извѣстны. — Санктпетербургъ.» — Сложивъ бумаги въ одинъ обвертышъ и запечатавъ, Степанычъ надписалъ: «Московскому господину губернатору», отдалъ драгуну съ подорожною; приказалъ ввезти на дворъ почтовую подводу, помогъ усадить на нее Чевушкина и гора съ плечъ свалилась. Мычаніе Чевушкина было слышно и за воротами. Сани унеслись; драгуны поѣхали домой, а Степанычъ, спрятавъ сумку, усѣлся въ свои сани и покатилъ во всю прыть на городской островъ. Къ удивленію, онъ нашелъ Жатаго за ужиномъ.

— «Ты еще не спишь, Евгеній?»

— «Съ Моисеемъ Сергѣичемъ бумаги перебирали.»

«И я тоже!» подумалъ Степанычъ.

— «Нашли и пріятныя вещи...»

— «И я тоже...»

— «Знаешь ли, что мы съ тобой сосѣди по деревнямъ? Отецъ твой у насъ даже кое-что́ оттягалъ...»

— И у меня тоже...»

— «Да Богъ съ нимъ, когда такому сыну досталось. Ну, здравствуй душа моя! Чай, знатно поужиналъ...»

— «Куда! До банкета не дождался.»

— «Что́ же новаго?»

— «Что̀ новаго? Шереметевъ въ Москвѣ умеръ.»

— «Фельдмаршалъ? Вотъ тебѣ разъ, а кто же Шведовъ бить будетъ?»

— «Мало ли у насъ славнаго генералитета! Голицынъ и теперь тузитъ ихъ, Репнинъ, князь Ижорскій, генералъ-адмиралъ, и другой Апраксинъ, Степанъ Ѳедоровичъ, Бутурлины, Головины, Вейде, Брюсъ, Крюйцъ, Румянцовъ, Салтыковы, Нарышкинъ, Трубецкіе, всѣхъ не перечтешь, а подрастаетъ-то сколько! Чай, и мы съ тобою не послѣдніе будемъ...»

— «Ты такъ—а я плохой солдатъ. Дай Господи силъ поправиться. Ну, садись! Что, не видалъ Бориса?..»

— «Такъ, издали...» отвѣчалъ смутясь Степанычъ.

— «А Ольгу Петровну?»

— «Тоже.»

— «Тоже издали. Полно притворяться! Шила въ мѣшкѣ не утаишь; а хороша твоя зазнобушка, нечего сказать! Ты меня въ конфиденты взять не хочешь, а гляди, если другаго открою, обижусь. Ну, душа моя, что нашъ домъ?..»

— «Ползетъ.»

Степанычъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Сердце его жгла Оленька, да и сумка Чевушкина поджаривала. А тутъ, какъ на-бѣду, Жатый такъ краснорѣчиво описывалъ ему прелести дружеской жизни; видно, спать ему не хотѣлось, видно печаль по матушкѣ затихнувъ, дала волю чувствамъ дружбы и благодарности.

— «Хорошо, что ты богатъ,» говорилъ онъ: «а то бы я теперь для Ольги Петровны дѣлалъ за тебя подарки; домъ бы твой для свадьбы уби-

ралъ... Пошли бы дѣти, я крестный отецъ... не моги никто...»

Степанычъ страдалъ отъ этого избытка дружбы, но не смѣлъ прекословить, боясь отнять у Жатаго мечты, которыя, какъ легкій туманъ, затягивали память о матери; но она, какъ луна, томнымъ блескомъ просвѣчивала сквозь дымку этихъ поэтическихъ помысловъ, и отзывалась въ тайныхъ вздохахъ Евгенія... Уже и Жатый утомился отъ полноты чувствъ; собирался спать идти; вдругъ у воротъ кто-то постучался и вошелъ Земцовъ, на-веселѣ.

— «Здравствуйте, добрые ребята! А что́ я сегодня слышалъ...»

И пошелъ разсказывать всѣ городскія сплетни, потому что ему случилось быть у какой-то знатной дамы и простоять въ прихожей больше двухъ часовъ; отъ скуки онъ разговорился съ лакеями и наслушался разныхъ разностей. Тотъ женится на той, та выходитъ замужъ за того, а княгиня была сегодня поутру у той знатной дамы и просила въ пятницу на масляной къ себѣ; будетъ у нее для Оленьки сюрпризъ; сговоръ съ княземъ Лукичомъ; а свадьба послѣ поста.

Чевушкинъ и сумка его были забыты; весь міръ исчезъ; осталась только Оленька.

— «Послушай, Ваня!» сказалъ Евгеній. «Неужели ты всякому позволишь смѣяться надъ собою! Что́ это значитъ? Не вѣрю я, чтобы Оленька выходила за него по доброй волѣ...»

Степанычъ молчалъ...

— «Да развѣ...?» спросилъ Земцовъ.

— «Онъ любитъ Оленьку, Оленька его; тутъ нѣтъ сомнѣнія...»

Степанычъ ушелъ въ свою комнату, сѣлъ къ столу, облокотилъ голову на руки и утонулъ въ думахъ. Сергѣй, полагая, что баринъ собирается заниматься науками, какъ онъ иногда по ночамъ и дѣлывалъ, принесъ свѣчи, поставилъ на столъ и пододвинулъ чернильницу, можетъ-быть и безъ умысла... Степанычъ схватилъ перо и написалъ:

«Милостивая госпожа, Ольга Петровна!»

Зачеркнулъ.

— «Нѣтъ, что́ это за приказный языкъ съ такимъ ангеломъ!..»

«Милая Олинька!..»

Зачеркнулъ.

— «Нѣтъ, это уже слишкомъ по-мѣщански... Оленька...»

Степанычъ разорвалъ бумагу и взялъ другой листъ. Не думайте, что эта бумага была розовая или блѣдно-зеленая, съ каймами изъ цвѣтовъ, эмблеммъ, съ гербами, и такъ далѣе. Извините! Бумага эта была пѣгая, цвѣту яичницы на сковородѣ, толстая какъ солдатское сукно, покрытая волосками и буграми, словомъ, такая, какая нынѣ не употребляется и на макулатуру.

— «Нельзя Оленька. Слишко голо, не деликатно... прибавить развѣ несравненная... Неловко... Не лучше ли просто: Ольга Петровна! И разумѣется...»

И пошелъ писать, рвать, писать, переписывать,

рвать и опять писать... Уже утро — Степанычъ пишетъ... Звонятъ къ обѣднѣ... Степанычъ дописалъ, запечаталъ и убѣжалъ... Но какъ отдать? Люди не примутъ. Послать съ человѣкомъ, или подкупить почтоваго солдата? Подадутъ княгинѣ... Въ отчаяньи, Степанычъ ходилъ взадъ и впередъ по набережной. На полуверстѣ исходилъ онъ верстъ десять; не видалъ кто прошелъ, кто проѣхалъ,—и вѣроятно, прогулялъ бы онъ тутъ цѣлый день, если бы кто-то не кликнулъ изъ саней. Степанычъ оглянулся. То была мадамъ Гопъ. На запяткахъ торчалъ музыкантъ; изъ-подъ шинели выглядывалъ грифъ отъ скрипки.

— «Иванъ Степанычъ! Что вы меня совсѣмъ забыли?...»

Тотъ молчалъ и безъ мыслей смотрѣлъ на нея въ-оба.

— «Вотъ бы вы алеману у меня поучились! Знатный танецъ. Да, скажите, отчего вы съ Борисъ Петровичемъ поссорились?»

— «Я?»

— «Да, вы. Я удивилась, какъ онъ вчера прислалъ за мною и сталъ алеману съ сестрицей учиться... А Иванъ Степанычъ, а Евгеній Николаевичъ? Онъ такъ на меня взглянулъ, что я оторопѣла. Вижу, что провралась, и давай скорѣй за танцы... А чудаки, нечего сказать! Изволь ихъ выучить въ одинъ день. Нашли дуру... И сегодня еще не кончу...»

— «А вы ѣдете къ нимъ?»

— «Да-съ, къ нимъ.»

— «И это сани ихъ?»

— «Нѣтъ-съ! Что́ вы это! Ужъ будто у меня и своихъ саней нѣтъ! Завелась экипажемъ, за то и за лекціи дороже беру; расходовъ больше...»

— «Послушай, мадама! У меня къ тебѣ есть дѣло. Выйди на минутку изъ саней, я объясню...»

— «Да что́ вы это! Поглядите какая грязь, посмотрите на кого вы сами похожи.»

Въ самомъ дѣлѣ, Степанычъ походилъ на кречета подъ крапомъ: весь въ пятнышкахъ, не исключая и лица, украшеннаго брызгами отъ проѣзжавшихъ лошадей. Очищая себя, какъ можно, Степанычъ сказалъ:

— «Однако же, мадама, какъ угодно, я долженъ съ вами переговорить.»

— «Такъ пріѣзжайте въ танцъ-классъ.»

— «Сейчасъ, сей моментъ...»

— «Право, нельзя...»

— «Ну, послушай, мадама! Если ты мою просьбу исполнишь, — десять рублей и лошадь заводскую подарю; если не захочешь, — разорю твои секреты, что́ за тѣми дверьми, по́мнишь...»

— «Какіе тамъ секреты? Тамъ никакихъ секретовъ нѣтъ... А услужить вамъ я всегда готова.»

— «Такъ какъ же мы сдѣлаемъ?

— «Завернемъ въ австерію къ Милле... Садитесь!..»

— «Только не мимо княгини...»

— «Зачѣмъ же? И не доро́га... Ступай назадъ... А вы меня для виду поподчуйте завтракомъ.»

Вы уже знаете, гдѣ стояла австерія. Подъѣхали. Вышли. Стеклянныя двери задѣли за такой пронзительный колокольчикъ, что ушамъ стало больно — и въ то же время имъ на встрѣчу высыпало три или четыре молодыя дѣвушки, красивой наружности, въ свѣтлыхъ ситцевыхъ платьяхъ и въ кофейныхъ шелковыхъ передникахъ съ карманами. Изъ главныхъ дверей, то есть, изъ кухни, вышелъ сильный запахъ жаренаго, и высокій Нѣмецъ, въ парикѣ, чулкахъ, башмакахъ и сѣромъ кафтанѣ.

— «A Frau Hoppe!» сказалъ онъ съ большою любезностью: «Wie kommt das?»

— «Ein Zimmer a parte und ein Frühstück...»

— «Ich verstehe, ich verstehe...» отвѣчалъ Нѣмецъ съ улыбкой и согнувшись въ параллель съ поломъ, отворилъ одну изъ боковыхъ дверей.

Пока приготовляли завтракъ, Степанычъ объяснилъ свои желанія. Мадамъ Гопъ приняла охотно и предложеніе и письмо.

— «Кстати!» сказала она. «Я поѣду туда сейчасъ же, урокъ кончу мигомъ, и возвращусь къ завтраку. Пріятно будетъ намъ и покушать послѣ удачи, да и аппетитъ лучше отъ моціона.»

Мадамъ Гопъ уѣхала. Испуганный Нѣмецъ вбѣжалъ въ комнату и спросилъ съ торопливостью: «А фриштикъ?»

— «Готовь! Барыня сейчасъ воротится...»

— «А! это дѣло другое!»

Нѣмецъ осмотрѣлъ съ ногъ до головы Степаныча и придвинулся къ нему на нѣсколько шаговъ.

— «Вы, куда ни есть фрау Гоппе послали?»

— «Да, послалъ.»

— «Гмъ! Очень проворная дама.»

— «Очень...»

— «Я теперь на Васильевскомъ Острову большой домъ строю.»

— «И я тоже!»

— «А! Такъ мы будемъ сосѣдство имѣть. Я строю каменный домъ.»

— «И я тоже.»

— «Въ два этажа.»

— «И я тоже.»

— «На двадцати саженяхъ. Привиллегію я уже получилъ. Будетъ трактирный домъ на гамбурскій манеръ. Петеръ Милле... вы слыхали.. »

— «Нѣтъ...»

— «Я Петеръ Милле...»

— «Очень радъ.»

— «И я радъ, что еще одинъ большой господинъ...»

— «Боже мой, князь! Я и забылъ совсѣмъ. Эй, ты, Петеръ Милле, почисти меня.»

— «Сейчасъ! Эй Минна! Анхенъ! Щетки!»

— «Если пріѣдетъ мадамъ Гоппъ, скажи, что я сейчасъ ворочусь изъ Военной Коллегіи. Смотри, чтобы завтракъ былъ важный...»

И Степанычъ явился въ Военную Коллегію. Объ немъ доложили. Позвали въ присутствіе. Другаго президента не было. Только князь, да два совѣтника сидѣли за столомъ, покрытымъ бархатнымъ покровомъ съ золотыми кистями.

— «Очень радъ тебя видѣть,» сказалъ князь ласково. «Наша регула возвышать людей съ надеждами. Я на тебя надѣюсь и жалую въ сержанты моего эскадрона...»

Степанычъ обрадовался и опечалился. Ему хотѣлось и въ Петербургѣ остаться и на войнѣ отличиться.

— «Теперь уже приватнаго платья носить нельзя...» продолжалъ князь. «Ты уже номинально и реально служишь... А въ дессантъ я тебя откомандирую. Еще успѣешь... Скажу тебѣ только, что въ настоящей военной акціи, лучше быть уже офицеромъ, чѣмъ въ солдатской рангѣ. Ну, съ Богомъ!»

«Я это и безъ вашей свѣтлости знаю,» подумалъ Степанычъ, выходя изъ коллегіи. — «Но что вы изволили подъ всѣмъ этимъ супоновать, объяснится... Вотъ и она ѣдетъ...»

Прыгая черезъ лужи, Степанычъ подошелъ къ крыльцу въ самое то время, какъ пріѣхала мадамъ Гопъ.

— «Ну?..»

— «Атанде! Это вы изъ танцевъ понимаете, такъ же какъ и авансе.»

Уединились въ комнаткѣ мазанковой австеріи.

— «Ну?..»

— «Принято съ большимъ чувствомъ...»

— «Ну?...»

— «И все тутъ...»

— «А отвѣтъ?»

— «А отвѣтъ будетъ на завтрашней лекціи:

Такъ дѣла скоро не дѣлаются... Давайте завтракать.»

— «Спасибо, мадамъ Гопъ.»

И давай завтракать.

Послѣ урока, Оленькѣ стало что-то дурно; она выпросилась у тетушки прилечь и ушла въ свою спальню... Нѣсколько разъ успѣла она прочитать письмо, заливаясь въ антрактахъ слезами; выучила наизусть и встала, чтобы написать отвѣтъ. Письмо раскрытое лежало на столѣ, а Оленька подошла къ окну, чтобы выбрать для billet doux листокъ бумаги поглаже... Выбрала наконецъ, очистила кое-какъ отъ излишнихъ веществъ, выгладила ногтемъ и принялась писать. Только успѣла она вывести букву: И, да и задумалась. — «Нѣтъ, надо еще разъ прочесть, что онъ пишетъ...» сказала она вслухъ. Взяла со стола письмо, какъ вдругъ посторонняя костлявая рука вырвала письмо и раздался звонкій хохотъ тетушки.

— «Вотъ ты чѣмъ больна!» смѣясь говорила старуха безъ гнѣва, напротивъ очень ласково. «Вотъ я думаю въ этихъ амурныхъ письмахъ толку много. Князь Лукичъ и говоритъ-то... Впрочемъ я знала многихъ умныхъ людей: говоритъ, запинается, а пишетъ, будто Французъ... Боря! Боря! Поди-ка сюда...»

— «Тетушка!»

— «Да что за вздоръ такой! Я писать не умѣю, такъ за меня братъ амурныя письма и читалъ, и отписывался. Боря! ..»

— «Тетушка!...»

— «Да что ты, рохля этакая! Чего тутъ стыдиться! Вѣдь не дитя же безмозглое: взрослая дѣвка. Боря! Прочти-ка, что тутъ князь Лукичъ пишетъ...»

— «Князь Лукичъ?» смутясь спросилъ Борисъ.

— «Ну, да! Князь Лукичъ...»

— «Да князь Лукичъ читать-то...»

— «Что? Читать не умѣетъ! Врешь ты, дуракъ этакой! Ужъ ты одинъ только на свѣтѣ и учился грамотѣ! Носъ задираешь, будто въ новую академію или куншт-камеру въ сторожа собирается. Читай, говорятъ тебѣ!»

— «Тетушка!»

— «Да что вы сегодня оба только и знаете, что родство наше поминать! Ну, я тетушка, и на то тетушка, чтобы за братними дѣтьми смотрѣть и секреты ихъ вѣдать. Читай!..»

Борисъ взялъ письмо, увидѣлъ подпись и поблѣднѣлъ.

— «Боже мой!»

— «Братецъ!»

— «Ну, что тамъ такое? Непристойность какая? Вѣдь это съ глупости, матушка. Простительно. Умные—хуже. Повѣрь старухѣ. Трехъ мужей схоронила. Знаю умниковъ. А спроста проврался, да еще влюбленъ, такъ мудрено ли вздоръ какой отпустить. Меня не конфузься! Читай!..»

— «Не могу, тетушка!... Связно написано...»

— «Ну, такъ я къ Троицѣ за моимъ дьячкомъ пошлю. Тотъ не то княжую, куриную руку разберетъ... Палашка!..»

— «Погодите, тетушка! Оленька, прости... Боже мой, Боже!...»

— «О-го-го! Да это, видно, что ни есть другое! А? Что вы молчите! Покажи, есть печать?... Княжаго герба нѣтъ. Эге! Штуки! Ужъ это полно, не драгунъ ли нападаетъ? Ась?.. Что жъ вы молчите! Ахъ ты, срамница! Въ твои лѣта корреспонденцію затѣвать! Видишь, что́ выдумала! Тамъ-то, я думаю, всякихъ непристойностей...»

— «Читай же, Борисъ!» съ достоинствомъ и твердостью сказала Оленька! — «Читай! Я хочу, я требую, я должна оправдать честь моего жениха!»

— «Жениха!» воскликнули и братъ и тетка.

— «Читай!..» почти закричала Оленька и спокойно сѣла на постели.

— «Вотъ до чего у нихъ дошло! Вотъ тебѣ и ассамблея! Ну, читай, читай! Поглядимъ, послушаемъ!»

«Ольга Петровна!» такъ началъ Борисъ: «если бы не городскіе слухи, никакъ бы я не дерзнулъ васъ эпистолой моей безпокоить. Слишкомъ чту себя недостойнымъ, чтобы писать къ такой персонѣ, коя модель добродѣтели и всякаго совершенствія собою образуетъ. Но усмотря противу васъ комплотъ, и вѣдая, что вы къ князю Лукичу ни коея склонности не сохраняете, а въ критическомъ положеніи не будете имѣть времени составить на тотъ случай приличнаго концепту, я счелъ моимъ долгомъ извѣствовать вамъ, какъ вѣрный вашъ рабъ и адмираторъ, что въ пятокъ, то есть, завтра, созваны уже гости на прелиминарный альянсъ, то есть, сговоръ вашъ съ княземъ-Лукичемъ...»

— «Разбойникъ!» закричала княгиня, сжавъ ку-

лаки и топнувъ ногою. «Ну, читай, читай! Что будетъ дальше?»

«Примите резолюцію, какую благоизволите! Вы вчера сказали, чтобы я ни на какую антрепризу самъ собою не подымался. Слово устъ вашихъ — для меня законъ. Счастливымъ почту себя, когда пунктуальнымъ исполненіемъ вашей воли заслужу апробацію вашу. Но поелику двери дома княгини для меня заперты, а Борисъ Петровичъ ото всякаго со мной знакомства, даже отъ конверсаціи отказался, то можете супоновать безъ омылки, въ какихъ тортурахъ нахожуся. Все мое упованіе на Бога! Одно только могу вамъ сказать, что какое бы огорчительное для меня событіе ни произошло, какъ бы вы ни поступили, только будьте счастливы, только найдите благополучіе,—и я безропотно покорюсь моей фортунѣ и до конца моего, имя ваше на сердцѣ хранить и всѣми помышленіями моими адоровать и восхвалять буду. Безъ вашей воли, не сдѣлаю ни одного шага. Приказывайте! Не только слово, мысль вашу свято исполнитъ вашъ вѣрный и недостойный рабъ, Иванъ.»

— «Все?» спросила съ бѣшенствомъ княгиня.

— «Все.»

— «Врешь! Тутъ должно быть больше! Ужъ будто онъ объ амурахъ ничего не пишетъ!»

— «Кажется, тутъ довольно...»

— «Ты опять умничать, Борисъ! Читай, говорятъ тебѣ ..»

Ольга встала, взяла письмо изъ рукъ Бориса, спрятала на грудь и покойно усѣлась въ креслахъ насупротивъ тетушки

— «Это что? Бунтъ, революція!»

— «Тетушка!...»

— «Подай письмо!..»

— «Не горячитесь, тетушка, вы его не получите!»

Княгиня онѣмѣла, а Ольга воспользовалась этимъ случаемъ и сказала:

— «Вы, тетушка, скрывались отъ меня, я — отъ васъ; мы квитъ; но теперь надо объясниться. Господинъ Костыльковъ—мой женихъ! Или я пойду за него, или въ монастырь! Клянусь дѣдушкой и монмъ къ вамъ уваженіемъ, тетушка, я люблю Ивана Степаныча не какъ ребенокъ, а какъ взрослая женщина; я получила отъ него письмо и напишу ему отвѣтъ, потому что вы сами сказали, что я на это имѣю право .. Мой отвѣтъ будетъ такой: «Да, любезный другъ, ты не ошибся... Завтра, сговоръ, только не съ князь-Лукичемъ, а съ тобой. Приходи завтра, тетушка хочетъ обнять своего племянника и презентовать родственникамъ.» Тетушка, въ которомъ часу будутъ гости? Надо и это написать...»

— «Чтобы я позволила!»

— «Тетушка!» съ нѣжностью сказала Ольга: «неужели вы захотите моего несчастія! Что васъ интересуетъ въ этомъ князѣ? Богатство? Костыльковъ — богаче; умъ — объ этомъ говорить не станемъ...»

— «Чинъ, матушка! Подумай, что ты, дочь Словцева, внучка окольничаго, правнучка бояръ— капралына. Всю семью опозоришь.»

— «Да вѣдь и я не княгиня какая! Простая дворянка...»

— «А станешь солдаткой! Будь онъ по малой мѣрѣ лейтенантъ гвардіи, какъ князь...»

— «Будетъ.. »

— «Мало ли чего? Будетъ, когда ты съ костылемъ ходить станешь!»

— «Черезъ годъ будетъ.»

— «Ну, такъ тогда пусть и сватается. А теперь за князь-Лукича...»

— «Кончимъ, тетушка, полюбовно...»

— «Да что ты это въ самомъ дѣлѣ! Ужъ не изъ ученыхъ ли ты? Что ты меня учить думаешь!..»

— «Учить я никого не думаю, но знаю, что воли моей никакая власть не возьметъ. Сзывайте, тетушка, гостей, родныхъ, я завтра прощусь и съ ними и съ вами. Я увѣрена, что тѣ меня хоть пожалѣютъ, а вы... Но оставимъ этотъ разговоръ. Напрасно время тратить. Думаютъ: дѣвчонка, товаръ. Любому глупцу продать можно. Вижу я вашихъ племянницъ, что̀ выдать замужъ изволили. Не наплачутся. Пусть же хоть одна посмѣется. А если ужъ нельзя иначе, надо плакать, такъ лучше въ монастырѣ; по малости, люди не будутъ насмѣхаться...»

Тетушка совершенно смутилась. Неудачные браки племянницъ давали страшный вѣсъ словамъ Оленьки.

— «Да что ты ко мнѣ привязалась? Выходи за кого хочешь, только я не дамъ благословенія...»

— «Воля ваша, а я сажусь писать къ Костылькову...»

— «Не срами же и ты меня, Оля! Я умру со стыда передъ родными, когда кольцами съ тобою помѣняется простой драгунъ, солдатъ... Погоди, по малой мѣрѣ, пока онъ хоть лейтенантомъ...»

— «Тетушка!»

И братъ и сестра бросились на шею княгинѣ.

— «Полно, полно! Дѣти мои! Ваше счастіе мнѣ дороже всего!... Склонность твоя — все побѣдила! Но уважьте меня, старуху! Не дайте языкамъ поганымъ клеветать на меня! Сохраните въ тайности... И что́ я сдѣлаю съ княземъ?..»

— «Князь Лукичъ пріѣхалъ...» вбѣжавъ, сказала горничная.

— «Вотъ тебѣ разъ! Погубила ты меня, Оленька.. »

— «Не бойтесь, тетушка, я къ нему выйду и все улажу...»

Борисъ скоро вернулся.

— «Ну, что?»

— «Поѣхалъ роднымъ отказывать.»

— «А претекстъ?»

— «А претекстъ тотъ, что тетушка забыла, что еще года нѣтъ; трауръ не отошелъ.»

— «Умница!»

— «Завтра же день дѣдушкиныхъ поминокъ...»

— «Разумникъ! Поцѣлуй меня! Ну, что́ теперь дѣлать?..»

— «Написать Костылькову...»

— «Только въ тайности! Бога самого ради, въ тайности!..»

Ольга принялась писать. Степанычъ по милости Пахомыча, а паче Квинтиліануса, былъ бойкій писака, а всю ночь промучился. Оленька съ трудомъ прописи переписывала, а отвѣтъ написала въ минуту и отдала Борису. Курьеръ не пошелъ, полетѣлъ къ сосѣдямъ, которые такъ давно его не видали.

— «Здравствуйте, Евгеній Николаевичъ!»

Жатый сталъ креститься.

— Съ неба, Борисъ Петровичъ, что ли?..»

— «На небо, Евгеній Николаевичъ... Я такъ радъ, такъ счастливъ, вы не повѣрите...»

— «Чему же вы рады?»

— «Тому, что васъ вижу, «смутясь отвѣчалъ Борисъ. «А гдѣ же Иванъ Степанычъ?..»

— «Иванъ Степанычъ съ ума сошелъ. Заперся и никого къ себѣ не пускаетъ.»

Жатый говорилъ правду. Степанычъ, возвратясь съ завтрака, вспомнилъ про сумку, заперся и ну читать. Сначала онъ прочелъ просьбу въ Военную Коллегію — и засмѣялся.

— «Знатно придумано, да хитрость не удалась! Чевушкинъ теперь другой просьбы не напишетъ, а Бурунову слово напишу, прикуситъ языкъ... Ну, что дальше?»

Распечаталъ онъ другое письмо; оттуда вывалилась записка, которую Степанычъ заблагоразсудилъ прочесть прежде.

«Иванъ Степанычъ! (писано было рукою Сидора) бѣгите за море! Бѣда вамъ будетъ. Тутъвсе на вашу смерть состряпано. Держатъ въ тайности, пока отъ тестя изъ Питера вѣсточка придетъ. У насъ все вверхъ дномъ пошло. Спасибо, что Меланья Ивановна Дуняшу приняла... Всю дворню разогнала новая хозяйка. Барыня больно пополнѣла, да баринъ не радуется... Вотъ мой совѣтъ: перехватите, если поспѣете, у кого ни есть денегъ на нашъ счетъ, да и улепетывайте за море... Долго стряпали; не вывернешься... а ругала васъ только рука моя, по чужимъ словамъ. Не осерчай... А денегъ ни алтына не получите. Прощайте, навѣки!..»

—— «Что за вздоръ! Да, это онъ на челобитную намѣкаетъ... Ну, теперь она въ своемъ мѣстѣ; пусть ждутъ отъ Чевушкина вѣсточки. Не дождутся; а тутъ надо принять свои мѣры. Прочтемъ эту бумагу еще...»

Записка эта съ извѣстнымъ вамъ адрессомъ была также писана рукою Сидора, и начиналась такъ:

«Ахъ ты мошенникъ этакой... вздуютъ тебя палочьемъ, ошельмуютъ, повѣсятъ во всѣхъ городахъ на показъ и въ науку. — Денегъ? Вотъ я тебѣ дамъ денегъ! Что ты думаешь? Отобралъ у меня вотчину. Женилъ меня на своей любовишкѣ. Постой, постой! Оженю я тебя съ веревкой, да перекладиной. Ни алтына не получишь, разбойникъ, и прежнее, если не прошилъ, такъ доправятъ. Провались ты!..» И такими и подобными выраженіями заключалась записка. Степанычъ зналъ съ кѣмъ имѣлъ дѣло, но вотъ что́ странно, эти ругательства его раздражали, бѣсили, довели до изступленія.

— «О, если такъ, — погоди, я васъ по своему приму!» закричалъ онъ.

— «Примите, Иванъ Степанычъ, дорогаго гостя...»

— «Некогда!»

— «И Борису Петровичу некогда?»

— «Борисъ!..» Степанычъ не договорилъ, наскоро собралъ и спряталъ бумаги и впустилъ гостя, покраснѣвъ до ушей. Сердце у него отъ страха выскочить хотѣло.

— «Иванъ Степанычъ, два слова!..»

«Плохое начало... Того гляди на дуэль... Государь разсердится, а дѣло гоноровое, отказаться стыдно!...»

Такъ думалъ Степанычъ, едва двигаясь къ окну за Борисомъ.

— «Вотъ вамъ назадъ письмо,» сказалъ Борисъ, едва удерживаясь отъ смѣха, потому что Степанычъ былъ точно смѣшонъ въ эту минуту.

«Назадъ! Покорнѣйше благодарю... Да зачѣмъ вы сами трудились?..»

— «Распечатайте!»

— «А оно не распечатано! Какое великодушіе!»

— «Да распечатайте!..»

— «Да зачѣмъ же распечатывать? Вѣдь я знаю, что́ тутъ написано.»

— «Нѣтъ, не знаете...»

— «Что́ жъ вы полагаете, что я писалъ въ горячкѣ, что я съ ума сошелъ, если дерзнулъ помышлять объ Оленькѣ?.. Конечно. Я виноватъ! Я оскорбилъ ее моею дерзостью... О... Сто разъ я пожалѣлъ, что принялъ резолюцію писать... Но опасность ея... Но...»

— «Да распечатайте!..»

— «Извольте! Я распечатаю, чтобы доказать вамъ, что тутъ нѣтъ ничего обиднаго... Вотъ.. Что́ это!.. Да это не мое письмо?.. Я распечатывать не смѣю...»

— «Да оно къ вамъ ..»

— «Ко мнѣ, отъ васъ?.. Вы можете на словахъ сказать: я готовъ; суди меня Богъ и Государь, я ни отъ чего не откажусь...»

— «Надѣюсь...»

— «Извольте выбирать оружіе, на пистолетахъ, на штыкахъ, хоть на арматахъ...»

— «Да прочтите!»

— «Нѣтъ. Я читать не буду. Тамъ можетъ быть есть какое-нибудь обидное слово. Писать не то, что говорить...»

— «Такъ я прочитаю...»

— «Извольте!»

«Любезный другъ! Викторія!

— «Да отъ кого же это? Какая викторія! Теперь замиреніе стало.»

«Ты будешь офицеромъ, черезъ годъ...

— «Я почемъ знаю? Сегодня я сержантъ, это я знаю.»

«Не правда ли, ты будешь офицеромъ!..

— «Ахъ, Господи! Да какъ я могу знать!»

«Объ этомъ проситъ тебя твоя — Ольга...»

— «Что, кто?..»

«Тетушка согласна; но чинъ—кондиція... Иначе я долго просижу въ твоихъ невѣстахъ; но я знаю, что ты меня скоро отсюда выручишь...»

— «А если меня убьютъ на войнѣ...»

«Жизнь и смерть во власти Божіей. Господь сохранитъ тебя; а если Онъ у меня тебя отыметъ, я пойду въ монастырь, но никому принадлежать не буду.. »

— «Викторія! Викторія! Борисъ! Братецъ! Евгеній...»

— «Тише, тише! Еще кондиція:.. держать этоть аккордъ въ тайности...»

— «Держу! Держу! Молчу! Я нѣмъ!.. О, дай мнѣ этотъ папиръ многоцѣнный!...»

— «Я еще не кончилъ: «но лучше, если ты будешь офицеромъ...»

— «Капитаномъ, генераломъ! Ну, Штокгольмъ, теперь ты мнѣ еще нужнѣе.»

Изъявленіямъ восторга не было бы конца, если бы Борисъ не наложилъ на уста Степаныча печати молчанія и не ушелъ домой. На смѣну Борису явился Евгеній, грустный, печальный! Тотъ обнималъ друга и плакалъ отъ радости; этотъ плакалъ съ тоски.

— «И такъ!» тихо сказалъ Евгеній. Степанычъ, опомнился.

— «Что такъ?»

— «Неужели и теперь ты еще будешь скрываться отъ твоего друга, тогда какъ этотъ другъ готовъ тебѣ пожертвовать всѣмъ своимъ состояніемъ?»

— «Состояніемъ?..» перебилъ Степанычъ и страшная мысль кошемаромъ захватила грудь его. «Боже великій! Куда я попалъ? Куда увлекъ Ольгу?»

Чудовищное привидѣніе возрастало.

— «Не сегодня, такъ завтра!.. Не удалась хитрость плута; глупость дурака можетъ открыть все!.. О, Евгеній!..»

— «Что съ тобой, Иванъ? Ты женишься на Ольгѣ? Ты счастливъ?»

— «Я — несчастнѣйшій человѣкъ въ этомъ мірѣ. Я не заслуживаю твоей дружбы! Я обманщикъ! Я — не я! Я чучело...»

— «Что́ такое?»

— «Тайна моя должна же когда-нибудь выйти наружу. Не оскорблю тебя недовѣріемъ! Не...»

Степанычъ обошелъ и заперъ всѣ комнаты.

— «Ну, садись, Евгеній! Исторія моя не коротка и даже не забавна. Ты долженъ знать все...»

И Степанычъ разсказалъ Евгенію повѣсть печальную, которую мы отчасти знаемъ, отчасти уже смѣкаемъ.

— «И вотъ.. » продолжалъ Степанычъ: «на краю какой пропасти я остановился. Месть моя не кончилась! Я хочу, чтобы Костыльковъ пошелъ по-міру, какъ бродилъ я, несчастный! За смерть отца заплатить смертію я не въ силахъ; но разорить его до тла, — это рѣшено. И я сегодня же пойду искать купца на всѣ Костыльковскія волости...»

— «Не трудись! Я покупаю всѣ твои отчины! Богъ далъ мнѣ бездну денегъ. Онѣ и такъ твои! Жизнь моя для меня больше сто́итъ! По рукамъ!»

— «Евгеній, и ты меня не презираешь?»

— «Напротивъ, тутъ чувство сыновней любви. Я не поступилъ бы иначе, хотя у меня и нѣтъ ни твоего разума, ни твоего права. Пиши инструкцію; мы возьмемъ въ секретъ третьяго...»

— «Боже сохрани!»

— «Не безпокойся! Я Моисею Семеновичу больше вѣрю, чѣмъ себѣ! Пиши ему инструкцію: онъ изготовитъ всѣ акты, поѣдетъ на мѣсто — и месть твоя совершится. А насчетъ Ольги Петровны, такъ вотъ что́ я думаю. Не можетъ быть, чтобы ты въ компаніи не отличился. Когда тебя взыщутъ

именемъ героя, тогда принеси повинную. Помилуютъ. За деньги не безпокойся; я у тебя куплю твои отчины не даромъ. Садись, пиши инструкцію! Времени немного. Снѣгъ бѣжитъ. Солнце печетъ. Нева вскроется и грянетъ война...»

— «Но Оленька! Что будетъ съ нею, когда она узнаетъ!..»

— «Посмѣется надъ невѣждой Костыльковымъ и отдастъ руку тому, кто заслугами сотворилъ себѣ громкое имя. Ну, садись писать инструкцію!»

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

СТАРЫЙ СЛУГА.

— «Что, Дуняша?.. Не видно барина?» спросила Малаша, глядя съ красивой террасы, возобновленной въ старомъ саду Старой Усадьбы.

— «Не видать!.. Видно за очеретомъ, гдѣ ни есть удитъ... Солдатскія ладьи всѣ на перечетъ видно.»

— «Плохи же, Дуняша, глаза у тебя. Вонъ онъ сюда правитъ...»

— «Ахъ, и въ самомъ дѣлѣ...»

— «Побѣжимъ на пристань!»

И побѣжали. Пристань была возобновлена по указаніямъ Евдокимовны въ томъ видѣ, въ какомъ была при покойномъ помѣщикѣ.

— «Ну, Малаша! Быть важной перемѣнѣ...» сказалъ Лукомкинъ съ лодки.

— «А что?»

— «Погляди! Ловилъ я мелкую рыбицу; не кле-

вала; я и бросилъ. Говорю: закинемъ невод, рыбы наловимъ, да и обманемъ Малашу, будто крючкомъ нахватали. Закинули — и вонъ что́ поймали... Осетра! Гость издалече! Гляди: новость услышимъ. Чай, указъ пришлютъ въ Питербурхъ ехать. Вора ни одного на сто верстъ кругомъ неслышно. Что тутъ за-дарма́ сидѣть. Весна. Чай, уже и въ Питеръ Неву продыравило. Люди въ походъ собираются... А мы тутъ безъ дѣла сиди, да рыбу лови...»

— «Ну, не безъ дѣла! Погляди, по хозяйству-то что́ надѣлано. Хоромы поправлены, садъ, огороды, пристань, плотъ; только церковь.... охъ, церковь! Негдѣ за бѣднаго брата молебны править. Чай, ему, горемычному, плохо безъ насъ. Ни слуху, ни духу ..»

— «Богъ милостивъ, жена! Гляди: молчитъ, молчитъ, да и выкинетъ штуку, въ родѣ свадьбы Костыльковской... А что, Аграфена Кирилловна больше не заѣзжаетъ?..»

— «Проѣзжала, какъ тебя не было, да не заѣхала. Видно, пріемъ не полюбился.»

— «Я ей напрямки сказалъ: отваливай! Отцевское племя. Зло замышляетъ, да въ ломжинской шкурѣ дѣйствовать трудно. За то, чай, въ Костыльковкѣ знатно управляется. И чего она ѣздитъ такъ часто...»

— «Говорятъ, для здоровья. Приплодъ уже носитъ.»

— «Гм! Что это? Кажись на плотъ гости ѣдутъ, а плотъ на этой сторонѣ. Перевозчики спятъ. Сходи-ка, Дуня, разбуди.»

Точно. Колымага четверкой остановилась на луговой сторонѣ у перевоза.

— «Видно, изъ Питера прямо гости ѣдутъ. Чай, теперь любо кататься: нѣтъ разбою; покойно... Надо, Малаша, тутъ вмѣсто этого дряннаго кружала станъ затѣять съ большимъ постоялымъ дворомъ. Тутъ самый лучшій пунктъ, а то переѣздъ въ шестьдесятъ верстъ и для ямскихъ тяжелъ. Какъ буду на Москвѣ, въ ямской приказъ схожу; ордеръ выхлопочу. А гдѣ заведется станъ, много веселія прибудетъ... Пойдемъ, поглядимъ на гостей.»

Паромъ уже подходилъ къ берегу. Проѣзжій господинъ стоялъ напереди плота — и о чемъ-то разспрашивалъ перевозчиковъ.

— «Такъ это самъ капитанъ и есть?» сказалъ онъ. «Здравствуйте, Семенъ Романычъ! Иванъ Степанычъ вамъ кланается...»

— «Братецъ! Вотъ тебѣ и осетръ! Что онъ, бѣдняга?»

— «Чѣмъ же бѣдняга! Слава Богу, сержантъ!»

— «Сержантъ! Вотъ тебѣ и осетръ!»

— «Съ Ольгой Петровной Словцевой помолвленъ. Знатной фамиліи невѣста. Свадьбу отложили до зимы, когда экспедиція на Шведа кончится... Здравствуйте! А вотъ вамъ и письмецо!.. Только намъ надо его вмѣстѣ прочитать.»

— «Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?»

— «Моисей, Семеновъ сынъ, Лыкохватовъ, вашей губерніи помѣщикъ...»

— «Милости просимъ! Мы дорогому гостю рады...»

И пошли въ хоромы. Долго толковали наединѣ. Выпили къ столу. Лукомкинъ былъ очень задумчивъ, но Моисей Семенычъ шутилъ надъ его грустью.

— «Не опасайтесь, Семенъ Романычъ! Воевода будетъ на нашей сторонѣ. Только я съ нимъ слова два перемолвлю...»

— «А воеводиху я вамъ на помощь дамъ.»

— «А Митюшкинъ здравствуетъ?»

— «Здравствуетъ... Только этого труса лучше не трогать; и безъ него обойдемся. Чѣмъ меньше, тѣмъ лучше. Ну, а гдѣ же осетръ? Онъ-то намъ вашъ пріѣздъ выпророковалъ. Такъ пусть же собственною персоною васъ потрактуетъ.»

Подали осетра, отобѣдали. Между тѣмъ приготовили таратайки. Капитанъ сдалъ команду старшему и съ Моисеемъ Сергѣевичемъ отправился въ провинцію. На другой таратайкѣ ѣхалъ слуга гостя, денщикъ Лукомкина и везли провизію. Пристали въ обывательскомъ домѣ, почистились и пошли къ воеводѣ. Хотя былъ постъ, но у воеводы всѣ окна горѣли на дворѣ и у воротъ стоялъ разный провинціальный экипажъ; комнаты были биткомъ набиты гостьми. Отъ орѣшной шелухи, финиковыхъ косточекъ и вѣтокъ изюмныхъ непріятно было ходить. Никого знакомаго. Во второмъ уже покоѣ Лукомкинъ увидѣлъ своего товарища, земскаго коммиссара: надъ огромною чарой пуншу, состряпаннаго изъ запрещеной унгарской водки, онъ сидѣлъ со всею важностью, и металъ фараонъ. Вы спросите, да развѣ тогда играли въ фараонъ? Неотмѣнно играли, какъ то я знаю положительно не только фактически, но и теоретиче-

ски. Это Французы, по врожденному хвастовству своему, изобрѣтеніе картъ себѣ приписали. Неправда. Карты составляли одно изъ неизвѣстныхъ египетскихъ таинствъ. Легчайшая и труднѣйшая игра фараонъ была изобрѣтена за тридцать вѣковъ до нашего времени, въ царствованіе Аменофа Третьяго и по имени Фараона получила такое названіе, такъ точно, какъ игра «короли» названа въ честь вестфальскаго конгресса. И такъ коммиссаръ металъ египетскую древнѣйшую игру; гости *пунтировали;* также египетское слово. На другихъ столахъ также играли и въ зернь и въ карты.

— «Что ты это дѣлаешь?» спросилъ Лукомкинъ.

Коммисаръ взглянулъ вверхъ, вскочилъ, вытянулся и произнесъ на манеръ рапорта:

— «Виноватъ, ваше благородіе! Шутимъ!»

— «Продолжай, продолжай! Не мое дѣло! Да что сегодня у васъ за праздникъ такой?..»

— «Максимъ Ивановичъ родился...»

— «А гдѣ Максимъ Ивановичъ?»

Коммисаръ нагнулся и сказалъ на ухо:

— «Въ цвѣточной.»

— «Съ кѣмъ?»

— «Съ камеришей...»

— «Да развѣ Кононъ Андреевичъ?..

— «Воевода женилъ ихъ...»

— «А Меланья Ивановна?»

Коммисаръ не разгибаясь отвѣчалъ:

— «Тоже вонъ въ той комнатѣ.»

— «Съ кѣмъ?»

— «Съ тремя собесѣдниками! Пройдите, ничего, она безцеремонная у насъ такая:»

— «Пойдемъ!»

Воеводиха была одѣта во всѣ цвѣта радуги, нарумянена и набѣлена до-нѣльзя; на головѣ у нея была жемчужная наколка съ перьями, что̀ давало ей видъ индіянки. На шеѣ тоже крупный жемчугъ; на рукахъ также. Въ самомъ дѣлѣ, она играла съ тремя молодыми парнями неизвѣстнаго званія и чина; играла въ носки, и когда вошли въ комнату наши гости, передъ нею на колѣнахъ на табуретѣ стоялъ одинъ игрокъ, зажмурясь, а она, держа въ рукахъ карты, дѣлала движеніе, будто хочетъ больно ударить.

— «Вотъ я тебя, мордочка! Держись!»

— «Да ужъ бейте, ваше высокоблагородіе: одинъ конецъ...»

— «Ну, вотъ видишь, какъ я тебя легонько ударила. На, поцѣлуй ручку...»

— «Честь имѣю поздравить васъ съ новорожденнымъ, Меланія Ивановна!» сказалъ капитанъ.

— «Ахъ, Господи! Пошелъ ты вонъ, болванъ, чего ты тутъ на колѣнахъ торчишь!»

— «Да оно, Меланія Ивановна,» замѣтилъ капитанъ: «удобнѣе...»

— «Точно, удобнѣе, батюшка. У меня и такъ плечо побаливаетъ. Чѣмъ же васъ подчивать?»

— «Не безпокойтесь...»

— «Пуншиику съ угорской водкой, — анисовки... или...»

— «Право, ничего не пью и не ѣмъ... Хотѣлъ только Максима Ивановича поздравить...»

— «Максимъ! Эй, Максимъ!»

— «Не извольте трудиться. Мы найдемъ!»

— «Будьте какъ дома! Честь, право честь...»

— «Сидите, Меланія Ивановна, а не то какъ пришли, такъ и уйдемъ.»

— «Ну, воля ваша... Кому сдавать?..»

Пошли наши дальше въ лѣсъ, то есть, въ цвѣточную. Тутъ было пусто, только за кустами махровыхъ розъ слышался шепотъ. Капитанъ сталъ кашлять.

— «Ну, что жена?» спросилъ въ торопяхъ воевода, выбѣгая изъ-за кустовъ...

— «Играетъ!..»

— «А? Что-съ?.. Простите великодушно, онозпался... Право... Я объяснялъ дѣло просительницѣ...»

— «Во-первыхъ, Максимъ Ивановичъ, позвольте васъ поздравить...»

— «Честь! Честь! Благодѣяніе! Счастіе!.. Вина! заморскаго! Отъ обѣда осталось, а знаете какое вино...»

«Казусное, должно быть....»

— «Да ужъ какъ же не казусное... Когда Катерина Ивановна изволила замужъ выходить, такъ изволили спровадить изъ нѣмецкой земли настоящаго аглицкаго, что́ зовутъ дромадеромъ, всего только шесть бутылокъ...»

— «А это седьмая...»

— «Именно-съ!..» отвѣчалъ воевода, не спохва-

тившись. «Сласть, не напитокъ. Вотъ несутъ. Пожалуйте!»

Воевода пошелъ къ подносу, а капитанъ тихо сказалъ Моисею Семеновичу:

— «Ну, сегодня съ нимъ о дѣлахъ говорить нечего. Онъ уже... того...»

— «Не угодно ли?..»

— «А пока позвольте вамъ представить гостя моего...»

— «Очень радъ... Такъ вотъ мы за его здоровье, по другому стаканчику...»

— «Послушайте, Максимъ Ивановичъ, мы вамъ, право, не хотимъ мѣшать. Ступайте себѣ допрашивать ту просительницу, а мы... вотъ съ гостемъ въ гашки: благо никто не играетъ...»

— «Потѣшайтесь, какъ знаете; только чуръ отъ ужина не уходить. Вонъ ужъ накрываютъ...»

Нечего дѣлать. Гости наши и поужинали, и выпили еще какого-то англійскаго вина, которое Буруновъ получилъ отъ одного резидента. Изъ того вышла ужасная исторія. Изъ той исторіи — другая, изъ другой — третья. Буруновъ былъ на волѣ, потому что воеводиха игры не кончила и ужинала въ своей дамской гостинной. Десятой исторіи Буруновъ досказать уже не могъ, и гости разошлись и разъѣхались. На другой день капитанъ явился неслишкомъ рано, и, къ удивленію, нашелъ Меланію Ивановну одну — въ саду. Воевода уже пошелъ въ канцелярію. Меланія Ивановна сидѣла въ центрѣ сада на площадкѣ, а дворня чистила дорожки, копала грядки.

— «Ахъ, Господи! Честь, честь.... Право.... Честь... Только я... мнѣ стыдно... я рохлей такой...»

— «Какъ вамъ несовѣстно! Какъ ни одѣнь, а все ужъ пригожая женщина красоты не потеряетъ.»

— «Похлѣбство...»

— «Истина. А отчего это, Мелапія Ивановна, вы нынче не ѣздите никогда туда, за Будимовку?»

— «Далече, батюшка, страшно отъ провинціи отлучаться: того гляди дуракъ мой напутаетъ....»

— «Ну, Ванюха дрянной! Увижу, поколочу. Какъ онъ смѣетъ про васъ такія вещи разсказывать!»

— «Какой Ванюха?»

— «А Ломжинъ.»

— «Бывшій... А что́ же онъ разсказываетъ?»

— «Будто онъ съ вами интригу имѣлъ...»

— «Со мной? Ахъ онъ этакой!»

— «Ужъ если бъ я былъ на вашемъ мѣстѣ, досталось бы и ему и женѣ. Она ревнуетъ и говоритъ, какъ только батюшка изъ Питера вѣсточку пришлетъ, въ провинцію переѣду и Меланьѣ Ивановнѣ насолю.»

— «Ахъ, она этакая! А говорила я Максиму: увидишь, изъ этой исторіи насухо не выйдешь...»

— «Пустяки, вздоръ! Я вотъ именно за тѣмъ и пришелъ, чтобы вамъ объявить нѣкую тайность...»

— «Ахъ, батюшка! Смерть люблю секреты...»

— «Такъ вотъ извольте прислушать... Иванъ Степанычъ Костыльковъ продалъ всѣ свои отчины въ здѣшней провинціи...»

— «Продалъ!! И куѣдетъ отсюда?..»

— «Да, вѣдь онъ и такъ въ Питеръ...»

— «Ахъ, да!.. Помню, помню... Да это презабавно!... Ну, и Ваньку продалъ?»

— «Ваньку съ женой отпустилъ на волю съ приличной наградой...»

— «Ахъ, онъ дуракъ! Надо было и ихъ въ крѣпость. Ну, дальше!..»

— «Максимъ Ивановичъ, можетъ быть, вздумаетъ продажу оспоривать, то, другое...»

— «Что? Максимъ? А я на что?»

— «Онъ, знаете, Аграфену Кирилловну жалуетъ...»

— «Что? Ахъ, онъ уродъ! Да я ему всѣ ребра пересчитаю .. Гдѣ онъ?»

— «Послушайте! Вы только дѣло испортите! Надо хитро... И не худо бы послать за нимъ, потому что стряпчій того, что́ купилъ, сейчасъ сюда съ бумагами будетъ. Хочетъ изъ деликатности воеводу предувѣдомить и приличный подарочекъ...»

— «Эй, бѣгите за Максимомъ! Пусть все броситъ и скорѣе сюда идетъ. Да это презабавно!.. Вѣдь насолилъ же Костылькову этотъ двойникъ!»

— «Я ничего, матушка, не знаю. Мое дѣло сторона.»

Разговоръ скоро былъ прерванъ появленіемъ воеводы...

— «Что́ такое, что́ случилось?» кричалъ онъ.

— «А вотъ Моисей Семенычъ объяснитъ; кстати пожаловалъ...»

Моисей Семенычъ объяснилъ, и воевода отступилъ въ ужасѣ.

— «А Чевушкинъ?» спросилъ онъ, какъ-будто у самого себя.

— «Чевушкинъ? Пожалуйте; я вамъ и это объясню.»

Моисей Семенычъ отвелъ воеводу въ сторону и сказалъ:

— «Вотъ къ вамъ есть письмецо. Не угодно ли прочесть?..»

— «Я безъ очковъ...»

— «Ну, такъ я вамъ прочту: «Удивляюсь, Максимъ Ивановичъ (это пишетъ господинъ Костыльковъ): какъ это вы, такая умная персона, и дѣлаете такія глупости на свою голову...»

— «Это написано?»

— «Написано. Дальше: «Я прощаю вамъ, что вы потворствуете тамъ какому-то самозванцу, который выдаетъ себя за меня. Не знаю даже, кто этотъ плутъ. Но не могу простить, какъ можно такому отъявленному бездѣльнику, какъ Чевушкинъ, который за поддѣлку гербовой бумаги пойманъ, осужденъ и сосланъ въ Сибирь...»

— «Сосланъ? Ну, слава Богу!»

— «Какъ можно было выдавать Чевушкину пасъ на имя Дитлова, тогда какъ вы знали, кто онъ. Счастіе ваше, что эта бумага попалась ко мнѣ въ руки.»

— «Ухъ! Господи!»

«Погляжу, какъ вы себя въ послѣднемъ дѣлѣ покажете. А нето вручу пасъ президенту юстицъ-коллегіи и объясню дѣло. Иванъ Костыльковъ.»

— «Ухъ!»

— «Прикажите письмо разорвать? Кажется, оно будетъ лучше...»

— «Въ мелкіе кусочки и разбросать по грядкѣ; пусть закопаютъ... Ухъ! Только, пожалуйте, женѣ ничего не говорите. Ужъ мнѣ за этого Чевушкина и такъ досталось.»

— Ну, пойдемте! Я васъ научу, что дѣлать.»

— «Позвольте однако же, Максимъ Иванновичъ, и отъ моего довѣрителя презентовать нѣчто...»

— «А вашему довѣрителю что́ я худаго сдѣлалъ? Въ глаза не видалъ...»

— «Потому-то онъ и хочетъ къ себѣ васъ расположить и щедростью своею обнадежить... Табакерочка со вложеніемъ...»

И Моисей Семенычъ всунулъ что́-то въ руку воеводѣ. Тотъ опустилъ руку въ карманъ, но при всемъ томъ пелъ какъ обвареная курица. Воеводиха издали еще кричала:

— «Ну, Максимъ, поворачивайся! Я хочу сама быть при церемоніи.»

— «Пойдемъ, пойдемъ, я васъ научу...»

И всѣ пошли въ хоромы.

— «Я теперь лишній, я могу откланяться!» сказалъ капитанъ; поклонился, сѣлъ въ свою таратайку и поѣхалъ домой. Путь, какъ мы знаемъ, лежалъ на Костыльковку. Проѣзжая черезъ усадьбу, капитанъ замѣтилъ, что Аграфена Кирилловна прогуливается въ саду съ мужемъ, котораго она, какъ и Степаныча, выучила курить трубку, къ великому соблазну всѣхъ людей.

— «Ваня! Принеси мнѣ стулъ! Я устала! Хочу смотрѣть на дорогу отъ скуки. Что̀ это, отецъ такъ долго возится? Умру съ тоски.»

— «Я не знаю, Груня, отчего же у меня въ Костыльковкѣ тоска; я, право, не знаю...»

— «Да что̀ ты? Ничего ты не знаешь! только за моими горничными волочишься. Кажется, уродовъ себѣ подобрала и тѣмъ нѣтъ спуска... Поди-ка, Иванъ, принеси мнѣ скамеечку подъ ноги...»

Костыльковъ со вздохомъ повиновался.

— «Этакой этотъ дуракъ старый,» такъ стала разсуждать Груня: «поѣхалъ когда уже, а нѣтъ ни слуху, ни духу. Видно, то въ Питеръ — не на Москвѣ; тамъ бы онъ душкомъ дѣльце обработалъ, а тутъ, видно, и сами мастера. Его же надуютъ. А смерть въ Питеръ хочется. По дорогѣ бы за Вѣрочкой заѣхать. Да ну ее... Теперь я будто каравай расползлась. Тотъ офицерикъ того гляди еще къ Вѣрочкѣ пристанетъ... А что̀ за стройный баринъ!.. Глаза-то, глаза!.. Опять этотъ идетъ; какъ ему не надоѣстъ со мной сидѣть!..»

— «Знаешь, Груня! Сидоръ говоритъ, что надо бы въ поле поѣхать, поглядѣть, какъ идетъ работа...»

— «А ты приказчикъ, что̀ ли? Не сидится дома. Только объ томъ и думаетъ, какъ бы съ глазъ уйти. Сиди! А Сидоръ какъ смѣетъ говорить, когда его не спрашиваютъ... Поди-ка, позови сюда Сидора.»

— «Да Груша!...

— «Пошелъ, говорятъ тебѣ позови!»

Костыльковъ вошелъ.

— «Вотъ какъ на свѣтѣ все!» опять стала философствовать Груня. «Сначала больно полюбился; красавцемъ показался, а теперь какъ опротивѣлъ. Ну! что́ же вы тамъ? Не сговаривайтесь! Ты какъ смѣешь, старый плутъ, говорить, когда тебя не спрашиваютъ?»

— «Я дѣло говорю, матушка!»

— «Опять! Грубить! Своей госпожѣ отвѣчать! Ну, что же ты стоишь, рохля этакая: женѣ грубости говорятъ, а ты и не вступишься...»

— «Груша...»

— «А, такъ тебѣ Сидоръ твой дороже меня! Сидоръ всякому соблазну покровъ; Сидоръ одинъ только и умѣетъ барыню свою обманывать, да проказы твои закрывать... А Дуняшку для твоей милости куда спряталъ? Говори, куда ты спряталъ Дуняшку?. »

— «Сама ушла! Я и не зналъ!»

— «А, ты опять мнѣ отвѣчать! Хорошенько его, Иванъ, а не то я сама примусь...»

— «Пойдемъ, Сидоръ...»

— «Иванъ Степанычъ,» сказалъ Сидоръ печально.

— «Что такое?»

— «Не хорошо.»

— «Что не хорошо, Сидоръ?»

— «Три ворона на крышѣ сидятъ, надъ тѣмъ окномъ, гдѣ твой родитель кончилъ ..»

— «Такъ что же?..»

Сидоръ покачалъ печально головою и отошелъ.

Не успѣлъ Костыльковъ слова сказать, какъ показалась коммисарская таратайка; за ней другая, третья, потомъ колымага.

— «Боже мой, гости!» радостно вскрикнула Груня. «А, можетъ быть, отецъ. Вѣрно, въ провинцію указъ привезъ и на радостяхъ весь городъ къ намъ въ гости позвалъ. Такъ и есть. Коммисаръ, воевода! Это онъ, видно, съ воеводихой въ колымагѣ другой сидитъ. Ну, теперь позволю и ему и мужу покутить! На встрѣчу, Иванъ! Ступай на встрѣчу! Сыновній долгъ. Хоть и не любишь, а все-таки показывать надо...»

Колымага и таратайки съ гостьми подъѣхали. Груня была уже на крыльцѣ.

— «Здравствуйте, Максимъ Иванычъ!» кричала она. «Насилу-то мы васъ дождались. Соскучились!..»

— «Такъ вотъ и утѣшайтесь, Аграфена Кирилловна! Мы пожаловали...» злобно сказала воеводиха, съ трудомъ выползая изъ колымаги... «А гдѣ Ванька Ломжинъ?..»

Супруги значительно посмотрѣли другъ на друга. Воеводиха уже на крыльцѣ продолжала:

— «Ну, ты теперь безъ мѣста! Ступай ко мнѣ въ дворецкіе!»

— «Да какъ вы это смѣете, Меланья Ивановна?» прерывающимся отъ бѣшенства голосомъ спросила Груня.

— «А эта холопка что тамъ бредитъ?..»

— «Холопка! Вонъ отсюда! А ты чего стоишь, за жену не вступишься?.. Вонъ!»

— «Видишь, какая важная! Нѣтъ, сама пошла вонъ, а мы не у тебя въ гостяхъ, а у новаго помѣщика. Моисей Семенычъ, что же ты это, привезъ въ гости, да своимъ холопьямъ дозволяешь надъ нами насмѣхаться?»

Скрѣпя сердце, Лыкохутинъ сказалъ оцѣпенѣвшимъ супругамъ:

— «Пошли вонъ пока! Будетъ нужно, позовутъ... Господинъ коммисаръ, извольте приступить къ дѣлу...»

— «Да я послалъ коммисаровъ сзывать крестьянъ въ Будимовку и въ другія отчины: здѣсь только усадьба. Тутъ все налицо: что̀ есть, все ваше! А приказчику и Сидору извольте вольныя вручить и что̀ въ купчей для нихъ выговорено, объявить, и дѣлу конецъ.»

— «Что̀ такое?» спросилъ Костыльковъ, приходя въ себя.

— «Да вотъ, любезный, скажи твоему барину вѣчное спасибо, вотъ что̀ онъ въ купчей прописалъ...»

«А управляющему моему, Ванькѣ Ломжину и приказчику при немъ, Сидору, съ женами и дѣтьми даю волю и отпущаю, и вольныя у сего прилагаю, да изъ домашняго скарбу какая въ деньгахъ наличность окажется, также въ серебрѣ, и въ уборной моей какое платье и одежа мужская или женская, — Ванькѣ Ломжину то отдать, отдѣля Сидору, деньгами сто рублевъ, да съ конюшни моей заводскихъ лошадей четырехъ ему же, Ванькѣ, и пару Сидоркѣ, да первому колымагу новую, что на помочахъ, а Сидоркѣ, повозку крытую тожъ на помочахъ, что на ярморкѣ прошлымъ лѣтомъ онъ же, Сидорка, искупилъ; а Дуняшкѣ, дочкѣ его, отъ того

особо сто рублевъ приданаго; а изъ живности кто изъ нихъ сколько пожелаетъ, но не болѣе какъ по три подводы на каждую семью, отослать въ провинцію, куда и самихъ въ тотъ же день какъ объявлена имъ будетъ воля моя, тожъ выслать, и воеводѣ отдать, для того, чтобъ куда слѣдъ, пошли въ приписку, и такъ по бѣлу свѣту безъ дѣла не шатались, и помнили бы какъ я ихъ за добрыя службы пожаловалъ и отблагодарствовалъ.»

— «Такъ вотъ,» сказалъ коммиссаръ: «по этой статьѣ учинить, и кончено. Пойдемъ въ хоромы скарбъ осматривать.»

Опытъ научилъ Костылькова, что мѣры Степаныча были всегда дѣйствительны, распоряженія — вѣрны, изворотамъ не оставалось пути, а горе домашнее лишило его и той энергіи, какая иногда въ немъ проявлялась. На бѣду жена не давала ему, кромѣ кислыхъ щтей, ничего пить, а съ этого напитка большаго куража не добудешь... Онъ понялъ всю возможность продажи его вотчинъ, мимо дѣйствительнаго владѣльца и ужасъ малодушнаго овладѣлъ его сердцемъ. Онъ упалъ въ ноги воеводѣ и завопилъ:

— «Спаси и заступи меня, государь-воевода!.. Жена, бей челомъ Меланьѣ Ивановнѣ..»

— «Провались она! Вотъ тебѣ и любовь водить съ этакой бабой!...»

— «Ахъ ты!»

И воеводиха бросилась на Груню... Но между ними сталъ Сидоръ и сказалъ покойно:

— «Не трогать! Не дамъ мою законную барыню въ обиду. По бумагамъ ваше дѣло поступать,

а мнѣ вашихъ бумагъ не надо; я своихъ господъ знаю. .»

— «Батюшка-воевода!» вопилъ Костыльковъ: «наставь и научи!»

— «Поздно, Иванъ Степанычъ, всему конецъ!.. Была одна надежда на Чевушкина, да и тотъ отъ вашего дѣла отказался.»

— «А еще отецъ!»

— «Молчите, Аграфена Кирилловна,» сказалъ Сидоръ. «Не договаривайте. Богъ казнитъ. Покоримся. Помолимся. Авось помилуетъ. Полно, Иванъ Степанычъ, въ ногахъ валяться. Якшались вы съ недобрыми людьми, деньги платили, подарки засылали; другой больше далъ: его и взяла. Вставайте! Пойдемъ! Что намъ оставлено, заберемъ и поѣдемъ искать суда и расправы у старшихъ.—Я отъ васъ не отстану. Я вамъ служилъ, и служить буду. Мое возьмите себѣ, а Дуняшино—отошлите къ Меланьѣ Ивановнѣ. Дуняща на Старой Усадьбѣ. Пусть насъ тамъ обождетъ. Ну-те же, Иванъ Степанычъ, полно хныкать, призовите имя Божіе, да и въ путь!»

Костыльковъ заливался слезами и цѣловалъ руки воеводы. Моисей Семенычъ отвернулся; воеводиха искала случая, чтобы только Сидоръ посторонился, а затѣмъ уже соображала, какъ повѣрнѣе испортить красоту лица Груни; а та держалась на-сторожкѣ и готовилась отплатить тѣмъ же.

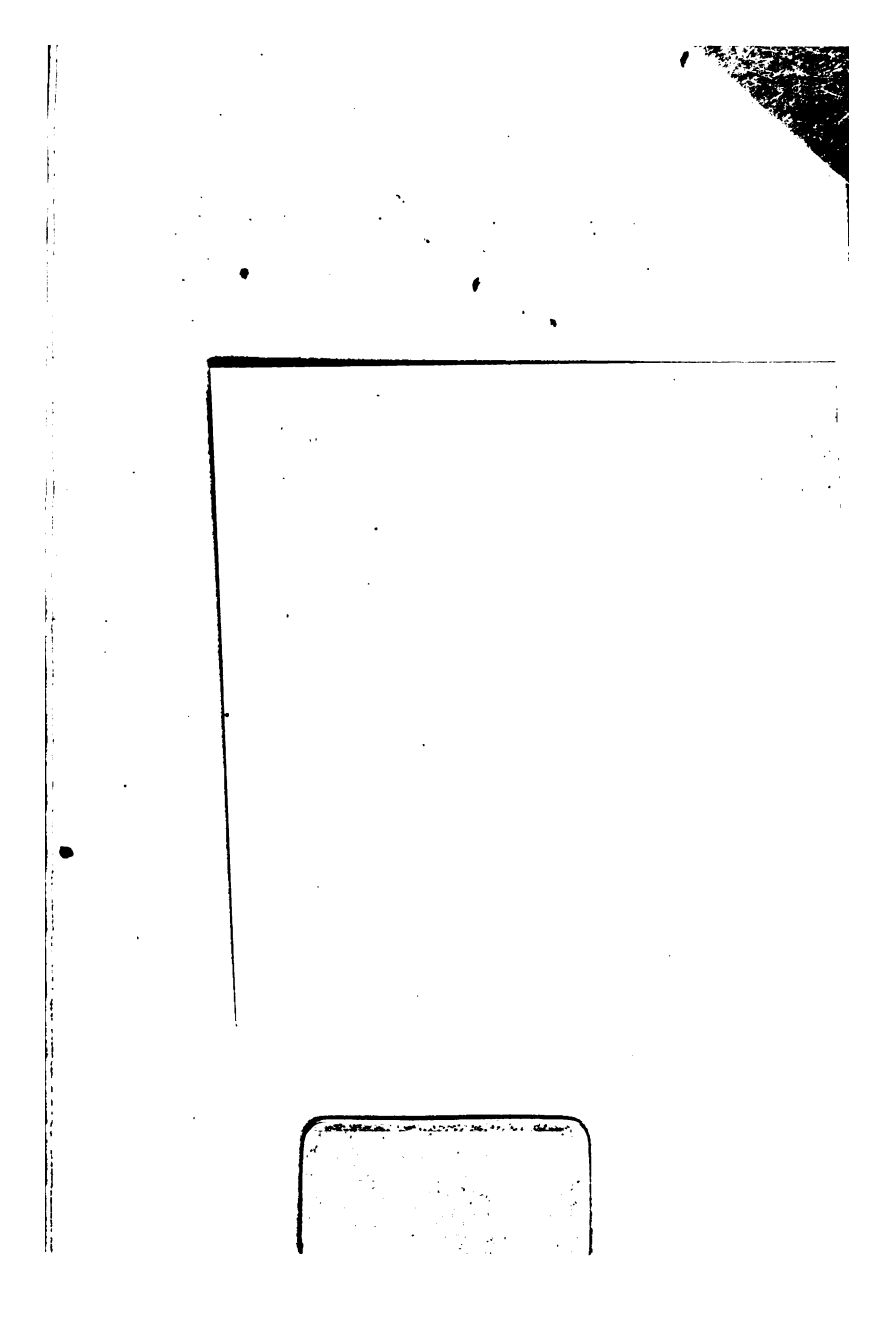
— «Ну, поплакали, повыли — и довольно!» сказалъ коммисаръ. «Движимое все ихъ, такъ пусть укладываются, а намъ что тутъ дѣлать? И такъ имъ горя много. Отойдемъ, господа!..»

— «Конечно, отойдемъ!» сказалъ Моисей Семенычъ. «Позвольте мнѣ маятность пока осмотрѣть, садъ, огороды.»

По милости Сидора недолго собирались. Сидоръ зналъ, что́ нужно взять, что́ можно оставить. Всѣ повозки приказалъ подкатить подъ крыльце и повозку свою, и три подводы онъ съ горой нагрузилъ разнымъ серебромъ, мѣхами, и всѣмъ, что́ было подороже; другія три подводы живностью; деньги размѣстилъ въ разныхъ углахъ колымаги, и въ безконечныхъ кошелькахъ, которые ремнемъ привязалъ къ поясу; онъ же взялъ отъ Моисея Семеныча отпускныя и приказалъ закладывать.

— «Готово!» сказалъ онъ, войдя въ столовую, гдѣ у одного окна стоялъ Костыльковъ и плакалъ, у другаго сидѣла Груня и злилась.

— «Ну, теперь присядемъ, Иванъ Степанычъ!.. Вотъ такъ! Теперь приложитесь къ образу. Вотъ такъ! Пойдемъ! Садитесь! Мой сынъ за ямщика, а я съ обозомъ впереди поѣду.»

И держа въ рукахъ икону въ серебряномъ окладѣ, Сидоръ выѣхалъ на улицу первый. Въ колымагѣ раздался плачъ.

Прощай Костыльковка!